

Элиас
КАНЕТТИ



Масса и власть

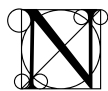
PHILOSOPHY

(PHILOSOPHY)

Элиас
КАНЕТТИ



Масса и власть



АСТ
МОСКВА

УДК 316.4
ББК 60.5
К19

Серия «Философия – Neoclassic»

Elias Canetti

MASSE UND MACHT

First published in 1960 by Claassen Verlag

Перевод с немецкого *Л. Г. Ионина*

Серийное оформление и дизайн переплета —
А. А. Кудрявцев, А. Б. Ткаченко, студия «FOLD & SPINE»

Печатается с разрешения издательства
Ullstein Buchverlage GmbH.

Канетти, Элиас.

К19 Масса и власть / Элиас Канетти ; [пер. с нем. Л. Г. Ионина]. — Москва : АСТ, 2015. — 576 с. — (Философия — Neoclassic).

ISBN 978-5-17-089748-3

Как человек становится частью толпы? Почему перестает быть независимой личностью? Каковы механизмы, при помощи которых власть управляет массами? Что объединяет религию, тиранию и войну? Почему прошедшее столетие принесло человечеству столько катастроф, связанных именно с тоталитаризацией общества? Может ли это повториться?

В своем трактате «Масса и власть» Элиас Канетти, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1981 год, обобщает опыт минувшего столетия и задает вопросы, адресованные не только прошлому, но и будущему...

УДК 316.4
ББК 60.5

© by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin, 1960
© Перевод. Л. Г. Ионин, 2011
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2015

ISBN 978-5-17-089748-3

СОДЕРЖАНИЕ

О КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ	9
---------------------------	---

МАССА

Обращенный страх прикосновения	23
Открытая и закрытая массы	25
Разрядка	27
Мания разрушения	28
Извержение	30
Мания преследования	33
Приручение масс в мировых религиях	35
Паника	38
Масса как кольцо	40
Свойства массы	41
Ритм	44
Задержка	48
Медленность или удаленность цели	55
Невидимые массы	58
Классификация по несущему аффекту	65
Преследующая масса	66
Масса бегства	71
Масса запрета	75
Массы обращения	78
Праздничные массы	83
Двойная масса: мужчины и женщины, живые и мертвые	84
Двойная масса: война	90
Массовые кристаллы	98
Массовые символы	100

СТАЯ

Стая и стаи	121
Охотничья стая	126

Военная стая	129
Оплакивающая стая	134
Приумножающая стая	139
Причастие	146
Внутренняя и тихая стаи	148
Определенность стай. Их историческое постоянство	150
Стаи в легендах о предках аранда	153
Человеческие построения у аранда	157

СТАЯ И РЕЛИГИЯ

Преобразование стай	161
Лес и охота у леле с Касаи	163
Военные трофеи живарос	168
Танец дождя у индейцев пуэбло	172
Динамика войны: первый мертвый, триумф	175
Ислам как военная религия	179
Религии оплакивания	182
Праздник мухаррам у шиитов	186
Католицизм и масса	196
Священный огонь в Иерусалиме	201

МАССА И ИСТОРИЯ

Массовые символы наций	210
Германия после Версаля	223
Инфляция и масса	228
Сущность парламентской системы	235
Распределение и приумножение. Социализм и производство	238
Самоуничтожение козов	242

ВНУТРЕННОСТИ ВЛАСТИ

Хватание и поглощение	251
Рука	262
К психологии еды	273

ВЫЖИВАЮЩИЙ

Выживающий	279
Выживание и неуязвимость	281
Выживание как страсть	283
Властитель как выживающий	285
Спасение Иосифа Флавия	288
Враждебное отношение властителей к выживающему. Властитель и преемник	300
Формы выживания	305
Выживающий в верованиях первобытных народов	310
Мертвые как пережитые	324
Эпидемии	338
Об атмосфере кладбища	341
О бессмертии	343

ЭЛЕМЕНТЫ ВЛАСТИ

Насилие и власть	346
Власть и скорость	348
Вопрос и ответ	351
Тайна	358
Суждение и осуждение	366
Власть прощения. Помилование	368

ПРИКАЗ

Приказ: бегство и жало	370
Одомашнивание приказа	375
Отдача и страх перед приказом	377
Приказ многим	378
Ожидание приказа	381
Ожидание приказа паломниками на Арафате	383
Жало приказа и дисциплина	385
Приказ. Конь. Стрела	387
Религиозные оскпления. Скопцы	390
Негативизм и шизофрения	394
Обращение	397
Избавление от жала	401

Приказ и казнь. Удовлетворенный палач	404
Приказ и ответственность	406

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Предчувствие и превращение у бушменов	409
Превращение как бегство. Истерия, мания и меланхолия	415
Самоумножение и самопоглощение. Двойкий образ тотема	422
Масса и превращение в <i>Delirium tremens</i>	436
Подражание и притворство	451
Фигура и маска	455
Обратное превращение	461
Запреты на превращение	463
Рабство	469

АСПЕКТЫ ВЛАСТИ

О позициях человека: что в них есть от власти	471
Дирижер	481
Известность	484
Порядок времени	485
Двор	487
Растущий трон императора Византии	489
Идеи величия у паралитиков	491

ГОСПОДСТВО И ПАРАНОЙЯ

Африканские короли	499
Делийский султан Мухаммед Туглак	516
Случай Шребера. Первая часть	530
Случай Шребера. Вторая часть	548

ЭПИЛОГ

Изживание выживающего	567
-----------------------------	-----

О КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ

I

В 1994 году Элиас Канетти ушел из жизни, опровергнув тем самым собственные теории о бессмертии. Я говорю это без всякой иронии, ибо, читая книги Канетти, а особенно его рассуждения о причинах смерти, можно было поверить, что он сумеет с нею справиться и не умрет.

Смерть, как ее видел Канетти, — не столько природный феномен, сколько идеология. Поэтому он считал, что фрейдовский инстинкт смерти *танатос* — это «просто смешно». Он говорил в одном интервью:

«Я много занимался смертью, и считаю, что это неверно — предполагать наличие фундаментального влечения к смерти. Смерть и без того слишком сильна и не надо без необходимости подчеркивать ее преобладание. Моя позиция... состоит в неприятии смерти, в том, чтобы противостоять ей и пытаться изгнать ее отовсюду, где она сумела к нам прокрасться, потому что она оказывает очень плохое моральное и общественное влияние...»

Я хотел бы, чтобы смерть рассматривалась отдельно от всего, что принято и допустимо, как это уже было когда-то. Ибо когда люди говорят о жизни и смерти, как бы уравнивая в правах одно и другое, они забывают, что смерть не всегда была естественна. Она стала естественной в последние пару тысяч лет нашей истории. ...В предыстории у всех народов смерть не считалась естественной, наоборот, она воспринималась как нечто настолько неестественное, что каж-

дая смерть считалась убийством.» (Canetti E. Die gespaltene Zukunft. München, 1972, S.124).

Кроме того что смерть является идеологией, она является инструментом, а именно — главным инструментом власти. Собственно, две эти ее функции на практике часто неразличимы. Борьба Канетти против власти, или, точнее сказать, разоблачение власти, предпринимаемое в этой книге, как раз и представляет собой часть той борьбы против смерти, о которой он говорит в процитированном отрывке.

В книге, которую Вы раскрыли, — не два, как это указано в заглавии, но три «героя»: масса, власть и смерть. Тема ее — взаимодействие массы и власти в силовом поле смерти. Смерть — это тот посредник, который придает динамизм взаимодействию массы и власти, — двух основных агентов истории. Смерть — это то, чем «питается» власть, что служит главным стимулом и средством ее развертывания, усиления, самореализации. Власть — это то, что паразитирует и разбухает на смерти. Если следовать логике этой книги, то можно признать, что не будь смерти, власти бы не существовало. Поэтому борьба против смерти есть одновременно борьба против власти — против методов, методологий, приемов, способов, объяснений и истолкований, применяемых ею для достижения своих целей. Собственно говоря, разъяснению и разоблачению их и посвящена настоящая книга; она о том, как реализуется власть — о ее, власти, адской кухне, куда не допускаются или в существование которой не могут поверить обыкновенные люди, и где великие вожди, властители и полководцы без готовых рецептов, по наитию, движимые безошибочным чутьем, создают историю.

То, что она оказывается трагичной, мрачной, кровавой, властители не считают своей виной. Они говорят, что история такова, какова есть, и будь на их месте другой человек, все повернулось бы все равно точно таким же образом. На самом деле, говорит Канетти, история не решает ни за кого, по нее нельзя сказать, что она поддерживает власть или

любит сильных. Просто власть и сила решают все в свою пользу, а потом путем не слишком хитрых манипуляций с причинами и следствиями подают дело так, будто история решила все сама, а они, мол, просто выполняли ее волю, которая, будь на их место кто-то другой, все равно реализовалась бы именно таким же образом.

Это обман. Раскрывая рецепты, по которым вожди и владыки создают историю, Канетти протестует против фаталистического отношения к смерти и к власти. Как у австралийского племени *аранда*, о котором он пишет здесь подробно, никто не умирает сам по себе (если кто-то умер, значит он убит), так же и история не убивает: убивает власть, которая всегда имеет конкретное лицо.

II

Таковы взгляды Канетти на смерть. Между его рождением и смертью, которой ему не удалось избежать, прошло 89 лет. Он родился 25 июля 1905 г. в болгарском городе Русук (Русе), входившем тогда в состав Австро-Венгерской империи, в семье потомков испанских евреев, изгнанных маврами из Испании в XV в. В 1911 г. вместе с семьей он переезжает в Лондон, а в 1913 г. после смерти отца, умершего молодым, — с матерью в Вену. С 1916 по 1924 г. он ходил в школу в Цюрихе и Франкфурте-на-Майне, а потом изучал естественные науки в университете в Вене, где и получил степень доктора философии. В 1938 г. в связи с так называемым аншлюсом Австрии, присоединением ее к нацистскому рейху, Канетти покидает континент и селится в Англии, где живет и работает до конца жизни.

Работа приносила плоды: Канетти был удостоен множества немецких и австрийских литературных наград и премий, а в 1981 г. стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Он написал романы «Ослепление» и «Аутодафе», несколько пьес, издал несколько книг публицистики, несколько книг путевых заметок, несколько книг мемуаров, несколько книг афоризмов, а также «Массу и власть». Это — труд его жизни, *opus magnum*, на который автор возлагал наибольшие надежды. Впрочем, он говорил об этом сам. Свои надежды и планы в связи с этой книгой он выразил в одной из дневниковых записей, относящихся к 1959 году:

«Вчера рукопись «Массы и власти» ушла в Гамбург. В 1925-м, тридцать четыре года назад, явилась первая мысль о книге, посвященной массе. Однако действительный зародыш ее возник еще раньше: демонстрация рабочих во Франкфурте в связи с гибелью фон Ратенау; мне было семнадцать лет. С какой стороны ни взглянуть, вся моя взрослая жизнь была заполнена этой книгой, но с тех пор, как живу в Англии, а значит, более двадцати лет, я, хотя и с трагическими перерывами, почти ни над чем другим не работал.

Стоило ли это таких усилий? Оплатил ли я это многими другими произведениями? Что ж, я могу сказать. Я должен был делать то, что делал. Мной распоряжалась сила, которой мне никогда не понять.

Я вел разговоры об этом, когда не было еще ничего, кроме намерения написать это исследование. С величайшей амбицией я объявлял о несуществующей еще книге, чтобы покрепче пристегнуть себя к ней. В то время как все знакомые подталкивали меня к тому, чтобы я завершил ее, я не закончил ее ни часом раньше, чем представлялось мне верным. Лучшие друзья потеряли за эти годы веру в меня; все тянулось слишком долго, нельзя было сердиться на них за это.

И вот теперь я говорю себе, что мне это удалось: схватить наше столетие за горло» (Канетти Э. Человек нашего столетия. Художественная публицистика. М., 1990, с. 289—290).

Последняя фраза звучит странно. Когда Вы прочтете книгу, то увидите, что в ней на протяжении почти 500 стра-

ниц не наберется и 10 строчек о нашем столетии (за исключением пары страниц в эпилоге). Величайшие властители нашего века, такие, например, как Сталин или Гитлер, в этой книге отсутствуют, так же как отсутствуют в ней величайшие массы нашего столетия, не случайно все-таки именуемого «столетием масс»! И тем не менее это так: это книга о XX веке, в которой XX век не упоминается.

С моей точки зрения, тем она страшнее и тем безысходнее вытекающие из нее истины. Есть множество интерпретаций страшных массовых бедствий и массовых злодеяний нашего столетия. Очень тонкие, остроумные, демонстрирующие высочайшую эрудицию и наблюдательность авторов, они раскрывают, так сказать, логику добрых намерений, приведшую к страшным последствиям. Так, мыслители Франкфуртской школы показывают, что возникновение тоталитаризма, ужас Майданека и Освенцима, гекатомбы жертв — все это продукт социально-освободительных устремлений Нового времени, результат просвещенческой пропаганды и борьбы за демократию, которая вылилась в победу масс. Ханна Аренд выдвинула несколько иную версию, но и ее идея заключается в том, что тоталитаризм со всеми его ужасами и прежде всего массовыми убийствами и страшной войной — продукт нашего и исключительно нашего времени, что он «соткался» из множества характерных для XIX и XX вв. идейных течений и социальных тенденций, что он — плоть от плоти и кровь от крови нашего столетия.

Да и мы в общем-то не очень далеко ходим за объяснениями наших собственных бед. Сталинизм — это практическая версия марксизма, сложившаяся в процессе борьбы за освобождение сначала рабочего класса, а потом вообще человечества. Прозрения С.Эйзенштейна в «Иване Грозном», оцененные Сталиным, мы не оценили в должной мере.

Объяснений фашизма и сталинизма много. Появляются все новые объяснения, опирающиеся на новые факты,

являющиеся свету. Но все они едины в том, что фашизм и сталинизм — новейшие феномены истории.

И вдруг на то, что он «схватил столетие за горло», претендует автор, посвятивший этому столетию лишь пару страниц в эпилоге.

Чисто пространственное соотношение материалов не должно обманывать. Сам Канетти писал, что главный его труд посвящен исследованию корней фашизма, хотя само слово там и не называется. Но я думаю, что такое определение темы «Массы и власти» сильно ее суживает; если эта книга и посвящена XX веку, то лишь потому, что в нем история выразилась не по-новому, а очевиднее, чем раньше. XX век со всеми его трагическими событиями: попранием человеческих жизней, войнами, массовым террором, — не является чем-то исключительным в человеческой истории. Если он и превосходит другие века по масштабам жертв, то не потому, что он достиг какой-то не сравнимой с прежними временами жестокости или что люди сделались глупее или кровожаднее, а потому лишь, что выросли их технологические возможности.

Цели же, намерения, мотивы действий не изменились, так же как не изменились движущие человеком аффекты. Короче, XX в. не изменил природу человека, а вместе с ней природу массы и природу власти. По-прежнему власть движима выживанием, и смерть остается ее орудием, и по-прежнему динамика истории — это динамика власти и массы в силовом поле смерти. Гитлер, Сталин и другие вожди XX столетия хорошо это понимали, но они понимали это не хуже и не лучше, чем множество других великих вождей в истории человечества.

Так что постижение XX века в его чудовищных злодеяниях оказалось возможным путем пристального взглядывания в историю древних и чуждых нам народов. Век как век, не лучше других и не хуже... Природа человека не меняется, а властитель оказывается вечным фашистом.

III

Я не буду пытаться здесь оценивать эту книгу, искать какие-то идейные связи с другими философами, этнографами, исследователями социальной жизни. С моей точки зрения, основополагающие идеи Канетти в «Массе и власти» абсолютно новы. Эта книга прожила уже тридцать пять лет, и реакция на нее показывает, что впереди у нее еще большое будущее. Как писал один из немецких рецензентов, «размышляя о массе и власти, образованный европеец думает о Ницше в связи с властью, а также об Ортеге и Лебоне в связи с массой. В будущем он должен будет думать о Канетти и забыть многое из того, что усвоил от трех остальных».

К этим именам можно добавить еще Фрейда. Действительно, проблемам, которые поднимали и намечали эти четверо, у Канетти дано новое и оригинальное освещение.

Исходный феномен массы — преодоление страха перед прикосновением. Человек страшится и избегает прикосновений других людей, старается держаться от них на некотором отдалении (социальные дистанции, системы статусов — одна из форм такого дистанцирования). В массе страх перед прикосновением снимается, все дистанции ликвидируются. Происходит психологическая разрядка. В массе один человек равен другому. Масса живет своей особой жизнью как целостное существо со своими закономерностями возникновения, существования и распада.

Изначальный феномен власти — выживание. Властитель — это тот, кто выживает, когда другие гибнут. В начальном феноменологическом смысле властитель — это тот, кто стоит, когда все вокруг пали. Архетип властителя — герой, стоящий над трупами павших, причем не важно даже, кто эти павшие — уничтоженные им враги или погибшие друзья, союзники и т.д. В счет идет лишь выживание. Чем больше тех, кого он пережил (все равно, враги это или дру-

зья), тем величественнее, «богоровнее» властитель. Подлин-ные властители всегда остро чувствуют эту закономерность, подлинная власть всегда воздвигает себя на горах мертвых тел, как в фигуральном, так и в прямом смысле. Масса — это предпосылка и фундамент власти, все равно, идет ли речь о массе живых или массе мертвых. Угроза смерти — основное орудие власти в управлении массой. Любой приказ — это отложенная угроза смерти. Другими словами, страх смерти — конечная мотивация исполнения любого при-каза. Голос власти, говорит Канетти, это рык льва, от кото-рого приходят в ужас и бросаются в бегство стада антилоп, то есть масса.

В некоторых главах «Массы и власти» Канетти вскры-вает изначальную связь структур мышления параноика и властителя. Паранойя — не просто «болезнь власти». Паранойя и власть — это два способа реализации одной и той же тенденции, имеющейся в любом человеческом суще-стве. Таким образом Канетти универсализирует открытые им закономерности отношений массы и власти, обосно-вывает их всеобщий и фундаментальный характер. Ре-зультатом становится формирование основных принци-пов политической антропологии, родственной по стилю идеям Хоркхаймера и Адорно в «Диалектике просвеще-ния» и микроанализам власти у Фуко, но оригинальной по фундаментальным интуициям. Одновременно возни-кает более или менее целостная общеантропологическая концепция, коренящаяся в идее напряженной динамики страха перед прикосновением другого и радостного, осво-бождающего слияния с другим и другими. Именно в ре-ализации этих двух аффектов воплощается человеческая жизнь. Этому служат многочисленные и разнообразные ритуалы, систематически разбираемые Канетти, состав-ляющие в своей совокупности основополагающие инсти-туты человеческого общежития (стая, религия, война и др.). В этом смысле концепция «Массы и власти» представ-ляет собой также теорию культуры.

Личную позицию писателя по отношению к власти, как она выражена не только в этой книге, но и в художественных произведениях, в публицистике и афоризмах, я бы назвал интеллектуальным анархизмом. Власть смертоносна и отвратительна, власть — это смерть. Борьба против власти, как сказано уже в начале этих заметок, — это борьба против смерти. Его призыв к каждому человеку — вырвать из себя «жало приказа», то есть ликвидировать в себе тот психологический отпечаток, который оставляет каждый приказ, как исполненный, так и отданный. Попросту говоря, это призыв не исполнять приказов власти. В то же время его анализ психологической динамики взаимоотношений власти и массы, как читатель увидит сам, показывает, что призыв этот, по сути дела, неисполним. Это призыв к гуманизму в мире, который антигуманен по глубинному своему устройству.

IV

В заключение этих кратких заметок — несколько слов о моем опыте заочного общения с писателем, и о выводах, к которым я в результате пришел. Просьба предоставить права для издания русского перевода «Массы и власти» несколько лет назад, к удивлению всех участников этого мероприятия, вдруг натолкнулась на негативную реакцию писателя. Его литературный агент передал, что г-н Канетти считает издание книги на русском языке преждевременным, по крайней мере до тех пор, пока в России не наступит политическая, социальная и экономическая стабилизация.

У меня и моих коллег такая реакция вызвала удивление и недоумение. Кое-что стало, однако, понятным в ходе перевода книги, особенно когда я встретил в главе «Случай Шребера» такое вот на первый взгляд загадочно выглядящее соображение:

«Заболев паранойей, он (Шребер. — *Л.И.*) семь лет провел в психиатрической больнице, прежде чем решился в деталях записать то, что впоследствии явилось миру как система его безумия. «Памятные записки нервнобольного» составили целую книгу. Он был настолько убежден в правильности и важности своей самодельной религии, что после того, как опека была снята, отдал книгу в печать. Его язык как будто специально создан для выражения столь своеобразной системы мыслей: он запечатлевает именно столько, сколько нужно, чтобы ничто существенное не осталось в тени. Он говорит, что не является, *да и на самом деле не является писателем; поэтому за ним можно следовать повсюду без опаски*» (с. 464 настоящего издания, курсив мой. — *Л.И.*).

Логика этого выделенного курсивом места сначала была мне совершенно непонятна. По некотором размышлении я пришел к выводу, что Канетти подразумевает здесь следующее: в темные закоулки мышления параноика (Шребера) можно следовать без опаски потому, что его идеи изложены не писателем, то есть им не свойственна та сила внушения и убеждения, которой неизбежно обладают тексты настоящего писателя.

Но отсюда следует и обратный вывод: мир паранойи, изображенный настоящим писателем, опасен, потому что несет в себе потенциал заражения.

Именно поэтому читатель может без опаски следовать за Шребером в его путешествии по закоулкам собственного безумия. И именно поэтому читатель в стране, не выработавшей иммунитета против паранояльной болезни власти, *не может* без опаски следовать за Элиасом Канетти в предпринятом им путешествии по изнаночной стороне власти. Это слишком опасно, полагает Канетти, потому что изложено правдиво, откровенно и доходчиво. Это опасно, потому что вообще истина опасна.

Ясно, что Канетти ныне не может стать модным писателем. Потому что в моде релятивизм. Он может даже пока-

заться наивным в том, что верит в силу литературы, в опасную силу слова.

Уже потом я нашел в «Заметках» еще одну запись о «Массе и власти», внесенную на 25 лет позже, чем та, что процитирована выше:

«Тебе ставят в укор сопряженность событий рассказанной истории жизни, то, что все происходящее указывает на нечто последующее. А существуют ли такие жизни, которые не разворачиваются навстречу своему будущему? Если кто дожил до 80, то не может он изображать свою жизнь так, будто прикончил себя в 40. Если главная его книга после немислимых отяжек наконец готова и продолжает работать дальше, то не может он в угоду чьему-то капризу делать вид, будто она не удалась.

Так что пусть тебя упрекают в том, что ты веришь в «Массу и власть», в то, что раскрытое в ней — несмотря на легкомыслие, с которым этим пренебрегли, — сохраняет свою истинность и актуальность. В этом убеждении ты писал историю своей жизни: и форма ее, и добрый кус содержания обусловлены им» (Канетти Э. Человек нашего столетия, с. 354).

Теперь, как мне кажется, можно объяснить, почему Канетти считал несколько преждевременным тогда русское издание «Массы и власти». Для него эта книга не была литературной игрой, как не являлась для него игрой литература вообще. Он был уверен в истинности того, что пишет, и открытия, осуществленные в «Массе и власти», являются для него открытиями в старом добром смысле слова, свойственном науке еще прошлого столетия: *открытие* того, что существовало *до* открытия, будучи *сокрыто*, а не изобретение новых связей в мире, бесконечно дифференцируемом умом исследователя. Для Канетти власть — не дискурс власти, а прямая и осязаемая реальность переживания, точно так же как масса, смерть, выживание и другие категории, которые он использует в книге.

Поэтому он считает, что открытия, сделанные им в «Массе и власти», а именно открытие методов и методоло-

гий, используемых властью для того, чтобы диктовать волю массе, — открытие реальной силы и реальной опасности. Это то же самое, как с опасной энергией атома — только здесь речь идет об опасной социальной энергии. Эта энергия настолько опасна, что может принести вред в стране с нестабильной ситуацией, перепутанным мировоззрением и массой авантюристов, честолюбцев и властолюбцев, всегда взрывающихся вверх на гребнях революционных волн.

Разумеется, такой подход не очень лестен для России, на которую писатель смотрит как на страну несовершеннолетнюю, которой, в соответствии со старыми воспитательными традициями, лучше не давать в руки некоторых книжек, потому что она может сделать из них неправильные и опасные выводы. Это тоже несколько архаичный подход, не соответствующий сегодняшним воспитательным теориям...

Короче, Элиас Канетти верил в силу литературы, в силу Книги, и этим он сильно отличался от многих современных литераторов. Он верил, что, написав «Массу и власть», создал нечто, способное изменить людей и мир.

Леонид Ионин

Элиас Канетти

Масса и власть

МАССА

ОБРАЩЕННЫЙ СТРАХ ПРИКОСНОВЕНИЯ

Человеку страшнее всего прикосновение неизвестного. Он должен видеть, что его коснулось, знать или по крайней мере представлять, что это такое. Он везде старается избегать чужого прикосновения. Ночью или вообще в темноте испуг от внезапного прикосновения перерастает в панику. И одежда не дает безопасности: она легко рвется, сквозь нее легко проникнуть к голой и гладкой беззащитной плоти.

Все барьеры, которые люди вокруг себя возводят, порождены именно страхом прикосновения. Они запираются в домах, куда никто больше не может войти, и только там чувствуют себя в относительной безопасности. Боязнь грабителей проистекает не только из беспокойства за имущество, это ужас перед рукой, внезапно хватающей из темноты. Его повсюду и всегда символизирует рука, превращенная в когтистую лапу. Многое из этого отразилось в двойственности смысла немецкого слова «angreifen». В нем одновременно подразумеваются и безвредное прикосновение, и опасная агрессия, и нечто от последней постоянно отражается в первом. Но в соответствующем существительном «Angriff», означающем атаку, нападение, выразился только дурной смысл слова.

Страх перед прикосновением не покидает нас даже на публике. Манера поведения в толпе на улице, в ресторане, в транспорте продиктована именно этим страхом. Даже

когда приходится стоять с кем-то совсем рядом, видеть и ощущать его вплотную, мы стараемся, насколько можно, избежать прикосновений. Если наоборот, значит, другой нам приятен, и инициатива сближения исходит от нас самих.

Быстрота, с какой следует извинение за случайное прикосновение, напряжение, с каким его ждут, резкая, иногда даже действенная реакция, если извинения не последовало, злоба и ненависть, которые изливаются на «обидчика», даже если неизвестно, точно ли он им является, — весь этот узел душевных реакций на прикосновение незнакомца доказывает, что здесь затронуто что-то очень глубокое, вечно бодрствующее и настороженное, что никогда не покидало человека с той поры, как он уяснил границы собственной личности. Даже сон, где человек гораздо беззащитнее, слишком легко нарушается такого рода страхом.

И только в массе человек может освободиться от страха перед прикосновением. Это единственная ситуация, где этот страх переходит в свою противоположность. Для этого нужна плотная масса, где тело прижато к телу, которая плотна также в своей душевной конституции, то есть такая, где человеку безразлично, кто на него «давит». Кто отдал себя на волю массы, не боится ее прикосновений. В идеальном случае в ней все равны. Различия не считаются, даже половые. Кто бы на тебя ни напирал, он такой же, как ты сам. Его ощущаешь как самого себя. Вдруг все оказывается происходящим как будто бы внутри одного тела. Вероятно, этим объясняется, почему масса всегда старается стать как можно плотнее: она хочет максимально подавить свойственный индивидууму страх перед прикосновением. Чем сильнее люди сжаты, тем более они чувствуют, что не боятся друг друга. Массе, следовательно, присуще обращение страха прикосновения. Облегчение, которое по ней распространяется и о котором мы еще будем говорить в другой связи, достигает исключительно высокой степени при ее наибольшей плотности.

ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ МАССЫ

Столь же загадочное, как и универсальное явление — внезапное возникновение массы там, где перед этим было пусто. Стояло пять, может, десять, может, двенадцать человек, никто ни о чем не объявлял, никто ничего не ждал — и вдруг все вокруг черно от людей. Люди текут отовсюду, кажется, все улицы стали с односторонним движением. Многие даже не знают, что случилось, спроси их — им нечего ответить, но и они спешат оказаться там же, где остальные. В их движении решимость, весьма отличная от обыкновенного любопытства. Они словно подталкивают друг друга в одном и том же направлении. Но к этому дело не сводится. У них есть цель. Она есть раньше, чем они в состоянии ее осознать, и цель эта — самое черное, то есть то место, где больше всего людей.

Об этой экстремальной форме спонтанной массы можно сказать многое. Там, где она возникает, то есть в подлинном своем ядре, она вовсе не так спонтанна, как это может показаться на первый взгляд. Но в остальном, если отвлечься от тех пяти, десяти или двенадцати, с кого она начинается, она действительно такова. Раз возникнув, она стремится стать больше. Жажда роста — это первое и высшее свойство массы. Она старается втянуть в себя каждого, кто в пределах ее досягаемости. Влиться в нее может каждый, кто выглядит человеком. Естественная масса — это открытая масса: ее росту вообще не положено предела. Домов, дверей, замков она не признает; те, кто замыкается, ей подозрительны. Открытость здесь можно понимать в любом возможном смысле, масса открыта всюду и во всех направлениях. Открытая масса существует, пока растет. Перестав расти, она начинает распадаться.

Масса распадается так же внезапно, как возникает. В этой спонтанной форме она крайне восприимчива. Открытость, обеспечивающая рост, — одновременно ее слабое

место. В ней постоянно живет предчувствие распада. Она старается его избежать благодаря быстрому росту. Пока это удастся, она втягивает в себя всех и вся; когда все втянуто, она должна распасться.

Противоположностью открытой массе, которая может расти до бесконечности, которая существует везде и именно поэтому привлекает всеобщий интерес, является закрытая масса.

Закрытая масса отказывается от роста и делает упор на структуру. Что в ней прежде всего бросается в глаза, так это граница. Она прочно обосновывается: ограничивая себя, она создает себе место. Пространство, которое она заполняет, именно для нее предназначено. Его можно сравнить с сосудом, куда наливают жидкость: заранее известно, сколько туда войдет. Внутри пространства есть специальные проходы, как угодно туда не попадешь. Граница внушает уважение. Она может быть из камня, из прочных глыб. Для ее преодоления может потребоваться акт приема в члены сообщества, может быть, придется платить за вход. Когда пространство заполнено, допуск прекращается. Даже если публика продолжает прибывать, главное — это плотная масса, пребывающая в закрытом пространстве; те, кто толпится снаружи, по сути дела, к ней не принадлежат.

Граница препятствует неупорядоченному приращению, но она же затрудняет и замедляет распад. Теряя в возможностях роста, масса приобретает в постоянстве. Она предохраняет себя от внешних воздействий, которые могут быть враждебными и опасными. Но особенно она рассчитывает на повторение. Благодаря перспективе нового собрания, масса каждый раз возрождается после распада. Помещение ждет ее, оно вообще ради нее и существует, и, пока оно есть, масса может собраться, как раньше. Это — ее пространство: даже если сейчас отлив, его пустота напоминает о времени прилива.

РАЗРЯДКА

Важнейший процесс, протекающий внутри массы, — разрядка. До момента разрядки массы практически не существует, лишь разрядка создает массу в подлинном смысле слова. Это момент, когда все, кто принадлежит к массе, освобождаются от различий и чувствуют себя равными.

Из различий особенно важны те, что характеризуют человека внешне, — различия звания, сословия и состояния. Человек как единичное существо их всегда осознает. Они давят на каждого, отделяя людей друг от друга. Человек занимает свое надежное безопасное место и при помощи правовых норм держит на расстоянии всех, кто к нему приближается. Он как ветряная мельница на просторной равнине. Отовсюду видно, как энергично крутятся лопасти, а между нею и следующей мельницей — только огромное пустое пространство. Вся жизнь складывается из дистанций: дом, где человек держит свое достояние и себя самого, положение, которое он занимает, звание, к которому стремится, — все служит созданию расстояний между людьми, их сохранению и увеличению. Свобода глубинного порыва от одного человека к другому подавляется. Побуждения и отклики иссякают как ручьи в пустыне. Никому нельзя слишком близко, никому — на тот же уровень. Жесткие иерархии, установившиеся в каждой области, никому не позволяют всерьез коснуться вышестоящего или снизить до нижестоящего, — разве что напоказ. В разных обществах баланс этих дистанций различен. Где-то упор делается на происхождение, где-то — на богатство, где-то — на род занятий.

Здесь не ставится задача изобразить эти иерархии в деталях. Важно, что они есть всюду, что всюду они глубоко внедрились в сознание и определяют человеческие контакты. Удовлетворение от того, что ты выше других по званию, не восполнит утраченной свободы порывов. В дистанциях человек закостенеет. Они как колодки, не дающие сдвинуться с места. Человек забывает, что заковал себя сам, и тос-

кует по освобождению. Но как освободиться в одиночку? Что бы он ни предпринял, на что бы ни решился, он все равно в окружении, и окружающие сведут на нет все его усилия. Пока они сохраняют дистанции, ему не стать им ближе.

Только все вместе, сразу и одновременно, могут ликвидировать эти дистанции. Что и происходит в массе. При разрядке все разделяющее отбрасывается, и все чувствуют себя равными. В тесноте, где ничто не разделяет, где тело прижато к телу, каждый близок другому как самому себе. Это миг облегчения. Ради этого мига счастья, когда каждый не больше и не лучше, чем другой, люди соединяются в массу.

Однако этот желанный и счастливый миг разрядки таит в себе одну опасность. В нем заключена фундаментальная иллюзия: почувствовав себя равными, люди не стали равными на самом деле и навсегда. Они вернутся в свои отдельные дома, лягут в свои постели. Они сохранят свое имущество и не откажутся от имен. Они не оттолкнут родных и не уйдут из семей. Только при обращениях глубочайшего свойства люди целиком обрывают старые связи и вступают в новые. Такие союзы, которые по природе своей могут включать только ограниченное число членов и жестко регулируют свой состав, я называю массовыми кристаллами. Об их функциях речь пойдет ниже. Масса же распадается. Она чувствует, что распадется. Она испытывает страх перед распадом. Она выживет, только если разрядка будет продолжаться, распространяясь на новых и новых примыкающих к массе индивидов. Лишь прирост массы не дает тем, кто к ней принадлежит, согнуться вновь — каждому под своим личным грузом.

МАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ

Часто говорят, что массе свойственна мания разрушения; действительно, это бросается в глаза в массовых процессах, происходящих в самых разных странах и культурах. Этот факт с неодобрением признан, но никем не разъяснен.

Охотней всего масса разрушает дома и предметы. Поскольку речь идет о хрупких предметах — стеклах, зеркалах, картинах, посуде, можно предположить, что именно их хрупкость и рождает в массе жажду разрушения. Верно, конечно, что звуки погрома — грохот бьющейся посуды, звон осколков — важны с точки зрения восторга, порождаемого разрушением: это как мощные звуки жизни нового существа, крики новорожденного. Их легко вызвать, что делает их особо желанными: как будто все кричит вместе с нами, грохот — это аплодисменты вещей. Особая потребность в таком шумовом эффекте возникает в самом начале событий, когда толпа еще мала и ничего или почти ничего еще не произошло. Грохот и треск пророчествуют о подкреплении, на которое все надеются, они — доброе благословение на предстоящие подвиги. Однако неправильно считать, что решающую роль играет легкость разрушения. Толпа бросается и на каменные изваяния, не успокаиваясь, пока не изуродует их до неузнаваемости. Христиане отбивали головы и руки греческим богам. Реформаторы и революционеры сбрасывали скульптурные изображения святых, часто рискуя собственной жизнью. Разрушаемый камень иногда был так тверд, что работу приходилось бросать не доделав.

Разрушение изваяний — это отрицание иерархий, которые отныне не признаются. Это покушение на установленные общезначимые дистанции. Твердость изваяний свидетельствовала об их постоянстве. Они стояли издавна, считается, они были всегда, гордые и неприступные, нельзя было даже приблизиться к ним с враждебным намерением. И вот они лежат в обломках. Это акт разрядки.

Но до этого доходит не всегда. Обычно разрушение — не что иное, как покушение на границы. Окна и двери принадлежат домам, это самые уязвимые части их отграниченности от всего, что вовне. С выбитыми окнами и высаженными дверьми дом теряет индивидуальность. Внутрь теперь зайдет кто угодно, обитатели ничем больше не защищены. Обыкновенно считается, что в домах скрываются люди, про-

тивопоставляющие себя массе, то есть ее враги. Теперь преграды пали. Их ничто больше не разделяет. Они могут выйти и присоединиться к массе. А можно их вытащить.

Но за этим стоит еще больше. Каждый ощущает, что, примкнув к массе, он переступил границы собственной личности, ликвидировал все дистанции, которые отбрасывали его назад — к себе самому, запирали его в себе. Сбросив груз дистанций, человек освобождается, и эта обретенная свобода есть свобода переступания границ. То, что он испытал, непременно должны испытать и другие, он ждет от них того же. Глиняный горшок возбуждает его потому, что он — граница. В доме его возбуждают запертые двери. Церемонии и ритуалы, все, что порождает дистанции, воспринимается им как невыносимая угроза. В эти заранее подготовленные сосуды должна быть загнана расчлененная масса. Она ненавидит свои будущие тюрьмы, что всегда были ее тюрьмами. Голой массе во всем чудится Бастилия.

Самое впечатляющее орудие разрушения — *огонь*. Он виден издали и притягателен как ничто другое. Он разрушает окончательно и бесповоротно. Из огня ничто не выйдет таким, как было. Поджигающая масса чувствует себя неотразимой. Все, охватываемое огнем, присоединяется к ней. Все враждебное гибнет в огне. Огонь, как это будет видно далее, — самый могучий символ массы. Как и она, совершив разрушение, он угасает.

ИЗВЕРЖЕНИЕ

Открытая масса — это и есть масса как таковая, свободно отдающаяся своему естественному стремлению к росту. Открытая масса не ощущает или не представляет, *насколько* велика она могла бы стать. Она не ограничена привычным помещением, которое должна заполнить. Меры ей не положено — она хочет расти до бесконечности; для этого ей

нужны только люди, больше и больше людей. Такая голая масса в основном и бросается всегда в глаза. Однако есть в ней что-то выходящее за рамки нормального и, поскольку она всегда распадается, не внушающее доверия. Может, вообще не следовало бы брать ее всерьез, если бы не постоянное увеличение численности населения и быстрый рост городов, создающие в наш современный век все больше возможностей для ее образования.

Закрытые массы прошлого, о которых еще пойдет речь ниже, все превратились в хорошо знакомые институты. Своеобразный душевный настрой, который ощущали их участники, казался чем-то естественным: ведь вместе они собрались для определенной цели — религиозной церемонии, праздника, военного похода, а цель, казалось, освящает настроение. Кто приходил к проповеди, разумеется, искренне верил, что все дело в проповеди, и очень удивился бы, а может, и возмутился, разъясни ему кто-нибудь, что величина аудитории возбуждает его больше, чем сама проповедь. Все правила и церемонии, свойственные этим институтам, были нацелены на *закрепление* массы: лучше надежная церковь, полная верующих, чем ненадежный целый мир. Благодаря равномерности служб, совершающихся в строго установленное время, точности воспроизведения знакомых ритуалов массе обеспечивалась возможность как бы пережить самое себя в прирученном состоянии. Это был эрзац удовлетворения потребностей более грубого и бурного характера.

Возможно, этих институтов хватило бы, если бы количество людей оставалось примерно тем же самым. Однако в города стекалось все больше и больше народу, численность населения в последние сто лет росла необычайно быстро, что привело к образованию новых огромных масс, и в такой ситуации никакое самое опытное и изощренное руководство не смогло бы это предотвратить.

Все нападки на устаревшие ритуалы, о которых сообщает история религии, — это протест массы, которая хочет ощутить свой рост, против навязываемых ей границ. Это и На-

горная проповедь из Нового Завета, совершающаяся под открытым небом на глазах тысяч людей, направленная, несомненно, против ограничивающего ритуализма официального Храма. Это и стремление павлинистского христианства высвободиться из родовых и фольклорных границ еврейства и стать универсальной верой человечества. Это и пренебрежительное отношение буддизма к кастовой системе тогдашней Индии.

Даже *внутренняя* история мировых религий богата событиями того же рода. Храм, церковь, каста всегда оказывались тесны. Крестовые походы вели к образованию масс такой величины, что их не смогло бы вместить ни одно церковное здание тогдашнего мира. Позже целые города стекались на представления флагеллантов, а они еще и путешествовали из города в город. Уэслианство возникло в XVIII в. именно благодаря проповедям под открытым небом. Уэсли хорошо понимал значение массы и даже делал в дневнике особые пометки о том, сколько народу слушало его на этот раз. Стремление вон из замкнутых помещений каждый раз означает, что масса хочет вновь предаться своей старой страсти — внезапному, быстрому и неограниченному росту.

Я называю *извержением* внезапный переход *закрытой* массы в *открытую*. Это очень частое явление, но не надо понимать его слишком пространственно. Иногда это и в самом деле выглядит так, будто масса изверглась из закрытого пространства, где до того томила, на улицы и площади и распространяется, втягивая в себя все и вся. Но гораздо важнее внутренний процесс, параллельный видимому извержению. Это внезапно возникающее недовольство массы собственной ограниченностью, будящее желание *присоединять*, решимость добраться до *всех* и каждого.

Со времен Французской революции эти извержения приобрели форму, которую мы воспринимаем как современную. Может быть, потому, что масса основательно очистилась от содержания традиционных религий, нам стало легче наблюдать ее в чистом, если угодно, биологически чистом виде, без тех трансцендентных смыслов и целей, кото-

рые раньше она позволяла в себя влить. История последних ста пятидесяти лет ознаменовалась резким увеличением числа извержений; это справедливо и по отношению к войнам, которые стали массовыми войнами. Масса уже не удовлетворяется благочестивыми обетами и обещаниями, она хочет испытать великое чувство собственной животной силы и страсти, используя для этого любые социальные претензии и поводы.

Масса никогда не насыщается — это ее главная черта. Она голодна, куда остается хоть один человек, ею не схваченный. Останется ли она голодной, вобрав в себя действительно *всех*, наверняка никто не скажет, хотя предположить это можно с достаточной уверенностью. В ее попытках *выжить* сквозит какое-то бессилие. Существует только одно средство, дающее надежду, — образование двойных масс, где одна масса тоскует по другой. Чем ближе они друг другу по интенсивности и мощи, тем дольше живут, соразмеряясь друг с другом.

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Одна из самых выдающихся характеристик жизни массы — то, что можно было бы назвать чувством преследуемости, — особенная гневная восприимчивость и раздражимость по отношению к тем, кто раз и навсегда записан ее врагом. Что бы они ни делали, как бы себя ни держали — грубо, вызывающе, пренебрежительно или, наоборот, уступчиво, приветливо, мило, — все равно масса решит, что за этим стоит злоба и изначальные дурные намерения, что враг хочет одного — открыто или коварно, изнутри ее уничтожить.

Чтобы объяснить это чувство вражды и преследования, надо вспомнить тот фундаментальный факт, что масса, раз возникнув, хочет стремительно расти. Силу и неукротимость этого роста невозможно преувеличить. Пока масса чувству-

ет, что растет, — скажем, при революционных процессах, зарождающихся в мелких, крайне напряженных массах, — она воспринимает все, что ей мешает, как преграды, возводимые специально, чтобы помешать ее росту. Ее может рассеять и разогнать полиция, но эффект будет лишь временным, как от руки, разгоняющей комаров. Она может быть атакована изнутри, когда поставлены под сомнение требования, приведшие к ее образованию. Тогда слабые отсеиваются, а те, кто собирался присоединиться, на полпути сворачивают назад.

Нападение на массу *извне* способно ее только укрепить. Насильственный разгон сплачивает ее сильнее, чем раньше. А вот нападение *изнутри* в самом деле опасно. Стачка, нацеленная на получение каких-то привилегий, на глазах разваливается. Нападение изнутри апеллирует к индивидуальным желаниям. Массой это воспринимается как подкуп, как «аморальность», ибо индивидуализм противоречит ее ясным и чистым основным принципам. Каждый, кто принадлежит массе, несет внутри себя маленького предателя, который хочет есть, пить, любить, вообще жить в покое. Если он эти свои частные желания удовлетворяет мимоходом, не делая из этого особой проблемы, то пусть так и остается. Но если он заговорит об этом вслух, его начинают ненавидеть и бояться. Ясно, что он поддался на вражескую пропаганду.

Масса похожа на осажденную крепость. Крепость осаждена двояко: враг стоит перед стенами и враг засел в подвалах. Когда битва началась, на подмогу спешат все новые сторонники и колотят в ворота, требуя входа; в подходящий момент просьбу удовлетворяют, но они лезут и через стены. Город быстро наполняется бойцами, и каждый из них вносит с собой маленького невидимого предателя, который поспешно исчезает в подземелье. Цель осады — остановить приток сторонников. Врагам снаружи стены нужнее, чем осажденным внутри. Именно осаждающие стараются построить их все выше. Они подкупают тех, кто спешит в город, а если не в силах их остановить, заботятся о том, чтобы со-

провожающие маленькие предатели по дороге накопили достаточно враждебности.

Свойственное массе чувство преследуемости есть не что иное, как это ощущение двоякой угрозы. Стены снаружи становятся все выше и выше, все больше и больше врагов скапливается в подвалах. Намерения врага ясны и очевидны, когда он трудится на стенах, но что замышляют те, кто сидит глубоко под землей?

Однако подобные образы всегда выражают только часть истины. Притекающие снаружи, стремящиеся в город — не только новые товарищи, подкрепление и поддержка, они также и *питание* массы. Масса, которая не прибавляет в весе, голодает. Есть средства, позволяющие переносить голод; особым мастерством в их изыскании отличаются религии. Далее будет показано, как мировым религиям удастся сохранять массы даже при отсутствии стремительного прироста.

ПРИРУЧЕНИЕ МАСС В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ

Религии с универсальными притязаниями, получив признание, быстро меняют акценты в своей пропаганде. Поначалу задача состоит в том, чтобы достичь и завоевать на свою сторону всех, кого только можно достичь и завоевать. Масса, которая рисуется им в воображении, — это универсальная масса: речь идет о каждой индивидуальной душе, и каждая душа должна принадлежать им. Однако борьба, в которую приходится при этом вступать, постепенно рождает скрытое уважение к противнику, чьи институты уже налицо. Они видят, как это трудно — выстоять. Все важнее им представляется наличие институтов, обеспечивающих единство и устойчивость. По примеру противника они делают все возможное, чтобы ввести у себя такие же; когда это удастся, центр тяжести постепенно перемещается на удержание достигнутого.

Большой удельный вес институтов, начинающих жить собственной жизнью, ведет к снижению накала первоначальной пропаганды. Церкви строятся так, чтобы вместить уже имеющихся верующих. К вопросу о строительстве новых подходят сдержанно и осмотрительно, судят, есть ли в том действительная надобность. Стремятся распределить имеющихся верующих по отдельным подразделениям. Именно потому, что их стало много, появилась тенденция к распаду и опасность распада, для нейтрализации которой нужна постоянная упорная работа.

Ощущение коварства массы заложено в крови мировых религий. Их собственная традиция, имеющая обязательный характер, учит, как внезапно и быстро распространились они сами. Истории массовых обращений кажутся чудом, таковы они и на самом деле. Но в раскольнических движениях, которых церкви страшатся и которые неистово преследуют, эти чудеса обращаются против них самих: раны от них, возникающие на собственном теле, болезненны и неизлечимы. То и другое — стремительное распространение на ранних стадиях и не менее стремительные расколы потом — не дает уснуть недоверию по отношению к массе.

Что им требуется, так это не масса, а ее противоположность — послушная *паства*. Они сравнивают верующих с овцами и хвалят за послушание. От важнейшего свойства массы, а именно — быстрого роста, религии полностью отказались, довольствуясь вместо этого фикцией равенства всех верующих (на чем, впрочем, не настаивают слишком сильно), определенной степени их близости (не переходящей, впрочем, известных границ) и определенностью направления. Цель они предпочитают поместить в очень большом отдалении — в потустороннем мире, куда человек не может попасть сразу, поскольку еще жив, и право на который нужно заслужить ценой больших усилий и унижений. Постепенно направление становится важнее цели. Чем цель отдаленнее, тем больше порядка требуется для движения к ней. На место

кажущегося неотъемлемым от массы принципа роста ставится нечто совсем иное — принцип *повторения*.

Верующих собирают в одних и тех же зданиях к одному и тому же часу и воздействуют на них посредством одних и тех же приемов, в результате чего они впадают в мягкое состояние массы, которое их возбуждает, не давая при этом перейти определенные границы, и делает возможным привыкание. Ощущение единства отпускается им маленькими *дозами*. От правильности дозировки зависит устойчивость церкви.

Если люди привыкли воспроизводить это четко отмеренное переживание в своих церквях и храмах, им уже без него не обойтись. Оно становится необходимым как пища и все прочее, из чего складывается существование. Внезапный запрет культа, преследование религии со стороны государства не может пройти без последствий. Сбой в старательно сбалансированных массовых процессах приводит через некоторое время к извержению *открытой* массы. Она располагает всеми элементарными свойствами, которые нам уже известны. Она стремительно распространяется во всех направлениях. В ней осуществляется настоящее, а не фиктивное равенство. Она по-новому и еще более интенсивно сплачивается. Она в мгновение ока отбрасывает ту далекую и трудно достижимую цель, в преданности которой ее воспитали, и ставит себе новую цель *здесь*, в непосредственной окрестности ее конкретной жизни.

Все внезапно запрещаемые религии мстят своего рода *обмирщением*. В неожиданной и мощной вспышке варварства полностью меняется характер их верований, причем самим верующим природа изменений непонятна. Они остаются при полном убеждении, что держатся старой веры, и думают только о том, чтобы не изменить ее глубочайшим принципам. На самом деле они стали в корне другими, их охватило острое и неповторимое ощущение открытой массы, в которую они вдруг превратились и отпасть от которой не согласятся ни за какую награду.

ПАНИКА

Паника в театре, как это часто отмечалось, представляет собой *распад* массы. Чем сильнее люди объединены представлением и чем изолированнее от улицы помещение театра, тем более бурно протекает распад.

Бывает, однако, что сам по себе спектакль не в состоянии соединить людей в массу. Представление не «захватывает», и зрители остаются вместе только потому, что они уже здесь. Но что не может сделать спектакль, то мгновенно делает *огонь*. Он не менее опасен для людей, чем для животных, — самый древний и могучий символ массы. Если в публике было хоть чуть-чуть массового чувства, то при появлении огня оно в один миг достигает кульминации. Одинаковая и очевидная для всех опасность порождает одинаковый для всех страх. На короткое время из публики рождается подлинная масса. Не будь это в театре, можно было бы удариться в бегство подобно стаду животных при виде опасности, и однонаправленность движения умножила бы энергию бегства. Активный массовый страх такого рода — великое коллективное переживание всех животных, ведущих стадную жизнь и, как хорошие бегуны, спасающихся вместе.

В театре, напротив, масса обречена на распад. Двери могут одновременно пропустить только одного или нескольких человек. Энергия бегства сама по себе преобразуется в энергию отталкивания. Проход между креслами рассчитан только на одного, все четко отделены друг от друга, каждый сидит сам по себе, стоит сам по себе, у каждого свое место. Расстояние до ближайшей двери для всех разное — для каждого свое. Нормальный театр рассчитан на то, что зрители удобно рассажены и им оставлена лишь свобода рук и голоса. Движение ног максимально ограничено.

Внезапный приказ бежать, отданный огнем, сразу наталкивается на невозможность совместного бегства. Каждый видит дверь, в которую ему нужно пройти, он видит в

ней себя отдельно от всех остальных, и эта дверь становится рамкой картины, кроме которой он ничего видеть не способен. Так масса, все еще на вершине своего переживания, вынуждена насильственно распасться. Превращение ярче всего сказывается в буйстве индивидуальных проявлений — каждый бьется за себя.

Чем яростнее человек борется за собственную жизнь, тем яснее становится, что он борется *против* остальных, мешающих ему со всех сторон. Они окружают его как стулья, барьеры, запертые двери, с тем только отличием, что сами борются против него. Они тащат его то в одну, то в другую сторону, куда им заблагорассудится, точнее, куда влечет их самих. На женщин, детей, стариков не обращают внимания, их не отличают от мужчин. Это — признак организации массы, где все равны, и, хотя человек не ощущает себя принадлежащим массе, она все равно охватывает его со всех сторон. Паника — это распад *массы в массу*. Отдельный человек здесь старается отпасть от массы и бежать от нее, угрожающей ему как целое. Но поскольку он физически внутри ее, приходится с ней сражаться. Отдаться ей было бы гибелью, ибо гибель грозит ей самой. В такие мгновения он не может не подчеркивать свою отдельность. Пинками и ударами он вызывает на себя пинки и удары. Чем больше он их раздает, тем больше получает, и тем отчетливее чувствует *себя*, тем яснее прочерчиваются границы его собственной персоны.

Любопытно заметить, как масса в глазах того, кто борется внутри ее самой, обретает характер огня. Она возникла из неожиданного отблеска пламени или крика «Пожар!»; как пламя, она играет с тем, кто хочет из нее ускользнуть. Он сталкивается с людьми как с горящими предметами, соприкосновение с которыми опасно, шарахается, что бы ни коснулось его тела. Все стоящие на пути как бы заражены огнем; сам способ, каким огонь распространяется, — вспыхивая то там, то тут, внезапно охватывая все вокруг, — похож на поведение массы, угрожающей человеку отовсюду. В ней все неожиданно: внезапно возникающие локти,

кулаки или ноги напоминают языки пламени, вырывающиеся в самых неожиданных местах. Огонь как лесной или степной пожар и *есть* враждебная масса; это ощущение дремлет в каждом человеке. Огонь как символ массы живет в каждом душевном обиходе и составляет его неизменную часть. Упорное затаптывание людей, которое часто случается при панике и кажется столь бессмысленным, есть на самом деле не что иное, как *затаптывание* огня.

Панику как распад можно предотвратить, продлив первоначальное состояние объединяющего массового страха. Так, в подожженной врагами церкви общий страх рождает коллективную молитву о том, чтобы всемогущий Бог вмешался и чудом истребил огонь.

МАССА КАК КОЛЬЦО

Вдвойне закрытую массу представляют собой люди, собравшиеся на *арене*. Стоит рассмотреть ее в этом любопытном качестве.

Снаружи арена четко ограничена. Она обычно видна отовсюду. Ее положение в городе, место, которое она занимает, общеизвестно. Каждый чувствует, где она находится, даже не думая о ней. Крики с нее разносятся далеко вокруг. Если она открыта сверху, разыгрывающаяся в ней жизнь сообщает нечто от себя всему окружающему городу.

Но как бы волнующи ни были эти сообщения, беспрепятственный доступ к арене невозможен. Число мест на охватывающих ее скамьях ограничено. Плотность размещения определяется целью. Места расположены так, чтобы люди не теснили друг друга. Они должны чувствовать себя удобно, все хорошо видеть, каждый со своего места и без помех.

Наружу, то есть городу, арена демонстрирует *безжизненную* стену. Вовнутрь она повернута стеной из людей. Все присутствующие сидят к городу *спиной*. Они изъяты из строения города, из его стен и улиц. Пока они пребывают на

арене, их не касается, что происходит в городе. Они оставили позади его жизнь, его связи, правила и привычки. На определенное время им гарантировано пребывание вместе в большой массе и обещано возбуждение, но с одним решающим условием: масса должна разрядиться *вовнутрь*.

Ряды расположены друг над другом, чтобы всем было видно происходящее внизу. В результате оказывается, что масса сидит против самой себя. Перед каждым тысячи людей, тысячи голов. Пока он здесь, все они тоже здесь. Что приводит в возбуждение его, возбуждает также и их, и он это *видит*. Они сидят в некотором отдалении от него, черты, которые их отличают и превращают в индивидуумов, стерты. Они все похожи и ведут себя похоже. Он замечает в них лишь то, чем в этот миг переполняется сам. Их видимое возбуждение усиливает его собственное.

Масса, таким образом демонстрирующая себе самое себя, ничем не разделена. Образованное ею кольцо замкнуто. Из него никому не ускользнуть. Круг захваченных зрелищем лиц, расположенных друг над другом, удивительно гомогенен. Он окружает и заключает в себя все, разыгрывающееся внизу. Он притягивает, не давая никому уйти. Любая дыра в кольце могла бы напомнить о распаде, о будущем разбегании. Но ее нет: масса замкнута двояким образом — наружу и в себе.

СВОЙСТВА МАССЫ

Прежде чем предпринять попытку *классификации* масс, стоит кратко резюмировать ее основные свойства. Мы выделили четыре главные характеристики.

1. *Масса всегда стремится расти*. Ее росту по природе не положено границ. Если границы ставятся искусственно, то есть путем создания институтов, применяемых для сохранения закрытых масс, то всегда существует опасность извержения массы, которое время от времени и происходит. Инструментов, которые навсегда и гарантированно предотвратили бы рост массы, не существует.

2. *Внутри массы господствует равенство.* Оно абсолютно и неоспоримо и самой массой никогда не ставится под вопрос. Оно фундаментально важно, настолько, что массовое состояние можно было бы определить именно как состояние абсолютного равенства. Голова — это голова и не более того, рука — это рука и не более того; то, что головы или руки могут быть разными, никого не интересует. Ради такого равенства люди и превращаются в массу. Все, что способно от этого отвлечь, не заслуживает внимания. Все требования справедливости, все теории равенства черпают свою энергию в конечном счете из переживания равенства, которое каждый по-своему знает по массовому чувству.

3. *Масса любит плотность.* Она никогда не может стать слишком тесной или слишком плотной. Не должно быть чего-то в промежутках между людьми, не должно вообще быть промежутков, по возможности все должно стать ею самой.

Ощущение наибольшей плотности она переживает в момент разрядки. Можно будет точнее определить и измерить эту плотность.

4. *Масса требует направления.* Она в движении и двигается по направлению к чему-то. Направление, общее для всех участников, усиливает ощущение равенства. Цель, которая лежит вне каждого отдельного индивида и для всех одна и та же, отменяет и уничтожает неравные частные цели, признание которых для массы смертельно. Для ее постоянства направление необходимо. Страх перед распадом, всегда бодрствующий в ней, позволяет направить ее к какой-либо цели. Масса существует, пока есть недостижимая цель. Но еще в ней имеются смутные тенденции движения, ведущие к образованию новых, более высокого порядка связей. Часто бывает невозможно предсказать природу этих связей.

Каждое из этих четырех выясненных свойств может присутствовать в массе в большей или меньшей мере. В зависимости от того, на каком из них сосредоточить внимание, можно получить разные *классификации* массы. Когда речь шла об открытой и закрытой массах, было объяснено, что

это разделение основывается на признаке *роста* массы. Если рост не встречает препятствий, масса открыта, если рост ограничивается, она закрыта.

Другое разделение, о котором предстоит узнать, это разделение между ритмической и замершей массаами. Оно основывается на двух следующих качествах — *на равенстве и плотности*, и даже на обоих вместе.

Замершая масса стоит непосредственно перед разрядкой. Она в ней уверена и поэтому старается, насколько можно, замедлить ее приход. Ей хочется растянуть период максимальной плотности, чтобы подготовиться к мгновению разрядки. Можно было бы сказать, что она разогревает себя, оттягивая разрядку. Массовый процесс здесь начинается не с равенства, а с плотности. Равенство же становится главной целью такой массы: в него она в конечном счете изливается, и тогда о нем свидетельствует каждый общий крик, каждое общее движение.

В *ритмической* массе, наоборот, плотность и равенство с самого начала совпадают. Здесь все связано с движением. Жадно алкаемое телесное возбуждение реализуется в танце. Расхождения и новые сближения как бы сознательно провоцируют и искушают массу, испытывая ее плотность. Равенство демонстрирует себя в ритме. Эти инсценировки плотности и равенства искусственно вызывают массовое чувство. Ритмические структуры молниеносно возникают и изменяются, и только физическое изнеможение кладет этому конец.

Следующая пара понятий — *медленная* и *быстрая* массы, различия которых основаны исключительно на специфике их целей. Бросающиеся в глаза массы, представляющие собой важную часть современной жизни, то есть политические, спортивные, военные массы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, все *быстры*. От них весьма отличаются религиозные массы *потустороннего мира* или массы *паломников*: цель их далека, путь долог, и подлинная масса возникнет где-то в дальней стране или в царствии небес-

ном. Мы можем наблюдать, по существу, лишь притоки этих медленных масс, конечные же состояния, к которым они стремятся, *невидимы* и для неверующих недостижимы. Медленная масса собирается очень медленно и видит себя принявшей некоторый конкретный облик только в отдаленной перспективе.

Все эти формы, сущность которых здесь лишь кратко обозначена, требуют более детального рассмотрения.

РИТМ

Ритм — изначально ритм ударов ног. Человек ходит, а так как ходит он всегда на двух ногах, попеременно ударяя ими о землю, то стоит лишь ему двинуться, как удары повторяются, и возникает, преднамеренно или нет, ритмический шум. Обе ноги никогда не ступают с одинаковой силой. Различие может быть большим или меньшим в зависимости от конституции человека или от настроения. Можно пойти быстрее или медленнее, побежать, вдруг остановиться или прыгнуть.

Человек всегда прислушивался к шагам других людей, они интересовали его, конечно, больше, чем свои собственные. Животные также имеют свою излюбленную походку. Многие из их ритмов богаче и вытнее, чем у человека. Стада копытных мчались от него, как полки при звуках барабанов. Знание животных, которые его окружали, ему угрожали, на которых он охотился, было древнейшим знанием человека. Он знакомился с ними по ритму их движения. Древнейшим письмом, которое он сумел прочесть, были *следы* — род ритмической нотной записи, данный изначально; она сама по себе впечатывалась в мягкую почву, и человек, читая ее, связывал с ней звук ее возникновения.

Иногда следы появлялись в огромном множестве на тесном пространстве. Люди, которые сначала жили маленьки-

ми ордами, даже спокойно наблюдая эти следы, могли осознавать контраст между собственной малочисленностью и неисчислимостью стад животных. Они были голодны и всегда искали добычу; чем больше добычи, тем лучше. Но им хотелось, чтобы их самих стало *больше*. В людях всегда сильно было желание собственного умножения. Под этим нельзя понимать только то, что недостаточно точно именуют инстинктом размножения. Люди хотели, чтобы их стало больше прямо сейчас, на этом самом месте, в это самое мгновение. Многочисленность стада, на которое они охотились, и их собственная численность, которую они страстно желали увеличить, особым образом сливались в их ощущении, что выражалось в определенном состоянии совместного возбуждения, которое я называю *ритмической* или *вздрагивающей* массой.

Средством к ее образованию был в самую первую очередь ритм ног. Где идут многие, идут и другие. Шаги наслаиваются в быстром повторении на другие шаги, имитируя движение большого числа людей. Танцующие не сходят с площадки, упорно воспроизводя тот же ритм на том же месте. Танец не ослабевает, сохраняя ту же громкость и живость, что и в начале. Чем меньше танцующих, тем выше темп и громче удары. Чем сильнее они топают, тем их кажется больше. На всех в округе танец действует с притягательной силой, не ослабевающей все время, пока он длится. Кто живет в пределах слышимости, присоединяется к танцующим. Было бы естественно, если бы со всех сторон притекали все новые люди. Но поскольку очень скоро никого вокруг не остается, танцующим приходится изображать прирост как бы из самих себя, из собственного ограниченного количества. Они топают так, будто их становится больше и больше. Возбуждение растет и скоро переходит в неистовство.

Но как они возмещают невозможность реального прироста? Прежде всего важно, что все делают одно и то же. Каждый топает, и все одинаково. Каждый взмахивает рукой, и каждый дергает головой, и все — одновременно. Равноценность участников *разветвляется* на равноценность

их конечностей. То, что движется у человека, обретает собственную жизнь, каждая рука и каждая нога начинает жить сама по себе. Но одинаковые члены связаны единым ритмом. Они рядом и соприкасаются. К их одинаковости добавляется плотность, равенство и плотность соединяются в одно. В конце концов танцует единое существо о пятидесяти головах, сотне рук и сотне ног, двигающихся все как одна в одном и том же порыве.

На высшей ступени возбуждения они действительно чувствуют себя одним, и побеждает их только физическое изнеможение.

Все вздрагивающие массы именно благодаря господствующему в них ритму имеют между собой нечто общее. Сообщение, в котором наглядно изображен только *один* из таких танцев, пришло из первой трети предыдущего столетия. Речь идет о *хака*, когда-то военном танце новозеландского племени *маори*.

«Маори образовали длинную змею в четыре человека шириной. Танец, называемый *хака*, должен был каждого, кто видит его впервые, наполнить страхом и содроганием. Все участники — мужчины и женщины, свободные и рабы — стояли вперемешку, независимо от положения, которое они занимали в общине. Мужчины были совершенно голыми за исключением патронташей, накрученных вокруг тела. Все вооружены охотничьими ружьями или штыками, привязанными к концам копий и палок. Молодые женщины и даже жены танцевали с обнаженной верхней половиной тела.

Ритм пения, сопровождавшего танец, соблюдался очень строго. Все танцующие вдруг подпрыгивали вертикально вверх, все в одно и то же мгновение, будто бы всеми ими повелевала *единая* воля. В то же мгновение они взмахивали оружием и изображали гримасу на лице, так что с длинными волосами, которые у них часто носят не только женщины, но и мужчины, они походили на войско Горгоны. Приземляясь, они громко ударяли одновременно обеими ногами о землю. Эти прыжки повторялись все чаще и быстрее.

Черты их кривились и искажались, насколько это могла позволить лицевая мускулатура; каждая новая маска точно воспроизводилась всеми участниками. Когда один скручивал свое лицо винтообразной гримасой, остальные немедленно подражали ему. Они вращали глазами так, что видны оставались только белки, и казалось, будто глаза сейчас вывалятся из глазниц. Рты распяливались до самых ушей. Все разом они высовывали языки так далеко, что европейцу никогда не удалось бы это воспроизвести; такое достигается долгими упражнениями с малых лет. Лица их представляли собой ужасную картину, и было облегчением отвести от них взгляд.

Каждый член каждого из тел действовал сам по себе — пальцы рук и ног, глаза и языки, так же как руки и ноги, казалось, танцевали по отдельности. Плоской ладонью танцующие громко ударяли себя по левой стороне груди или по бедру. Оглушительно звучало пение. Танцевали 350 человек. Можно себе представить, как воздействовал этот танец во время войны, как он поднимал отвагу и возбуждал ненависть противников друг к другу».

Вращение глаз и высовывание языка — знаки упрямства и вызова. И хотя война в основном дело мужчин, и свободных мужчин, неистовству хака предавались *все*. Масса здесь не знает различий пола, возраста или положения, все ведут себя одинаково. Что, однако, отличает этот танец от других, исполняемых с той же целью, так это необычайная *разветвленность* равенства. Каждое тело будто разложено на отдельные части, не только на руки и ноги — такое бывает часто, — но на пальцы рук, ног, языки и глаза, и все языки производят вместе и в один и тот же момент одно и то же действие. Вдруг все пальцы ног, все глаза делают одно и то же. Люди уравнины вплоть до мельчайших своих членов и захвачены все накаляющимся действием. Вид трехсот пятидесяти человек, одновременно выкатывающих языки, одновременно вращающих глазами, должен вызывать ощущение непреодолимого единства. Сплоченность здесь — не просто сплоченность людей, но и сплоченность их отдельных членов. Можно было

бы себе представить, что эти языки и пальцы, если бы они не принадлежали людям, могли бы сами по себе вместе действовать и сражаться. Ритм как бы пробуждает к жизни каждое из этих равенств по отдельности. В своем совместном нарастании они необоримы.

Ибо танец предполагает, что его видит, что на него смотрит враг. Хака выражает интенсивность коллективной угрозы. Но с тех пор как танец возник, он превратился в нечто большее. Его заучивают сызмала, он распался на множество форм и исполняется по всем возможным поводам. Многим путешественникам оказывали честь, исполняя хака. Именно этому поводу мы обязаны приводимым сообщением. Дружественные армии, встречаясь, приветствуют друг друга хака; при этом он исполняется с таким рвением, что наивный наблюдатель думает, что вот-вот разразится страшная битва. При похоронах знатного вождя, когда минуют фазы оплакивания и нанесения себе ран, как это принято у маори, после изобильной торжественной трапезы все вдруг вскакивают, хватают ружья и выстраиваются для хака.

В этом танце, где могут участвовать все, род воспринимает себя как масса. Род сам помогает себе, как только возникает в этом потребность, почувствовать себя массой и явиться ею перед другими. В достигнутом им ритмическом совершенстве полностью осуществляется эта цель. Благодаря хака его единству изнутри ничто не угрожает.

ЗАДЕРЖКА

Замершая масса тесно сплочена, действительно свободное движение кажется в ней невозможным. В ее состоянии есть что-то пассивное; замершая масса *ждет*. Она ждет отрубленную голову, которую ей покажут, слова, с которым к ней обратятся, или исхода состязания. Роль *плотности* здесь особенно важна: давление, воспринимаемое со всех сторон, поз-

воляет каждому из присутствующих стать мерой силы всего образования, часть которого он составляет. Чем больше собирается людей, тем сильнее давление. Некуда втиснуть ногу, руки прижаты к телу, свободны только головы, чтобы видеть и слышать; тела непосредственно передают возбуждение друг другу. Каждый сразу ощущает своим телом многих людей вокруг. Он знает, что их много, но, поскольку они так тесно спрессованы, он воспринимает их как одно. Такого рода плотность может позволить себе помедлить; ее воздействие в течение известного времени остается постоянным; она аморфна, не подчиняется привычному заученному ритму. Очень долго ничего не происходит, но напряжение поднимается, как вода в запруде, и тем мощнее в конце концов разражающийся взрыв.

Терпеливость замершей массы будет не так удивительна, если подлинно представить себе, что значит для массы это чувство плотности. Чем она плотнее, тем больше новых людей притягивает. Плотность свидетельствует о том, что ей *недостает* численности, но плотность есть также побудитель дальнейшего роста. Самая плотная масса растет быстрее всего. Задержка перед разрядкой есть демонстрация этой плотности. Чем дольше она медлит, тем дольше ощущает и показывает свою плотность.

С точки зрения каждого отдельного человека, из которых складывается масса, задержка — это пауза удивления: отложены в сторону оружие и жала, которыми в нормальное время люди ошетилены друг на друга; все прижаты друг к другу, но никто никого не стесняет, прикосновения ни в ком не рожают страха. Прежде чем двинуться в путь — не важно куда, — все хотят увериться, что остаются вместе. Это период срастания, когда нужно избегать раздражающих моментов. Замершая масса еще не совсем уверена в своем единстве, поэтому сколь можно долго старается оставаться неподвижной.

Но это терпение не безгранично. Разрядка в конечном счете неизбежна, без нее вообще нельзя сказать, существу-

ет ли масса на самом деле. Единый вопль многих глоток, который раньше раздавался при публичных казнях, когда палач подымал над толпой отрубленную голову злодея, а теперь раздается на спортивных состязаниях, — это *голос* массы. Очень важен его спонтанный характер. Заученные и через определенные промежутки времени воспроизводимые выкрики еще не свидетельствуют о том, что масса зажила собственной жизнью. Они могут, конечно, к этому вести, но могут также иметь чисто внешний характер, как заученные движения вымуштрованного войска. Напротив, спонтанный, для самой массы неожиданный вопль не позволяет ошибиться, воздействие его огромно. В нем могут выражаться аффекты любого рода; часто дело не столько в том, о каких аффектах речь, сколько в их интенсивности, глубине, свободе проявления. Именно они задают массе ее душевные координаты.

Впрочем, их воздействие может быть настолько мощным и концентрированным, что в мгновение ока *разрывает* массу. Такой эффект имеют публичные казни. Одну и ту же жертву можно убить только один раз. Ну а если речь идет о том, кто до сих пор слыл неуязвимым, то в возможности покончить с ним сомневаются до последнего мгновения. Такое сомнение еще больше усиливает естественное торможение массы. Тем неожиданнее и острее действует вид отрубленной головы. Вопль, который за этим последует, будет ужасен, но это будет последний вопль этой конкретной массы. Можно поэтому сказать, что в данном случае за избыток трепетного ожидания, которым она насладилась в высшей мере, масса заплатила собственной мгновенной смертью.

Наши современные спортивные состязания более целесообразны. Зрители могут *сидеть*; общее нетерпение становится видимым для каждого из них. У них достаточно свободы ног, чтобы топтать, оставаясь при этом на собственном месте. У них свободны руки, чтобы хлопать. Для состязания выделен определенный промежуток времени; обычно нет оснований полагать, что он может быть сокращен; по крайней мере в это время все определено будут вместе. Ну

а в течение этого времени все может произойти. Нельзя знать заранее, будут ли, а если будут, то когда и чьи, поражены ворота; кроме этих главных страстно ожидаемых событий, будет много других, ведущих к взрывам страстей. Голос массы звучит часто и по разным поводам. Но расставание, окончательный распад в силу его временной предопределенности оказывается не столь болезненным. К тому же побежденные имеют возможность реванша, для них не все закончено раз и навсегда. После этого масса имеет возможность в самом деле широко растечься, сначала толпясь у выходов, потом сидя на скамейках, раздражаясь криками в подходящий момент и, когда все уже на самом деле миновало, в надежде на такие моменты в будущем.

Замершая масса гораздо более пассивного рода образуется в *театрах*. Идеальный случай — это когда играют при полном зале. С самого начала налицо нужное число зрителей. Они собрались здесь по собственному желанию; за исключением небольших очередей у касс, где им пришлось встретиться, они проделали дорогу поодиночке. Их проводили на места. Все известно заранее: исполняемая пьеса, актеры-исполнители, время начала и даже сами зрители на своих местах. Опоздавших встречают с легкой враждебностью. Люди сидят как выровненное по линейке стадо, тихо и необычайно терпеливо. Но при этом каждый сознает свое отдельное существование: он высчитал и точно отметил, кто сидит возле него. До начала он спокойно созерцает ряды собравшихся голов: они пробуждают в нем приятное, но еще не острое ощущение плотности. Равенство между зрителями заключается, собственно, лишь в том, что они ловят одно и то же доносящееся со сцены. Но их спонтанная реакция поставлена в тесные рамки. Даже аплодисменты должны звучать в предписанный момент, и хлопают, как правило, тогда, когда нужно хлопать. Только лишь по силе аплодисментов можно судить, насколько люди стали массой, — это единственная мерка; точно так же это оценивают и актеры.

Задержка в театре уже настолько превратилась в ритуал, что воспринимается поверхностно, как мягкое давление из-

вне, не задевающее глубоко и вряд ли дарующее чувство внутренней общности и совместной принадлежности чему-то. Но не следует забывать, как велико и как объединяет *ожидание*, наполняющее зрителей перед началом и держащееся весь спектакль. Очень редко зритель уходит из зала до конца спектакля, даже если он разочарован, все равно сидит и чего-то ждет; значит, все до конца остаются вместе.

Противоположность между тишиной зрительного зала и громкостью воздействующего на них аппарата еще более бросается в глаза в *концертах*. Здесь ничто не должно мешать исполнению. Двигаться нежелательно, издавать звуки не разрешается. Хотя музыка по большей части живет ритмом, ритмическое воздействие на зрителя не должно проявляться. Музыка пробуждает непрерывную череду разнообразнейших, интенсивно переживаемых аффектов. Невозможно, чтобы они не ощущались большинством присутствующих, невозможно, чтобы они не ощущались ими *одновременно*. Однако все внешние реакции подавлены. Люди сидят так неподвижно, будто им удалось справиться с задачей *ничего* не слышать. Ясно, что здесь нужно было долгое искусное воспитание способности задержки, плоды которого нам уже привычны. Потому что, если судить непредвзято, трудно найти в нашей культурной жизни другое столь же удивительное явление, как концертная публика. Люди, которые отдаются *естественному* воздействию музыки, ведут себя совершенно иначе; те же, кто вообще никогда не слышал музыки, переживая ее впервые, могут впасть в невероятное возбуждение. Когда высадившиеся в Тасмании матросы в присутствии туземцев исполняли «Марсельезу», те выражали свой восторг необычайным вращением тел и такой удивительной жестикуляцией, что матросов трясло от смеха. Один туземный юноша так воодушевился, что рвал на себе волосы и царапал голову, испуская при этом громкие вопли.

Жалкий остаток телесной разрядки сохранился и в наших концертных залах. Шквал аплодисментов выражает благодарность исполнителю — хаотический краткий шум в

ответ на строго организованный долгий. Люди расходятся поодиночке, тихо, как сидели, как будто бы после церковной службы.

Именно отсюда ведет свое происхождение тишина концертов. *Совместное стояние* перед Богом — практика, принятая во многих религиях. Для него характерны те же черты задержки, что наблюдаются в секулярных массах, и оно может вести к таким же внезапным и бурным разрядам.

Пожалуй, самое впечатляющее здесь — это знаменитое *стояние на Арафате*, кульминация паломничества в Мекку. На Арафатской равнине, в нескольких часах ходу от Мекки в особый, предписанный ритуалом день собираются 600—700 тысяч паломников. Они скапливаются вокруг «горы Милосердия» — лысого холма, расположенного посередине долины. Около двух часов пополудни, в самое жаркое время, паломники встают на ноги и стоят до самого захода солнца. Они стоят с обнаженными головами, в белых паломнических одеяниях, со страстным напряжением вслушиваясь в слова проповедника, обращающегося к ним с вершины горы. Речь его — непрерывная хвала Богу. Они отвечают тысячекратно повторяемой формулой: «Мы ждем Твоих приказов, Господин, мы ждем Твоих приказов!» Кто-то рыдает от возбуждения, кто-то бьет себя в грудь. Некоторые от страшной жары падают в обморок. Но главное, они выстаивают эти долгие раскаленные часы на священной равнине. Лишь при закате солнца будет дан знак расходиться.

То, что происходит после, — одно из самых загадочных явлений религиозной обрядности. Мы обсудим это позже в другой связи. Здесь нас интересует только многочасовой *момент задержки*. Сотни тысяч людей в нарастающем возбуждении остановились на Арафатской равнине и не могут, что бы с ними ни произошло, покинуть эту последнюю остановку на пути к Аллаху. Они вместе сюда явились и вместе получают сигнал разойтись. Они разжигаются проповедью и выкриками разжигают себя сами. В выкрикиваемой фразе есть «ждем», и это «ждем» возвращается снова и снова. Солн-

це, которое почти не движется, погружает всех в один и тот же сверкающий блеск, в один и тот же печной жар; оно могло бы служить *воплощением* задержки.

Замереть можно по-разному, как, например, замирают религиозные массы, но высшая из вообще достижимых степеней пассивности навязывается массе насильственно извне. В *битве* друг на друга идут две массы, каждая из которых хочет быть сильнее, чем другая. Боевыми криками они стремятся доказать как врагам, так и *себе* самим, что они действительно сильнее. Цель битвы в том, чтобы принудить другую сторону к молчанию. Когда сражены все враги, гром их слившихся воедино голосов — угроза, которая действительно была ужасной, — смолк навсегда. Самая тихая масса — *мертвые враги*. Чем они были опаснее, тем приятнее видеть их сваленными бездвижной горой. Это своеобразная страсть: переживать их вот такими — беззащитными, всех вместе. Ибо вместе они набрасывались, вместе выкрикивали свои угрозы. Эта *успокоенная масса* мертвых в давние времена ни в коем случае не воспринималась как безжизненная. Предполагалось, что вместе они продолжают где-то жить на свой особый манер, и жизнь эта, по сути, похожа на ту, которую они вели здесь. Так что враги, лежащие в виде нагромождения трупов, представляли для наблюдателя крайний случай замершей массы.

Однако и это представление можно усилить. На место павших врагов могут стать *все мертвые*, лежащие в общей земле и ожидающие воскрешения. Каждый умерший и погребенный увеличивает их число: все, когда бы они ни жили, принадлежат этому множеству, оно бесконечно велико. Связующая их земля обеспечивает плотность, и поэтому, хотя они лежат поодиночке, возникает ощущение, что они находятся вплотную друг к другу. Они будут так лежать бесконечно долго, до дня Страшного Суда. Их жизнь задержана до мига Воскрешения, и этот миг совпадет с мигом их собрания перед Господом, который будет их судить. И в промежутке ничего нет: массой они лежат, массой восстанут

вновь. Не найти более замечательного примера для доказательства реальности и значимости замершей массы, чем идея Воскрешения и Страшного Суда.

МЕДЛЕННОСТЬ ИЛИ УДАЛЕННОСТЬ ЦЕЛИ

Медленной массе свойственна *удаленность* цели. Она движется с необычайным постоянством к незыблемой цели и все время пути остается единой и сплоченной. Путь далек, препятствия в пути неизвестны, со всех сторон грозит опасность. Разрядка не позволена, пока не достигнута цель.

Медленная масса имеет форму шествия. Она может с самого начала включать в себя тех, кто составляет массу, как при исходе детей израилевых из Египта. Цель ее — земля обетованная, и они остаются массой, пока верят в эту цель. История их странствий есть история этой веры. Иногда трудности настолько велики, что они начинают сомневаться. Они испытывают голод и жажду и, когда начинают роптать, возникает угроза распада. Снова и снова их предводитель пытается восстановить веру. Снова и снова ему это удается, а если не ему, то врагам, со стороны которых они чувствуют угрозу. История странствий, растянувшихся на сорок лет, содержит много примеров внезапного и бурного образования единичных масс, о чем при случае нужно будет еще многое сказать. Однако все они подчинены всеохватному образу одной-единой медленной массы, движущейся к обетованной цели, к обещанной ей земле. Взрослые стареют и умирают, рождаются и вырастают дети, но, хотя составляющие ее единицы меняются, караван остается тем же самым. К нему не примыкают новые группы. С самого начала определено, кто в него входит, то есть кто имеет право на обетованную землю. Поскольку эта масса не может скачкообразно возрастать, то все ее странствие сопровождается одним кардинальным вопросом: как ей удастся не *распасться*?

Другую форму медленной массы можно сравнить скорее с системой рек. Она начинается с маленьких ручьев, которые постепенно сливаются; в возникшую реку впадают со всех сторон другие реки; возникает, если еще достаточно пространства земли, мощный поток, цель которого — море. Ежегодное паломничество в Мекку — пожалуй, самый впечатляющий пример такого рода медленной массы. Из самых отдаленных частей исламского мира выходят караваны паломников, движущиеся в направлении Мекки. Некоторые сначала очень малы, другие, роскошно снаряженные князьями, являются гордостью тех стран, откуда вышли. Все они в дороге соединяются с другими караванами, идущими к той же цели, растут и растут, и вблизи цели уже напоминают мощные потоки. Мекка — море, в которое они впадают.

Такого рода паломничество предполагает, что остается простор для самых обычных переживаний, не имеющих ничего общего с самим смыслом путешествия. Человек живет своим обычным днем, глаза по сторонам, дерется с попутчиками, он чаще всего беден, должен заботиться о пропитании. Такая жизнь в чужом краю, да еще в постоянно меняющемся чужом краю, таит в себе гораздо больше опасностей, чем дома. Это не только опасности, связанные с целью предприятия. Паломники ведь люди, живущие по отдельности и для самих себя, как все и повсюду в мире. Но куда они верны своей цели, — а таково большинство из них, — они остаются частью медленной массы, которая, как бы они ни вели себя по отношению к ней, существует и будет существовать, пока не достигнет цели.

Третью форму медленной массы представляют собой такие образования, которые ориентированы на невидимую и в этой жизни недостижимую цель. Потусторонний мир, где блаженные святые ожидают тех, кто заслужил право к ним присоединиться, — это четко поставленная цель, доступная только верующим. Они видят ее перед собой ясно и определенно, не довольствуясь смутным символом. Жизнь — это как паломничество в иной мир: между человеком и иным

миром лежит смерть. Путь неясен в деталях и с трудом охватывается взглядом. Многие на нем заблудились и пропали. И все же надежда на потустороннее блаженство так сильно окрашивает жизнь верующих, что по праву можно говорить о медленной массе, к которой принадлежат все приверженцы одной веры. Так как они не знают друг друга и рассеяны по многим городам и странам, анонимность этой массы особенно впечатляет.

Но как, однако, это выглядит *изнутри*, и чем медленная масса больше всего отличается от *быстрых* ее форм?

Медленной массе запрещена *разрядка*. Можно было бы сказать, что это ее важнейший опознавательный знак, и говорить поэтому вместо медленных о безразрядных массах. Но следует все же предпочесть первое название, ибо нельзя сказать, что в разрядке отказано совсем. Она всегда предполагается в представлении о конечной цели. Она лишь отодвинута в далекое будущее. Там, где цель, там и разрядка. Всегда налицо сильное ее предчувствие, гарантирована же она в самом конце.

В медленной массе поставлена цель *затянуть* процесс, ведущий к разрядке, на возможно более долгий срок. Мировые религии стали особенными мастерами такого затягивания. Их главная задача — сохранить завоеванных приверженцев. Чтобы сохранить их и завоевать новых, нужно время от времени собираться вместе. Если на этих собраниях происходят бурные разрядки, они должны повторяться, каждый раз превосходя прежние по интенсивности. Во всяком случае, регулярное повторение разрядки необходимо, чтобы сохранить единство верующих. Что происходит во время этих разрядок ритмических масс, по причине дальности расстояний трудно выяснить и проконтролировать. Поэтому главной проблемой универсальных религий становится контроль над своими верующими на больших пространствах Земли. Контролировать их можно только путем сознательного *замедления* массовых процессов. Отдаленные цели приобретают бóльшую значимость, близкие теряют в

весе, в конце концов лишаясь вообще всякой ценности. Земная разрядка преходяща, та же, что обещана в ином мире, постоянна.

Разрядка и цель, таким образом, совпадают, цель же здесь неуязвима и несокрушима. Обетованную землю могут занять и опустошить враги, а народ, которому она обещана, может быть из нее изгнан. Мекка была захвачена и разграблена сарматами, вывезшими священный камень Каабы. Много лет паломничество было невозможно.

Потусторонний же мир с его блаженными заколдован от таких набегов. Он живет лишь в вере и лишь верующим доступен. Распад медленной массы христианства окажется инициированным в то мгновение, как начнет разлагаться вера в потустороннее.

НЕВИДИМЫЕ МАССЫ

На всей Земле, где только селится человек, имеются представления о *невидимых мертвых*. Это, пожалуй, древнейшие представления человечества. Нет такого племени, клана или народа, которые не предавались бы долгим размышлениям о своих мертвых. Человек был ими одержим, они играли необычайно важные роли, их воздействие на живых составляло огромную часть самой жизни.

Считалось, что мертвые живут вместе, как и люди, и что их очень, очень много. «Древние *бечуана*, как и другие туземцы Южной Африки, верили, что пространство полнится духами их предков. Земля, воздух и небо полны духов, которые, если захотят, могут причинить зло живущим». «*Болокис* Конго верят, что они окружены духами, которые только и ищут предлога, чтобы придрататься к живым, днем и ночью стараются им навредить. Реки и ручьи наполнены духами предков. Они живут также в лесу и буше. Для путешественников на суше или на воде, спешащих к ночи домой,

духи представляют крайнюю опасность. Никто не решится пойти ночью через лес, разделяющий две деревни. Такого храбреца не найти даже за большие деньги. Все говорят, что в лесу слишком много духов».

Считают, что мертвые поселяются вместе где-то в далекой стране, или под землей, или на острове, или в небесном доме. Как говорится в одной из песен *пигмеев* Габона:

«Ворота пещеры заперты. Души мертвых носятся там стаями, как рой мошек, танцующие по вечерам. Как рой мошек, когда чернеет ночь и исчезает солнце, как кружение мертвых листьев в завывающей буре».

Но мало того что мертвых становится все больше и масса их делается все плотнее. Они еще и в движении, в постоянной совместной деятельности. Для нормальных людей они невидимы, но есть люди, обладающие особым даром: *шаманы*, знающие заговоры, умеющие командовать духами и использовать их для своих целей. У сибирских *чукчей* «каждый хороший шаман располагает легионом духов-помощников; когда он их зовет, духи являются огромными толпами и окружают маленькую палатку из овечьих шкур, где происходит колдовство, как стеною, со всех сторон».

Шаманы *рассказывают*, что они видят. «Голосом, дрожащим от напряжения, шаман возгласил на весь чум:

«Небесный простор полон голых существ, мчащихся по воздуху. Это — люди, голые мужчины и голые женщины летят, нагоняя бурю и вьюгу.

Слышите их свист? Шум, будто в небе бьют крыльями стаи огромных птиц? Это ужас и бегство голых людей! Духи воздуха раздувают бурю, гонят вьюгу над землей!»

Этот великолепный образ несущихся по небу голых духов происходит от *эскимосов*.

Некоторые народы представляют себе всех своих мертвых или определенную их часть как сражающееся войско. У *кельтов* Шотландского нагорья войско мертвых обозначалось особым словом: *sluagh*. Оно переводится на английский как «spirit-multitude», то есть «дух-множество». Это

войско духов носится большим облаком вверх и вниз над землей, как будто стая скворцов. Они всегда возвращаются на места их земных грехов. Отравленными стрелами, которые не знают промаха, они поражают скот и домашних животных. Там, в воздухе, они сражаются в битвах, как люди на земле. Ясными морозными ночами можно слышать и видеть, как соперничающие дружины наступают, отходят, вновь бросаются в атаку. После битвы их кровь окрашивает скалы и камни в красный цвет. Слово *gairm* означает «крик, клич», а *sluagh-gairm* — боевой клич мертвых. Отсюда позднее возникло слово *slogan*, означающее «лозунг, призыв». Название боевого клича наших современных масс происходит от клича мертвых воинов Шотландского нагорья.

Два северных народа, живущих далеко друг от друга — *лопары* в Европе и *индейцы-тлинкиты* на Аляске, — считают, что *северное сияние* это и есть такая вот битва духов. «Кольские лопари верят, что северное сияние — это дружины мертвых воинов, которые, превратившись в духов, продолжают биться в небесах. Русские лопари высматривают в северном сиянии духов убитых. Духи живут в доме, где иногда собираются вместе и закалывают друг друга насмерть, тогда пол заливается кровью. Появление северного сияния означает, что духи мертвых начали схватку. У тлинкитов Аляски все, кто умер от болезни, а не пал на войне, сходят в подземный мир. Только отважные воины, павшие в бою, идут на небо. Время от времени оно разверзается, чтобы принять новых духов. Шаманам они являются всегда как воины в полном боевом облачении. Часто души павших являются в виде северного сияния, особенно если оно принимает форму множества стрел или снопов, движущихся в разные стороны, перемещающихся относительно друг друга или меняющихся местами, что очень напоминает боевые маневры тлинкитов. Считается, что яркое северное сияние предвещает большое кровопролитие, так как мертвые воины ищут себе подкрепления».

Неисчислимое множество воинов, согласно верованиям *германцев*, обитает в Валгалле. Там обретаются все мужи,

павшие в битвах с самого начала мира. Число их растет, ибо войнам нет конца. Там они пьют и пируют, не испытывая недостатка в вине и яствах. Каждое утро они берутся за мечи и поражают друг друга. Но убитые воскресают — это не настоящая смерть. Они возвращаются в Валгаллу через 640 ворот строем по 800 воинов в каждом ряду.

Но не только духи мертвых представляются в этих невидимых для глаз живущего множествах. «Да будет известно человеку, — говорится в древнем *еврейском* тексте, — и отмечено им, что между небом и землею нет пустого пространства, но все полно толп и множеств. Часть из них — чистые создания, полные благости и добра, часть — нечистые создания, вредители и мучители. Все они носятся по воздуху; одни хотят мира, другие — войны, одни творят добро, другие чинят зло, одни несут жизнь, другие — смерть».

В религии древних *персов* демоны образуют особое войско со своим особым командованием. Чтобы показать неисчислимость их множеств, священная книга *Зенд-Авеста* употребляет следующую формулу: «Тысяча и другая тысяча демонов, десять тысяч и другие десять тысяч, бесчисленные мириады».

Христианское средневековье всерьез предавалось исчислению количества *чертей*. В «Диалоге о чудесах» Цезария Гайстербахского сообщается, что однажды черти так плотно набились на хорах церкви, что мешали пению монахов. Те как раз начали третий псалом: «О Господь, как велико число моих врагов...» Черти летали с одного конца хоров к другому, встречая между монахами. Те уже перестали понимать, что происходит, и в смятении просто старались переорать друг друга. Если такое множество чертей собралось только в одном месте, чтобы помешать одной-единственной службе, сколько же их должно быть на всей Земле! Уже в Евангелии, говорит Цезарий, показано, что в одного-единственного человека может вселиться легион бесов.

Некий грешный священник на смертном одре сказал сидевшему подле него родственнику: «Видишь сенной сарай

напротив? Сколько соломинок под его крышей, столько чертей собралось сейчас вокруг меня». Черти ждали, когда отойдет его душа, чтобы подвергнуть ее заслуженному наказанию. Но они ловят удачу и у смертного ложа праведников. На погребение одной благочестивой аббатисы слетелось больше чертей, чем листьев на деревьях в большом лесу. Вокруг одного умирающего настоятеля их было больше, чем песка на морском берегу. Всей этой информацией мы обязаны черту, который лично при сем присутствовал, и рыцарю, с коим он имел беседу, держал речь, отвечал на вопросы. Черт не скрыл своего разочарования по поводу бесплодности предпринятых усилий, а также признался, что во время крестной смерти Иисуса он сидел на перекладине креста.

Ясно, что пронырливость этих созданий так же необычайна, как их количество. Цистерианский аббат Рихальм, закрыв глаза, узрел их вьющимися вокруг наподобие плотного облака пыли и сумел оценить их численность. Мне известны два варианта оценки, которые, однако, сильно разнятся между собой. Согласно одному, чертей было 44 635 569, согласно другому — одиннадцать миллиардов.

Естественно, совершенно иначе представляются ангелы и святые. Здесь царит покой, ведь им стремиться больше некуда, желанная цель достигнута. Но и здесь тоже масса — отряды небесного воинства, «неисчислимое множество ангелов, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, исповедников, девственниц и других благочестивых». Стройными рядами они окружают трон Господа, как придворные — трон короля. Голова к голове, и чем ближе к Господу, тем полнее их блаженство. Здесь они навсегда, и как не покинут они Господа, так не расстанутся и друг с другом. Тонуть в блаженстве и славить Его — вот их единственная обязанность, которая исполняется коллективно.

Таковыми образами невидимых масс наполнено сознание верующих. Будь это мертвые или святые, они всегда мыслятся большими, плотно спрессованными группами. Можно даже сказать, что религии *начинаются* с этих невидимых масс.

Принципы их соединения различны, и в каждой вере они имеют свой собственный вес. Было бы крайне желательно классифицировать религии по способу, каким они манипулируют своими невидимыми массами. Высшие религии, под которыми мы понимаем те, что достигли универсальной значимости, демонстрируют в этой сфере полную уверенность и ясность. К невидимым массам, в которых они поддерживают жизнь своею проповедью, привязываются человеческие желания и страхи. Кровь веры — вот что такое эти невидимки. Когда эти образы бледнеют, вера слабеет, и, пока она медленно отмирает, место поблекших занимают другие массы.

Об *одной* из таких масс, может быть, самой важной, мы еще не говорили. Эта единственная масса, которая даже нам, современникам, вопреки своей невидимости кажется естественной, — это *потомство*. На два, может быть, три поколения вперед оно просматривается довольно четко, но далее ясность видения утрачивается. Оно невидимо именно по причине своей многочисленности. Известно, что оно будет прибавляться сначала медленно, потом с нарастающим ускорением. Племена и целые народы ведут свою родословную от одного-единственного патриарха, и из обетований, которые были ему даны, становится ясно, сколь великолепного и, главное, *сколь многочисленного* потомства он желает — превосходящего число звезд на небе и морского песка. В *Ши-Цзин*, классической *китайской* книге песен, есть стихотворение, где потомство сравнивается со стаей саранчи:

Как туча саранчи затмевает небо,
Пусть твои сыны и внуки
Станут неисчислимым войском!
Как туча саранчи не имеет края,
Пусть твои сыны и внуки
Следуют друг за другом без перерыва!
Как туча саранчи составляет одно,
Пусть твои сыны и внуки
Будут всегда едины!

Численное множество, неразрывность в следовании поколений, то есть своего рода плотность во времени, и единство — вот три пожелания относительно потомства. Стихотворение впечатляет еще и потому, что саранча здесь — не вредитель, а образец для подражания, и все по причине ее плодовитости.

Чувство долга по отношению к потомству сегодня живо так же, как всегда. Только представление о массовидности отделилось от собственного потомства и переносится на человечество в целом. Для большинства из нас мертвые войнства — это пустое суеверие. Но считается благородным и отнюдь не праздным занятием задумываться о массе нерожденных, заботиться о них, стараться обеспечить им лучшую, более счастливую и справедливую жизнь. В общей тревоге о будущем Земли это беспокойство за нерожденных играет очень важную роль. Может быть, ужас от мысли, что они превратятся в выродков, если мы не остановим нынешние войны, окажется важнее для запрета этих войн и войн вообще, чем наши приватные страхи за собственные жизни.

Если задуматься о *судьбе* невидимых масс, о которых здесь говорилось, можно констатировать, что некоторые из них постепенно сходят на нет, а некоторые уже исчезли вовсе. К последним относятся черти, которые, несмотря на их прежние неисчислимы множества, больше не являются в своем традиционном обличье. Но след свой они запечатлели. О том, как они *малы*, есть множество ошеломляющих свидетельств из времен их расцвета, например, сообщение Цезария Гайстербахского. С тех пор они утратили внешнее сходство с человеком и стали еще миниатюрнее. Но, изменив личину, они в еще больших множествах вновь явились миру в XIX в., теперь уже в виде *микробов*. На этот раз они подстерегают не душу, а тело человека. Для тела они могут представлять опасность. Мало кто глядел в микроскоп и сталкивался с ними, так сказать, лицом к лицу. Но кто о них слышал, тот осознает их постоянное присутствие и всячески старается избежать с ними контакта; весьма труднореализуемая задача, если учесть, что они невидимы. Нет

сомнения, что такие качества, как опасный характер и способность концентрироваться в бесчисленном множестве на малом пространстве, они унаследовали от чертей.

Невидимую массу, существовавшую всегда, но обнаруженную лишь недавно, с изобретением микроскопа, представляет собой *сперма*. Двести миллионов этих семенных зверьков одновременно отправляются в путь. Они все равны и плотно сжаты вместе. У них у всех одна цель. За исключением одного-единственного все они гибнут в пути. Можно возразить, что они не люди и нельзя говорить о них как о массе в том смысле, в каком мы употребляли это слово. Однако это возражение, будь оно принято, оказалось бы направленным и против представления о массе предков. Ибо в сперме предки содержатся, *она есть* предки. Это поразительная новость, что они обнаружились опять, на этот раз между одним человеческим существом и другим, и в совсем ином обличье: все они сконцентрировались в *одной* мельчайшей невидимой твари, и эта тварь — в таком невиданном числе!

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО НЕСУЩЕМУ АФФЕКТУ

Массы, с которыми мы познакомились, переживают самые разнообразные аффекты. Однако о том, какие это аффекты, речь почти не шла. Исследование ориентировалось на классификацию по формальным признакам. Является ли масса открытой или закрытой, медленной или быстрой, видимой или невидимой, — все это мало говорит о том, что она переживает, каково ее содержание.

Это содержание трудно схватить в чистом виде. Нам уже знакомы случаи, когда массу пронизывает ряд чередующихся аффектов. Люди могут несколько часов просидеть в театре, сообщая испытывая множество разнообразнейших эмоций. В концерте их восприятия отделены от повода к образованию массы еще больше, чем в театре; можно сказать,

что здесь достигается максимум переменчивости. Но все это искусственно созданные институции: их богатство — результат развития сложных высоких культур. Их воздействие отличается умеренностью. Крайности взаимно исключают друг друга. Эти коллективные мероприятия вообще служат смягчению и снижению накала страстей, которым человек с трудом смог бы противостоять в одиночку.

Главные аффективные формы массы следует искать в отдаленном прошлом. Они возникли очень давно, их история началась так же рано, как история человечества, а история двух из них — еще раньше. Каждая из форм отличается особенной эмоциональной окраской, массой владеет единственная главная страсть. Если ее аффективная природа понята, дальше ее ни с чем не спутаешь.

Далее будут показаны пять видов массы, различающихся по их аффективному содержанию. Преследующая и убегающая массы — самые древние. Они имеются у животных так же, как у людей, и, возможно, процесс складывания этих форм у людей постоянно подпитывался благодаря подражанию животным образцам.

Запретная масса, обращенная масса и празднующая масса встречаются только у людей. Мы опишем эти пять главных типов, интерпретация которых должна привести в дальнейшем к очень важным и масштабным выводам.

ПРЕСЛЕДУЮЩАЯ МАССА

Преследующая масса возникает в виду быстро достижимой цели. Цель — убийство, и известно, кто будет убит. Жертва известна, четко обозначена, близка. Масса бросается на нее с такой решимостью, что отвлечь ее невозможно. Для того чтобы возникла преследующая масса, достаточно широко объявить, что такой-то должен умереть. Концентрация на убийстве — это переживание особого рода, ни с чем не срав-

нимое по интенсивности. Каждый старается пробиться ближе к жертве и нанести удар. Если самому не дотянуться, надо хотя бы видеть, как бьют другие. Все руки будто бы принадлежат одному телу. Но руки, которые *достают*, ценнее и весомее, чем остальные. Цель — это все. Жертва — это и цель, и точка наибольшей плотности: она связывает собою действия всей группы. Цель и плотность совпадают.

Важной причиной стремительного роста преследующей массы является безопасность предприятия. Оно безопасно, потому что на стороне массы подавляющее превосходство. Жертва убегает или связана, она не может даже обороняться, в незащитности своей она именно жертва, предназначенная на заклятие. За смерть ее никто не ответит. Свободное убийство — это как бы возмещение за все те убийства, от которых человек вынужден был отказаться из-за страха перед наказанием. Искушению безопасного, дозволенного и даже рекомендованного, разделенного с другими убийства большинство людей не в силах противостоять. Важно еще, что угроза смерти, постоянно висящая над человеком, хоть и не осознаваемая непрерывно, порождает потребность *ответить* смертью на другого. Эту потребность удовлетворяет преследующая масса.

Это столь быстролетное событие, оно разыгрывается так молниеносно, что чуть замешкаешься, и уже поздно. Стремительность и эйфорическая самоуверенность такой массы производят необыкновенное впечатление. Это возбуждение слепцов, которым вдруг представилось, будто они прозрели. Масса набрасывается на жертву, чтобы одним махом и навсегда освободить от смерти всех, кто ее составляет. В действительности же происходит противоположное. После казни масса еще сильнее, чем когда-либо, ощущает страх смерти. Она распадается и рассеивается, будто ударяясь в паническое бегство. Чем важнее была жертва, тем сильнее охватывающий массу ужас. Она может сохраняться, только если казни следуют подряд одна за другой.

У преследующей массы древняя природа, восходящая к изначальному динамическому единству, известному у лю-

дей как охотничья стая. О стаях, которые малочисленностью да и по другим параметрам отличаются от массы, подробно будет говориться ниже. Здесь же речь пойдет о некоторых универсальных ситуациях, порождающих преследующую массу.

Из видов смерти, к которым племя или народ приговаривали отдельного человека, можно выделить две главных формы; первая из них — *выталкивание*. Человека выталкивают из племени, оставляя там, где он либо умрет с голоду, либо станет добычей хищников. Соплеменники не должны ему помогать: они не имеют права ни защитить его, ни накормить. Общение с ним делает человека нечистым и само по себе преступно. Полное одиночество — это ужасное наказание; изоляция от собственной группы, особенно в примитивных условиях, — это страдание, которое мало кто может вынести. Извращенной формой такого выталкивания является выдача врагу. Если выдают мужчин и выдача протекает без борьбы и сопротивления, наказание считается особенно жестоким и унижительным, будто человека убивают дважды.

Другая форма — это *коллективное убийство*. Приговоренного выводят в поле и забрасывают камнями. Каждый бросает свой камень, виновный гибнет под градом камней. Никто не исполняет роль палача, убивает вся община. Камни здесь представляют общину, они — знак ее решения и ее поступка. Даже там, где забрасывание камнями больше не практикуется, сохранилась склонность к коллективному убийству. Таково *сжигание на костре*: огонь замещает массу, желающую приговоренному смерти. Со всех сторон жертву охватывают языки пламени, тянутся к ней и убивают. В религиях, где имеются представления об аде, с коллективным убийством посредством огня, который является символом массы, соединяется идея выталкивания, а именно выпроваживания в ад, выдачи адскому врагу. Адское пламя прямо на земле набрасывается и пожирает предназначенного ему еретика. Протыкание жертвы стрелами, расстрел приговоренного специальной командой — это делегирование общиной своих полномочий группе исполнителей.

Закапывание человека в муравьиную кучу, практикуемое в Африке и кое-где еще, — это перекладывание неприятной обязанности коллективного убийства на муравьев, олицетворяющих бесчисленную массу.

Все формы публичной казни зиждутся на древней практике коллективного убийства. Подлинный палач — это масса, толпящаяся вокруг эшафота. Ей по душе представление: люди стекаются издалека, чтобы увидеть все от начала до конца. Толпа хочет получить, что ей причитается, и не любит, когда жертве удастся избежать казни. В истории осуждения Христа явление схвачено в самой его сути. «Распни его!» — это вопль массы. Она, собственно, и есть активная инстанция: в другое время она взяла бы все на себя, забив Христа камнями. Суд, состоящий обычно из небольшого числа людей, представляет от имени масс, присутствующих потом при казни. Смертный приговор, произносимый от имени права, звучит там абстрактно и неубедительно; он становится реальным после, когда исполняется на глазах толпы. Ибо для нее, собственно, и совершается правосудие, и, говоря о публичности права, подразумевают массу.

В Средневековье казни проводились внушительно и с помпой, они должны были протекать как можно медленнее. Случалось, приговоренный обращался к зрителям с назидательной речью. Этим предполагалась забота об их судьбе (они-де не должны поступать так, как он) и демонстрация, как можно дойти до жизни такой. Масса размякала от подобного внимания. Приговоренному могли даже доставить последнее удовольствие: дать постоять в толпе как *равному*, доброму человеку среди добрых людей, порвавшему с прежней преступной жизнью. Раскаяние злодея или неверующего перед лицом смерти, о чем так пеклись священники, помимо провозглашаемого намерения спасти его душу, имело и другой смысл: оно должно было подвести преследующую массу к предчувствию будущей праздничной массы. Каждый должен ощутить удовлетворение от собственной праведности и верить в награду, ожидающую по ту сторону.

В революционное время казни ускорились. Парижский палач Самсон гордился тем, что он и его помощники управляют со скоростью «человек в минуту». Лихорадочную смену массовых настроений того времени во многом можно объяснить стремительной чередой бесчисленных казней. Массе нужно, чтобы палач показал ей голову убитого. В этот — и ни в какой иной — миг происходит разрядка. Кому бы ни принадлежала голова, теперь она *унижена*: в этот миг уставившаяся на толпу голова такова же, как все прочие головы. Она могла покоиться на плечах короля — благодаря молниеносному процессу *деградирования* ее на глазах у всех уравнивали с прочими головами. Масса, состоящая здесь из глядящих голов, достигает ощущения равенства в тот самый момент, когда на нее глядит эта голова. Чем выше стоял казненный на социальной лестнице, чем бóльшая дистанция его от них отделяла, тем мощнее восторг разрядки. Если это король или иной властитель, добавляется еще удовлетворение от *обращения*. Право на кровавый суд, так долго ему принадлежавшее, теперь обращено против него самого. Те, кого он убивал раньше, убили его самого. Важность обращения невозможно переоценить: есть особая форма массы, возникающая только благодаря обращению.

Роль отрубленной головы, которую держат перед толпой, не исчерпывается тем, что она несет разрядку. Поскольку путем чудовищного насилия толпа признала ее своей, поскольку она, так сказать, упала в толпу и над ней не возвышается, поскольку она такая же, как все остальные головы, — каждый видит в ней себя. Отрубленная голова — это *угроза*. Масса так жадно впилась глазами в ее мертвые глаза, что теперь ей нет спасения от этого мертвого взора. Поскольку голова принадлежит массе, самой массы коснулась смерть: она пугается и заболевает, вмиг начиная распадаться. Она рассеивается, будто в страхе бежит от головы.

Распад преследующей массы, уничтожившей свою жертву, происходит особенно быстро. Это хорошо знают владыки, власть которых под угрозой. Они бросают массе жертву, чтобы остановить ее рост. Многие политические казни

устраивались исключительно для этой цели. С другой стороны, вожаки радикальных партий часто не понимают, что, достигнув своей цели, публично казнив опасного врага, они часто наносят себе больший вред, чем враждебной партии. Им может казаться, что после такой казни масса ее сторонников разбредется и она долго или вообще никогда не достигнет прежней мощи. О других причинах такого неожиданного поворота станет известно, когда речь пойдет о стае, особенно об оплакивающей стае.

Отвращение к коллективному убийству — совсем недавнего происхождения. Его не стоит переоценивать. Даже сегодня каждый принимает участие в публичных казнях, а именно через *газету*. Только теперь он участвует в них, как и во всем другом, с гораздо большими удобствами. Он спокойно сидит у себя дома и из сотен сообщений задерживается на тех, что его особенно возбуждают. Восклициание следует, когда все уже в прошлом, поэтому даже легкая тень вины не омрачает наслаждения. Он ни за что не отвечает: ни за приговор, ни за свидетелей, ни за их показания, ни за газету, которая эти показания напечатала. Однако он знает гораздо больше, чем в прежние времена, когда надо было часами идти и стоять, чтобы в конце концов мало что увидеть. В читающей газеты публике сохранилась смягченная, но по причине удаленности от событий столь безответственная преследующая масса, что о ней можно было бы говорить как о самой невыразительной и одновременно самой стабильной ее форме. Так как ей не нужно собираться, вопрос о ее распаде не возникает, смену впечатлений обеспечивает ежедневный выход газеты.

МАССА БЕГСТВА

Масса бегства возникает в результате общей угрозы. Она бежит, увлекая с собой всех. Грозящая опасность для каждого одна и та же. Она сконцентрирована в определенном месте. Она ни для кого не делает различий. Она может угро-

жать всем жителям города, всем приверженцам какой-то веры или всем, кто говорит на каком-то языке.

Все бегут вместе, потому что так легче бежать. Возбуждение их одной природы: энергия одного возбуждает энергию другого, все устремляются в одном и том же направлении. Пока они вместе, опасность воспринимается как *разделенная*. Существует древнее поверье, что она ударит в *одном* месте. Если враг схватит одного, остальные будут спасены. Фланги бегущих открыты, но так широко растянуты, что невозможно даже представить, как враг может напасть на всех сразу. Их так много, что ни один не думает, что жертва — это *он*. Масса устремляется прочь от опасности, и каждый в ней проникнут ощущением близости спасения.

Что прежде всего бросается в глаза в массовом бегстве, так это мощь его направленности. Масса, так сказать, превратилась в направление — прочь от опасности. Важна лишь цель — место спасения и расстояние до цели, и ничего более. Все дистанции, существовавшие до того между людьми, не имеют больше значения. Самые причудливые и особенные создания, никогда раньше не сходившиеся друг с другом, вдруг оказываются рядом. В бегстве снимаются если не различия, то дистанции между людьми. Из всех форм массы бегство — самая широкая по охвату. Неравномерность ее облика определяется не только тем, что бегут абсолютно все, но и различиями в скорости бегства. Бегут дети и старики, сильные и слабые, тяжело нагруженные и спасающиеся налегке. Пестрота этой картины может обмануть наблюдателя, глядящего извне. Она, эта пестрота, случайна и — в сравнении с мощью направления — совершенно несущественна.

Энергия бегства умножается, если бегущие знают друг друга: они должны толкать друг друга вперед, а не отпихивать в сторону. В тот миг, когда бегущий начинает думать только о себе, а в других видеть лишь помеху, характер массового бегства полностью меняется, и оно превращается в свою противоположность — в *панику*, в борьбу каждого про-

тив всех, стоящих на его пути. Чаще всего это превращение происходит, когда несколько раз меняется направление бегства. Достаточно перерезать массе путь, чтобы она ринулась в другом направлении. Если путь перерезается еще и еще раз, она уже не знает, куда бежать. Она теряет направление, и ее консистенция сразу меняется. Опасность, до сих пор воодушевлявшая и объединявшая, теперь делает *каждого* врагом другого, каждый начинает спасаться сам по себе.

Массовое бегство в противоположность панике черпает свою энергию в том, что все бегут вместе. Пока масса не распалась, пока упорствует в неуклонном движении как могучий нерасчленимый поток, до тех пор страх, который ее гонит, остается переносимым. С самого момента возникновения она отмечена своего рода восторгом — восторгом совместного движения. Опасность грозит одному не меньше, чем другому, и хотя каждый бежит или скачет изо всех сил, чтобы скорее достичь безопасности, у него все же есть свое место в этом потоке, которое он знает и которого держится посреди всеобщего возбуждения.

Во время массового бегства, которое может длиться дни и недели, кто-то остается позади, потому ли, что выбился из сил, потому ли, что настигнут врагом. Он исключен из общей судьбы. Он стал жертвой, принесенной врагу. Сколь бы полезен он ни был как попутчик, для бегущих он важнее как павший. Вид его наполняет изнуренных новой силой. Он оказался слабее, и на него пал жребий. Одиночество, в каком он оказался, в каком они успели его мельком увидеть, заставляет их еще выше ценить тот факт, что они вместе. Невозможно переоценить важность павших для сплочения массы бегства.

Естественным завершением бегства является достижение цели. Оказавшись в безопасности, масса распадается. Бегство может закончиться и досрочно, если вдруг опасность самоликвидировалась в самом ее источнике. Например, объявлено перемирие и городу, откуда все бежали, уже ничто не угрожает. Люди поодиночке возвращаются туда,

откуда бежали вместе; они снова разделены, как и раньше. Есть и третья возможность: масса не то чтобы распадается, но иссыкает, как поток в песках. Цель далека, окружение враждебно, люди голодают и изнемогают. Не единицы уже, а сотни и тысячи остаются лежать на дороге. Физический распад происходит постепенно, начальный импульс движения держится бесконечно долго. Люди ползут вперед, когда нет уже и надежды на спасение. Масса бегства — самая стойкая из всех форм массы: оставшиеся держатся вместе до самого последнего мгновения.

Примерам массового бегства поистине нет числа. Наше время пополнило их запас. До событий прошедшей войны вспоминалась прежде всего судьба Grande Armée Наполеона при его отступлении из России. Это замечательный случай: армия, состоявшая из людей многих языков и стран, ужасная зима, огромные расстояния, которые большинству предстояло отмерять собственными ногами; это отступление, выродившееся в массовое бегство, известно в подробностях. Бегство *мирового города* в столь огромных масштабах человечество испытало, пожалуй, впервые, когда немцы подошли к Парижу в 1940 г. Исход длился недолго, потому что вскоре наступило перемирие. Но масштаб и интенсивность бегства были столь велики, что для французов оно стало главным массовым событием прошедшей войны.

Не стоит здесь перечислять примеры из новейшего времени. Они еще свежи у всех в памяти. Стоит, однако, подчеркнуть, что массовое бегство люди знали уже тогда, когда жили еще очень маленькими группами. Оно существовало в их представлениях еще до того, как стало фактически возможным благодаря росту их численности. Вспомним версию эскимосского шамана: «Небесный простор полон голых существ, мчащихся по воздуху. Это люди, голые мужчины и голые женщины, летят, нагоняя бурю и вьюгу. Слышите их свист? Шум, будто в небе бьют крыльями стаи огромных птиц? Это ужас и бегство голых людей!»

МАССА ЗАПРЕТА

Масса особого рода образуется вследствие *запрета*: собравшись вместе, люди больше *не* хотят делать то, что они до сих пор делали поодиночке. Запрет внезапен, они налагают его на самих себя. Это может быть старый запрет, к тому времени забытый, или же такой, который время от времени возобновляется. Но он может быть и совсем новым. Во всяком случае, действует он с огромной силой. В нем есть безусловность приказа, но решающую роль играет его негативный характер. Он никогда не приходит извне, даже если это выглядит именно так. В действительности он всегда возникает из потребности самих участников события. Как только запрет сформулирован, начинается образование массы. Все перестают заниматься тем, чего от них ожидает внешний мир. То, что делалось ими до сих пор без всякого шума, как что-то естественное и вовсе не трудное, теперь вдруг перестает выполняться, не делается ни за что, ни за какие посулы. По решительности отказа опознается принадлежность к общности. Негативность запрета характеризует эту массу с самого момента ее возникновения и, пока она существует, остается ее важнейшей чертой. Можно было бы даже назвать ее негативной массой. Она рождена сопротивлением: запрет — ее граница и плотина; граница непроходима, плотина непроницаема. Каждый контролирует другого — остается ли тот частью плотины? Кто сдался и перешагнул через запрет, будет осужден и отвергнут.

Лучший пример негативной или запретной массы в наше время — это *стачка*. Труд рабочих свойственна регулярность и привычность. Он состоит в действиях, разных по характеру, но начинающихся и завершающихся одновременно. Они одновременно приступают к работе и так же одновременно покидают рабочие места. В этом отношении они равны. У большинства из них — ручной труд. Они схожи еще и в том, что за свою работу получают плату. Но зар-

плата различна и зависит от того, что и сколько сделано каждым. Так что равенство простирается не очень далеко. Самого по себе его недостаточно для образования массы. Когда же дело доходит до стачки, все радикально уравниваются одним только фактом отказа от работы. Такой отказ поглощает человека целиком. Запрет создает обостренное и способное к сопротивлению сознание.

Момент прекращения работы — это великий момент, воспетый в рабочих песнях. В этот миг рождается чувство облегчения, с которым связывается самый смысл стачки. Фиктивное равенство, о котором рабочим твердили всегда, но которое на деле ограничивалось лишь тем, что все они работают руками, вдруг становится подлинным. Пока они работали, они делали разные вещи, а именно те, что приказано было делать. Когда работа остановлена, все делают одно и то же. Как будто бы все они одновременно решили опустить руки и употребить все силы на то, чтобы их *не* поднимать, как бы ни голодали они сами и их родные. Прекращение работы делает рабочих равными. По сравнению с силой воздействия этого момента конкретные требования мало что значат. Объявленной целью стачки может быть, например, повышение заработной платы; разумеется, в отношении этой цели они едины. Но одной ее не хватило бы для образования массы.

Опущенные руки оказывают заразительное воздействие на все другие руки. В *неделании* начинает соучаствовать все общество. Стачка, расширяющаяся «из чувства солидарности», не дает заняться собственным делом и другим — тем, кто даже не думал прекращать работу. Именно в этом смысл стачки: все должно остановиться, если рабочие стоят. Чем более это удастся, тем вероятнее перспективы победы стачки.

Внутри самой стачки особенно важно, чтобы провозглашенный запрет соблюдался каждым. Спонтанно из самой массы формируется организация. Она выполняет функции государства, которое возникает в полном сознании своей кратковременности и проводит в жизнь лишь очень малое

количество законов, но уж их-то проводят строжайшим образом. Доступ к месту стачки охраняется пикетами, рабочие места становятся запретной зоной. Благодаря наложенному на них запрету они лишаются своего обыденного характера и обретают особое достоинство. Ответственность за них несут все вместе, и это превращает их в совместное достояние. Как таковое они оберегаются и наполняются высоким смыслом. В их пустоте и покое чудится нечто священное. Каждый, кто к ним приближается, подвергается проверке на убеждения и образ мыслей. Кто идет с мирскими намерениями, то есть просто с желанием работать, тот враг и предатель.

Организация следит за справедливым распределением денег и продуктов. Того, что имеется, должно хватить на возможно более долгий срок. Важно, чтобы каждый получал одинаково мало. Сильному не придет в голову, что ему положено больше, даже жадные охотно демонстрируют умеренность. Поскольку денег и продуктов обычно мало, а дележка подозрений не вызывает, ибо все делается публично, этот способ распределения позволяет массе гордиться своим равенством. В такой организации есть нечто необычайно серьезное и достойное уважения. Если массе обычно свойственны дикость и жажда разрушения, нельзя не отметить достоинство и чувство ответственности такой вот структуры, возникающей из самой сердцевины массы. Именно потому и важно пронаблюдать за массой запрета, что в ней проявляются эти свойства, противоположные свойствам «нормальной» массы. Пока она верна своей сути, она против любого рода разрушений.

Правда, удержать ее в таком состоянии оказывается нелегко. Если дела идут плохо, нужда крепчает, если в особенности стачка подвергается нападению или осаде, негативная масса выказывает стремление превратиться в позитивную и активную. Бастующим, которые вдруг отняли у своих рук привычное им дело, становится трудно держать их в бездействии и дальше. Если они чувствуют, что единство стачки под угрозой, возникает тяга к разрушению, преж-

де всего в сфере их привычной работы. В этом, собственно, и состоит важнейшая задача организации: сохранить для массы ее собственный характер как негативной массы, массы запрета, воспрепятствовав отдельным позитивным акциям. Она также должна определить, когда настанет момент снять запрет, которому масса обязана своим существованием. Если ее решение соответствует чувствам массы, отменяя запрет, она прекращает собственное существование.

МАССЫ ОБРАЩЕНИЯ

«Милый, дорогой друг, волки всегда пожирали овец; неужели на этот раз овцы сожрут волков?» Это фраза из письма, которое мадам Жюльен написала своему сыну во время Французской революции. В ней в самой краткой формулировке выражена сущность обращения. Немногие волки истребляли до сих пор множество овец. И вот настало время множеству овец обратиться против немногих волков. Известно, что овцы не едят мяса. Однако фраза значима именно в своей кажущейся бессмысленности. Революции — это подлинные времена обращения. Те, кто долго был беззащитен, вдруг обретают зубы. Численностью они возмещают недостаток хищности.

Обращение предполагает общественное расслоение. Прежде чем возникнет потребность в обращении, должны уже некоторое время существовать противоположные друг другу классы, один из которых пользуется большими правами, чем другой. Вышестоящие группы имеют право отдавать приказы нижестоящим, независимо от того, пришли ли они в страну как завоеватели, подчинив себе коренных жителей, или расслоение стало результатом процессов внутри общества.

Каждый приказ оставляет в том, кто вынужден его выполнить, болезненное *жало*. О природе и неизгладимом воз-

действию этих жал многое будет сказано дальше. Люди, которым много приказывали и которые переполнены такими жалами, испытывают сильное желание освободиться от них. Освобождения можно достигнуть двояким путем. Они могут полученные сверху приказы передавать далее вниз: для этого нужны нижестоящие, которые были бы готовы их исполнить. Но они еще могут возвратить назад — самим вышестоящим — все испытанные от них и затаенные обиды и страдания. Отдельному человеку, который беззащитен и слаб, редко когда подвернется такая счастливая возможность. Но если множество таких людей скапливается в массу, может получиться то, что не удавалось единицам. Вместе они в состоянии выступить против тех, кто раньше отдавал им приказы. Революционную ситуацию можно рассматривать как ситуацию такого обращения. Массу же, для которой разрядка состоит главным образом в освобождении от жал приказов, можно назвать *массой обращения*.

Началом Французской революции считается штурм Бастилии. На самом деле она началась раньше — заячьей резней. В мае 1789 г. в Версале собрались Генеральные штаты. Они обсуждали вопрос об отмене феодальных прав, к которым относилось и право дворянской охоты. Десятого июня, за месяц до штурма Бастилии, Камилл Демулен, участвовавший в обсуждении в качестве депутата, писал своему отцу: «Бретонцы временно отменили некоторые из пунктов, содержащихся в списке их претензий. Они охотятся на голубей и дичь. Полсотни молодых людей учинили здесь неподалеку беспримерное побоище зайцев и кроликов. На Сен-Жерменской равнине они убили прямо на глазах лесничих 4—5 тысяч штук дичи». Прежде чем осмелиться напасть на волков, овцы набрасываются на зайцев. Перед обращением, которое направлено против высших, истребляют низших — безопасных и безвредных животных.

Но главное событие — это штурм Бастилии. Весь город вооружился. Восстание направлено против королевского правосудия. Которое воплощено в подвергшейся нападению

и разгрому крепости. Заключенные освобождены и могут примкнуть к массе. Губернатор, который отвечал за оборону Бастилии, и его помощники казнены. Но и воров вешают на фонарях. Бастилия полностью сровнена с землей, разнесена по камушку. Правосудие в обоих своих главных аспектах — осуждение на смерть и помилование — перешло в руки народа. Таким образом совершилось, на этом его этапе, обращение.

Массы такого рода образуются при самых разных обстоятельствах. Это может быть бунт рабов против господ, солдат против офицеров, черных против живущих в их среде белых. Всегда первые долгое время выполняют приказания вторых. Восставших всегда побуждают к действию сидящие в них жала, и всегда нужно очень много времени, чтобы они оказались в состоянии действовать.

Многое из того, что можно наблюдать на поверхности революционных событий, разыгрывается в форме *преследующей массы*. Ловят отдельных людей и, поймав, подвергают коллективному убийству в форме суда либо вообще без всякого суда. Но это не значит, что в этом и *состоит* революция. Она не делается преследующими массами, стремительно достигающими своей естественной цели. Обращение, раз начавшись, идет вглубь. *Каждый* старается достичь такого состояния, чтобы избавиться от сидящих в нем жал, а в каждом их множество. Масса обращения — это процесс, охватывающий все общество, и даже если сначала он имеет мгновенный успех, к завершению он идет медленно и трудно. Как стремительно проживает себя на поверхности преследующая масса, так медленно, многими следующими друг за другом толчками осуществляется обращение на глубине.

Но оно может происходить еще медленнее — если оно обещано в потустороннем мире. «И последние станут первыми». Между одним и другим состоянием пролегает смерть. В том мире верующего ожидает новая жизнь. Кто здесь был бедным и не делал зла, тот больше всех ее достоин. Там он займет другое, высокое положение. Верующим обещано осво-

бождение от жал. Однако точнее об его обстоятельствах ничего не говорится: хотя и предполагается, что по ту сторону все будут стоять вместе, нет указания на массу как *субстрат* обращения.

Центром такого рода ожиданий является идея воскрешения. В Евангелиях сообщается, как Христос воскрешал мертвых в этом мире. Проповедники знаменитых *Revivals* в англосаксонских странах всюду используют идею смерти и возрождения к новой жизни. Собравшимся грешникам грозят такими ужасными адскими карами, что те впадают в неопикуемый ужас. Они видят перед собой море огня и расплавленного олова и руку Всевышнего, толкающую их в эту страшную бездну. Воздействие угроз усиливается, как сказано в одном из сообщений, страшными гримасами, искажающими лицо проповедника, и его громовым голосом. Слушать проповедников стекались люди из местностей, отдаленных на 40, 50 или даже 100 миль. Семьи прибывали в крытых повозках, запасшись пищей и постельным бельем на много дней вперед. Около 1800 г. часть штата Кентукки по причине таких собраний впала в лихорадочное состояние. Они проходили под открытым небом, поскольку ни одно здание в тогдашних Соединенных Штатах не смогло бы вместить в себя такие огромные массы. В августе 1801 г. на митинг в Кейн Ридже собралось 20 000 человек. Воспоминание об этом не изгладилось в Кентукки даже через сотню лет.

Проповедники запугивали слушателей до тех пор, пока те не падали в обморок, оставаясь лежать без движения. Угрозы, исходящие как бы из уст самого Господа, обращали грешников в паническое бегство, заставляя искать спасения в своего рода кажущейся смерти. Доведение слушателей до обморочного состояния — это сознательная и даже декларированная цель проповедников. Место проповеди выглядело полем битвы, усеянным распростертыми телами. Сравнение принадлежит самим проповедникам. Они считали, что для религиозного обращения, которого они доби-

ваются, необходимо провести людей через этот высший и последний страх. Числом «упавших» определялся успех проповеди. Свидетель, ведший точный учет, сообщает, что в ходе многодневного собрания рухнули на землю, потеряв сознание, 3000 человек, то есть почти шестая часть всех присутствовавших. Упавших переносили в общественное помещение неподалеку. Многие лежали там часами, будучи не в состоянии говорить или двигаться. Некоторые на мгновение приходили в себя, издавая глубокий стон, или пронзительный крик, или неразборчивое бормотание, по чему только и можно было судить, что они живы. Некоторые били пятками по земле. Другие вскрикивали в смертельной муке, извиваясь, как рыбы, вытасненные из воды. Кто-то часами катался по земле. Иные, вскакивая внезапно со скамей с криками: «Погиб! Погиб!», убегали в лес.

Потерявшие сознание приходили в себя другими людьми. Они поднимались с возгласом: «Спасен!» Они были теперь «новорожденными» и могли начать новую чистую жизнь. Старое греховное бытие осталось позади. Обращение было подлинным и искренним лишь в том случае, если ему предшествовало нечто вроде смерти.

Были и проявления не столь экстремального характера, но приводившие к тому же. Собрание ударялось в слезы. Кто-то бился в конвульсиях. Некоторые, обыкновенно группами по четыре-пять человек, начинали лаять как собаки. Через несколько лет, когда возбуждение стало принимать более мягкие формы, были случаи впадения целых групп в «священный хохот».

Однако все это имело место в массе. Едва ли можно вспомнить более возбужденные и напряженные ее формы.

Обращение, на которое рассчитывает проповедник, имеет иной характер, чем обращение в революциях. Здесь речь идет об отношении людей к божественным заповедям. До сих пор люди действовали им вопреки. Теперь они боятся наказания. Этот страх, еще более нагнетаемый проповедником, загоняет их в обморок. Они притворяются мертвы-

ми, как притворяются мертвыми спасающиеся бегством животные, но страх при этом так велик, что они сами этого не сознают. Придя в себя, они ощущают готовность выполнять заповеди и приказания Господа. К этому их понуждает доведенный до крайней степени страх перед мгновенной карой. Это, так сказать, процесс приручения: они дали проповедникам приручить себя в качестве верных слуг Господних.

Все это полностью противоположно тому, что, как мы видели, происходит в революциях. Там речь идет об освобождении от жал, которые люди вобрали в себя за долгое время подчинения. Здесь же — о подчинении божественным заповедям, то есть о готовности добровольно принять в себя все жала, вонзаемые ими в человека. Общим является лишь факт обращения и психологическая сцена, на которой оно разыгрывается: в обоих случаях это масса.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МАССЫ

Пятую форму массы я назвал бы *праздничной* массой.

На тесном пространстве в избытке товаров и продуктов, и множество людей, там гуляющих, может наслаждаться изобилием! Грудами громоздятся плоды ближних и дальних стран. Лежат связанными сотни свиней. Высятся горы фруктов. В огромных кувшинах пенятся любимые напитки. Здесь больше, чем в силах съесть все присутствующие, и, чтобы все это съесть или унести с собой, притекают новые толпы. Каждый берет себе сколько может, но изобилие неисчерпаемо. Избыток женщин для мужчин и избыток мужчин для женщин. Никто и ничто не угрожает, не настораживает, не побуждает к бегству — на время праздника жизнь и наслаждение гарантированы. Запреты и барьеры пали, разрешены и происходят самые неожиданные сближения. Но это атмосфера расслабленности, а не разрядки. Отсутствует единая для всех цель, к которой все должны стремиться. Цель — это *празд-*

ник, она уже достигнута. Плотность велика, равенство — в желаниях и удовольствиях. Каждый идет куда хочет, а не все вместе к одной цели. Груды плодов суть важнейшая часть плотности, ее ядро. Сначала вместе собрались предметы, и лишь потом, когда они уже были налицо, вокруг собрались люди. Пока плодов накопится достаточно, могут пройти долгие годы, и все это время люди будут терпеть, ограничивая себя ради краткого мига изобилия. Но именно для таких мгновений они и живут, и сознательно к ним стремятся. Люди, в обычной жизни чуждые друг другу, торжественно и целыми группами приглашают друг друга на угощение. Прибытие новых групп отмечается особо, оно резко и скачкообразно повышает общее возбуждение.

Во всем сквозит ощущение, будто всеобщее удовлетворение от этого праздника гарантирует другие, последующие. Ритуальные танцы и драматические представления напоминают о прежних событиях такого же рода. Праздник этот — часть традиции. Упоминание основателя праздника — будь это мифический отец всех благ, которые тут в изобилии, предки, или, как в более холодных современных обществах, просто богатый жертвователь, — ручательство того, что традиция не угаснет, праздники будут повторяться. Праздники *призывают* новые праздники, и благодаря плотности вещей и людей приумножается жизнь.

ДВОЙНАЯ МАССА: МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Самая надежная и часто единственная для массы возможность *сохранить* себя — наличие второй массы, с которой она соотносится. Меряются ли они силами, играючи или всерьез угрожают друг другу, — вид или яркий образ другой массы позволяет первой не распасться. На одной стороне тесно стоят ноги, образуя лес, а глаза в это время пристально смотрят в

глаза напротив. Руки движутся в общем ритме, а уши в это время настороженно ждут крика с другой стороны.

Физически человек среди своих, он движется вместе с ними в привычном и естественном единстве. Но любопытство его, ожидание или страх концентрируются на другой группе, отделенной расстоянием. Если она в поле зрения, то притягивает взгляд, если ее нельзя увидеть, то можно услышать. От действий или намерений второй группы зависит все, что делает первая. Те, кто далеко, воздействуют на тех, кто рядом. Важное для обеих сторон противостояние изменяет степень концентрации внутри каждой из групп. Поскольку те, напротив, не разошлись, и мы должны оставаться вместе. Острота отношений между двумя группами воспринимается как напряженность внутри своей собственной. Если это происходит в рамках ритуализованной игры, демонстрировать напряженность считается постыдным: нельзя раскрывать себя перед противником. Если же угроза реальна и речь действительно идет о жизни и смерти, напряженность превращается в броню решительного и единодушного отпора.

Во всяком случае, одна масса сохраняет жизнь другой, причем предполагается, что они примерно равны по величине и интенсивности. Чтобы остаться массой, нельзя иметь слишком превосходящего по силам противника, по крайней мере нельзя считать его слишком превосходящим. Если возникнет ощущение, что противник слишком силен, стремление спастись выльется в массовое бегство, а если оно бесполезно, масса преобразуется в панику, где каждый будет стараться спастись в одиночку. Но не этот случай нас сейчас интересует. Для образования *двухмассовой системы*, как это еще можно назвать, требуется ощущение приблизительно-го равенства сил с обеих сторон.

Чтобы понять, как возникли эти системы, надо исходить из наличия в человеческом обществе трех коренных противоположностей. Они налицо всюду, где есть люди, и всюду осознаны. Первая и наиболее бросающаяся в глаза — про-

тивоположность мужчин и женщин; вторая — тивоположность живых и мертвых; третья, о которой почти только и думают сегодня, когда речь заходит о двух тивоостоящих друг другу массах, — тивоположность друзей и врагов.

Если посмотреть на первое разделение, то есть разделение на мужчин и женщин, трудно сразу понять, какая здесь связь с образованием двойных масс. Мужчины и женщины, как известно, живут вместе семьями. Они, конечно, могут иметь разные склонности, но с трудом представляешь себе, как они стоят друг против друга отдельными возбужденными толпами. Чтобы понять, в какие формы может вылиться их тивоположность, надо ознакомиться с материалами, где рассказывается о некоторых проявлениях изначальной человеческой природы.

Жан де Лери, молодой французский гугенот, в 1557 г. стал свидетелем большого празднества племени *тупинамбу* в Бразилии.

«Нам велели остаться в доме, где были женщины. Мы совсем не знали, что предстоит, когда внезапно из дома, где были мужчины, отдаленного от нас не более чем на тридцать шагов, послышался глухой звук, похожий на бормотание молящихся. Женщины, числом около двухсот, услышав это бормотание, вскочив на ноги, наострили уши и сбились в тесную кучу. Голоса мужчин зазвучали громче. Мы четко слышали пение и повторяющиеся время от времени взбадривающие восклицания: «Хе, хе, хе, хе!» Мы были крайне удивлены, когда женщины отозвались, издавая тот же самый крик: «Хе, хе, хе, хе!» В течение примерно четверти часа они завывали и визжали так громко, что мы просто не понимали, как нам на это реагировать.

Посреди этого воя они стали неистово подпрыгивать, груди их тряслись, на губах выступала пена. Некоторые без сознания валились на пол, будто страдающие падучей. Кажалось, в них вселился дьявол и от этого они сошли с ума. Совсем рядом мы слышали хныканье и плач детей, находящихся в отдельном помещении. Хотя к тому времени я уже более полугода встречался с дикарями и хорошо сжился с

ними, меня — не буду скрывать! — охватил страх. Чем это может кончиться, спросил я себя, и мне захотелось скорее вернуться обратно в форт».

Ведьмовской шабаш наконец прекратился, женщины и дети смолкли, и Жан де Лери услышал из мужского дома такой чудный хор, что не мог сдержать желания его увидеть. Женщины старались его остановить, говоря, что это запрещено. Но с ним ничего не случилось, вместе с двумя другими французами он дошел до мужского дома и присутствовал при празднике.

Из рассказа следует, что мужчины и женщины здесь строго разделены и разведены по разным домам, которые, однако, находятся поблизости друг от друга. Они не могут друг друга видеть, но тем внимательнее прислушиваются к звукам, которые доносятся с другой стороны. Они издают один и тот же крик, тем самым повышая и степень возбуждения противостоящей группы. Настоящие события разыгрываются у мужчин. Однако и женщины участвуют в разжигании массового чувства. Стоит отметить, что при первом звуке, донесшемся из мужского дома, женщины сбиваются в тесную кучу и на дикие крики со стороны мужчин отвечают не менее дикими криками. Им страшно, потому что они заперты, не могут выйти наружу и не знают, что происходит у мужчин. Это придает их возбуждению особенную окраску. Они прыгают вверх, как бы стараясь выпрыгнуть наружу. Черты истерии, отмеченные наблюдателем, характерны для массового бегства, которое сталкивается с препятствием. Естественным для женщин было бы бежать к мужчинам, но, поскольку на это наложен строгий запрет, им остается, так сказать, бежать на месте.

Любопытны ощущения самого Жана де Лери. Он чувствовал возбуждение женщин, но не мог присоединиться к их массе. Он был, во-первых, чужим, во-вторых, — мужчиной. Находясь среди них и все же к ним не принадлежа, он боялся стать жертвой этой массы.

О том, что участие женщин по-своему не пассивно и во все не безразлично для мужчин, говорит другое место в сообщении. Колдуны племени, или «караибы», как их назы-

вает Жан де Лери, сторожайше запретили женщинам покидать дом. Они, однако, велели им внимательно слушать мужское пение.

Воздействие массы женщин на мужчин, которые им каким-либо образом близки, важно даже в том случае, если они очень и очень удалены друг от друга. Женщины иногда вносят свой вклад в успех военных походов. Это можно показать на трех примерах, относящихся к народам Азии, Америки и Африки, то есть к народам, которые никогда не соприкасались и не могли влиять друг на друга.

У *кафиров* Гиндукуша, когда мужчины в походе, женщины исполняют военный танец. Они вливают в воинов силу и отвагу, внушают им бдительность, чтобы их не ошеломила хитрость врага.

У южноамериканских *живарос*, когда мужья уходят в поход, женщины каждую ночь собираются в одном из домов для исполнения особого танца. Они опоясываются погремушками из раковин улиток и исполняют заговорные песнопения. Военный танец женщин имеет особую силу: он охраняет их отцов, мужей и сыновей от копий и пуль врагов, врага он лишает бдительности, и тот замечает опасность, когда уже поздно, он также не дает врагу мстить за поражение.

На *Мадагаскаре* древний женский танец, который можно исполнять только во время битвы, называется «мирари». Когда выясняется день битвы, специальные курьеры извещают женщин. Женщины распускают волосы и начинают танец, устанавливая таким образом связь со своими мужчинами. В 1941 г., когда немцы шли на Париж, женщины в Тананариве танцевали мирари, чтобы защитить французских солдат. Расстояние было огромным, но, кажется, это подействовало.

По всей Земле имеются праздники, где мужчины и женщины танцуют отдельными группами, но в виду друг друга, а чаще всего — друг перед другом. Излишне здесь их перечислять, это общеизвестно. Я нарочно ограничился несколькими крайними случаями, когда раздельность, отдаленность и сила возбуждения особенно велики. Так что можно уверен-

но говорить о двойной массе, корни которой таятся очень глубоко. Обе массы в этом случае хорошо чувствуют друг друга. Возбуждение одной способствует сохранению жизни и успеху другой. Мужчины и женщины принадлежат *одному* народу и суждены друг другу.

В *легендах об амазонках*, которые вовсе не ограничены греческой древностью, а имеют хождение, к примеру, среди коренных жителей Южной Америки, женщины навсегда отделены от мужчин и сражаются против них, как один народ против другого.

Но прежде чем приступить к рассмотрению войны, в которой сильнее всего выражается роковая сущность двойной массы, полезно взглянуть в древнейшее разделение человечества на *живых* и *мертвых*.

Во всем, что происходит вокруг умирающего и мертвого, важную роль играет представление о том, что по ту сторону действует мощное полчище духов, к которому в конце концов примкнет умерший. Живущие неохотно отдают им своего человека. Это их ослабляет, а если к тому же речь идет о мужчине во цвете лет, потеря воспринимается особенно болезненно. Пока могут, они обороняются, зная при этом, что особой пользы сопротивление не принесет. Масса по ту сторону многочисленнее и сильнее и перетянет его к себе во что бы то ни стало. Все делается в сознании преобладающей силы потустороннего воинства. Надо вести себя так, чтобы его не рассердить. Оно может воздействовать на живущих и вредить им, где только можно. У многих народов масса мертвых — это резервуар, из которого берутся души для новорожденных, так что от мертвых зависит, будут ли у женщин дети. Иногда духи приплывают облаками и приносят дожди. Они могут отнять у человека растения и животных, которые составляют его пропитание. Они могут добыть среди живущих новые жертвы. А собственного мертвого, сданного лишь после упорного сопротивления, можно счесть хорошо устроенным — членом могучего потустороннего воинства.

Умирание, следовательно, — битва между противниками, чьи силы неравны. Возможно, громкие вопли, раны, на-

носимые самим себе в тоске и отчаянии, считаются признаками этой схватки. Мертвый не должен думать, что его отдали легко, — нет, за него дрались.

Но это — особенная битва. Для живых она всегда проиграна — не важно, насколько храбро они бьются. Воин изначально в положении бегущего, он, собственно, сопротивляется лишь для виду, надеясь как-нибудь оторваться от противника в арьергардном бою. Чаще всего битва инсценируется, чтобы подольститься к умирающему, который вскорости станет в ряды врагов. Надо, чтобы мертвый по ту сторону хорошо или по крайней мере не слишком плохо думал об оставшихся здесь. А то он прибудет туда разгневанным и подговорит вечного врага на новую грабительскую вылазку.

Крайне важен в этой борьбе между мертвыми и живыми ее перемежающийся характер. Никто не знает, когда последует новый удар. Возможно, его долго не будет, но надеяться на это нельзя. Удар приходит внезапно и из тьмы. Без объявления войны. Все может ограничиться одной-единственной смертью, а может длиться долго — как поветрие или эпидемия. Живые — в вечном отступлении, которому нет конца.

Об отношении живущих к мертвым еще будет речь. Здесь мы увидели тех и других как двойную массу, части которой постоянно взаимодействуют друг с другом. Третья форма двойной массы — это военная масса. Для нас сегодня она важнее всех остальных. После испытаний нынешнего столетия люди многим бы пожертвовали, чтобы познать ее и суметь с ней покончить.

ДВОЙНАЯ МАССА: ВОЙНА

На войне убивают. «Шеренги врагов поредели». Убивают большими массами. Нужно убить как можно больше врагов; опасная масса живых противников должна превратиться в *груды* трупов. Победитель — тот, кто убил больше врагов.

Война идет против возрастающей массы соседей. Ее прирост страшен сам по себе. Угроза, содержащаяся в самом ее приросте, возбуждает собственную агрессивную массу, рвущуюся на войну. Во время войны стремятся получить перевес, то есть собрать более многочисленную группу в нужном месте и использовать слабость противника прежде, чем он успеет повысить численность собственных войск. Частности ведения войны суть отражения того, что происходит на войне в целом: каждая сторона хочет стать большей массой живых. Враг же пусть будет большей грудой мертвых. В этом состязании растущих масс заключается важнейшая, можно сказать — глубочайшая, причина войн. Можно не убивать, а обращать в рабство — особенно это касается женщин и детей, которые потом послужат умножению собственного рода. Но война — не настоящая война, если цель ее не состоит в первую очередь в нагромождении штабелей вражеских трупов.

Все столь привычные слова, обозначающие события войны в старых и новых языках, точно выражают это отношение. Говорят «бой» и «побоище». Говорят «сражение». Реки делаются красными от крови. Враги истребляются до единого человека. Сами сражаются «до последнего бойца». Пленных «не берут».

Важно отметить, что даже *груда мертвых* воспринимается как *единство* и во многих языках описывается особым словом. Немецкое слово *Walstatt*, означающее «поле битвы», содержит древний корень *wal*, что значит «оставшиеся на поле битвы». Древнее норманское *valg* — это «трупы на поле сражения», *valhall* — не что иное, как «жилище павших воинов». Благодаря чередованию гласных из староверхненемецкого *wal* возникло слово *woul*, обозначающее «поражение». В англосаксонском же соответствующее слово *wol* значит «чума, поветрие». В основе всех этих слов, идет ли речь об оставшихся на поле битвы, о поражении или о чуме, лежит представление о *груде трупов*.

Оно отнюдь не является чисто германским. Его можно обнаружить повсюду. В стихе пророка Иеремии вся земля

оказывается полем гниющих трупов: «И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». Пророка Мухаммеда так впечатлил вид груды вражеских трупов, что он обратился к ней со своего рода триумфальной проповедью. После битвы при Бедре, первой крупной победы над своими врагами из Мекки, «он приказал сбросить трупы убитых врагов в цистерну для сбора дождевой воды. Лишь одного из них завалили землей и камнями, ибо он так распух, что не могли стащить с него панцирь; он был единственным, велено было его так и оставить. Когда остальные оказались в цистерне, Мухаммед стал перед ней и воскликнул: «Эй вы, люди в цистерне! Сбылось ли пророчество вашего Господина? Пророчество моего Господина было истинным». Его соратники сказали: «О посланник Бога! Это же только трупы!» Мухаммед возразил: «*Они* ведь знают, что пророчество Господина сбылось».

Так он собрал тех, кто раньше не желал его слушать, — в цистерне они в сохранности и все вместе. Я не знаю другого столь впечатляющего примера приписывания груды мертвых врагов черт массовой жизни. Сами они уже не представляют собой угрозы, но им можно грозить. Любая гнусность по отношению к ним останется безнаказанной. Ощущают они ее или нет, лучше предположить, что ощущают, чтобы еще острее почувствовать собственный триумф. Их скопление в цистерне таково, что ни один не шелохнется. Если бы кто-то из них очнулся, — вокруг никого, кроме мертвецов, и нечем дышать среди бывших товарищей; если бы он вернулся в мир, то в мир мертвых, состоящий из тех, кто при жизни был ему близок.

Среди народов древности *египтяне* слыли не особенно воинственными: энергия Древнего царства направлялась скорее на строительство пирамид, чем на завоевания. Но и им в те времена приходилось затевать боевые походы. Один из них изобразил Уне, верховный судья, которого царь Пепи назначил командовать походом против бедуй-

нов. Уне рассказывает об этом походе в надписи, вырезанной на его могиле:

«Войску сопутствовала удача, оно рассекло страну бедуинов.

Войску сопутствовала удача, оно разрушило страну бедуинов.

Войску сопутствовала удача, оно опрокинуло их башни.

Войску сопутствовала удача, оно срубило их фиговые и виноградные лозы.

Войску сопутствовала удача, оно спалило огнем их деревни.

Войску сопутствовала удача, оно сразило их воинов много десятков тысяч.

Войску сопутствовала удача, оно привело с собой множество пленных».

Мощная картина разрушения достигает кульминации в строке, где говорится о десятках тысяч убитых врагов.

В эпоху Нового царства Египет проводил — хотя и не очень долгое время — планомерно агрессивную политику. Рамзес II вел затяжные войны с хеттами. В одной из сложенных в его честь хвалебных песен говорится: «Он прошел страну хеттов и превратил ее в *гору трупов*, как мрачная Шехмет во время *чумы*». Согласно мифу, львиноголовая богиня Шехмет учинила кровавую резню среди непокорных людей. Она осталась богиней войны и сражений. Автор хвалебной песни связывает представление о горе трупов хеттов с жертвами эпидемии, что для нас уже не ново.

В своем знаменитом рассказе о битве при Кадеше, где он разбил хеттов, Рамзес II повествует о том, как он был отрезан от своих войск и, благодаря нечеловеческой силе и мужеству, в одиночку выиграл битву. Его воины видели, как «все народы, в гущу которых я врезался, лежали в крови, как на бойне, вместе с лучшими воинами хеттов, с детьми и братьями их князей. Я покрыл поле Кадеша белым, и негде было ступить от их множества». Имеется в виду множество трупов и их белые одеяния, изменившие цвет поля, — ужасное и наглядное описание результатов битвы.

Но эти результаты могут видеть только сами воины. Битвы разыгрываются где-то далеко, а ведь дома народ тоже хочет насладиться видом вражеских трупов. Владыки изобретательны и находят способ доставить ему удовольствие. Сообщается, что царь Меренпта, сын Рамзеса II, победил ливийцев в большой битве. В руки египтян попал лагерь ливийцев со всеми сокровищами и родственниками их вождей; лагерь разграбили и сожгли. 9376 пленников пополнили добычу. Но этого оказалось мало: чтобы продемонстрировать дома количество мертвых ливийцев, убитым отрезали половые органы; если они были обрезанными, довольствовались руками; добычу грузили на ослов. Позже Рамзесу III снова пришлось сражаться с ливийцами. Количество трофеев на этот раз составило 12535 штук. Ясно, что эти жуткие вьюки представляют собой не что иное, как горы мертвых врагов, приведенные в транспортабельный вид и наглядно представляющие победу всему народу. Каждый убитый дал в эту гору как бы налог со своего тела; важно, что в качестве трофеев все они равны.

Другие народы охотились больше за головами. У ассирийцев была установлена плата за голову врага, каждый солдат поэтому старался доставить как можно больше голов. На рельефе времен царя Ассурбанипала изображено, как писцы в большой палатке записывают число отрезанных голов. Каждый солдат предъявляет принесенные им головы, бросает их в общую кучу, называет свое имя и подразделение и проходит дальше. Ассирийские цари были одержимы страстью к пирамидам голов. Если они шли с армией, то сами председательствовали при учете трофеев и лично награждали солдат. Если же оставались дома, то приказывали переправлять эти пирамиды целиком к себе; когда это было невозможно, довольствовались головами вражеских вождей.

Так что непосредственная и вполне конкретная цель войн ясна. Излишне было бы иллюстрировать ее дальнейшими примерами. История ими просто кишит. Создается впечатление, что только об этом она и хочет толковать, и

только ценой повторных напряженных усилий удастся повернуть ее к другим воспоминаниям человечества.

Если охватить взглядом сразу обе воюющие стороны, то война предстает в образе *двух двояко скрещенных масс*. Войско, которое старается быть как можно больше, стремится нагромоздить возможно большую гору вражеских трупов. То же самое справедливо для противоположной стороны. *Скрещение* происходит от того, что каждый участник войны принадлежит *двум* массам одновременно: для своих он относится к числу живых воинов, для противника — к числу потенциально и желательно мертвых.

Для того чтобы поддерживать воинственное настроение, нужно постоянно подчеркивать сначала, как силен ты сам, — это значит, как много воинов в твоей армии, — и затем, как велико число мертвых врагов. С незапамятных времен все военные сообщения содержат эту двойную статистику: вот сколько наших вышло в поход, вот сколько врагов мертвы. Обычно проявляется склонность к преувеличениям, особенно в том, что касается численности убитых врагов.

Когда идет война, никто не скажет, что число живых врагов для нас слишком велико. Тот, кто это знает, молчит и старается овладеть ситуацией путем удачного распределения собственных войск. Как уже отмечалось, все делается для того, чтобы благодаря легкости и подвижности боевых отрядов создать превосходство в нужном месте в нужное время. Лишь *после* войны будет сказано, сколько мы потеряли сами.

То, что войны могут длиться так долго, что они продолжают, даже если давно проиграны, объясняется глубочайшей потребностью массы сохранять себя в возбужденном состоянии, не распадаться, оставаться массой. Это чувство иногда так сильно, что люди сознательно предпочитают вместе пойти на смерть, лишь бы не признавать поражения, переживая тем самым распад собственной массы.

Как, однако, происходит *формирование* воинственной массы? Как в одно мгновение складывается эта зловещая целостность? Что заставляет людей вдруг ставить на кон так

много и все сразу? Этот процесс все еще столь загадочен, что подходить к нему надо осторожно.

Это поистине удивительное предприятие. Кто-то заключает, что ему грозит физическое уничтожение, и объявляет об этой угрозе всему миру. Так человек провозглашает: «Меня хотят убить», — а сам тихонько при этом думает: «...потому что я хочу убить этого или того». По правде, акцент должен быть поставлен иначе: «Я хочу убить этого или того, а потому меня самого хотят убить». Однако для того чтобы начать войну, для ее *прорыва*, для возбуждения среди своих воинственного настроения предъявляется исключительно первая редакция. Является сторона агрессором или нет, она всегда старается создать иллюзию угрозы по отношению к себе самой.

Угроза заключается в том, что некто признал за собой право убить другого. На угрожаемой стороне она касается любого человека: она уравнивает всех, ибо обращена против всех и каждого. Начиная с определенного мгновения, которое для всех одно и то же, то есть с момента объявления войны, одно и то же может случиться с каждым. Физическое уничтожение, защитой от которого было общество, в котором живешь, теперь подступило вплотную и именно в силу твоей принадлежности к этому самому обществу. Над каждым, кто причисляет себя к определенному народу, нависла одинаковая страшная угроза. Тысячи людей, каждому из которых по отдельности в один и тот же миг сказано: «Ты должен умереть», — действуют совместно, чтобы отвести смертельную угрозу. Они спешат скорее привлечь к себе всех, кто чувствует ту же угрозу, и соединяют свои силы для отпора врагу.

Соединение всех, кого это касается, — как физическое, так и душевное, то есть в чувствах и настроениях, — происходит необычайно быстро. Прорыв войны — это, прежде всего, *прорыв двух масс*. Когда они конституировались, высшей целью каждой из них становится *сохранение* самой себя как переживающего и действующего единства. Утратить его —

все равно что отказаться от самой жизни. Воинственная масса ведет себя так, будто все, что *вне ее*, — *смерть*, и отдельный человек, даже если ему довелось пережить много войн, на новой войне легко поддается этой иллюзии.

Смерть, которая в действительности всегда угрожает каждому, должна быть объявлена как *коллективный приговор*, — только тогда возможно активное выступление против нее. Есть, так сказать, *времена объявленной смерти*, когда она вдруг оборачивается к определенной, произвольно выбранной группе как к целому. «Смерть грозит всем французам» или «...всем немцам». Воодушевление, с каким люди выступают на войну, объясняется малодушием человека перед лицом смерти. Поодиночке они не смеют взглянуть ей в глаза. Она легче вдвоем, когда двое врагов, так сказать, приводят в исполнение приговор друг над другом, и она вовсе не та же самая смерть, когда на нее идут тысячи. Самое худшее, что может случиться с человеком на войне, — это гибель *вместе* с другими. Но это избавляет от смерти поодиночке, которой люди боятся больше всего на свете. Да они и не верят, что это худшее произойдет. Они считают, что можно отвести, перевести на других висящий над ними коллективный приговор. Их *смертеотвод* — это *враг*, и единственное, что от них требуется, это опередить врага. Надо только быть достаточно стремительным и убивать не колеблясь. Враг является будто по заказу: он вынес приговор, он первым сказал «Умри!». На него и падет то, что он уготовил другим. Первым всегда начинает враг. Может быть, он и не начал первым, но ведь собирался начать, а если и не собирался, то ведь думал же он об этом, а если не думал, то *мог бы* ведь вскоре подумать. Желание смерти другому действительно повсюду, и, чтобы его отыскать, не надо особенно долго копаться в человеческой душе.

Особое, безошибочно узнаваемое высокое напряжение, свойственное военным процессам, определяется двумя факторами: *стремлением опередить смерть* и *действиями в массе*. Без последнего первое было бы обречено на неудачу.

Пока длится война, масса должна существовать, а если люди уже не составляют массу, война, собственно, закончилась. Перспектива определенного долгожительства, которую война открывает перед массой, в значительной мере объясняет, почему войны так любимы в человечестве. Можно показать, что их интенсивность и длительность в современном мире связаны с гораздо большими, чем раньше, двойными массами, исполненными воинственного духа.

МАССОВЫЕ КРИСТАЛЛЫ

Массовыми кристаллами я называю маленькие жесткие группы людей, которые имеют четкую границу, обладают высокой устойчивостью и служат для возбуждения масс. Важно, что такие группы обозримы, каждую из них легко охватить взглядом. *Единство* в них важнее, чем величина. Они должны быть привычны, должно быть хорошо известно, зачем они существуют. Сомнение в их функции отняло бы у них самый смысл существования; самое лучшее для них — оставаться неизменными. Им нельзя выступать в другой функции. Наличие униформы или определенного места для проведения мероприятий как нельзя лучше соответствует их природе.

Массовый кристалл *постоянен*. Он никогда не меняется в размере. Составляющие его индивидуумы привыкли действовать и мыслить соответствующим образом. У них может быть разделение функций как в оркестре, но важно, что появляются они только вместе. Кто на них смотрит, сразу чувствует, что они не могут разойтись поодиночке. Их жизнь вне кристалла вообще не принимается в расчет. Даже если речь идет о профессии, как в случае оркестрантов, их приватное существование никого не интересует — они ведь оркестр. В других случаях они носят униформу и появляются только вместе. Сняв униформу, они становятся другими

людьми. Солдаты и монахи представляют собой важнейшие формы массовых кристаллов. Униформа здесь разъясняет, что члены группы-кристалла *поселяются* совместно: даже когда они являются поодиночке, все равно осознается жесткое единство, к которому они принадлежат, — монастырь или воинская часть.

Ясность, изолированность и постоянство кристалла резко контрастируют со спонтанными и неустойчивыми процессами в самих массах. Быстрый неконтролируемый рост и постоянная угроза распада — эти два процесса, наполняющие массу характерным беспокойством, — чужды кристаллу. Даже в состоянии максимального возбуждения он выделяется на фоне массы. К какой бы массе он ни испытывал тяготения, насколько бы по видимости ни сливался с ней, он никогда не потеряет ощущения самотождественности и после ее распада мгновенно восстановится вновь.

Закрытая масса отличается от кристалла не только большим объемом, она отличается более спонтанным характером и не может позволить себе серьезное разделение функций. Собственно, общее у нее с кристаллом — ограниченность и регулярность повторения. Но в кристалле все — граница: каждый, кто к нему принадлежит, становится границей. Закрытая масса, напротив, кладет себе границу вне себя самой, например, в форме и размере здания, в котором она собирается. Внутри же этих границ, где встречаются друг с другом все, кто к ней принадлежит, она остается текучей, так что всегда возможны сюрпризы, внезапная и неожиданная смена поведения и настроения. Всегда, даже в этом закрепленном границей состоянии, она может разогреться до такой степени плотности и интенсивности, что станет возможным извержение. Массовый кристалл, наоборот, весь статичен. Род деятельности ему предписан. Каждое его выражение или движение четко им самим осознается.

Поразительно и *историческое* постоянство массовых кристаллов. Хотя все время вырабатываются новые формы, продолжают существовать и старые со всей их спецификой. На

какое-то время они могут отступить на задний план, утратив остроту и необходимость существования. Массы, с которыми они были связаны, возможно, отмерли или были насильственно подавлены. И кристаллы сами по себе продолжают существовать как безвредные группы, не оказывающие никакого влияния вовне. Маленькие группы религиозных сообществ остаются в странах, которые в целом поменили свою веру. Наверняка придет момент, когда они окажутся востребованными; могут также появиться новые массы, для возбуждения и освобождения потенциала которых они понадобятся. Окостеневшие «пенсионные» группы такого рода могут быть извлечены из спячки и реактивированы. Их можно оживить и с незначительными структурными изменениями вновь использовать в качестве массовых кристаллов. Едва ли возможно какое-нибудь крупное политическое преобразование, при котором не обнаружили бы такие отставные группы. Будучи гальванизированы, они действуют иногда столь ярко и активно, что кажутся новым и опасным феноменом.

Позже будет видно в деталях, как функционируют массовые кристаллы. Свойственный им способ возбуждения масс можно объяснить только на конкретных примерах. Кристаллы имеют разную внутреннюю организацию и пробуждают поэтому разного рода массы. С целым рядом их мы познакомимся дальше по ходу исследования.

МАССОВЫЕ СИМВОЛЫ

Коллективные единства, состоящие не из людей и тем не менее воспринимаемые как массы, я называю *массовыми символами*. Это такие единства, как зерно и лес, дождь, песок, ветер, море и огонь. Каждый из этих феноменов включает в себе крайне важные свойства массы. Хотя он состоит не из людей, но похож на массу и символически замещает ее в мифах и снах, речах и песнях.

Эти символы нужно ясно и безошибочно отличать от *кристаллов*. Массовые кристаллы представляют собой группы людей, выделяющиеся своей организованностью и единством. Они задуманы были как единство и воспринимаются как единство, но складываются всегда из реально действующих людей — солдат, монахов, оркестрантов. Массовые символы, напротив, не являются людьми и лишь *воспринимаются* как масса.

Способ их углубленного рассмотрения здесь на первый взгляд может показаться не соответствующим самому предмету. Но потом мы увидим, что к самой массе можно подходить таким новым и многообещающим образом. Это как бы естественный свет, которым она освещается благодаря созерцанию ее символов; было бы неумно заслониться от этого света.

Огонь

Прежде всего об огне можно сказать, что он повсюду равен себе: большой или маленький, не важно, где возникший, давно горящий или только вспыхнувший — в нашем представлении он всегда в определенном смысле один и тот же независимо от обстоятельств появления. В том, как мы представляем себе огонь, подразумевается пожар — могучий, безжалостный, неумолимый.

Огонь вбирает в себя все вокруг, он ухватист и ненасытен. Неистовость, с какой он пожирает целые города, леса и степи, — самое впечатляющее его свойство. До пожара дерево стояло возле дерева, дом возле дома, каждый отдельно, сам по себе. Но все разделенное пожар соединяет мгновенно. Изолированные до того предметы исчезают в одном и том же пламени. Огонь уравнивает их до полного исчезновения. Дома, живые существа — он все вбирает в себя. Не перестаешь удивляться всеобщей беспомощности перед прикосновением огня. Чем больше жизни, тем меньше способность сопротивляться огню; только то, в чем жизни меньше все-

го, — минералы — могут ему противостоять. Стремительный порыв не знает границ. Он хочет втянуть в себя все, и всего ему мало.

Огонь может возникать всюду и возникать внезапно. Никого не удивляет, когда то там, то здесь вспыхивают пожары; к этому привыкли. Но всегда поражает внезапность его возникновения, и каждый раз производится расследование его причин. Поскольку выяснить их удается не часто, возникает некий благочестивый страх, связанный с образом огня, который таинственно вездесущ и может возникнуть в любой миг и где угодно.

Огонь многообразен. Люди знают не только то, что он есть в разных бесчисленных местах, но даже в каждом отдельном случае огонь может быть разным — говорят о порывах и языках. В Ведах огонь именуется «единый Агни, многообразно воспламеняющийся».

Огонь разрушим: его можно победить и приручить, он может погаснуть. У него есть стихийный враг — вода, противостоящая ему в образе рек и ливней. Этот враг вездесущ и в своих многообразных проявлениях не слабее, чем огонь. Враждебность воды и огня вошла в пословицу: «как вода с огнем» — значит в крайней непримиримой вражде. В древних представлениях о конце мира побеждает всегда либо вода, либо огонь. При потопе все живое тонет в воде. В мировом пожаре мир гибнет от огня. Иногда вода и огонь появляются вместе, взаимно умеряя аппетиты друг друга, в одной и той же мифологии. За время своего существования человек обрел власть над огнем. Ему не только удается, когда нужно, применять против него воду — он умеет сохранять огонь в расчлененном состоянии. Он заключил его в печи. Он кормит его, как кормят животных, может морить голодом, может погасить. Отсюда следует последнее важное свойство огня: с ним обращаются так, будто он живой. У него беспокойная жизнь, которая может угаснуть. Угаснув здесь совсем, на новом месте он живет дальше.

Если соединить вместе все эти отдельные черты огня, возникает неожиданная картина: он везде равен себе, стреми-

тельно распространяется, способен внезапно возникнуть повсюду, заразителен и ненасытен, многообразен, может быть разрушен, у него есть враг, он умирает, он ведет себя будто живой, и именно так с ним и обращаются. Но все эти свойства суть свойства *массы*, трудно вообще дать более исчерпывающее перечисление ее атрибутов. Можно пройти их все по порядку. Масса повсюду равна себе: в разные эпохи, в разных культурах, у людей разного происхождения, с разным образованием, говорящих на разных языках, она остается, в сущности, той же самой. Где бы она ни появилась, она бурно вбирает в себя все вокруг. Ее заразительному воздействию мало кто способен противостоять, она стремительно растет, изнутри ей не положено границ. Она может возникнуть всюду, где собираются люди, спонтанно и внезапно. Она многообразна и вместе с тем едина, ее составляет множество людей, и никогда не известно, сколько их на самом деле. Она поддается разрушению. Ее можно ограничить и приручить. Она ищет себе врага. Она исчезает так же внезапно, как возникает, и иногда столь же необъяснимо; само собой, у нее есть собственная беспокойная и бурная жизнь. Эти черты сходства огня и массы ведут к тому, что они часто сливаются. Они переходят друг в друга и друг за друга выступают. Из символов массы, сопровождающих человечество в его истории, огонь — один из самых важных и самых переменчивых. Нужно поближе присмотреться к некоторым связям огня и массы.

Среди опасных свойств массы, которые всеми подчеркиваются, раньше всего бросается в глаза ее страсть к *поджогам*. Корни этой страсти заключаются в *лесном пожаре*. Люди часто поджигали лес, который сам по себе является древнейшим массовым символом, чтобы создать места для полей и деревень. Можно с большим основанием предположить, что, именно пуская лесные пожары, люди учились обращаться с огнем. Между огнем и лесом существует изначальная, многое освещающая связь. На месте сожженного леса потом вырастает урожай, и, если нужно увеличить сбор зерна, приходится снова очищать землю от леса.

Из горящего леса спасаются *бегством* животные. Массовый ужас — это естественная, можно даже сказать, извечная реакция животных на большой огонь, да и человеку была свойственна эта реакция. Однако он овладел огнем, заполучил его в свои руки, и теперь уже огню следовало его бояться. Эта новая власть овладела старым страхом, в результате возник их удивительнейший союз.

Раньше масса бежала от огня, теперь огонь обрел для нее огромную притягательную силу. Известно магическое воздействие пожара на людские толпы. Людям мало очагов, каминов и печей, которые семьи и другие группы совместного проживания держат лично для себя, — им нужен огонь, видимый издалека, который можно окружить, вокруг которого можно быть всем вместе. Как бы массовый страх, вывернутый наизнанку, торопит их на место пожара, и, если он достаточно велик, они ощутят вокруг него нечто вроде согревающего света, объединявшего их когда-то. В мирные времена такое переживание достаточно редко. Масса, как только она образуется, испытывает сильнейшие позывы к разжиганию огня и использованию его притягательной силы для ее собственного возрастания.

Воплощенный пережиток этих древних связей человек носит с собой каждый день и всюду — спички. Они представляют собой упорядоченный лес из отдельных стволов, каждый с легко сгорающей верхушкой. Можно зажечь их несколько штук одновременно или все сразу и так искусственно создать лесной пожар. Человек испытывает такое побуждение, но обычно этого не делает, потому что мелкость масштаба лишает процесс свойственного ему блеска.

Но притягательность огня идет гораздо глубже. Люди не только спешат к нему и стоят вокруг, есть древние обычаи, при которых они прямо уподобляют себя огню. Прекрасный пример здесь — знаменитый танец огня индейцев *навахо*.

«Индейцы *навахо* из Нью-Мексико разжигают огромный костер и танцуют вокруг него ночь напролет. От заката до восхода солнца представляется одиннадцать определенных

актов. Как только исчезает солнечный круг, начинается дикий танец в свете огня. Танцующие почти обнажены, их голые тела раскрашены, волосы распущены и развеваются, в руках особые палки с пучками перьев на конце. Дикими прыжками они приближаются к высокому пламени. Делают они это неловко, как бы преодолевая сопротивление, то на корточках, то почти ползком. Действительно, пламя так горячо, что им приходится виться ужом, чтобы подобраться к нему достаточно близко. Их цель — сунуть в огонь перья на концах палок. Над ними держат круг, изображающий солнце, вокруг которого и идет дикий танец. Каждый раз, когда круг опускают и поднимают снова, танец меняется. Перед восходом солнца священный ритуал приближается к концу. Вперед выходят раскрашенные белым мужчины, поджигают от раскаленных углей куски коры и снова в неистовстве носятся вокруг костра, окутанные дымом, осыпая свои тела искрами и огнем. Они впрыгивают прямо в раскаленные угли, полагаясь лишь на белую краску, которая должна предохранять от опасных ожогов».

Они танцуют огонь, они становятся огнем. Их движения напоминают движения огня. Они поджигают то, что у них в руках, и должно казаться, будто горят они сами. Под конец они выбивают из тлеющего пепла последние искры, пока не появляется солнце, принимающее от них эстафету огня, которую они приняли при заходе солнца.

Следовательно, огонь здесь — живая масса. Так же как другие индейцы в танце становятся буйволами, эти превращаются в огонь. Для позднейших людей живой огонь, в который перевоплощаются навахо, стал просто символом массы.

Для каждого известного массового символа можно найти конкретную массу, которой он питается. Мы отнюдь не обречены здесь только на догадки. Стремление человека стать огнем, реактивировать этот древний символ сильно и в позднейших сложных культурах. Осажденные города, лишённые надежды на прорыв блокады, часто губят себя огнем. Короли с двором, изгнанные без надежды на возвращение,

сжигают себя. Примеры тому обнаруживаются в древних культурах Средиземноморья, так же как у индийцев и китайцев. Средневековые с его верой в адский огонь довольствовались отдельными еретиками, горевшими вместо всей собравшейся публики. Она посылала своих, так сказать, представителей в ад и видела, что они и в самом деле горят. Представляет огромный интерес анализ значения огня в различных религиях. Но имел бы смысл лишь достаточно детальный анализ, поэтому нам придется оставить его на потом.

Однако уже здесь нужно подробно остановиться на значении *импульсивных поджогов*, осуществляемых отдельными персонами, для самих этих персон, которые действуют и существуют действительно изолированно, не принадлежа к определенным политическим или религиозным кругам.

Крепелин описывает историю одинокой пожилой женщины, которая за свою жизнь совершила около 20 поджогов, первые — еще ребенком. За поджоги ее шесть раз судили, и 24 года она провела в тюрьме. У нее в голове все время была одна мысль, навязчивая идея: «Если бы то или это горело...» Какая-то невидимая сила толкала ее на поджог, она не могла ей противиться, особенно если в кармане были спички. Она сама охотно и весьма подробно во всем *признавалась*, заявляя, что ей хочется смотреть на огонь. Она еще в раннем возрасте поняла, что огонь — это средство привлечь людей. Возможно, толпа, собравшаяся вокруг огня, была ее первым переживанием массы. Потом уже массу было легко заменить огнем. Когда ее обвиняли или когда она обвиняла себя сама, то испытывала наслаждение от того, что все на нее смотрят. Именно этого она желала: она хотела стать огнем, привлекающим к себе всех. Следовательно, ее поджигательство имело двоякий характер. Прежде всего, она стремилась быть частью массы, созерцающей огонь. Он во всех глазах одновременно, он соединяет все глаза *одной* могучей скрепой. У нее никогда не было возможности стать частью массы — ни в бедные ранние годы, когда она жила изолированно, ни, разумеется, в ее бесконечные тюремные сро-

ки. Позже, когда пожар уже догорал, и масса грозила исчезнуть, она сохраняла ей жизнь, сама внезапно превращаясь в огонь. Это было элементарно: она признавалась в поджоге. И чем подробнее был рассказ, чем больше она говорила, тем дольше на нее смотрели, тем дольше она сама была огнем.

Случаи такого рода не столь редки, как можно было бы думать. Даже не имея всегда столь экстремального характера, они неопровержимо свидетельствуют — если глядеть с точки зрения изолированного индивида — о связи огня и массы.

Море

Море многократно, оно в движении, в собственной тесной внутренней связи. Многократное в нем — это волны, из которых оно состоит. Они бесчисленны, того, кто в море, они окружают со всех сторон. Равномерность их движения не исключает их различий по величине. Они не бывают в покое. Ветер, приходящий извне, направляет их движение: они ударяют туда или сюда — все по его приказу. В плотности соединения волн выражается то, что охотно ощущают также люди в массе: податливость каждого перед другими, как будто он — *они*, как будто он не ограничен от остальных — зависимость, из которой не может быть выхода, а также ощущение мощи, порыва, которое она дарит каждому, а значит, и всем вместе. Подлинной природы связи между людьми мы не знаем. И море не объясняет ее, оно ее выражает.

Кроме многократности волн у моря есть еще многократность *капель*. Они, однако, остаются каплями лишь пока не связаны друг с другом. В их малости и разделенности сквозит бессилие. Они почти ничто и вызывают в наблюдателе лишь сострадание. Можно опустить руку в воду, поднять ее и смотреть, как вяло и поодиночке скатываются капли. Им сострадаешь как безнадежно одиноким людям. Капли *считаются* только тогда, когда их уже невозможно сосчитать, когда они вместе мощной волной устремляются ввысь.

Море имеет *голос*, очень изменчивый и слышимый безостановочно. В его интонации тысячи голосов. Люди вкладывают в него многое: терпение, боль, гнев. Но самое впечатляющее в этом голосе — его густота. Море никогда не спит. Человек слышит его днем и ночью, сквозь годы и десятилетия; он знает, что мог бы слышать его и столетия назад. В своем тяжком покое, как и в возмущении, оно напоминает особенное существо, единственно с которым оно и делит эти свои качества в полном объеме, — массу. Однако у него есть еще постоянство, которого ей недостает. Оно не иссякает и не исчезает время от времени, оно есть всегда. Величайшему и вечно тщетному стремлению массы — стремлению *продолжать существовать* — оно предстоит как уже осуществленное.

Море всеохватно и ненаполнимо. Все реки, потоки и облака, вся земная вода могла бы излиться в море, и его бы от этого не прибавилось: оно будто бы никогда не меняется, всегда есть ощущение, будто это одно и то же море. Значит, оно так велико, что может служить примером массе, которая всегда стремится стать больше, чем она есть. Массе хочется стать большой, как море, и, чтобы этого достигнуть, она притягивает к себе все больше людей. В слове «океан» море как бы возводится в свое церемониальное достоинство. Океан универсален, он дотягивается всюду, омывает любую землю, в нем, по представлениям древних, плавает Земля. Не будь море ненаполнимым, у массы не было бы образа ее собственной ненасытности. Она не могла бы так осознавать свое глубокое и темное влечение к поглощению все большего и большего количества людей. Океан же, естественно стоящий перед ее глазами, дает ей мифическое право необоримого стремления к универсальности.

Хотя море изменчиво в своих аффектах — может быть миротворенным или грозным, может взорваться штормом, — оно всегда налицо. Известно, где оно: его положение открыто, не замаскировано. Оно не возникает вдруг там, где прежде ничего не было. Таинственность и внезапность,

свойственные огню, у него отсутствуют: огонь появляется будто из ничего, выпрыгивает как опасный хищник, его можно ждать повсюду. Моря ждешь только там, где, как совершенно точно знаешь, оно есть.

Но нельзя сказать, что у моря нет тайн. Тайна, однако, заключается не в его внезапности, а в его содержании. Массовидная жизнь, которой оно исполнено, свойственна морю так же, как его открытое постоянство. Его величие еще больше возрастает, когда думаешь о его содержании: о всех растениях, всех животных, неисчислимое количество которых оно укрывает.

У моря нет внутренних границ, оно не делится на народы и страны. У него *один* язык, повсюду тот же. Нет, так сказать, ни единого человека, который мог бы из него выделиться. Оно слишком всеохватно, чтобы точно соответствовать какой-нибудь из известных нам масс. Но оно есть образец покоящейся в себе гуманности, в которую впадает вся жизнь и которая все в себя вбирает.

Дождь

Повсюду, а особенно там, где он бывает редко, *дождь* перед тем, как ему пролиться, выглядит единством. Он приплывает в виде облака, покрывающего небо, становится темно, перед тем как пойти дождю, все окутывается серым. Мгновение, когда дождь вот-вот хлынет, более едино, наверное, в сознании людей, чем в самом своем существовании. Ибо человек жаждет этого мгновения: выпадет ли дождь — это, может быть, вопрос жизни и смерти. Его непросто умолить, приходится прибегать к колдовству; существуют многочисленные и действительно многообразные методы его привлечения.

Дождь падает множеством капель. Их видно, особенно их направление. Во всех языках говорится, что дождь падает. Люди воспринимают его в виде параллельных штрихов, многочисленность падающих капель подчеркивает его на-

правление. Нет другого направления, впечатляющего человека более, чем падение; все остальные по сравнению с ним — это что-то отклоняющееся, вторичное. Падение — то, чего человек сызмала боится и против чего сильнее всего старается вооружиться в жизни. Он учится предохраняться от падения, а кто не может научиться, с определенного возраста смешон или опасен. Дождь же, в противоположность человеку, *должен* падать. Ничто не падает так часто и в таком количестве, как дождь.

Возможно, количество капель чуть-чуть ослабляет тяжесть и твердость падения. Их частые удары создают приятный шум. Чувствовать их на коже приятно. Может быть, важно, что в переживании дождя участвуют три чувства: зрение, слух, осязание. Все эти чувства вместе передают его в ощущении как многочисленное. От него легко спрятаться. Он редко бывает опасен и чаще всего заключает человека в приятные тесные объятия.

Удары капель воспринимаются как равномерные. Параллельность штрихов, одинаковость ударов, одно и то же чувство влажности, вызываемое каплями на коже, — все будто делается для того, чтобы подчеркнуть одинаковость капель. Дождь может идти сильнее или тише, быть густым или не очень. Количество капель колеблется в очень широких пределах. Никто и никогда не рассчитывает на его постоянное усиление, наоборот, известно, что он кончится, и конец этот означает, что капли бесследно уйдут в землю.

В той мере, в какой дождь является массовым символом, он не напоминает о фазе стремительного и неуклонного прироста, которую символизирует *огонь*. В нем нет ничего от константности, хотя есть иногда кое-что от неисчерпаемости *моря*. Дождь — это масса в момент ее разрядки, а это одновременно и момент распада. Облака, из которых он возникает, исходят им, капли падают потому, что уже не могут держаться вместе, и остается пока неясно, смогут ли они (и если да, то как) вновь найти друг друга.

Река

В реке прежде всего бросается в глаза ее направление. Она движется в покоем берегах, с которых можно беспрерывно наблюдать ее протекание. Беспокойство водных масс, следующих без остановки и без перерыва, пока река вообще остается рекой, однозначность общего направления, даже если оно меняется в мелких деталях, неумолимость движения к морю, усвоение других, мелких потоков, — все это, несомненно, имеет характер массы. Поэтому река тоже стала символом массы, но не массы вообще, а отдельных форм ее проявления. Ограничение в ширине, где она может прибавлять, но не бесконечно и не неожиданно, показывает, что как массовый символ река есть нечто предварительное. Она символизирует процессии: люди, смотрящие с тротуаров, — это деревья на берегу, жесткое здесь включает в себя текучее. Демонстрации в больших городах похожи на реки. Из различных районов стекаются маленькие потоки, пока не сформируется основной. Реки в особенности символизируют период, когда масса формируется, когда она еще не достигла того, что ей предстоит достичь. Реке не свойственны всеохватность огня и универсальность моря. Вместо этого здесь доведенное до крайности направление: масса, следующая в этом направлении, растет и растет, но она есть уже в начале. Река — это направление, которое кажется неисчерпаемым и которое в истоке воспринимается даже серьезнее, чем у цели.

Река — это масса в ее *тщеславии*, масса, показывающая себя. Элемент наблюдаемости не менее важен, чем направление. Без берегов нет реки, и шпалеры кустарника по берегам выглядят как толпы зрителей. Можно было бы сказать, что у нее есть внешность, предназначенная, чтобы ею любовались. Все массовые структуры, напоминающие реки, — процессии, демонстрации — стараются показать как можно больше своей поверхности: они разворачиваются до максимально возможной длины, демонстрируя себя возможно

большому числу зрителей. Они хотят, чтобы их обожали или пугали. Их прямая цель на самом деле не так уж и важна, важно расстояние до нее, протяженность улиц, по которым они текут. Что касается плотности среди участников, то здесь нет обязывающих требований. Она выше среди зрителей, совершенно особый род плотности возникает между участниками и зрителями. Это нечто вроде любовного сближения двух очень длинных существ, одно из которых, вобрав в себя другое, дает ему медленно и нежно струиться сквозь себя. Прирост здесь совершается в самом истоке через пространственно четко структурированные прибавления.

Равенство капель в реке самоочевидно, однако она несет на своей поверхности самые разные вещи, которые гораздо важнее для нее и сильнее определяют ее облик, чем груз моря, исчезающий на его гигантской поверхности.

Связав все это воедино, можно лишь с оговорками назвать реку массовым символом. Она является им, но менее, нежели огонь, море, лес или зерно. Она — символ такого состояния, когда масса еще владеет собой *перед* прорывом и *перед* разрядкой, когда ее угроза больше, чем ее действительность: она есть символ *медленной* массы.

Лес

Лес *над* людьми. Он может быть закрытым, заросшим кустарником; трудно в него проникнуть, и еще труднее в нем двигаться. Но его настоящая плотность, то, из чего он действительно состоит, его кроны — всегда *вверху*. Эти кроны отдельных стволов, переплетаясь, образуют общую крышу, эти кроны, задерживая свет, вместе отбрасывают величественную лесную тень.

Человек, вертикальный как дерево, становится в общий с деревьями ряд. Однако они гораздо больше его, и он вынужден смотреть на них снизу вверх. В его природных обстоятельствах нет другого феномена, который так постоянно оставался бы над ним и одновременно рядом — и в та-

ком множестве. Ибо облака проносятся мимо, дождь впитывается в землю, а звезды далеко. Из всего этого множества явлений, воздействующих сверху, ни одному не свойственна такая постоянная близость, как лесу. Высота стволов преодолима: на них карабкаются, добывают плоды, там живут.

Направление, в котором прослеживают его человеческие глаза, — это направление его собственного изменения: лес постоянно растет вверх. Равенство стволов весьма приблизительно, это тоже, собственно, равенство направления. Тот, кто в лесу, чувствует себя в безопасном убежище; он не у вершин, где совершается рост и где плотность максимальна. Именно эта плотность дает ощущение безопасности, и она сверху. Так в лесу изначально родилось *благоговение*. Оно заставляет человека смотреть вверх в сознании благодарности за его превосходящую и охраняющую силу. Простой взгляд вверх превратился у многих племен в благодарное поднятие взора. Лес предвосхитил чувство церкви, стояния перед Богом в окружении пилястров и колонн. Его ритмическое совершенство воздействует как свод собора, объединяющего все роды в высшее и неразделимое единство.

Другое, не менее важное качество леса — это его многократно утвержденная незыблемость. Каждый отдельный ствол прочно укоренен и не уступает воздействиям извне. Сопротивление его абсолютно, его не сдвинуть с места. Его можно свалить, но нельзя передвинуть. Поэтому он стал символом *войска* — войска стоящего, которое не побежит ни при каких обстоятельствах, которое ляжет до последнего человека, не уступив ни пяди земли.

Рожь

Рожь в некоторых отношениях представляет собой редуцированный лес. Она растет там, где раньше был лес, и никогда не вырастает такой высокой, как лес. Она целиком во власти человека и его труда. Он ее сеет и косит, исполне-

нием древних ритуалов добивается, чтобы она хорошо росла. Она податлива как трава, открыта воздействию всех ветров. Все колосья одновременно уступают порыву ветра, поле клонится все целиком. После бури, побитые и поваленные, они долго лежат на земле. Но у них есть таинственная способность подниматься вновь, и, если они не переломаны совсем, вдруг в один миг поле стоит целое, как прежде. Налитые колосья — что тяжелые головы: они кивают тебе или отворачиваются в зависимости от того, как дует ветер.

Рожь обычно не достигает человеческого роста. Но человек остается ее господином, даже когда она его перерастает. Ее скашивают всю вместе, как она вместе росла, как вместе была посеяна. Даже травы, не используемые человеком, остаются всегда вместе. Но насколько более общая судьба у ржи, которая вместе посеяна, скошена, собрана, обмолочена и сохраняется. Пока растет, она прочно укоренена. Колос не может уйти от колоса. Что бы ни происходило, происходит со *всеми* колосьями. Так она и стоит, по росту мало отличимая от человека, а так как ее много, воспринимается почти как равная по высоте. Когда ее возбуждает ветер, ритм ее колыханий напоминает ритм простого танца.

Равенство людей перед смертью любят выражать в образе ржи. Но она падает *сразу* потому напоминает вполне определенную смерть — смерть в битве, косящую целые шеренги: поле как поле битвы.

Податливость превращается в подчиненность: в ней есть что-то от собравшихся верных подданных, которым недоступна даже мысль о сопротивлении. Они стоят — легко обозримые, послушные, готовые исполнить любое приказание. Пришедший враг безжалостно их растопчет.

Происхождение ржи из груд зерна, из посевного материала так же важно, как и груды зерен, которыми она заканчивает. Семи- или стократным будет урожай, новые горы во много раз больше тех, что стояли у истока. Пока она росла в общем строю, ее стало больше, и в этом приращении ее благословение.

Ветер

Его сила меняется, а вместе с ней и его голос. Он может визжать или выть, звучать тихо или громко — мало тонов, на которые он не способен. Поэтому он воспринимается как нечто живое даже теперь, когда в человеческих глазах многие природные явления потеряли свою одушевленность. Кроме голоса в ветре важно направление. Чтобы его определить, нужно знать, откуда он пришел. Поскольку человек целиком погружен в воздушную среду, удары ветра воспринимаются как нечто очень телесное: человек весь на ветру, ветер все соединяет, в бурю он мчит с собой все, что может захватить.

Он невидим, но движение, сообщаемое им волнам и облакам, листьям и траве, дает ему проявиться, и явления его разнообразны. В *ведических* гимнах боги ветров, *маруты*, фигурируют всегда во множественном числе. Их трижды семь либо трижды шестьдесят. Это братья одного возраста, они живут в одном и том же месте и в одном и том же месте рождены. Их голоса — это гром и завывание ветра. Они сотрясают горы, сваливают деревья и сокрушают леса как дикие слоны. Часто их зовут еще «певцы»: ветер поет. Они могучи, неистовы и страшны как львы, но так же забавны и игривы, как телята или дети.

Древнее отождествление дыхания и ветра свидетельствует о том, насколько концентрированно он воспринимается. У него плотность дыхания. Но именно в силу своей невидимости он более всего годится для представления невидимых масс. Поэтому он отдан *духам*, которые диким воинством прилетают, завывая, в буре или спасаются бегством, как в той песне эскимосского шамана.

Знамена — это тоже ставший видимым ветер. Они — как вырезанные куски облаков, только ближе и пестрее, прочно прикрепленные и сохраняющие форму. Они действительно разворачиваются только в движении. Народы, будто желая поделить ветер, прибегают к знаменам, чтобы обозначить ими воздух над собою как свою собственность.

Песок

Из свойств *песка*, которые важны для нас, выделим два. Первое — малость и одинаковость его частиц. Это, собственно, одно качество, ибо люди считают частицы песка одинаковыми только потому, что они так малы. Второе — это бесконечность песка. Он необозрим, его всегда больше, чем человек способен охватить взглядом. Где он лежит малыми кучками, на него не обращают внимания. Действительно величествен он там, где неисчислим, — на морском берегу или в пустыне.

Бесперывное движение песка привело к тому, что он занимает приблизительно среднее место между жидкими и твердыми символами массы. Он образует волны, как море, может взвихриться облаком; самый тонкий песок — это *пыль*. Особую роль играют угрожающие пески, когда песок становится агрессивным и враждебным по отношению к человеку. Однообразие, громадность и безжизненность пустыни воздействуют на человека с непреодолимой силой: ведь она состоит из бесчисленных одинаковых частиц. Она затопляет его как море, только коварно медленно и долго.

Отношение человека к пескам пустыни предопределило некоторые из его позднейших позиций, борьбу, которую ему приходилось выдерживать с огромными стаями совсем маленьких врагов. Опустошающее воздействие песков переходило к стаям саранчи. Для возделывателей растений она страшна так же, как пески, она оставляет за собой пустыню.

Можно удивляться тому, что некогда песок стал символизировать потомство. Но факты, известные с библейских времен, показывают, сколь мощно желание иметь бесчисленное потомство. Причем главное в нем не только качество. Разумеется, каждый желает себе целый отряд могучих и отважных сынов. Однако в отдаленном будущем, как сумме жизней поколений, видится уже нечто большее, чем группы и отряды, и тогда желают массу потомков, а самая большая, необозримая и неисчислимая из масс, известных че-

ловеку, — это песок. Как мало при этом подразумеваются индивидуальные качества потомков, видно из подобного же китайского символа. Там потомство сравнивается с тучей саранчи, и такие качества, как многочисленность, единство и непрерывность следования, считаются для потомства обязательными.

Другой символ, который в Библии применяется для обозначения потомства, — это звезды. Здесь тоже упор делается на неисчислимость; речь не идет о достоинствах одной особенной звезды. Важно еще, что они остаются, не проходят, есть всегда.

Груды

Все груды, касающиеся человека, искусственным образом собраны. Единство груд плодов или зерна — продукт трудов. Сбор урожая — дело множества рук; он происходит в определенное время года и столь важен, что стал основой древних членений времен года. На праздниках люди радовались собранным им грудам. Их гордо выставляли напоказ. Часто сами праздники происходили вокруг груд.

У собранного равная природа, это определенный род плодов, определенный сорт зерна. Груда складывается как можно плотнее. Чем выше и плотнее, тем лучше. Все под рукой, не надо добывать где-то еще. Размеры груды вызывают гордость: если она достаточно велика, хватит на всех или надолго. Когда их собирание становится привычным, размеры перестают играть большую роль. Приятнее всего вспоминать годы, благословенные богатым урожаем. В анналы, если анналы существуют, они заносятся как счастливые годы. Урожай соревнуются друг с другом из года в год или от места к месту. Принадлежат ли они общине или единоличнику, они образцовы и воплощают в себе их безопасность.

Правда, конечно, затем они потребляются, где-то в силу обстоятельств сразу, где-то постепенно, по потребности.

Постоянство их ограничено, а последующее уменьшение заложено в самом первоначальном представлении о них. Их новое появление подчиняется ритмам года и дождей. Сбор урожая — это ритмическое нагромождение груд, и праздники приходят в соответствии с этим ритмом.

Груды камней

Однако есть и другие груды, не вызывающие столь приятных ощущений. Груды камней воздвигаются потому, что их трудно разбросать вновь. Они воздвигаются надолго, даже навеки. Они не должны уменьшаться, им предстоит оставаться такими, каковы они есть. Они не переходят в чьи-нибудь желудки, в них не всегда живут. В древнейших грудах каждый камень представлял человека, который его принес. Позже вес и размер отдельных составных частей возрос, и, чтобы с ними справиться, требовалось уже много народу. На какое бы представительство ни претендовали такие груды, они воплощают в себе тяжкий труд и долгий путь бесчисленного множества людей. Иногда выглядит загадкой, как это вообще могло быть осуществлено. Чем непостижимее их наличие, чем отдаленнее родина камней и длиннее путь, тем большее число строителей вырастает в воображении и тем величественнее впечатление, производимое на позднейших зрителях. Они представляют собой ритмическое усилие множеств, от которых не сохранилось ничего, кроме этого неразрушимого монумента.

Сокровища

Сокровища, как и другие груды, тоже собраны вместе. Однако в противоположность плодам и зерну они состоят из единиц, которые несъедобны и непреходящи. Важна крайняя ценность этих единиц, и лишь вера в постоянство их ценности побуждает к сбору сокровищ. Сокровище — это гряда, от которой не отнимается и которая должна расти.

Принадлежащее владыке, оно зовет других владык на грабеж. Известность, которую оно создает своему хозяину, навлекает на него опасность. Сокровища порождали стычки и войны, и многие жили бы дольше, имей они меньше сокровищ. Часто поэтому их приходится держать *в тайне*. Своеобразие сокровищ состоит, следовательно, в напряженности между блеском, который они распространяют, и таинственностью, которая их охраняет.

Сладострастие *скачущих чисел* в самом его выразительном виде проявляется возле сокровищ. Все другие подсчеты, к каким бы высоким результатам они ни вели, например, подсчеты скота или людей, не сопровождаются столь высокой концентрацией подсчитываемого. Образ владельца, в тайне перебирающего свои сокровища, запечатлен в человеческих душах не менее прочно, чем надежда внезапно наткнуться на клад, который так глубоко запрятан и так прочно забыт, что уже не принадлежит никому. Внезапная страсть к сокровищам поражала и побеждала самые надежные и дисциплинированные армии, благодаря ей не одна победа превратилась в свою противоположность. Превращение армии в толпу кладоискателей, причем накануне битвы, изображено Плутархом в жизнеописании Помпея. «Как только одна часть флота пристала к берегу в Утике, а другая в Карфагене, на сторону Помпея перешли семь тысяч неприятельских воинов, сам же он привел с собой шесть полных легионов. Здесь с ним случилось забавное происшествие. Какие-то из его воинов, по-видимому, случайно наткнувшись на клад, добыли большие деньги. Когда об этой находке стало известно, у других воинов явилась мысль, что вся эта местность полна кладов, спрятанных карфагенянами в пору их бедствий. Много дней Помпей не мог совладать со своими воинами, которые искали клад. Он ходил вокруг и со смехом наблюдал, как тысячи людей копают и переворачивают пласты земли на равнине. Наконец воины утомились от этой работы и предложили Помпею вести их, куда ему угодно, так как они достаточно наказаны за свою глупость».

Кроме таких непреодолимо влекущих кладов, есть сокровища, которые собираются вполне открыто, как своего рода добровольный налог, в ожидании, что затем они выпадут одному или нескольким людям. Сюда относятся разные формы лотерей: это быстрая форма образования сокровища, причем известно, что сразу после розыгрыша оно будет вручено одному или нескольким счастливым. Чем меньше число тех, кому оно выпадет, тем больше само сокровище, тем оно притягательнее.

Страсть, с которой люди тянутся к таким возможностям, предполагает абсолютную веру в составляющие сокровище *единицы*. О силе этого доверия трудно составить преувеличенное впечатление. Человек сам отождествляет себя со своей денежной единицей. Сомнение в ее ценности для него оскорбительно, ее неустойчивость подрывает его веру в самого себя. Падение денежной единицы затрагивает человека вплотную, он чувствует собственное унижение. Когда этот процесс ускоряется и наступает *инфляция*, обесценившиеся люди образуют массовые структуры такого рода, которые можно прямо и непосредственно отождествить с массами бегства. Чем больше люди теряют, тем более сходны их судьбы. То, что отдельным избранным, которые сумели что-то для себя спасти, кажется паникой, для всех остальных, лишившихся денег и в этом равных, является массовым бегством. Последствия этого феномена, имеющего, особенно в нашем столетии, очевидную историческую инерцию, будут рассмотрены в специальной главе.

СТАЯ

СТАЯ И СТАИ

Массовые кристаллы и масса в современном смысле слова ведут свое происхождение от некоего изначального единства, где они еще совпадали, — *стаи*. У небольших племен, кочующих группами по десять — двадцать человек, это широко распространенная форма совместного возбуждения.

Для стаи характерна невозможность роста. Вокруг пусто, примкнуть к ней некому. Стая — это группа возбужденных людей, жаждущих, чтобы их *стало больше*. Что бы они ни затевали — охоту или войну, — жизненно важно для них, чтобы их стало больше. Для такой маленькой группы каждый новый член представляет собой явный и весомый прирост. Его силы и способности — это одна десятая или одна двадцатая часть их общей силы. Его роль высоко ценили бы остальные. Он значил бы в жизни группы столько, сколько мало кто из нас может значить сегодня.

В стае, которая время от времени возникает из группы и острее всего выражает ощущение ее единства, отдельный человек никогда не исчезает полностью, как это бывает с современными людьми в любой массе. Он всегда — как бы ни складывалась конфигурация стаи, в танцах или шествиях, — *с краю*. Он внутри и одновременно на краю, на краю и в то же время внутри. Когда стая сидит вокруг огня, у каждого есть сосед справа и сосед слева, но спина открыта, спина беззащитна перед враждебным пространством. Теснота внутри стаи имеет искусственный характер: люди внутри ее, плот-

но прижавшись друг к другу, ритмом ритуальных движений имитируют многочисленность. На самом деле их мало, всего несколько человек, недостаток действительной плотности возмещается интенсивностью движений.

Из четырех важнейших свойств массы, которые мы уже знаем, два присутствуют здесь фиктивно, то есть их недостает, но они *изображаются* со всей возможной энергией. И тем более ярко проявляются два других. *Прирост* и *плотность* имитируются, *равенство* и *направленность* имеются на самом деле. Первое, что бросается в глаза в стае, — это безошибочность направления, в котором она устремляется. Равенство же выражается в том, что все одержимы одной и той же целью, к примеру, когда видят животное, на которое охотятся.

Стая ограничена не в единственном отношении. В нее не только входит относительно мало народу — десять — двадцать человек, редко больше, — но эти немногие хорошо знают друг друга. Они всегда жили вместе, встречаются ежедневно, множество совместных предприятий научило их точно оценивать возможности друг друга. Стая вряд ли может неожиданно вырасти: вокруг слишком мало людей, живущих в сходных условиях, и они рассеяны на большом пространстве. Но поскольку стая состоит из хорошо *знакомых*, в определенном отношении она превосходит массу, обладающую способностью к бесконечному росту: стая, даже разорванная враждебными обстоятельствами, непременно соберется снова. Она может рассчитывать на долгую жизнь, постоянство ей обеспечено, пока живы ее члены. Стая может выработать определенные ритуалы и церемонии: те, кому надлежит их выполнять, всегда будут на месте, на них можно положиться. Они знают, чего они часть, и отвлечь их на сторону невозможно. Да и соблазнов на стороне так мало, что откуда взяться привычке им поддаваться!

Если стая все же прирастает, это происходит *квантообразно* при взаимном согласии всех участвующих. Одна стая сталкивается с другой и, если дело не кончится побоищем, они могут на время соединиться, чтобы предпринять что-

нибудь сообща. Но ощущение раздельности в сознании обеих групп сохраняется, в пылу совместного дела оно может исчезать, но лишь на мгновения. Оно обязательно возникнет снова при раздаче наград или в других церемониях. Стайное чувство всегда сильнее, чем самоощущение индивида, когда он один, вне стаи. Квантовое стайное чувство — самое главное и ничем не заменимое на определенном уровне человеческого существования.

Тому, что называется племенем, родом, кланом, я сознательно противопоставляю другое единство — *стаю*. Все эти известные социологические понятия, как бы ни были важны сами по себе, все же статичны. Стая же, напротив, единица *действия*, она проявляется *конкретно*. На нее и должен ориентироваться тот, кто изучает истоки массового поведения. Это самая древняя и самая ограниченная форма массы в человеческом обществе: она уже существовала, когда еще не было масс в нашем современном понимании. Она всегда отчетливо проявлена. Она многообразна по своим проявлениям. Много тысячелетий она действовала так интенсивно, что оставила следы повсюду, и даже в наши, совсем иные времена существует множество форм, ведущих свое происхождение непосредственно от стаи.

Стая издавна выступает в *четырёхразличных* формах или функциях. В них есть нечто текучее, они легко переходят друг в друга, но важно раз и навсегда определить, в чем они *различаются*. Самая естественная и подлинная стая — та, от которой, собственно, и происходит и с которой прежде всего связывается само наше слово, — стая, которая *охотится*. Она возникает тогда, когда речь идет об опасном и сильном звере, которого в одиночку не взять, или о массовой добыче, которую нужно захватить целиком, чтобы никто не ускользнул. Даже если огромное животное (например, кит или слон) убито кем-то в одиночку, сама его величина предполагает, что добыть его могут только все вместе и, соответственно, делить его тоже нужно на всех. Так охотничья стая переходит в состояние *делящей* стаи; последняя может иног-

да наблюдаться сама по себе, но, в сущности, обе составляют единство и должны анализироваться вместе. Обе нацелены на *добычу*, и только добыча в ее поведении и специфике — живая она или мертвая — определяет поведение стаи, образующейся для ее поимки.

Вторая форма, имеющая много общего с охотничьей стаей и связанная с ней множеством переходов, — *военная стая*. Она предполагает наличие другой человеческой стаи, против которой она направлена и которую воспринимает в качестве таковой, даже если на данный момент та еще не возникла. В своей первоначальной форме она нацеливалась на одну-единственную жертву, которой следовало отомстить. По *определенности* объекта убийства она близка охотничьей стае.

Третья форма — это *оплакивающая стая*. Она образуется, когда смерть вырывает из группы одного из ее членов. Маленькая группа, которая любую утрату воспринимает как невозполнимую, по этому случаю сплачивается в стаю. Цель ее может состоять в том, чтобы вернуть умершего, либо отобрать у него для себя сколько можно жизненных сил, пока он не исчез совсем из виду, либо умиротворить его душу, чтобы она не держала зла на оставшихся в живых. Во всяком случае, что-то делать нужно, и нет человека, который в этом усомнился бы.

Под четвертую форму я подвожу совокупность явлений, у которых при всех различиях имеется нечто общее, а именно: желание прироста. *Прирастающие или приумножающие стаи* образуются специально с целью *увеличения численности* как людей в группе, так и существ, за счет которых группа живет, то есть растений или животных. Прирост имитируется в танцах, которым придается определенный мифологический смысл и которые также известны повсюду, где есть люди. В них выражается неудовлетворенность группы своей величиной. Следовательно, одна из сущностных характеристик современной массы — стремление к росту — проявляется на раннем этапе, в стаях, которые сами по себе еще не способны расти. Ритуалы и церемонии должны как

бы понудить этот рост; можно относиться к ним как угодно, но стоит задуматься о том, что со временем они действительно приводили к образованию больших масс.

Детальное изучение этих четырех форм стаи приводит к поразительным результатам. Они стремятся переходить одна в другую, и превращение одного рода стаи в другой дает истине необозримые последствия. Лабильность гораздо более крупных масс проявляется уже в этих мелких и вроде бы жестких структурах. Их превращения часто порождают своеобразные религиозные феномены. Дальше будет показано, как охотничья стая может превратиться в оплакивающую и как при этом возникают свои мифы и культы. Оплакивающие уже не хотят считаться охотниками, а оплакиваемая жертва предназначена искупить позор и кровь охоты.

Выбор слова «стая» для обозначения этой древней и ограниченной формы массы должен напомнить, что и она своим появлением у людей обязана примеру животных. Стаями охотятся многие звери. Волки, которых человек хорошо знал и тысячелетиями превращал в собак, особенно будоражили его воображение. Волки — мифические звери многих народов: оборотни, люди, которые, переодевшись волками, нападали и загрызали путников, воспитанные волками дети, положившие начала целым нациям, — все эти, да и многие другие истории и легенды доказывают, как близок волк человеку.

Охотничья стая, под которой ныне понимается свора собак, выдрессированных для совместной охоты, — живой остаток этого старинного родства. Люди учились у волков, в разного рода танцах они, так сказать, упражнялись в *волчестве*. Конечно, и другие животные внесли свой вклад в выработку подобных качеств у охотничьих народов. Я применяю слово «стая» по отношению к людям, а не к животным, потому что оно лучше других передает единство стремительного движения многих и конкретность цели, ради которой все происходит. Стая стремится к добыче, жаждет ее крови и смерти. Чтобы добиться своего, она должна быть выносливой и хитрой, ее движение — быстрым и неотвратимым.

Она будоражит себя непрерывным лаем. Нельзя недооценивать роль этого звука, в котором голоса отдельных животных сливаются воедино. Он может ослабевать, потом снова разрастаться, но он неумолим и сам по себе есть нападение. В конце концов загнанное и убитое животное пожирается *всеми* вместе. Есть даже «обычай» предоставлять каждому из стаи свою часть убитого; так что даже элементы поведения, характерного для делящей стаи, можно найти у животных. Я применяю это слово и по отношению к трем остальным основным формам, хотя, конечно, там трудно найти какие-то прообразы в животном мире. Я не знаю лучшего слова, чтобы передать конкретность, направленность, интенсивность этих процессов.

Даже его *история* оправдывает такое применение. Немецкое *meute* — «стая» — ведет свое происхождение от среднелатинского *movita*, означавшего «движение». Возникшее из него старофранцузское *meute* имеет двойкий смысл: оно может обозначать как «восстание», «мятеж», так и «охоту». Здесь на первом плане еще человеческое содержание. Старое слово точно обозначает явление, даже двойкость его смысла соответствует тому, о чем у нас идет речь. В ограниченном смысле — как «свора охотничьих собак» — слово стало применяться гораздо позже и в немецкий вошло с середины XVIII в., тогда как слова вроде *Meutmacher*, *Auführer* (мятежник, бунтовщик) или *Meuterei* (мятеж), также производные от старого французского слова, появились на рубеже XV—XVI вв.

ОХОТНИЧЬЯ СТАЯ

Охотничья стая любыми средствами старается настигнуть нечто живое, чтобы убить его, а затем поглотить. Следовательно, ее ближайшая цель — всегда убийство. Важнейшие из ее средств — *погоня* и *облава*. Они применяются против

одинокое большое зверя либо против многих, при появлении стаи ударяющихся в массовое бегство.

Жертва всегда в движении, за ней приходится гнаться. Решает стремительность движения стаи, которая должна бежать быстрее, чтобы утомить и загнать жертву. Если животных много и их удалось обложить со всех сторон, массовое бегство превращается в панику: каждый на свой страх и риск старается вырваться из вражеского кольца.

Охота движется на большом и разнообразном пространстве. В случае если преследуется одно животное, стая *существует*, пока жертва старается спасти свою шкуру. Возбуждение во время охоты растет, оно выражается в криках, которыми обмениваются охотники, вызывая друг в друге жажду крови.

Концентрация на предмете, который постоянно в движении, исчезает из виду, снова возникает, вдруг теряется, так что его приходится искать, но, терзаемый смертельным ужасом, не может вырваться из поля смертоносного внимания, — эта концентрация *для всех одна*.

У всех в глазах одно и то же, все стремятся к одному и тому же предмету. Сокращающееся расстояние между стаяй и жертвой сокращается для каждого. У стаи общий смертоносный пульс. Ровный во время погони в меняющихся ландшафтах, он становится тем чаще, чем ближе преследуемое животное. Когда оно настигнуто, каждый хочет нанести смертельный удар, стрелы и копыя концентрируются на *одном* существе. Они — продления жадных взоров во время погони.

Но всякое состояние такого рода имеет свой естественный конец. Сколь ясна и отчетлива преследуемая цель, столь же отчетливо и внезапно меняется стая, когда цель достигнута. Безумная гонка кончается в момент убийства. Вдруг успокоившись, все толпятся вокруг лежащей жертвы. Они составляют круг тех, кому положена часть добычи. Они могли бы, как волки, вонзить зубы в жертву. Но поглощение, которое волчьи стаи начинают на живом еще

теле жертвы, люди откладывают на более поздний момент. *Дележ* происходит без свар, согласно определенным правилам.

Идет ли речь об одном большом животном или о многих мелких — если охотилась вся стая, добычу нужно распределить между ее членами. Происходящее при этом прямо противоположно процессу *образования* стаи. Каждый хочет урвать для себя как можно больше. Если бы дележ шел без правил, если бы не существовало на этот счет древнего закона и авторитетов, следящих за его соблюдением, все завершилось бы мордобоем и взаимным истреблением. Закон *дележа* — *самый древний закон*.

Существуют две совершенно разные его версии. Согласно первой, добычу делят между собой только охотники. Согласно другой, в дележе участвуют также женщины и мужчины, не входившие в охотничью стаю. Предстоятелю дележа, который должен следить, чтобы все шло по правилам, первоначально от этой должности никаких выгод не доставалось. Могло даже случаться, как при китовой охоте у некоторых эскимосских племен, что из соображений достоинства он отказывался от собственной доли. Ощущение общности добытого сидело очень глубоко: у сибирских коряков идеальный охотник приглашал всех пользоваться его добычей, а сам довольствовался тем, что останется. Закон дележа крайне сложен и изменчив. Почетная доля отнюдь не всегда положена тому, кто нанес смертельный удар. Иногда на нее вправе рассчитывать тот, кто первым увидел зверя. Но и тот, кто только издалека видел схватку, может претендовать на часть добычи. Свидетели в этом случае рассматриваются как соучастники, они пережили борьбу и могут насладиться ее плодами. Я упоминаю об этих крайних и не часто встречающихся случаях, чтобы показать, как сильно пронизывающее стаю ощущение общности. Но по каким бы правилам ни организовывался дележ, главное, на что ориентируются, — это *обнаружение и убийство* зверя.

ВОЕННАЯ СТАЯ

Существенное различие между охотящейся и военной стаяй состоит в *двойкой* позиции последней. Когда горящая мезью группа стремится догнать и наказать одного-единственного человека, то здесь налицо структура типа охотящейся стаи. Если же этот человек принадлежит к другой группе, которая не хочет его отдавать, то вскоре стая выступает против стаи. Враждебные группы не очень отличаются друг от друга. Это люди, мужчины, воины. В первоначальной форме ведения войны они так похожи, что их трудно различить. Нападают они одинаковым образом, вооружение у них почти одно и то же. С обеих сторон звучат дикие угрожающие крики. У них обеих одно и то же *намерение*. В противоположность этому позиция охотящейся стаи — *односторонняя*: животные, на которых она охотится, не пытаются окружить и преследовать человека. Они бегут, а если иногда и переходят к обороне, то лишь в момент перед самым убийством. Чаще всего они просто не в состоянии защититься от человека.

Для военной стаи характерно — и это главный ее признак — наличие второй стаи, которая планирует по отношению к первой то же самое, что первая по отношению к ней. Эта раздвоенность неизбежна и граница между ними абсолютна, если речь идет о состоянии войны. Что они планируют друг против друга, становится ясно из сообщения о походе южноамериканского племени *таулипанг* против враждебного племени *пишауко*. Это дословная передача рассказа одного из воинов-таулипангов; в нем есть все, что нужно знать о военной стае. Рассказчик воодушевлен и полон впечатлений, он изображает события изнутри, со своей точки зрения, в их наготе, столь же правдивой, сколь жуткой, и в своем роде неповторимой.

«Вначале была дружба между таулипангами и пишауко. Потом они поспорили из-за женщин. Сначала пишауко уби-

ли нескольких таулипангов, напав на них в лесу. Потом они убили молодого таулипанга и одну женщину, потом еще трех таулипангов в лесу. Так пишауко хотели раз за разом уничтожить все племя таулипангов.

Тогда Маникуза, военный вождь таулипангов, собрал всех своих людей. У таулипангов было трое вождей: Маникуза, старший вождь, и двое младших вождей, один из которых был маленький, толстый, но очень храбрый, а другой был его брат. При этом был еще старый вождь, отец Маникузы. Среди его людей был также маленький, очень храбрый человек из соседнего племени арекуна. Маникуза велел приготовить перебродившую массу кашири, пять полных тыквенных сосудов. Затем он велел снарядить шесть каное. Пишауко жили в горах. Таулипанги взяли с собой двух женщин, которые должны были поджигать дома. Они поплыли по реке, не знаю по какой. Они ничего не ели — ни перца, ни больших рыб, ни убитых животных, только маленьких рыб — до самого конца войны. Они взяли еще всякие краски и белую глину для раскрашивания.

Они приблизились к тому месту, где жили пишауко. Маникуза послал пятерых мужчин к дому пишауко, чтобы разведать, все ли они там. *Все были там.* Это был большой дом, окруженный частоколом. Разведчики вернулись и рассказали это вождю. Тогда старый вождь и трое вождей произнесли колдовство над перебродившей массой кашири. Они сделали то же самое над красками, и белой глиной, и над боевыми дубинками. У стариков были только луки и стрелы с железными наконечниками, никакого огнестрельного оружия. У других были ружья и дробь. Каждый имел при себе мешок дробы и шесть банок пороха. Все эти вещи тоже заколдовали. Потом они разукрасили себя белыми и красными полосами начиная со лба: красная полоса сверху и белая внизу, через все лицо. У себя на груди каждый нарисовал три полосы попеременно: сверху красная, снизу белая и то же самое на обоих предплечьях, чтобы воины могли узнать друг друга. И женщины разрисовали себя так же. Тогда Маникуза приказал развести водой массу кашири.

Разведчики сказали, что в домах очень много людей. Там был один очень большой дом и три маленьких в стороне от него. У пишауко было гораздо больше людей, чем у таулипангов. Таулипангов было всего пятнадцать и, кроме того, один арекуна. Они выпили кашири, каждый по полной калембасе, чтобы стать храбрыми. После этого Маникуза сказал: «Этот вот стреляет первым! Пока он заряжает свое ружье, стреляет другой. И так один за другим!» Он разделил всех на три отделения, каждое по пять человек, и сказал им, где стоять вокруг дома. Он сказал: «Ни одного выстрела не делайте без пользы! Если человек упал, пусть лежит, стреляйте по тому, кто стоит!»

Затем они пошли, одно отделение за другим, за ними — женщины с тыквенными бутылками с напитком. Подошли к границе саванны. Маникуза сказал: «Что нам теперь делать? У них очень много людей. Может, нам лучше повернуть назад и взять подкрепление?» Тогда арекуна сказал: «Нет! Вперед! Если я ворвусь в это множество, мне некого будет убить» (это означало: «Этих многих мало для моей дубинки, потому что я убиваю очень быстро»). Маникуза ответил: «Вперед! Вперед! Вперед!» Он отдал приказ. Они приблизились к дому. Была ночь. В доме был знахарь, изгонявший злых духов из больного. Знахарь сказал: «Идут какие-то люди», — и этим предупредил обитателей дома. Тогда хозяин дома, вождь пишауко, сказал: «Пусть идут! Я знаю, кто это! Это Маникуза! Но отсюда он уже не вернется!» Знахарь снова предупредил, сказав: «Они уже здесь!» Тогда вождь сказал: «Это Маникуза! Он не вернется! Здесь кончится его жизнь!»

Тогда Маникуза перерезал лианы, которыми скреплялся частокол. Обе женщины вбежали туда и подожгли дом, одна — у входа, другая — у выхода. В доме было очень много людей. Потом женщины выбежали обратно за ограду. Огонь охватил дом. Один старик стал карабкаться наверх, чтобы погасить огонь. Тут из дома вышли много людей и стали стрелять из ружей, но наугад, потому что ничего не видели, лишь для того, чтобы испугать врагов. Старый вождь

таулипангов хотел поразить стрелой одного пишауко, но промахнулся. Пишауко спрятался в окопе. Когда старик накладывал вторую стрелу, пишауко застрелил его из ружья. Маникуза увидел, что его отец мертв. Все воины стали стрелять. Они окружили дом, и у пишауко не осталось возможности куда-нибудь бежать.

Тут бросился вперед воин-таулипанг по имени Эвама. За ним шел один из младших вождей, за ним — его брат, за ним — Маникуза, военный вождь, за ним — арекуна. Остальные стали снаружи, чтобы убивать пишауко, которые попытались бы сбежать. Эти пятеро ворвались в гущу врагов и стали сбивать их дубинками. Пишауко стреляли в них, но ни в кого не попали. Тут Маникуза убил вождя пишауко. Его брат и арекуна убивали быстро и убили многих. Спаслись только две девушки, которые и сейчас живут в верховьях реки и замужем за таулипангами. Остальные все были убиты. После этого они подожгли дом. Дети плакали. Тогда они бросили всех детей в огонь. Среди мертвецов был один пишауко, оставшийся в живых. Он намазал себя всего кровью и лег между мертвыми, чтобы враги поверили, что и он мертв. Тогда таулипанги стали брать одного за другим мертвых пишауко и рассекал их пополам посередине ножом для рубки леса. Они нашли живого пишауко, схватили и убили его. Потом они взяли погибшего вождя пишауко, привязали его с поднятыми и раскинутыми руками к дереву и стреляли в него оставшимися пулями и стрелами, пока он не распался на куски. Потом они взяли мертвую женщину. Маникуза раздвинул пальцами ее половой орган и сказал Эваме: «Погляди, тебе неплохо бы сюда засунуть...!»

Остальные пишауко, которые были в трех маленьких домах, убежали и рассеялись в окружающих горах. Там они живут и сейчас, смертельные враги других племен и *тайные убийцы*, особенно ненавидящие таулипангов.

Своего погибшего старого вождя таулипанги похоронили на площади. Еще двое из них были легко ранены дробью в живот. Затем с криками «хей-хей-хей-хей-хей!» они по-

вернули к дому. Дома они нашли заботливо приготовленные лежанки».

Спор завязался из-за женщин. Несколько человек убиты. Но отмечена только гибель своих, убитых *чужими*. С этого момента царит непоколебимая вера в то, что целью врага является уничтожение всего племени таулипангов. Вождь хорошо знает всех, кого призвал, — их немного, всего 16 вместе с человеком из соседнего племени, и все знают, чего ждать друг от друга в бою. Соблюдается строгий пост, питаться можно только мелкой рыбешкой. Из перебродившей массы готовится крепкий напиток. Его пьют для храбрости перед битвой. Красками нарисовано нечто вроде военной формы, «чтобы воины могли узнать друг друга». Все, что относится к снаряжению воина, в особенности оружие, подвергается колдовству. Таким образом оно приобретает волшебную силу.

Когда группа приблизилась к вражескому поселку, послали разведчиков посмотреть, все ли дома. Все оказались на месте. Это необходимо, чтобы можно было уничтожить всех сразу. У пишауко большой дом, много людей, опасно превосходящая сила. У таулипангов есть причина пить для храбрости. Вождь раздает указания — совсем как офицер. Но в миг перед боем он колеблется, чувствуя свою *ответственность*. «У них очень много людей», — говорит он. Может быть, стоит повернуть назад и найти подкрепление? Однако в отряде находится человек, которому всегда мало жертв для его дубинки. Его решимость передается вождю, и следует приказ: «Вперед!»

Ночь, но в доме не спят. У ложа больного сидит знахарь, все остальные собрались вокруг. Колдун, более недоверчивый, чем все остальные, настороже и чувствует опасность. «Кто-то идет!», — говорит он и вскоре сообщает: «Они уже здесь!» Вождь в доме знает, о ком идет речь. Есть только один человек, во враждебности которого он не сомневается. Но он также не сомневается в неизбежности гибели врага. «Он отсюда не вернется. Здесь кончится его жизнь!» Слепота того, кому предстоит умереть, столь же примечательна, сколь и

колебания того, кто должен нанести удар. Вождь ничего не предпринимает, хотя беда уже разразилась.

Вспыхивает подожженный женщинами дом, и его обитатели выскакивают наружу. Они не видят, кто палит по ним из темноты, являя собой в то же время прекрасно освещенную мишень. Враги врываются в ограду и набрасываются на них с дубинками. История их гибели исчерпывается несколькими фразами. Речь идет, собственно, не о битве, а о полном истреблении. Плачущие дети брошены в огонь. Мертвых одного за другим разрезают на куски. Один выживший, измазанный кровью и прячущийся под трупами, разделяет их судьбу. Мертвого вождя растягивают на дереве и стреляют в него, пока он не распадается на части. Ужасной кульминацией становится осквернение мертвой женщины. Все окончательно исчезает в огне.

Немногие обитатели соседних маленьких домов, спасшиеся в горах, так и живут там как «тайные убийцы».

К этому изображению военной стаи нечего добавить. Среди бесчисленных сообщений подобного рода — это самое правдоподобное и откровенное в своей наготе. Здесь не упущено ничего, о чем должно быть сказано, рассказчик ничего не смягчил и не приукрасил.

Вернувшись домой, шестнадцать воинов не принесли добычи: победа их не обогатила. Ни одна женщина, ни один ребенок не были оставлены в живых. Цель их состояла в уничтожении вражеской стаи, да в таком, чтобы от нее ничего, в буквальном смысле ничего не осталось. Они самозабвенно рассказывают о том, что сотворили. Пишауко же были и остаются убийцами.

ОПЛАКИВАЮЩАЯ СТАЯ

Самое впечатляющее изображение оплакивающей стаи из тех, что мне известны, относится к племени *варрамунга*, обитающему в Центральной Австралии.

«Еще до того, как страдалец испустил последний вздох, соплеменники начали рыдать и наносить себе раны. Как только стало известно, что конец близок, мужчины со всей возможной быстротой бросились к месту, где он лежал. Некоторые из женщин, также сбежавшихся со всех концов поселка, попадали на тело умирающего, тогда как другие стояли или сидели вокруг и тыкали себе в голову острыми концами вил и мотыг. По лицам текла кровь, слышался непрерывный рыдающий вопль. Примчавшиеся мужчины бросались на лежащего, женщины поднимались, уступая им место, пока наконец умирающий совсем не исчез под массой копошащихся тел. Вдруг, пронзительно крича, появился человек, размахивающий каменным ножом. Неожиданными ударами он рассек себе мускулы на бедрах и, будучи не в состоянии держаться на ногах, рухнул на грудь тел. Его мать, жена и сестры вытащили его из этой кучи и припали устами к зияющим ранам, а он лежал на земле измученный и беспомощный. Постепенно масса темных тел распалась, и можно было видеть несчастного больного, ставшего предметом или, скорее, жертвой этой благонамеренной демонстрации преданности и горя. Он и раньше был болен; теперь, когда друзья оставили его, ему стало много хуже. Было ясно, что долго он не протянет. Рыдания и плач продолжались. Зашло солнце, на стоянке стало темно. Этим же вечером он умер. Тут рыдания и вопли стали еще громче, чем прежде. Мужчины и женщины, будто сошедшие с ума от горя, носились взад и вперед, нанося себе раны ножами и острыми палками. Женщины били кого попало дубинками по головам, и никто не делал попытки уклониться от ударов.

Еще через час в темноте при свете факелов тронулась в путь траурная процессия. Тело отнесли в рошу, отстоящую примерно на милю от поселка, и уложили на платформу из ветвей на невысоком каучуковом дереве. Когда наутро рассвело, на стоянке, где он умер, не осталось даже следа человеческого поселения. Обитатели перенесли свои убогие хижины на некоторое расстояние, оставив место, где умер

человек, в полном покое и одиночестве. Потому что никто не хотел бы повстречаться с призраком умершего, который наверняка бродит где-то поблизости, и тем более с духом живого человека, который злым колдовством вызвал эту смерть и, разумеется, в образе животного явится на место преступления, чтобы насладиться своим триумфом.

На новой стоянке в хижинах лежали мужчины с зияющими ранами на бедрах, нанесенными собственными руками. Они воздали долг умершему и теперь до конца своих дней будут носить шрамы как знаки доблести. Один из них насчитывал на себе аж 23 раны, нанесенных за долгие годы. Между тем женщины снова принялись рыдать — это было их обязанностью. Сорок или пятьдесят женщин, разделившись на группы по четыре-пять человек, обнимали друг друга, неистово рыдая и вопя, тогда как некоторые, считавшиеся близкими родственниками, кололи себя в голову острыми палками, а вдова больше того — прижигала свои раны тлеющими головешками».

Из этого изображения, которое можно дополнить многими подобными, сразу однозначно следует, что речь идет прежде всего о *возбуждении*. В событие вплетается множество намерений, и все их надо учитывать. Но самым важным является возбуждение как таковое — такое состояние, когда все вместе должны о чем-то рыдать. Неистовство рыданий, их длительность, их возобновление на следующий день на новой стоянке, удивительный ритм, с которым они усиливаются, ослабевают и даже после полного изнеможения начинаются вновь, — все это могло бы служить достаточным доказательством того, что здесь прежде всего речь идет о возбуждении совместного плача. Благодаря знакомству даже с этим единственным случаем, характерным для австралийских аборигенов, можно увидеть, почему это возбуждение понимается как возбуждение *стаи* и почему представляется необходимым ввести для нее обозначение *оплакивающая стая*.

Все начинается с известия о том, что смерть *близка*. Мужчины спешат к месту и обнаруживают, что женщины уже

там. Близкие женщины рыдают, лежа на умирающем. Важно, что оплакивание начинается не после смерти, а сразу же, едва больной признан безнадежным. Когда становится ясно, что человек умрет, плача уже не удержать. Стая впадает в неистовство: она долго ждала этой возможности и теперь не даст своей жертве ускользнуть. Необычайная мощь, с которой она обрушивается на предмет оплакивания, определяет однозначно его судьбу. Трудно предположить, что тяжелобольной, подвергшийся такому обращению, сможет выздороветь. Под грудой барахтающихся тел он почти задыхается, можно предположить, что иногда задыхается на самом деле; во всяком случае, смерть наступает быстрее. Обычное для нас правило, согласно которому умирающего нужно оставить в покое, совершенно непонятно этим людям, собравшимся ради совместного возбуждения.

Что означает эта куча мала с умирающим в основании, клубок тел, стремящихся быть к нему поближе? Сказано, что лежащие на нем женщины поднимаются, уступая место мужчинам, как будто последние или по крайней мере некоторые из них имеют право на большую близость. Каковы бы ни были объяснения, которые дают этому клубку сами аборигены, в действительности происходит вот что: груда тел еще раз принимает умирающего вовнутрь самой себя.

В груди *плотность* стаи, физическая близость ее членов максимальна, она уже не может стать больше, чем есть. Умирающий — ее часть, он принадлежит им, они принимают его к себе обратно. Поскольку он не может стоять среди них, *они ложатся к нему*. Кто полагает, что имеет на него право, борется за то, чтобы попасть в кучу, центр которой — умирающий. Они словно хотят умереть вместе с ним: наносимые самим себе раны, отчаянные броски в клубок тел или просто на землю, падения от ран — все это должно показать, сколь всерьез воспринимается ими происходящее. Возможно, правильнее было бы сказать, что они хотят *сравняться* с ним. Они, однако, не собираются умирать на самом деле. Что должно остаться, так это масса тел, которой он принад-

лежит, и в этой массе они с ним вместе. В этом приравнивании к умирающему состоит сущность оплакивающей стаи, пока смерть еще не наступила.

Однако ей свойственно и *отталкивание* мертвого, когда он уже мертв. Переход от неистовых попыток удержать и вернуть умирающего к выталкиванию и изоляции мертвого придает оплакивающей стае ее особенную динамику. Тут же ночью спешно избавляются от тела. Уничтожаются все следы его пребывания на земле: его инструменты, хижина, все, что ему принадлежит. Даже стоянка, где он жил вместе с другими, разрушена и сожжена. Внезапно все вооружились против него. Он стал опасен, потому что уже ушел. Его может обуять зависть к живущим, и он станет им мстить за то, что мертв. Все знаки преданности и даже соединение тел не смогли его удержать. Свойственная мертвым злоба сделала его врагом, уловками и хитростью он может проникнуть в их ряды, и им нужно тоже быть хитрыми, чтобы защитить себя.

На новой стоянке плач продолжается. Возбуждение, придававшее группе столь мощное чувство единения, спадает не сразу. Это чувство нужно теперь даже больше, чем когда-либо, ибо налицо опасность. Продолжается нанесение ран, и боль выставляется напоказ. Все это напоминает войну, только то, что на войне причиняет враг, тут делают себе сами. Мужчина с 23 шрамами от таких ран носит их как знаки доблести, как будто бы они получены в военных походах.

Нужно спросить себя: заключается ли в этом единственный смысл опасных ран, наносимых при таких обстоятельствах? Кажется, что женщины заходят здесь даже дальше, чем мужчины, во всяком случае, они демонстрируют больше выносливости в плаче. В этом самокалечении чувствуется ярость из-за бессилия перед смертью. Человек словно наказывает себя за смерть. Можно также предположить, что член группы демонстрирует на собственном теле рану, нанесенную всей группе. Но разрушению подвергаются и собственные *строения*, как бы жалки они ни были, и это напоминает свойственную массе, какой мы ее знаем, страсть к

разрушению, уже разъясненную в другом месте. Благодаря разрушению всего обособленного, что равносильно самоосуществлению стаи, она *сохраняет* себя, и еще четче становится черта, отделяющая ее от времени, когда приходит беда. Все начинается вновь, и начинается именно в состоянии могучего совместного возбуждения.

Имеет смысл в заключение зафиксировать две динамические тенденции, характерные для существования оплакивающей стаи. Первая — это мощное движение в сторону умирающего и образование двусмысленной массы вокруг него, стоящего посередине между жизнью и смертью. Вторая тенденция — это трусливое бегство вон от мертвого, от него и от всего, чего он только мог касаться.

ПРИУМНОЖАЮЩАЯ СТАЯ

На какой из народов, живущих в естественном состоянии, ни поглядишь, бросаются в глаза события, концентрирующие его существование, — это охотничьи, военные и оплакивающие стаи. Жизненный процесс этих трех видов стаи ясен, в них во всех есть нечто стихийное. Там, где одна или другая из них вытеснены на задний план, обычно обнаруживаются пережитки, доказывающие их наличие и значение в прошлом.

Более сложное явление представляет собой *приумножающая* или *умножающая* стая. В дальнейшем эти названия будут употребляться как взаимозаменяемые. Значение этой стаи огромно, ибо именно она явилась главной движущей силой человеческих завоеваний. Она добыла человеку Землю, и она создает все более богатые цивилизации. Ее влияние еще не выявлено во всем его значении и последствиях, ибо понятие размножения исказило и затемнило собственно процессы умножения. Ее с самого начала нужно брать только в связи с явлением *превращения*.

Первобытные люди, в малом числе кочующие по огромным и часто пустым пространствам, сталкиваются с превосходящим количеством животных. Не обязательно все они враждебны, большинство для человека не опасны. Однако многие из них существуют в громадных количествах — идет ли речь о стадах диких баранов или бизонов, о рыбе или саранче, муравьях или пчелах, — по сравнению с их числом число людей исчезающе мало.

Ибо человеческое потомство скудно. Дети являются на свет поодиночке, и нужно очень долго ждать, пока они появятся. Необходимость быть в *большем* количестве, принадлежать к *большой* группе ощущалась тревожно и настоятельно. Это ощущение усиливалось, ибо каждое событие, когда образовывалась стая, свидетельствовало о необходимости увеличения числа людей. Большая охотничья стая могла обложить больше животных. Нельзя надеяться на то, что дичи всегда будет довольно; внезапно она появлялась в больших количествах, и чем больше было охотников, тем богаче добыча. На войне следовало быть сильнее вражеской орды, опасность малочисленности была несомненной. Всякую смерть приходилось оплакивать, особенно смерть опытного и сильного человека, которая становилась необратимой потерей. Малочисленность — вот что было слабостью человека.

Впрочем, опасные для него звери, как и он сам, часто жили поодиночке или маленькими группами. Он тоже был хищником, но — в отличие от них — хищником, который хотел, чтобы его стало больше. Он мог охотиться стаями, такими же большими, как волчьи, только волки этим удовлетворялись, а он нет. Ибо за то огромное время, пока он жил в маленьких группах, он научился, благодаря способности *превращения*, становиться всеми известными ему животными. Научившись превращению, он, по сути, и стал человеком, оно было его особенным даром и страстью. В ранних превращениях он в игре и танце имитировал виды, имеющие большую численность. Чем совершеннее было

изображение, тем глубже он впитывал в себя их многочисленность. Он ощущал, что это такое — быть во *множестве*, а потом возвращался к своему обособленному индивидуальному и групповому существованию.

Не подлежит сомнению, что человек, как только стал таковым, захотел, чтобы его стало *больше*. Все формы верований, мифы, ритуалы и церемонии исполнены этим желанием. Примеров множество. С некоторыми из них мы познакомимся в ходе исследования. Поскольку все, что нацелено на умножение численности, носило стихийный характер, можно удивиться, почему в начале этой главы подчеркнута сложность умножающей стаи. По размышлении, однако, станет ясно, почему она выступает во множестве разных форм. Она есть повсюду, особенно там, где это естественно предположить. Но есть у нее и свои особые укрытия, откуда она вдруг является, когда ее меньше всего ждут.

Ибо свое умножение человек первоначально понимал вне отрыва от умножения других существ. Свое стремление к нему он распространял на все, что его окружало. Оно заставляло его думать об увеличении численности своего племени; для этого, разумеется, нужно было лучше кормить детей, для чего, в свою очередь, требовалось больше дичи и плодов, больше стад и зерна и всего прочего, что необходимо для пропитания. Для того чтобы человек умножался и рос, должно быть налицо все, что нужно для жизни.

Там, где редки дожди, он сосредоточивается на вызывании дождя. Все существа, как и он сам, не живут без воды. Поэтому во многих областях Земли ритуалы вызывания дождя и ритуалы умножения слились воедино. Исполняет ли танец дождя все племя или, как у индейцев пуэбло, все толпятся вокруг наколдовывающего дождь шамана, — состояние группы в любом подобном случае есть состояние умножающей стаи.

Чтобы увидеть тесную взаимосвязь между умножением и превращением, надо подробнее разобрать ритуалы австралийцев. О них имеются точные данные, охватывающие более чем полстолетия исследований.

Предки, о которых сообщают космогонические мифы австралийцев, — замечательные создания: это двойные существа, частью животные, частью люди, точнее сказать, и то и другое. Ими были введены ритуалы, которых люди держатся, поскольку таков наказ предков. Замечательно, что каждый из предков связывает человека с одним вполне определенным родом животных или растений. Так, предок-кенгуру — одновременно и кенгуру, и человек, предок-эму — одновременно человек и эму. Не бывает так, чтобы в *одном* предке были представлены два разных животных. Всегда присутствует человек — одна, так сказать, половина, другая же половина — определенное животное. Только никак нельзя убедительно доказать, что оба одновременно представлены в *одном* образе: свойства обоих, с нашей точки зрения, наивнейшим и удивительнейшим образом перемешаны.

Ясно, что эти предки представляют собой не что иное, как результаты превращений. Человек, которому всегда удавалось чувствовать себя кенгуру и выглядеть кенгуру, стал тотемом кенгуру. Это превращение, которое часто производилось и использовалось, обрело характер окончательности и благодаря мифам, находящим драматическое воплощение, передавалось от рода к роду.

Предок кенгуру, которые были повсюду вокруг, становился одновременно предком той группы людей, которые называли себя кенгуру. Превращение, лежащее в корне этого двойного потомства, разыгрывалось на общих собраниях племени. Один или два человека изображали собой кенгуру, другие участвовали как зрители в воспроизводящемся превращении. В следующий раз они могли сами танцевать кенгуру, их предка. Удовольствие, получаемое от того или иного превращения, особый вес, который оно приобретало с течением времени, его ценность для новых поколений выразились в священном характере церемоний, во время которых оно совершалось. Удавшееся и утвердившееся превращение становилось своего рода *даром*: оно сохранялось точно так же, как богатство слов, составляющих тот или иной язык,

или иное богатство, состоящее из вещей, которые *мы* обозначаем и воспринимаем как материальные, — оружие, драгоценности и разного рода священные предметы.

Это превращение, которое, как заботливо охраняемая традиция, как тотем, знаменовало родство определенных людей и кенгуру, содержало в себе также связь с количеством последних. Их всегда было больше, чем людей, и прирост их был желателен, поскольку был связан с ростом численности человека. Если они приумножались, приумножался и он. Приумножение тотемных животных тождественно его собственному. Поэтому крепость связи между превращением и приумножением невозможно переоценить, оба идут рука об руку. Если превращение утвердилось и его точный образ воспроизводится в традиции, оно гарантирует приумножение *обо-его* рода созданий, которые в нем едины и нераздельны. Одно из этих созданий — всегда человек. В каждом тотеме он обеспечивает себе приумножение *другого* животного. Племя, состоящее из многих тотемов, присваивает себе приумножение их всех.

Огромное большинство австралийских тотемов — животные, но есть среди них и растения, и поскольку чаще всего это растения, которые используются человеком, ритуалы, которые служат их приумножению, никого не удивляют. Кажется вполне естественным, что человек заботится о сливах и орехах и хочет, чтобы их стало много. То же справедливо и по отношению к некоторым насекомым — разным гусеницам, термитам, кузнечикам, которые нам отвратительны, а для австралийцев являются лакомствами; они тоже выступают как тотемы. Но что можно сказать, когда обнаруживаются люди, сделавшие своим тотемом скорпионов, вшей, мух или москитов? Здесь о полезности в обычном смысле слова не может быть и речи, эти твари для австралийца такое же бедствие, как и для нас. Его может привлекать лишь невообразимая численность этих существ, и, устанавливая родство с ними, он заботится лишь о том, чтобы обеспечить своему роду такую же численность. Человек из тотема москита хочет, чтобы его род был так же многочислен, как москиты.

Я не могу завершить этот предварительный и очень обобщенный обзор австралийских двойных фигур, не упомянув об еще одном роде тотемов. Их перечень мог бы вызвать удивление, но читатель с ним уже знаком. Среди тотемов австралийцев есть тотемы облаков, дождя и ветра, травы, горящей травы, огня, моря, песка и звезд. Это перечень природных *символов массы*, которые были детально нами разобраны. Лучше не докажешь их древность и значимость, чем найдя их в числе тотемов австралийцев.

Было бы ошибкой решить, что умножающие стаи всегда связаны с тотемами и всегда столь долговечны, как у австралийцев. Бывают представления более узкого локального характера, когда цель — привлечь нужных животных в конкретное время в конкретном месте. Заранее предполагается наличие больших стад поблизости. Сообщение о знаменитом бизоньем танце *манданов* — индейского племени из Северной Америки — относится к первой половине прошлого столетия.

«Получилось так, что бизоны собрались огромными массами и бродили по степям в разных направлениях — с запада на восток и с севера на юг, куда им только хочется. А манданам вдруг нечего стало есть. Они — маленькое племя, и поскольку у них много врагов, манданы не рискуют далеко уходить от дома. Так у них начался настоящий голод. Когда такая беда, каждый приносит из своей палатки маску, которую держат наготове для подобных случаев: шкуру с бизоньей головой, увенчанной рогами. Начинается танец, призывающий бизонов. Он должен приманить стада, изменив их направление, повернув их к деревне манданов.

Танец происходит на общественной площади посередине деревни. В нем принимает участие от 10 до 15 манданов, у каждого на голове посажен бизоний череп с рогами, каждый держит в руках лук или копье, которым лучше всего убивать бизонов.

Танец всегда приводит к желаемому результату, он длится и длится, не кончаясь, пока не появятся бизоны. Бьют

барабаны, тархтят погремушки, звучат нескончаемые песнопения, взвиваются крики. Зрители стоят вокруг с масками на головах и с оружием, готовые заменить любого, кто устал и покинул круг.

В это время общего возбуждения на холмах вокруг деревни стоят наблюдатели. Увидев приближающихся бизонов, они дают условный сигнал, который сразу замечают в деревне. Танец может длиться без перерыва две-три недели. Он всегда приводит к желаемому результату: считается, что бизоны приходят из-за него.

К маске обычно прикреплена еще полоса шкуры во всю длину животного с хвостом на ней; она свисает по спине танцора и волочится по земле. Кто устал, демонстрирует это, сильно наклоняя тело параллельно земле, тогда другой целится в него из лука, пускает тупую стрелу, и он падает, как убитый бизон. Окружающие хватают его, вытаскивают за ноги из круга и размахивают над ним своими ножами. Прделав все движения, имитирующие снятие шкуры и расчленение туши, они его отпускают, и его место сразу занимает новый танцор, врывающийся в круг с маской на голове. Так танец продолжается день за днем и ночь за ночью, пока наблюдатель не просигналит: «бизоны пришли».

Танцоры изображают одновременно бизонов и охотников. В масках они бизоны, но луки, стрелы и копья выдают в них охотников. Пока мандан танцует, он считается бизоном и ведет себя как таковой. Когда он устает, он усталый бизон. Он не может покинуть стадо, иначе его убьют. Он падает не от усталости, а сраженный стрелой. До самого смертного мига он остается бизоном. Охотники уносят его и разделяют. Сначала он был «стадом», теперь превратился в добычу».

Представление о том, что стая мощным и длительным танцем может привлечь настоящих бизонов, зиждется на нескольких предпосылках. Манданам из опыта хорошо известно, что масса притрастает и вовлекает в свой круг все подобное себе, находящееся поблизости. Если где-то собирается много бизонов, туда придет еще больше. Они также

знают, что возбуждение танца поднимает интенсивность переживания стаи. Его сила определяется мощью ритмических движений. Свою малочисленность стая восполняет мощью ритма.

Бизоны, облик и поведение которых человеку хорошо известны, так похожи на людей, они ведь охотно танцуют и дают замаскированным врагам заманить себя на представление. Танец длится так долго, потому что рассчитан на дальнюю цель. Бизон чувствует его притяжение издали, но поддается ему, только если танец идет на высоком накале. Снизится накал — нет уже настоящей стаи, и бизоны, которые еще далеко, повернут куда-нибудь в другое место. Ведь вокруг бродит много стад, и каждое может привлечь их к себе. Танцующие должны стать самой притягательной силой. В качестве *приумножающей стаи*, ни на мгновение не снижающей накала своей страсти, они сильнее, чем стабильные и замкнутые стада, и влекут к себе неудержимо.

ПРИЧАСТИЕ

Приумножающим действием особого рода является *совместная трапеза*. Согласно принятому ритуалу, каждому из участников вручается часть убитого животного. Вместе едят то, что вместе добыто. Части одного и того же животного поглощаются всей стаей. Нечто от *одного* тела входит в них всех. Они хватают, кусают, жуют, глотают одно и то же. Все, кто в этом участвовал, объединены теперь этим животным, оно содержится в них всех.

Этот ритуал совместного поглощения и усвоения есть причастие. Ему придается особый смысл: оно должно происходить так, чтобы поедаемое животное чувствовало уважение к себе. Оно ведь должно вернуться и привести своих собратьев. Кости не разбивают, а заботливо извлекают. Если все делается правильно, как положено, они снова оденутся

мясом, животное восстанет и на него снова можно будет охотиться. Если же поступают неправильно и животное чувствует себя оскорбленным, оно исчезнет насовсем, убежит вместе со своими братьями, не встретится человеку, среди людей начнется голод.

На некоторых празднествах стараются создать представление, будто поглощаемое животное само при этом присутствует. У некоторых сибирских народов медведя принимают как гостя, когда его едят. Гостю оказывают почет, предлагая лучшие куски его собственного тела. К нему обращаются с торжественными и убедительными словами и просят стать заступником перед его братьями. Если человек сумел добиться его дружбы, то медведь позволит на себя охотиться. Такое причастие может вести к расширению охотничьей стаи. Женщины и те мужчины, что не участвовали в охоте, теперь присоединятся к ней. Причастие может ограничиться и малой группой, то есть группой собственно охотников. Но внутренний процесс, поскольку он соответствует природе стаи, всегда остается одним и тем же: *охотящаяся стая* переходит в *умножающую*. Эта последняя охота удалась, человек наслаждается добычей, но в торжественный миг причастия он исполнен видением всех дальнейших охот. Невидимая масса животных, которых предстоит добыть, смутно чудится всем участникам пиршества, и все озабочены тем, чтобы видение воплотилось в действительность.

Это древнее причастие охотников сохранилось и там, где речь идет о стремлении к приумножению совсем иного рода. Причащаться могут крестьяне, заботящиеся о приумножении зерна, о хлебе насущном: в совместной торжественной трапезе они наслаются телом животного, как в старые времена, где все были охотниками.

В высших религиях в причастие вплетается новый мотив — идея приумножения *верующих*. Если причастие остается неизменным и осуществляется правильно, вера будет распространяться вширь, к ней присоединятся новые и новые сторонники. Но еще важнее, как известно, обет воскре-

шения к новой жизни. Животное, торжественно поедаемое охотником, должно жить снова, оно воскреснет и снова даст себя добыть. Такое воскрешение в высших причастиях становится важнейшей целью, только вместо животного здесь поедается тело Бога, и его воскрешение верующие примеряют к самим себе.

Об этой стороне причастия еще пойдет речь, когда будут рассматриваться религии оплакивания. Что сейчас важно, так это переход от охотящейся стаи к умножающей: особый способ употребления пищи обеспечивает ее умножение. Последняя изначально представляется как нечто живое. Здесь проявляется желание сохранить драгоценную душевную субстанцию стаи, пересаживая ее в нечто новое. Каковой бы ни была эта субстанция — если выражение «субстанция» вообще здесь применимо — все делается для того, чтобы она не распалась и не исчезла.

Взаимосвязь между общей трапезой и умножением пищи может быть и *непосредственной*, без воскрешения и новой жизни. Вспоминается чудесное событие, когда пятью хлебами и пятью рыбами насытились тысячи голодных.

ВНУТРЕННЯЯ И ТИХАЯ СТАИ

Четыре основные формы стаи можно группировать по разным критериям. Можно, например, провести различие между *внутренней* и *внешней* стаями.

Внешняя стая, которая проявляется отчетливей и потому легко описывается, стремится к цели, находящейся во вне ее самой. Она проделывает долгий путь. Ее движения ускорены, если сравнивать их с движениями в нормальной жизни. Это значит, что и охотящаяся, и военная стаи являются внешними стаями. Животное, на которое идет охота, надо найти и загнать. Врага, с которым предстоит сразиться, надо отыскать. Как бы ни было велико возбуждение,

вызванное военным или охотничьим танцем, характерная активность внешней стаи развертывается на широком пространстве.

Внутренняя стая имеет нечто вроде концентрической структуры. Так, она образуется вокруг покойника, подлежащего погребению. Ее задача состоит не в том, чтобы чего-то достичь или кого-то догнать, а в том, чтобы нечто удержать. Оплакивая мертвого, дают понять, что он, по сути, здешний, что он принадлежит тем, кто собрался вокруг тела. Свой далекий путь он совершит в одиночку. Его подстерегают опасности и страхи на пути туда, где другие мертвые ожидают и готовы принять его. Поскольку удержать мертвого невозможно, он, так сказать, не поглощается, а *исторгается*. Оплакивающие именно в качестве стаи представляют собой нечто вроде единого тела, из которого его не так просто удалить.

Приумножающая стая — тоже внутренняя стая. Кучка танцующих образует ядро, вокруг которого соберутся те, что пока еще невидимы. К тем людям, что уже есть, примкнут другие, к убитым или выращенным животным присоединятся новые, к собранным плодам добавятся другие плоды. Господствующим чувством является вера в уже-наличие того, что должно добавиться к видимым массивам столь ценных для человека существ или предметов. Все это уже *где-то* есть, это нужно лишь привлечь, приколдовать. Обычно церемонии совершаются там, где предполагается наличие множества этих пока невидимых существ или предметов.

Большое значение имеет переход от внешней к внутренней стае в ходе *причастия*. Поглощая убитое на охоте животное, с благоговением осозная, что что-то от него есть теперь в каждом из участников, стая *овнутряется*. Теперь можно ожидать воскрешения и, прежде всего, собственно приумножения.

Иначе стаи можно подразделять на *тихие* и *громкие*. Достаточно вспомнить, с каким шумом протекает оплакивание. В нем не было бы смысла, если бы оно не преподносило себя столь громко. Если плач затих, если он уже не воспринимается или не переходит в новый регистр, оплакива-

ющая стая распадается, и каждый снова оказывается сам по себе. Охота и война шумны по самой своей природе. Если иногда, чтобы перехитрить врага или добычу, в течение какого-то времени соблюдают тишину, то тем шумней кульминация борьбы: лай собак, крики охотников, возбуждающих в самих себе жажду крови. На войне издавна приняты оскорбления и угрозы в адрес врага. История сопровождается боевыми кличами и ревом битв, а сегодняшняя война немислима без адского грохота взрывов.

Тихая стая — стая в ожидании. Она терпелива, что странно для такой компании. Она всегда возникает там, где цели не достичь неистовым стремительным броском. Пожалуй, слово «тихая» недостаточно передает суть дела, лучше было бы назвать это стаей *ожидания*. Ибо здесь возможны такие вещи, как песнопения, клятвы, жертвоприношения, характерные именно для этого рода стай. Общее у них то, что они нацелены на нечто отдаленное, что не может быть обеспечено прямо здесь и сразу.

Именно такого рода тишина и ожидание характерны для религий, где есть вера в потусторонний мир. Поэтому есть люди, которые свою собственную жизнь используют как средство обеспечить лучшее загробное существование. Но самым ярким примером тихой стаи остается причастие. Процесс поглощения, чтобы оно достигло своей цели, требует концентрации, тишины и терпения. Благоговение перед могуществом и святостью того, что вошло внутрь, обеспечивает на какое-то время тихое и пристойное поведение.

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СТАЙ. ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСТОЯНСТВО

Люди знают *мертвых*, которых оплакивают. Только тот, кто близок или хорошо знаком, имеет право примкнуть к оплакивающей стае. Боль растет по мере близости к покойному.

Те, кто знал его лучше всех, рыдают особенно бурно. На вершине плача мать, из тела которой он вышел. О чужих не скорбят. Никогда с начала времен оплакивающая стая не собиралась вокруг кого угодно.

Такое постоянство в отношении своего предмета свойственно всем стаям. Дело даже не в том, что все члены стаи хорошо знают друг друга, — они знают также ее цель. Идя на охоту, они знают, на кого охотятся. Когда идут на войну, хорошо знают врага. При оплакивании несут свою боль хорошо известному покойнику. В ритуалах приумножения прекрасно знают, что должно быть приумножено.

Стаи неизменно и ужасающе постоянны. Это постоянство даже содержит в себе элемент интимности. Невозможно отрицать своеобразной нежности к добыче у первобытного охотника. При оплакивании и приумножении эта ласковая близость вполне естественна. Даже по отношению к врагу, если его уже не очень бояться, возникает иногда нечто вроде доверчивого интереса.

Цели, которые преследует стая, всегда одни и те же. Повторяемость, уходящая в бесконечность, свойственная всем человеческим жизненным процессам, свойственна и человеческим стаям. Постоянство и повторяемость привели к образованию поразительно стабильных структур. Именно их стабильность — тот факт, что они есть всегда и всегда можно к ним прибегнуть, — сделала возможным их включение в более сложные цивилизации. В качестве *массовых кристаллов* они всегда под рукой, когда возникает необходимость незамедлительного собирания масс.

Но и архаичное в жизни нашей современной культуры выражается в образе стаи. Тоска по простому или естественному существованию, стремление освободиться от тягот и тревог нашего времени имеют именно эту подоплеку: желание жить в *изолированных стаях*. Охота на лис в Англии, походы через океан на маленьких яхтах с минимальным экипажем, молитвенные сообщества в монастырях, экспедиции в неведомые страны, да, впрочем, и мечта поселиться с не-

многими избранными где-нибудь в райском уголке, где все умножается, так сказать, само собой, без усилий со стороны человека, — общим для всех этих архаических ситуаций является представление об ограниченном числе людей, хорошо знакомых друг с другом и вместе участвующих в деле, имеющем постоянный, четкий и определенный характер.

В своей откровенной форме стая проявляется и сегодня в каждом случае *линчевания*. Это называется *судом Линча*; употребление слова «суд» здесь столь же бесстыдно, сколь само дело, ибо говорить надо о *ликвидации* всякого суда. Обвиняемый не считается человеком. Его убивают как животное, минуя все человеческие формы. Различия в облике и поведении, пропасть, существующая, на взгляд убийц, между ними и их жертвой, помогает им обращаться с жертвой как с животным. Чем дольше ему удастся скрываться и бежать, тем с большим рвением они сплачиваются в преследующую стаю. Сильный человек, хороший бегун дает им возможность насладиться охотой. Естественно, это случается не часто: редкость охоты делает ее еще привлекательнее. Жестокость, которую они себе при этом позволяют, можно объяснить тем, что они не могут его сожрать. Возможно, они потому и считают себя людьми, что не вонзают в него зубы.

Обвинения сексуального характера, которые часто служат поводом для образования стаи, превращают жертву в опасное существо. Они воображают себе его действительное или мнимое чудовищное деяние. Связь черного мужчины с белой женщиной, образ их телесной близости подчеркивает в глазах мстителей их различия. Женщина становится еще белее, мужчина — еще чернее. Она невиновна, ибо, как мужчина, он сильнее. Если она шла навстречу — значит, под влиянием его превосходящей силы. Именно мысль об этом превосходстве им всего невыносимее, именно она заставляет их сплотиться в стаю. Вместе они его загоняют и убивают — как кровожадное животное, напавшее на женщину. Убийство представляется им дозволенным и даже благим делом и наполняет их нескрываемым удовлетворением.

СТАИ В ЛЕГЕНДАХ О ПРЕДКАХ АРАНДА

Как отражается стая в головах австралийских аборигенов? Две легенды о предках *аранда* дают об этом ясное представление. В первой рассказывается об Унгутнике — знаменитом кенгуру из мифических первобытных времен. Вот что сообщается о его встречах с *дикими собаками*.

«Будучи еще не взрослым, маленьким животным, он отправился погулять. Отойдя примерно на три мили, Унгутника вышел на открытое место, где увидел стаю диких собак. Они лежали вокруг своей матери, которая была очень большой. Он стал прыгать вокруг и рассматривать диких собак, тут они его заметили и погнались за ним. Он помчался от них так быстро, как только мог, но на другой открытой поляне они догнали и набросились на него. Они разорвали его тело, сначала содрали шкуру и отбросили ее в сторону, потом съели печень и сняли все мясо с костей. Сделав это, они снова легли.

Унгутника, однако, был не совсем мертв, ибо его шкура и кости были еще целы. На глазах у собак шкура оделась на кости. Он встал и побежал. Собаки снова погнались за ним и поймали его возле холма Улима. Улима значит «печень» и называется так потому, что собаки не стали есть печень, а выбросили ее; она превратилась в черный холм, обозначающий это место. Что произошло раньше, случилось и на этот раз, и Унгутника, который снова стал целым, добежал теперь до Пулпуни. Это слово обозначает своеобразный звук, который издают маленькие летучие мыши. Унгутника на этом месте обернулся и издал такой звук, чтобы посмеяться над собаками. Его снова схватили и разорвали, но, к большому удивлению преследователей, он опять стал целым. Он бежал до Ундиары, собаки — за ним. Когда он добежал до колодца с водой, они поймали и съели его. Они отгрызли ему хвост и похоронили его там, где он находится и сейчас в форме камня. Его называют *хуринга* — кенгури-

ный хвост; во время церемоний приумножения его выкапывают, показывают всем и заботливо протирают».

Четырежды охотилась на кенгуру стая диких собак. Он был убит, разорван и съеден. Три первых раза кости и шкуру не трогали. Поскольку они не тронуты, он мог снова встать, а тело — нарасти; собакам приходится гнаться за ним снова. Одно и то же животное, следовательно, съедается *четырежды*. Мясо, которое съедено, вдруг снова оказывается на нем. Из одного кенгуру стало четыре, и все же это один и тот же зверь.

И охота все та же, только местность меняется, и места замечательных событий навсегда запечатлеваются в ландшафте. Убитый не поддается, он продолжает жить и насмехается над стаей, не перестающей удивляться. Однако и она не сдаётся: она должна убить свою добычу, даже если уже поглотила ее. Невозможно проще и понятнее изобразить постоянство стаи и повторяемость ее действий.

Приумножение здесь достигается благодаря своего рода воскрешению. Животное ведь еще молодое и не принесшее потомства. Вместо этого оно умножается само. Умножение и размножение, как это видно, ни в коем случае не одно и то же. Из шкуры и костей он возникает снова на глазах преследователей и побуждает их продолжать охоту.

Погребенный хвост продолжает существовать в виде камня, он есть знак и свидетель этого чуда. В нем теперь заключена сила четырехкратного воскрешения, и, если с ним обращаться правильно, как это происходит на церемониях, он помогает в деле приумножения.

Вторая легенда начинается с охоты одного человека на большого и очень сильного кенгуру. Он его увидел и хочет убить и съесть. Он следует за ним на большом отдалении; это долгая охота, в некоторых местах они останавливаются на некотором расстоянии друг от друга. Всюду, где располагается кенгуру, он оставляет следы на местности. В одном месте он слышит шум и встает на задние лапы. Восьмиметровая глыба стоит там и сегодня в этой позе. Потом он проскреб дыру в земле, ища воду; эта дыра также сохранилась.

Но в конце концов зверь страшно устал и лег. Охотник же натолкнулся на несколько человек, принадлежащих хотя и к тому же тотему, но к другой подгруппе. Они спросили охотника: «У тебя большое копье?» Он ответил: «Нет, только маленькое. А у вас есть большие копья?» «Нет, — сказали они, — только маленькие». Тогда охотник сказал: «Положите ваши копья на землю». И они ответили: «Хорошо, но и ты положи свое на землю». Копья были сложены на землю, и охотники напали на животное. У того, первого, охотника были в руках только щит и хуринга — его священный камень.

«Кенгуру был очень сильным и отбросил от себя охотников. Тогда они все прыгнули на него, и *охотник*, оказавшийся внизу кучи, *был затоптан до смерти*. Но и кенгуру казался мертвым. Они похоронили охотника с его щитом и хурингой, а тело кенгуру взяли с собой в Ундиару. Он оказался на самом деле не мертвым, но умер позднее и был положен в пещеру. Его не ели. Потому что там, где было тело животного, в пещере возник каменный разлом, в который после смерти ушел его дух. Вскоре после этого умерли и охотники, и их духи ушли в озерко поблизости. Сказание гласит, что в древние времена огромные множества кенгуру приходили в пещеру, и тела их исчезали в земле, и духи их уходили в камень».

Индивидуальная охота здесь переходит в охоту целой стаи. Охотники идут на зверя безоружными, рассчитывая похоронить его под людской массой. Общим весом его можно задавить. Но он очень силен и отбивается так, что людям приходится нелегко. В пылу борьбы первый охотник сам оказывается внизу, и его затаптывают до смерти вместо кенгуру. Его хоронят со щитом и его священной хурингой.

История об охотничьей стае, которая идет на особенно-го зверя и по ошибке вместо зверя убивает лучшего охотника, встречается по всему миру. Она завершается плачем по мертвому; *охотящаяся стая* здесь переходит в *оплакивающую стаю*. Это превращение образует сердцевину многих важных и широко распространенных религий. И здесь, в

этой легенде аранда, говорится о погребении жертвы. Щит и хуринга похоронены вместе с ним, и упоминание о хуринге, считающейся священной, придает событию торжественную ноту.

Само животное, умершее позднее, похоронили в другом месте. Это пещера, ставшая позднее центром сбора для кенгуру, которые приходили и исчезали в ней. Ундиара — так называется эта округа — стала священным местом, где тотем кенгуру производит свои ритуалы. Ритуалы служат приумножению этого животного, и, покуда все делается правильно, здесь всегда будет много кенгуру.

Замечательно, как в этой легенде накладываются друг на друга два совершенно различных процесса, образующие ядро религии. Первый состоит, как уже показано, в превращении охотящейся стаи в оплакивающую; второй, разыгрывающийся в пещере, — в превращении охотничьей стаи в умножающую. Для австралийцев второй процесс гораздо важнее, он буквально составляет сердцевину их культа.

То, что оба выступают вместе, говорит в пользу главного тезиса этого очерка. Каждая из четырех основных форм стаи с самого начала имеется повсюду, где есть люди. Еще и поэтому всегда возможны превращения одной стаи в другую. В зависимости от того, на какую из них падает акцент, образуются различные фундаментальные формы религии. В качестве важнейших групп в этом отношении я выделяю оплакивающую и приумножающую стаи. Но есть еще, как мы увидим, охотничьи и военные религии.

Зачатки важных процессов обнаруживаются даже в приведенной легенде. Разговор о копьях, завязавшийся при встрече охотников, предполагает возможность вооруженного соперничества. Одновременно бросив на землю все имеющиеся копья, они отказываются от схватки. Лишь потом они вместе идут на кенгуру.

Здесь мы сталкиваемся с еще одной деталью, которая кажется мне примечательной в этой легенде: это *толпа* людей, бросившихся на кенгуру, чтобы кучей задавить живот-

ное. Такие кучи из человеческих тел часто встречаются у австралийцев. С ними постоянно сталкиваешься в их церемониях. В определенный момент церемонии обрезания молодых мужчин кандидат мочится на землю, и несколько мужчин укладываются на него так, что он должен выдержать их совокупный вес. У некоторых племен куча людей падает на умирающего и тесно сдавливает его со всех сторон. Эта уже известная ситуация представляет особый интерес: ею обозначен переход к груде умирающих и мертвых, о чем часто говорится в этой книге. Некоторые разновидности австралийских человеческих штабелей должны рассматриваться в следующей главе. Здесь, пожалуй, достаточно заметить, что намеренно и мощно сплотившаяся толпа *живых* не менее важна, чем груда мертвых. Если последняя представляется *нам* более знакомой, то только потому, что она обрела в ходе истории чудовищные масштабы. Поэтому и должно казаться, что лишь мертвые люди в больших количествах могут тесно прижиматься друг к другу. Однако куча живых тоже прекрасно известна: это, по сути дела, не что иное, как масса.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ У АРАНДА

Обе приведенные здесь легенды о предках взяты из книги *Спенсера и Джилена* о племени *аранда*. Они называют его «арунта». Большая часть этого знаменитого труда посвящена описанию ритуалов и церемоний *аранда*. Об их многообразии трудно составить себе преувеличенное представление. Особенно бросается в глаза богатство геометрических фигур, составляемых участниками во время церемоний. Иногда эти построения хорошо нам знакомы, поскольку их значение сохранилось доньше, иногда они поражают совершеннейшей чужеродностью. Перечислим кратко важнейшие из них.

При тайных церемониях участники в полном молчании идут *гуськом* в затылок друг другу. Это мужчины, отправив-

шиеся в путь, чтобы извлечь свои священные хуринги, которые хранятся в пещерах и других потайных местах. Они блуждают около часа, прежде чем достигают цели. Все это время молодые мужчины, взятые в поход, не вправе задавать вопросы. Если же ведущий их старик хочет что-то объяснить, например, рассказать о деталях ландшафта, связанных с легендами предков, он прибегает к языку знаков.

В подлинных ритуалах участвует обычно ограниченное число исполнителей, одетых как предки тотема и их соответственно изображающих. Чаще всего их двое или трое, иногда — всего один. Молодые образуют около них круг, танцуют и издавая соответствующие возгласы. Этот *круг* часто встречается и постоянно упоминается.

В другом случае, в церемонии *энгвура*, которая представляет собой важнейшее и торжественнейшее событие в жизни племени, молодые мужчины ложатся в ряд на вытянутом пригорке и лежат так в полном молчании несколько часов. Такое *лежание в ряд* часто повторяется, однажды оно длилось восемь часов подряд, с 9 вечера до 5 утра.

Очень впечатляет другое, более плотное построение. Мужчины сбиваются в тесную кучу, старые посередине, молодые снаружи. Такой *диск*, образованный плотно прижавшимися друг к другу участниками, два часа подряд кружится в танце, сопровождаемом непрерывными песнопениями. Потом все садятся на землю, так же плотно прижавшись друг к другу и в том же порядке, что и стояли, и еще два часа поют.

Иногда мужчины стоят в два ряда друг против друга и поют. В решающей акции, которой завершается ритуальная часть энгвура, молодые мужчины образуют *каре* и переходят в сопровождении старших на другую сторону ручья, где их ожидают женщины и дети.

Эта церемония богата деталями; нам сейчас, поскольку речь идет о построениях, важно упомянуть *груды на земле*, состоящую из всех мужчин. Сначала трое стариков, несущих священный предмет, представляющий собой сумку, в которой сидели дети в изначальные времена, падают на зем-

лю, прикрывая сумку своими телами, потому что женщины и дети не должны ее видеть. Затем остальные мужчины, то есть в основном молодые, которым и посвящена эта церемония, валяются на стариков и остаются лежать беспорядочной кучей. Где кто — не разобрать, только головы трех стариков торчат из общей свалки. В таком положении они остаются несколько минут, затем начинают подниматься, выбираясь друг из-под друга. Такие кучи сооружаются и по другим поводам, но это важнейший из тех, о которых упоминают наблюдатели.

При *испытании огнем* молодые мужчины ложатся на горячие ветки, естественно, не друг на дружку. Испытание огнем происходит по-разному, чаще всего следующим образом: молодые мужчины достигают определенного места по ту сторону ручья, где их ожидают две группы женщин. Женщины набрасываются на них, стегая горящими ветками. В другом случае молодые мужчины выстраиваются в ряд напротив женщин и детей. Женщины танцуют, мужчины из всех сил швыряют над их головами горящие сучья.

В церемонии обрезания шестеро лежащих на земле мужчин образуют собой *стол*. Новичок ложится сверху и подвергается операции. «Лежание на новичке», относящееся к этой же церемонии, обрисовано в предыдущей главе.

Если поискать смысл всех этих сочетаний, то можно сказать следующее.

Цепочка людей, идущих *гуськом*, изображает *блуждание*. Его значение в родовой традиции невозможно переоценить. Предкам часто приходилось блуждать под землей. Это выглядит так, будто молодые мужчины один за другим проходят по следу предков. То, как они движутся, и сопровождающее весь путь молчание свидетельствуют о благоговении по отношению к священным путям и целям.

Кружение или движение по *кругу* в танце представляет собой укрепление, воздвигаемое для защиты того, что разыгрывается внутри круга. Происходящее внутри отделяется от всего чужого, что находится снаружи. Оно приветству-

ется, и поощряется, и воспринимается как собственное достоинство.

Лежание в ряд можно считать изображением смерти. Нювочки лежат целыми часами бездвижно и немо. Потом они вдруг оживают и вскакивают на ноги.

Два ряда, выстроенных друг против друга и выкрикивающих возбуждающие обидные фразы, символизируют две враждебные стаи, причем вражескую стаю могут изображать женщины. *Каре* — это такое построение, которое кажется защищенным со всех сторон; предполагается, что так нужно идти во враждебном окружении. Оно хорошо известно в позднейшей истории.

Остаются теперь по-настоящему плотные образования: плотный танцующий *диск*, как бы спрессованный из человеческих тел, и *хаотическая груда* на земле. Диск именно по причине его движения представляет собой крайний случай ритмической массы, сплоченной и замкнутой до предела, где не остается ни кусочка пространства, не заполненного людьми.

Груда тел на земле хранит драгоценный секрет. Она указывает на то, что надо всеми силами укрыть и сохранить. В такую же груду помещают умирающего, оказывая ему тем самым последнюю почесть. Так его ценят соплеменники, и эта груда с ним посередине заставляет вспомнить груду мертвых тел.

СТАЯ И РЕЛИГИЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТАЙ

Все формы стаи, как они здесь изображены, имеют тенденцию переходить друг в друга. Как ни постоянна стая в своем повторении, как ни похожа сама на себя в каждом новом появлении, в ее отдельном, однократном развертывании есть нечто текучее.

Уже достижение цели, которую она преследует, неизбежно вызывает изменения в ее состоянии. Совместная *охота*, если она результативна, переходит в раздел добычи. *Победы*, за исключением «чистых» случаев, когда речь идет только об уничтожении врагов, вырождаются в мародерство. Плач кончается с удалением покойника: как только он оказывается там, где ему положено быть, как только все почувствовали себя от него чуть-чуть в безопасности, возбуждение стаи идет на убыль, все расходятся. Но отношения с мертвым этим не исчерпываются. Предполагается, что где-то он продолжает существовать, его можно призвать в круг живых, чтобы получить совет и помощь. В заклинании своих мертвых оплакивающая стая конституируется, так сказать, вновь, однако цель ее действий теперь противоположна первоначальной. Мертвый, который сначала был удален, теперь в определенном смысле возвращается к своим. Танец бизонов *уманданов* завершается с приходом бизонов. Приумножающаяся стая, добившись успеха, начинает праздник дележа.

У каждого типа стаи, как мы видим, есть негатив, в который она переходит. Однако помимо перехода в негатив,

что кажется естественным, имеются переходы иного рода: преобразования *различных* стай друг в друга.

Подобные случаи можно найти в легендах предков *аранда*. Несколько мужчин затоптали до смерти сильного кенгуру. При этом первый из охотников пал жертвой собственных товарищей и был ими торжественно погребен: охотничья стая превратилась в оплакивающую стаю. О смысле причастия уже говорилось подробно: там охотничья стая переходит в умножающую стаю. Другое превращение знаменует собой начало войны: человека убивают, соплеменники его оплакивают, затем формируют войско и отправляются мстить врагу за его смерть. Оплакивающая стая переходит в военную стаю.

Превращение стай — замечательный процесс. Он происходит повсюду и обнаруживается в различных сферах человеческой деятельности. Без точного знания о нем вообще невозможно понять какие бы то ни было социальные процессы.

Некоторые из этих превращений выделены из более широких взаимодействий и зафиксированы. Они обрели свой особый смысл, превратились в ритуал и воспроизводятся вновь и вновь совершенно одинаковым образом. Они представляют собой подлинное содержание, сердцевину всякого значительного верования. Динамикой стай и особенностями их преобразования друг в друга объясняется подъем мировых религий.

Исчерпывающее объяснение религий здесь невозможно. Это станет темой отдельной работы. Ниже некоторые социальные и религиозные образования рассматриваются с точки зрения преобладающих в них стай. Оказывается, существуют религии охоты и войны, приумножения и плача. У *леле* в Бельгийском Конго охота, несмотря на ее малую продуктивность, стоит в центре социальной жизни. *Живарос* в Эквадоре живут исключительно войной. Для племен *пуэбло* на юге Соединенных Штатов характерны неразвитость охоты и войны и удивительное неприятие плача, они живут только для мирного приумножения.

Чтобы понять *религии плача*, в историческое время охватившие и объединившие землю, нужно обратиться к христианству и к одной из разновидностей ислама. Описание шиитского праздника мухаррам должно показать центральную роль оплакивания в такого рода верованиях. Последняя глава посвящается встрече священного праздника пасхи в церкви Гроба Господня в Иерусалиме. Это торжество Воскресения, которым завершается плач христиан и в котором он находит свой смысл и оправдание.

ЛЕС И ОХОТА У ЛЕЛЕ С КАСАИ

Английскому антропологу Мэри Дуглас в ее новом глубоком и основательном исследовании действительно удалось обнаружить единство жизни и религии одного африканского народа. Не знаешь, чему больше удивляться в ее работе: точности наблюдения или открытости и непредвзятости мысли. Лучше всего выразить свою благодарность, следуя ей дословно.

Народ леле, живущий в Бельгийском Конго, недалеко от реки Касаи, насчитывает около 20 000 человек. Их деревни, представляющие собой компактные квадраты от 20 до 100 хижин, расположены на степных участках всегда неподалеку от леса. Главную пищу составляет маис, который они возделывают в лесу; каждый год для него расчищается новый участок, с которого собирают не более одного урожая. Потом на этом участке растут рафиевые пальмы, с которых буквально все идет в дело. Молодые листья дают волокна, из которых мужчины плетут рафиевые покрывала. Мужчины леле, в отличие от их соседей, хорошие ткачи. Куски квадратных рогож служат своего рода деньгами. Из этой пальмы получают еще высоко ценимое непрокисающее вино. Бананы и пальмы, хотя они лучше всего растут в лесу, посажены также вокруг деревни, земляные орехи — только

здесь. Все прочие необходимые вещи дает лес: воду, дрова, соль, маис, маниоку, масло, рыбу и мясо. И у мужчин, и у женщин много разных дел в лесу. Но каждый третий день женщин выгоняют из леса. Пищей, водой и дровами они должны запастись на день вперед. Лес становится исключительно мужской территорией.

«Престиж леса необычайно высок. Леле говорят о нем с почти поэтическим воодушевлением... Часто они подчеркивают противоположность леса и деревни. В разгар дня, когда в пыльной деревне невыносимо жарко, они охотно спасаются в прохладном сумраке леса. Работа в лесу их привлекает и радует, работа где-нибудь еще — просто мука. «Время, — говорят они, — медленно идет в деревне и мчит-ся в лесу». Мужчины хвастаются, что могут целый день работать в лесу и не проголодаться, а в деревне все время приходится думать о еде».

Но лес — это еще и опасное место. Кто соблюдает траур или увидел дурной сон, не должен идти в лес. Такой сон считается предупреждением. Кто на следующий день не побережется и пойдет в лес, может столкнуться с бедой: на него рухнет дерево, он порежется ножом или упадет с пальмы. Если предупреждению не внял мужчина, опасность грозит только ему персонально. Женщина же, которая пошла в лес в запретное время, ставит под угрозу всю деревню.

«Величайшее уважение к лесу можно объяснить тремя главными причинами: он — источник всех полезных и необходимых вещей, таких как еда, питье, одежда, материал для строительства домов; он — источник священных снадобий; и, третье, он — место охоты, которая является в их глазах самым важным из занятий».

У леле просто неудержимое влечение к мясу. Гость будет тяжело оскорблен, если предложить ему только растительную пищу. В разговорах о гостях и приемах они охотно обсуждают количество и качество поданного мяса. При этом они, как и их южные соседи, не держат коз и свиней. Даже мысль о том, чтобы съесть животное, выросшее в деревне,

им отвратительна. Хорошая пища, говорят они, приходит из леса, где она чистая и здоровая, как кабан или антилопа. Крысы и собаки нечисты — *хама*; то же самое слово применяется для обозначения гноя и экскрементов. Нечистыми считаются также свиньи и козы только потому, что они выращены в деревне.

Влечение к мясу никогда не заставит их съесть что-нибудь такое, что не добыто в лесу или на охоте. Они разводят собак, и при желании им не составило бы труда разводить коз.

«Отделение женщин от мужчин, леса от деревни, зависимость деревни от леса и выдворение женщин из леса представляют собой важнейшие и постоянно повторяющиеся элементы их ритуала».

Степные участки, сухие и бесплодные, стоят в их глазах невысоко, они целиком доверены женщинам и считаются нейтральной зоной между лесом и деревней.

Леле верят в Бога, который сотворил людей и животных, реки и все другие вещи. Они верят также в духов, которых боятся и о которых говорят сдержанно и осторожно. Духи никогда не были людьми, и никто из людей их не видел. Если бы кто увидел духа, то ослеп бы и умер в судорогах. Духи живут глубоко в лесу, чаще всего у истоков рек. Днем они спят, ночью ходят по округе. Они не умирают и никогда не болеют. От них зависит удача на охоте и плодovitость женщин. Они могут поразить деревню болезнью. Животными, более всех наделенными сверхъестественной силой, считаются нутрии, резвящиеся вокруг истоков рек — местопребывания духов. Нутрия — это вроде собаки духа, она живет при нем и слушается его, как собака слушается охотника. Если нутрия непослушна, дух ее наказывает: дает человеку убить ее на охоте и тем самым вознаграждает охотника.

По отношению к человеку духи выражают самые разнообразные пожелания, особенно они настаивают на том, чтобы в деревне царил мир. «Лучшим свидетельством того, что в деревне все в порядке, является удачная охота. Ничтожная доля мяса, которая досталась каждому из мужчин, жен-

щин и детей от убитой дикой свиньи, никак не могла бы объяснить ту радость, что выражается по этому поводу несколькими неделями позже. Охота — это духовный барометр, за подъемом и падением которого ревниво следит вся деревня».

Замечательно, что деторождение и охота называются вместе, как если бы это были взаимосоответствующие функции мужчин и женщин. Могут сказать так: «Деревня испортилась: охота не удалась, женщины бесплодны, все умирает». Если человек доволен положением дел, говорится иначе: «Наша деревня теперь богатая и довольная. Мы убили трех диких свиней, четверо женщин зачали, мы сильны и здоровы».

Самое высокоценное занятие — это *совместная* охота. Дело именно в ней, а не в индивидуальных усилиях одиночки. «Мужчины, вооруженные луками и стрелами, кольцом охватывают часть леса. В лес входят загонщики с собаками. Мальчики и старики, которые едва в состоянии двигаться, стараются присоединиться к охоте. Особенно важны хозяева собак, которые, продираясь сквозь кусты, криками возбуждают и направляют собак. Поднятая свинья выскакивает под стрелы поджидающих охотников. Это самый действенный метод охоты в густом лесу, когда животное застают врасплох и поражают стрелами с близкого расстояния.

Удивительно для народа, столь гордящегося своей охотой, абсолютное отсутствие индивидуальных охотничьих навыков. Человек, идущий в лес, на всякий случай берет с собой лук и стрелы, но целится только в птиц и белок, даже не помышляя в одиночку добыть крупного зверя. Особые приемы охоты в одиночку им совершенно неизвестны. Выслеживание или подражание крикам животных им чужды, маскироваться или выкладывать приманку они не умеют. Редко кто заходит один в чащу леса. Весь их интерес концентрируется на совместной охоте. Человек может натолкнуться на стадо свиней, барахтающихся в болоте, и подобраться так близко, что будет слышать их дыхание. Но он даже не по-

пытается выстрелить, а на цыпочках отойдет подальше и побежит в деревню за подмогой.

В степи охотятся лишь раз в году в сухое время, когда можно поджечь траву. Чтобы окружить горящее пространство, собираются вместе несколько деревень. Мальчики надеются здесь на свою первую добычу. Это, должно быть, ужасное побоище. И это единственный случай, когда команда охотников больше, чем мужское население одной-единственной деревни. В лесной охоте участвуют только мужчины и только из одной деревни. В конце концов деревня является политической и ритуальной единицей только потому, что является охотничьей единицей. И неудивительно, что леле считают свою культуру в первую очередь охотничьей культурой».

Особое значение имеет *распределение* добычи. Оно строго упорядочено, причем так, что это подчеркивает религиозный смысл охоты. У леле имеется три ритуальных сообщества, каждое из них имеет право на свою определенную часть убитого животного. Первое сообщество — это производители, к которым причисляются все мужчины, произведшие на свет ребенка. Им идет грудная часть любой дичи, а также мясо всех молодых животных. Среди производителей выделяются те, кто произвел дитя мужского и дитя женского пола. Они считаются членами второго, избранного сообщества — это мужчины-панголины. Их так зовут потому, что только они имеют право на мясо панголина, броненосца. Третье сообщество — ясновидцы. Они получают голову и кишки дикой свиньи.

Если убивают большое животное, оно всегда — и именно в процессе дележа — становится предметом религиозного действия. Важнее всех других животных дикая свинья. Ее делят следующим образом: после того как ясновидцы получили голову и кишки, грудь идет производителям, плечи — мужчинам, которые несли ее домой, шея — владельцам собак, спина, горло и одна из передних ног — тому, кто убил свинью, а желудок — деревенским кузнецам, изготовившим стрелы.

Структура общества леле укрепляется, так сказать, с каждой охотой. Возбуждение охотничьей стаи превращается в чувство, связывающее общину в целом. Без насилия над замыслом автора книги можно говорить об *охотничьей религии* в подлинном смысле слова. Столь убедительным, исключаяющим всякое сомнение образом охотничья религия никогда не изображалась. Но здесь открывается еще драгоценная возможность увидеть превращение леса в символ массы. Все, что считается ценным, содержит в себе лес, и самое ценное приносится тоже лесом. Там живут животные — добыча охотничьих стай, а также грозные духи, отдающие человеку своих животных.

ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ ЖИВАРОС

Самый воинственный народ во всей Южной Америке — *живарос* из Эквадора. Крайне поучительно понаблюдать за их привычками и ритуалами, касающимися военных действий и трофеев.

О перенаселении у них не может идти речь. Они вступают в войну не для завоевания новых земель. Жизненного пространства у них не мало, а скорее слишком много. На площади в 60 000 квадратных километров живут 20 000 человек. Они не знают больших поселений, даже деревни у них не в чести. Каждая большая семья со старейшиной во главе занимает отдельный дом, а ближайшая семья живет от них в нескольких километрах. Их не связывает никакая политическая организация. В мирное время каждый отец семейства является высшей инстанцией, и никто не может ему приказывать. Если бы живарос не выслеживали друг друга с враждебными намерениями, то на гигантских просторах девственных лесов одна группа вряд ли могла бы повстречать другую.

Цементом, скрепляющим их воедино, является *кровная месть*, или, собственно говоря, смерть. Для них не суще-

ствует естественной смерти: если человек умирает, значит, враг заколдовал его издали. Тогда долг близких заключается в том, чтобы выяснить, кто ответственен за смерть, и отомстить колдуну. Каждая смерть является, следовательно, *убийством*, а за убийство можно мстить только другим убийством. Но поскольку смертоносное колдовство производилось на большом расстоянии, физическая или кровная месть, обязательная для родственников, возможна лишь в том случае, если они сумеют *отыскать* врага.

Следовательно, живарос ищут друг друга, чтобы мстить друг другу, и поэтому кровную месть можно считать формой социальной связи.

Семья, живущая вместе в одном доме, образует очень тесное единство. За что берется один мужчина, за то берутся вместе с ним и другие мужчины дома. В крупные и опасные экспедиции собираются мужчины нескольких относительно близко расположенных домов; только для такого настоящего военного похода с целью мести они выбирают главнокомандующего — опытного, часто пожилого человека, которому на время похода добровольно подчиняются.

Военная стая является, следовательно, подлинной динамической единицей у живарос. Наряду со статической единицей, семьей, только она играет заметную роль. С военной стайей связаны все их праздники. Они собираются вместе за неделю до похода, а потом, если возвращаются с победой, устраивают целый ряд больших торжеств.

Военные походы служат исключительно целям *разрушения*. Всех врагов убивают, за исключением пары юных женщин и, может быть, нескольких детей, которых берут в свою семью. Вражеская усадьба, домашние животные, посадки — все уничтожается. Единственное, что на самом деле интересует живарос, — это головы врагов. Тут действительно настоящая страсть, и высшая цель воина — вернуться из похода по крайней мере с одной такой головой.

Голова особым образом препарируется, усыхая при этом примерно до размеров апельсина. Это называется *цанца*. Об-

ладатель танца пользуется особым уважением. По прошествии некоторого времени — года или двух — устраивается грандиозный праздник, центром которого является правильно препарированная голова. На праздник приглашают друзей, едят, пьют и пляшут; все согласно ритуальным правилам. Это торжество насквозь религиозного характера, и наблюдение показывает, что его подлинным мотивом является жажда *приумножения* и орудий приумножения. Здесь невозможно входить в детали, которые в изобилии приводит *Карстен* в книге *Кровная месть, война и праздники победы у живарос*. Достаточно указать на важнейший танец живарос, в ходе которого они по порядку и с воодушевлением заклинают сначала зверей, на которых охотятся, а потом — половой акт человека, служащий приумножению семьи.

Танец является как бы введением к большому празднику. Мужчины и женщины становятся вокруг центрального столба дома и медленно движутся по кругу, выкрикивая как слова заклятия имена всех зверей, мясо которых любит человек. Сюда добавляются некоторые предметы, используемые индейцами в домашнем хозяйстве и собственноручно ими изготовляемые. За каждым именем громко и возбужденно выкрикивается «хей!».

Танец начинается пронзительным свистом. Сама магическая формула гласит:

Хей, хей, хей!
Обезьяна, хей!
Красная, хей!
Коричневая обезьяна, хей!
Черная обезьяна, хей!
Капуциновая обезьяна, хей!
Серая обезьяна, хей!
Дикая свинья, хей!
Зеленый попугай, хей!
Долгохвостый, хей!

Домашняя свинья, хей!
Жирная, хей!
Женское платье, хей!
Пояс, хей!
Корзинка, хей!

Заклинание продолжается примерно час, все это время танцующие движутся то вправо, то влево. Каждый раз, как только они останавливаются, чтобы изменить направление движения, раздаётся громкий свист и крики «чи, чи, чи, чи», как будто этим криком пытаются поддержать непрерывность процесса.

Другое заклинание относится к женщинам и их плодовитости:

Хей! Хей! Хей!
Баба, хей! Баба, хей!
Совокупенье, хей!
Цанца пусть поможет, хей!
Пары, хей! Пары, хей!
Баба, хей! Баба, хей!
Пусть это будет, хей!
Мы это делаем, хей!
Это будет славно, хей!
Хватит, хей!

Центром песнопений и всех прочих действий во время праздника является цанца — добытая в бою, препарированная и высушенная голова врага. Его дух все время пребывает поблизости от головы и крайне опасен. Его всячески стараются приручить; если удалось поставить его себе на службу, он может принести огромную пользу. Он заботится о том, чтобы умножались свиньи и куры на дворе, благодаря ему умножаются клубни маниока. Все, что пожелаешь приумножить, он приумножает. Однако превратить его в раба совсем не просто. Поначалу он полон жажды мести, невоз-

можно даже вообразить, что он может сделать с человеком. Но число действий и ритуалов, служащих тому, чтобы подчинить его воле хозяина, поистине удивительно. Праздник, длящийся много дней, завершается тем, что голова и дух, к ней относящийся, оказываются полностью в его распоряжении.

Если взглянуть на цанца с позиций знакомой нам военной морали, она, можно сказать, представляет собой то, что мы называем трофеем. На войну идут, чтобы добыть голову, и это *единственная* добыча. Но сколь бы маленькой она ни казалась, особенно когда сморщится до размеров апельсина, она вмещает в себя все, что только можно пожелать. Она творит любое угодное приумножение: животных и растений, необходимых для жизни, предметов, изготавливаемых дома, и, наконец, собственно людей. Это невероятно концентрированная добыча, и заполучить ее в руки недостаточно, надо еще много работать, стараясь превратить ее в то, чем она должна стать для человека. Этот труд венчается совместным возбуждением праздника, особенно его магическими заклинаниями и танцами. В целом праздник цанца — это праздник приумножающей стаи. Военная стая, если ей везет, выливается в приумножающую стаю празднества; в превращении одной в другую заключается подлинная динамика религии живарос.

ТАНЕЦ ДОЖДЯ У ИНДЕЙЦЕВ ПУЭБЛО

Существуют танцы приумножения, задача которых — вызвать дождь. Танцоры, так сказать, вытопывают дождь из земли. Топанье ног — как падение капель дождя. Если дождь начинается во время танца, танец прекращается. Танец, изображающий дождь, в конце концов переходит в дождь. Группа примерно из 40 человек, совершая ритмические движения, превращается в дождь.

Дождь — это важнейший символ массы у народов пуэбло. Он играл важную роль даже у их предков, которым случалось жить и в других местах. Но с тех пор как они обосновались на сухих нагорьях, значение дождя так возросло, что он составляет теперь глубинную основу их верований. Маис, необходимый для жизни, и дождь, без которого не вырастет маис, — вот что стоит в центре всех их церемоний. Разнообразные волшебные средства, применяемые, чтобы вызвать дождь, концентрируются и усиливаются во время танца дождя.

Важно, что этому танцу не свойственно беснование, которое не отвечает природе самого дождя. В облаке, в котором он приближается, дождь представляет собой единство. Облако высоко и далеко, оно белое и мягкое и, приближаясь, будит в человеке радостные чувства. Но, разрешаясь дождем, оно распадается: отдельными каплями достигает дождь людей и почвы, где и исчезает. Танец, который должен привлечь дождь, сам в него превратившись, представляет собой скорее бегство и распад массы, чем ее образование. Танцоры желают, чтобы дождь пришел, однако он должен не оставаться там, вверху, а пролиться на землю. Облако — это дружественная масса, и насколько она дружественна, видно по тому, что оно приравнивается к *предкам*. Мертвые возвращаются в облаке дождя и приносят достаток и довольство. Если летом под вечер на небе появляются дождевые облака, детям говорят: «Смотрите, дедушка идет». Подразумевается при этом не умерший член семьи, а предок вообще.

Священники, пребывающие в ритуальном уединении восемь дней подряд, уйдя в себя, неподвижно сидят перед алтарями и призывают дождь:

Где бы ни было ваше постоянное жилище,
Оттуда вы отправитесь в путь,
Ваши ветром гонимые облачка,
Ваши тонкие облачные полоски
Наполните живой водой.

Вы пришлете нам, чтобы остался у нас,
Ваш прекрасный дождь, ласкающий землю
Здесь в Итеване,
Селении наших отцов
И матерей,
Тех, кто были живыми до нас.
Вы придете все к нам
С вашей неисчислимой массой воды.

Человеку нужна неисчислимая масса воды, однако эта масса, собранная в облаках, распадается на капли. В танце дождя акцент делается на распаде. Речь идет о *доброй* массе — не об опасном звере, которого нужно убить, не о ненавистном враге, с которым предстоит сразиться. Она отождествляется с массой предков, которые у пуэбло мирно настроены и доброжелательны.

Драгоценная масса, каплями выпадающая на землю, переходит в другую массу, необходимую для жизни, — в маис. Как и при всякой жатве, предполагается сбор урожая в груды. Это как раз противоположный процесс: дождевое облако распадается на капли, урожай, наоборот, собирается в груды, так сказать, зерно к зерну или початок к початку.

Благодаря этой пище мужчины становятся сильными, а женщины плодовитыми. Слово «дети» часто появляется в заклинаниях. Священник говорит о всех живущих членах рода как о детях, но также и о мальчиках и девочках как о тех, «чей жизненный путь еще впереди». Мы сказали бы, что они — будущее племени. Он выражает это в более точном образе — их жизненный путь еще впереди.

Так что важнейшие массы в жизни пуэбло — это предки и дети, дождь и маис, или, если следовать, так сказать, причинному порядку, — предки, дождь, маис, дети.

Из четырех видов стаи охотничья и военная им совершенно чужды. У них сохранились лишь остаточные элементы загонной охоты на кроликов. Существует и сообщество воинов, но его функции скорее полицейские, а в полиции

надобность практически отсутствует. Оплакивающая стая играет у них на удивление малую роль. Смерть, по возможности, не превращают в событие, и мертвого, как индивидуума, стараются поскорее забыть. По истечении четырех *дней* после смерти старший священник внушает опечаленным родственникам, что уже не надо думать о мертвом: «Он уже четыре *года* как мертв!» Смерть отодвигается в прошлое, боль становится легче переносимой. Пуэбло не знают оплакивающих стай — они *изолируют* боль.

Единственной активной и многообразно проявляющейся формой стаи остается у них стая приумножения. На ней держится вся общественная жизнь. Можно сказать, что они живут лишь для приумножения, и это приумножение ориентировано исключительно позитивно. Двуличье Януса, свойственное столь многим народам: собственное приумножение, с одной стороны, истребление врагов — с другой, им неизвестно. Дождь и маис сделали их мирными людьми, жизнь их проходит в кругу собственных детей и предков.

ДИНАМИКА ВОЙНЫ: ПЕРВЫЙ МЕРТВЫЙ, ТРИУМФ

Внутренняя, или идейная, динамика войны, изначально выглядит так: из оплакивающей стаи, собравшейся вокруг мертвого, образуется военная стая, которая мстит за него. Из победоносной военной стаи образуется приумножающая стая триумфа.

Именно *первый* мертвый будит во всех остальных ощущение надвигающейся угрозы. Значение первого мертвого при начале войн трудно переоценить. Властители, желающие развязать войну, хорошо знают, что надо обязательно отыскать или создать первого мертвого. Не имеет большого значения, чем он является в своей группе. Это может быть человек, не имеющий особого влияния, иногда даже совсем

неизвестный. Важна его смерть, все другое не играет роли: люди должны верить, что ответственность за это несет враг. Каковы бы ни были причины и обстоятельства убийства, все они несущественны, кроме одного: умер член группы, к которой причисляют себя все остальные.

Моментально возникающая группа оплакивания действует как массовый кристалл, она, так сказать, *открывается*: в нее вливаются все, ощущающие тревогу. Ее образ мыслей преобразуется в образ мыслей военной стаи.

Война, требующая для своего возникновения одного или немногих мертвых, порождает затем огромное их количество. Плач по ним, когда победа достигнута, в отличие от начального момента, сильно приглушен. Победа означает если не полное уничтожение, то резкое уменьшение численности врагов; поэтому оплакивание своих мертвых становится менее важным. Они как передовой отряд, посланный в страну мертвых и уведший за собой еще большее количество врагов. Так они освободили всех от страха, без которого войны вообще не было бы.

Враг побежден, угроза, сплотившая народ, отпала, и каждый теперь думает о себе. Военная стая рассыпается для *грабежа*, подобно тому как это происходит с охотничьей стаей при дележе добычи. Если на самом деле угроза не воспринималась как всеобщая, увлечь людей на войну можно было только перспективой грабежа. В этом случае грабеж всегда дозволен: полководец старого закала не рискнул бы помешать в этом своим людям. Однако опасность полного разложения войск при этом столь велика, что всегда изобретались средства восстановления воинского духа. Лучшим средством были *празднования победы*.

В противопоставлении уменьшившегося числа врагов собственному приумножению заключается подлинный смысл праздников победы. Собирается весь народ — мужчины, женщины, дети. Победители маршируют в тех же порядках, в каких отправлялись на войну. Демонстрируя себя народу, они заражают его настроением победы. К ним стекается все

больше людей, пока в конце концов не собираются все, кто в состоянии покинуть свое жилище.

Однако победители демонстрируют не только себя. Они много принесли с войны — принесли как приумножители. Добыча выставляется напоказ. Здесь изобилие ценных и нужных вещей, и каждому что-нибудь да достанется: победоносный полководец или император провозглашает большие раздачи, или отменяет ограничения рационов, или обещает еще какие-нибудь блага. Военная добыча состоит не только из золота и товаров. Победители привели с собой пленных, и их многочисленность наглядно свидетельствует об уменьшении числа врагов.

В обществах, претендующих на цивилизованность, дело ограничивается демонстрацией плененных врагов. Другие, кого мы считаем варварами, требуют большего: *собравшись вместе* и уже не чувствуя непосредственной угрозы, они хотят *пережить* уменьшение числа врагов. Для этого производятся публичные казни пленных, о которых сообщается при описании победных торжеств многих воинственных народов.

Поистине фантастических размеров достигали эти казни в столице королевства Дагомеи. Здесь установился обычай ежегодного праздника, длившегося несколько дней, во время которого ставился кровавый спектакль: по королевскому приказу сотни пленных обезглавливались на глазах всего народа.

На помосте в окружении ближайших соратников восседал король. Внизу волновался народ. По кивку короля палач принимался за работу. Головы казненных бросали в кучу; кучи голов виднелись повсюду. Торжественные процессии двигались по улицам, по сторонам которых на виселицах болтались голые тела казненных. Чтобы не оскорбить взгляд многочисленных жен короля, их приводили в пристойный вид — кастрировали. В заключительный день праздника двор снова собирался на одном из возвышений, и наступало время раздачи подарков народу. В толпу бросали раковины, заменявшие деньги, из-за них вспыхивали схват-

ки. Потом туда же отправляли тела обезглавленных пленников, которые толпа разрывала на части и, как сообщается, в горячке поедала. Каждый хотел урвать себе кусок врага: это можно понимать как причастие триумфа. За людьми следовали животные, но враг, конечно, был важнее.

Есть свидетельства европейцев, наблюдавших такие празднества в XVIII в. Это были представители белой расы из торговых колоний на побережье. Предметом торговли были рабы, для закупки рабов они и приезжали в столицу королевства Абомею. Король продавал европейцам часть своих пленников. Для этой цели предпринимались военные походы, и европейцев тогда это вполне устраивало. Конечно, быть свидетелями ужасных массовых казней им нравилось меньше, но их присутствие считалось при дворе хорошим тоном. Они старались убедить короля, что пленников, предназначенных на казнь, лучше продать им в качестве рабов. Они, следовательно, действовали гуманно и одновременно с выгодой для бизнеса. Однако, к удивлению своему, они видели, что король при всей его жадности не соглашается на эти предложения. Во времена, когда рабов не хватало, отчего страдал бизнес, тупоумие короля просто выводило их из себя. Они не понимали, что для короля власть важнее, чем состояние. Народ привык к демонстрации жертв. В этом наглядном уменьшении числа врагов, происходящем в грубой и жестокой форме, он черпал уверенность в собственном приумножении. Последнее же было прямым источником королевской власти. Спектакль оказывал двоякое воздействие. Для короля это был надежный способ убедить народ, что под его владычеством приумножение гарантировано, и тем самым удержать его в состоянии религиозно преданной массы. Но одновременно внушался страх перед королевским приказом. Распоряжения о казнях исходили от него лично.

Крупнейшим общественным событием у римлян был *триумф*. На него сходился весь город. Но когда империя достигла высот могущества и уже нечего стало без конца завое-

вывать, была учреждена победа как таковая, приходившая периодически по календарю. На *арене* на глазах людских скоплений шли бои, лишённые всякой политической подоплеки, но не лишённые смысла: смысл состоял в том, чтобы будить и поддерживать в народе ощущение победы. Римляне, как зрители, сами не сражались, но они сообща решали, кто победитель, и приветствовали его совсем как в прежние дни. Дело было только в ощущении победы. Сами войны, казавшиеся уже ненужными, потеряли в своем значении.

У исторических наций такого рода война стала единственным средством приумножения. Будь это захват вещей, необходимых для жизни, или угон жителей в рабство — все другие, более терпимые формы приумножения были отброшены и стали считаться недостойными. Сформировалось нечто вроде государственной военной религии, нацеленной на стремительное приумножение.

ИСЛАМ КАК ВОЕННАЯ РЕЛИГИЯ

У верующих магометан есть четыре повода собраться вместе.

1. Несколько раз в день они собираются на молитву, к которой их призывает голос, доносящийся с высоты. Тут возникают малые ритмичные группы, которые можно обозначить как *молитвенные стаи*. Каждое движение строго предписано и *определённым образом* ориентировано, а именно по отношению к Мекке. Раз в неделю, во время праздника пятницы, стаи перерастают в массы.

2. Они собираются на священную войну против неверных.

3. Они собираются в Мекке во время большого паломничества.

4. Они собираются на Страшном Суде.

В исламе, как и в других религиях, величайшее значение имеют невидимые массы. Но гораздо острее, чем в дру-

гих мировых религиях, здесь выражены *двойные массы*, противостоящие друг другу.

По трубному гласу Страшного Суда все мертвые восстают из могил и устремляются, как по команде, на Поле Суда. И предстают перед Богом двумя отдельными неисчислимыми массами: верующие с одной стороны, неверующие — с другой. И Бог судит каждого из них.

Все человеческие поколения, таким образом, собираются вместе, и каждый из людей думает, что лег в могилу лишь накануне. О неизмеримом времени, прошедшем со дня его похорон, ни один не имеет представления. Смерть была без памяти и сновидений, но трубный зов будет услышан каждым.

«В тот день люди сойдутся множествами». Вновь и вновь в Коране заходит речь о множествах этого великого дня. Это — величайшие из всех масс, которые только способен вообразить верующий магометанин. Бóльшее число людей, чем все, кто когда-либо жил, собранное на одном месте, невозможно помыслить. Это единственная масса, которая уже не растет, и она обладает величайшей плотностью, ибо каждый на своем месте доступен взору судьбы.

Однако при всей своей величине и плотности она с начала и до конца разделена на две половины. Каждый точно знает, что его ждет; в одних душах — надежда, в других — ужас. «В этот день будут лучащиеся лица, смеющиеся, радующиеся, и в этот день будут лица, покрытые грязью, покрытые тьмой: это лица неверных и святотатцев». Поскольку речь идет об абсолютно справедливом приговоре — каждое деяние зарегистрировано и письменно заверено, — никому не избежать предназначенной ему судьбы.

Разделение массы на две в исламе носит безусловный характер, граница проходит между верующими и неверующими. Их судьба, навсегда разделенная, состоит в том, чтобы *сражаться друг с другом*. Религиозная война считается священным долгом, так что еще при этой жизни в каждой битве *предвосхищается* — менее масштабно, конечно, — двойная масса Страшного Суда.

Совсем другой образ, с которым связана не менее священная обязанность магометанина, — паломничество в Мекку. Здесь речь идет о *длящейся* массе, образующейся постепенным током паломников из всех стран, где живут правоверные. В зависимости от удаления места проживания от Мекки она может растягиваться на недели, месяцы и даже годы. Обязанность совершить паломничество хоть раз в жизни окрашивает все земное существование человека. Кто не совершил паломничества, тот в действительности не жил. Оно, так сказать, сжимает все пространство, где распространилась вера, и помещает его в одно место, в котором был ее исток. Паломники — мирная масса. Они озабочены только и единственно достижением своей цели. Покорять неверных — не их задача, они должны только достичь назначенного места.

Особым чудом считается способность города размеров Мекки вместить эти бесчисленные толпы паломников. Испанский пилигрим Ибн Убаир, который в конце XII в. останавливался в Мекке и оставил ее подробное описание, полагает, что даже в крупнейших городах мира не найдется места для такого множества людей. Но Мекке дарована способность *растягиваться* для вмещения масс; ее можно сравнить с маткой, которая может становиться больше или меньше в зависимости от размера содержащегося в ней эмбриона.

Ключевой момент паломничества — день на горе Арафат. Здесь должны собраться 700 000 человек. Нехватка восполняется ангелами, невидимо становящимися между людьми.

Но вот дни мира миновали, и война вновь вступает в свои права. «Мухаммед, — говорит один из лучших знатоков ислама, — пророк борьбы и войны... То, что он сначала совершил у себя в арабском мире, он оставил как завет всем правоверным: борьба с неверными, распространение не столько веры, сколько власти веры, которая есть власть Аллаха. Поэтому воины ислама должны стремиться не столько к обращению, сколько к покорению неверных».

Коран, боговдохновенная книга пророка, не оставляет в этом никакого сомнения. «А когда кончатся месяцы свя-

щенные, то избивайте неверных, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте».

РЕЛИГИИ ОПЛАКИВАНИЯ

Религии оплакивания дали миру его лицо. В христианстве они достигли своего рода общезначимости. Стая, на которой они держатся, существует недолго. Что придало верованиям, возникающим из оплакивания, такую стабильность? Откуда взялось это своеобразное упорство, пронесенное сквозь тысячелетия?

Легенды, вокруг которых они формируются, повествуют о человеке или Боге, который умер по несправедливости. Это всегда рассказ о преследовании, идет ли речь об охоте или травле. Это может быть связано и с несправедливым судом. Если дело происходит на охоте, попадают не в того, лучший охотник гибнет вместо преследуемого животного. Может возникнуть обратная ситуация, когда преследуемый зверь набрасывается на охотника и наносит ему смертельные раны, как в легенде об *Адонисе* и вепре. Именно этой смерти не должно было быть, и боль о ней поистине беспредельна.

Бывает, что погибшего любит и оплакивает богиня, как Афродита Адониса. В Вавилоне она именовалась *Иштар*, а прекрасным, безвременно погибшим юношей был *Таммуз*. У фригийцев это была богиня-мать *Кибела*, оплакивавшая своего юного возлюбленного *Аттиса*: «Она стала как сумасшедшая, запрягла в колесницу львов, носилась со своими корибантами, которые стали такими же бешеными, как она сама, по всей горе Ида и выла о своем Аттисе; один из корибантов отрезал куски от своего тела, другой носился по горе с развевающимися волосами, третий дул в рог, еще один бил в барабан или, создавая адский грохот, ударял друг о друга медные тарелки; вся Ида впала в неистовство и беснование».

В Египте *Изида* потеряла *Озириса*, своего супруга. Она без устали ищет его, тоскует и зовет, пока наконец не находит: «Приди в свой дом, приди в свой дом... Я не вижу тебя, но мое сердце бьется о тебе, и мои глаза жаждут тебя. Приди же к той, что любит тебя, любит тебя, Благословенный! Приди к твоей сестре, приди к твоей жене, о ты, чье сердце остановилось. Приди к хозяйке твоего дома. Я сестра твоя по матери, ты не должен покинуть меня. Боги и люди повернулись к тебе и оплакивают тебя... Я зову тебя и рыдаю так, что плач мой доносится до небес, но ты не слышишь моего плача, а я ведь твоя сестра, которую ты любил на Земле. Ты никого не любил, только меня, брат мой!»

Бывает так — это более поздний и уже не мифологический случай, — что группа учеников и последователей оплакивает погибшего, как, например, *Иисуса* или *Хуссейна*, племянника пророка, подлинного мученика шиитов.

Охота или преследование обычно изображены во всех подробностях, это *точный* рассказ о лично пережитых событиях. Всегда льется кровь, даже в гуманнейших из всех страстей — в страстях Христовых — не обошлось без крови и ран. Каждая частность событий, из которых складываются страсти, воспринимается как вопиющая несправедливость, и чем дальше от мифических времен, тем сильнее стремление продлить страдания, наделив их бесчисленными человеческими чертами. При этом охота или травля всегда оказываются воспринятыми со стороны жертвы.

В момент кончины формируется оплакивающая стая, в плаче ее звучит особенная нота: он умер во имя людей, тех, кто собрался вокруг его тела. Он — их спаситель: потому ли, что был величайшим среди них охотником, потому ли, что у него были другие, высшие достоинства. Его исключительность всячески подчеркивается: именно он — тот, кто не мог, не должен был умереть. Плачущие отказываются признать эту смерть. Они хотят, чтобы он снова жил.

В изображениях архаичных оплакивающих стай, в частности, в приведенном мной австралийском примере, под-

черкнуто, что оплакивать начинают уже *умирающего*. Живущие стремятся его удержать и закрывают своими телами. Они захватывают его в свою кучу, тесно сжимают со всех сторон и стараются не отпустить. Иногда его продолжают звать и после наступления смерти, и лишь когда совсем ясно, что он уже не вернется, начинается второй этап — перемещение в царство мертвых.

В оплакивающей стае, о которой здесь идет речь, то есть той, что, складывая легенду, сама складывается вокруг драгоценного покойника, процесс умирания всячески продлевается. Его приверженцы, или верующие, что здесь одно и то же, отказываются его отдать. Первый этап, этап *удержания*, здесь решающий, на нем лежит вся нагрузка.

Это время, когда люди стекаются со всех сторон и приветствуется каждый, кто готов участвовать в оплакивании. В подобных культурах оплакивающая стая *открывается* и расширяется в массу, которая неудержимо растет. Это случается на торжествах в честь мертвого, когда изображаются его страсти. К празднованию присоединяются целые города и притекающие со всех сторон толпы паломников. Открытие оплакивающей стаи может происходить также в иных, более масштабных временных отрезках, когда *умножается* не конкретная масса, а число верующих вообще. Все начинается с нескольких учеников, стоящих возле креста, они — ядро плача. На первом празднике пятидесятницы было, пожалуй, человек 600 христиан, во времена императора Константина их стало десять миллионов. Но ядро религии осталось тем же, центр ее — оплакивание.

Почему столь многие присоединяются к оплакиванию? Чем оно притягивает? Зачем оно вообще нужно человеку? Со всеми, кто примыкает к плачу, происходит одно и то же: охотничья или преследующая стая, превратившись в оплакивающую стаю, *очищается от греха*. Люди всегда были гонителями, гонителями они живут и дальше, каждый на свой лад. Они жаждут чужой плоти, вгрызаются в нее и питаются муками слабых созданий. В их глазах отражаются тускнеющие

глаза жертвы, и последний крик ее, которым они насладились, неизгладимо врежется в их души. Может быть, в большинстве своем они даже не догадываются, что, питая свои тела, питают мрак внутри себя. Однако страх и вина растут неудержимо, и, сами того не сознавая, они стремятся к искуплению. Поэтому они стекаются к тому, кто умер за них, и, рыдая вокруг него, сами ощущают себя гонимыми. Что бы они ни творили в остальное время, сколько бы ни причиняли зла — в этот момент они на стороне того, кто страдает. Внезапная и далеко идущая смена партий! Она освобождает их от вины за смерть других, но также и от страха перед собственной смертью. Что бы они ни причинили другим, один из этих других все взял на себя: если они будут ему верны и безоговорочно преданы, то сумеют, как им кажется, избежать мести.

Следовательно, религии оплакивания будут необходимы для душевного уклада человека до тех пор, пока он не перестанет собираться в стаи для убийства.

Из всех религий оплакивания, дошедших до нас, а потому поддающихся детальному разбору, самая поучительная — шиитская ветвь ислама. Было бы правильно также рассмотреть культ Таммуза или Адониса, Озириса или Аттиса. Но они принадлежат ушедшим временам, о них мы знаем только из клинописи и иероглифов или же из сообщений классических авторов, и хотя сообщения эти бесценны, гораздо более доказательно будет разобрать такую веру, которая существует и ныне, и там, где существует, проявляет себя остро и однозначно.

Самой важной из религий оплакивания является христианство. О его католической разновидности еще пойдет речь. Что же касается конкретных мгновений христианства — мгновений массового возбуждения, то вместо подлинного оплакивания, ставшего уже редким, мы рассмотрим праздник Воскресения Христова в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Оплакивание же само по себе, как страстно мечущаяся стая, перерастающая в подлинную массу, неизгладимо запечатлено в шиитском празднике мухаррам.

ПРАЗДНИК МУХАРРАМ У ШИИТОВ

Из ислама, в характере которого безошибочно узнается военная религия, благодаря расколу родилась религия оплакивания, самая концентрированная и резко выраженная из всех существующих, — шиитская вера. В Иране и Йемене это официальная религия. Она также широко распространена в Индии и Ираке.

Шииты веруют в духовного и мирского вождя всех единоверцев, которого называют *имамом*. Его роль более значительна, чем роль папы у католиков. Он — носитель божественного света. Он непогрешим. Спасется только тот верующий, который следует за своим имамом: «Кто умер, не зная истинного имама своего времени, тот умер смертью неверного».

Имам происходит по прямой линии от пророков. Али, зять Мухаммеда, женатый на его дочери Фатиме, считается первым имамом. Пророк доверил Али особенные познания, которые скрыл от других своих приверженцев, и они стали наследуемым семейным достоянием. Он прямо назвал Али своим преемником в делах вероучения и власти. Только Али, как избранный велением Пророка, удостоен титула «Владыка правоверных». Сыновья Али — Хасан и Хуссейн унаследовали его должность: они были внуками пророка, Хасан стал вторым, Хуссейн — третьим имамом. Всякий другой, кто претендовал владычествовать над правоверными, считался узурпатором.

Политическая история ислама после смерти Мухаммеда способствовала формированию легенды об Али и его сыновьях. Али был не сразу избран калифом. В течение 24 лет после смерти Мухаммеда трое других его соратников поочередно возводились в это достоинство. Лишь когда умер последний из них, к власти пришел Али, но царствовал недолго. Во время пятничной молитвы в большой мечети Куфы его убил отравленным мечом один из фанатичных противников. Старший сын Али Хасан отдал свои права в откуп за сумму в не-

сколько миллионов дирхемов и вернулся в Медину, где через несколько лет умер от последствий разгульной жизни.

Подлинным ядром шиитской веры стали страдания его младшего брата Хуссейна. Хуссейн был полной противоположностью старшему брату. Сдержанный и серьезный, он скромно жил в Медине. Став после смерти брата главой шиитов, избегал участвовать в политических интригах. Но когда царствующий калиф в Дамаске умер и трон намеревался занять его сын, Хуссейн отказался его признать. Жители беспокойного города Куфы в Ираке написали Хуссейну, что видят его калифом, и звали к себе. Ему надо было только прибыть в Куфу, и успех был бы обеспечен. И Хуссейн отправился в путь с семьей, женщинами, детьми и кучкой соратников. Это был долгий путь через пустыню. Но когда караван уже почти достиг Куфы, горожане изменили свое решение. Начальник города выслал превосходящее количество всадников и потребовал сдаться. Хуссейн отказался. Тогда ему отрезали доступ к воде. Воины окружили маленький отряд. На равнине Кербелы в десятый день месяца мухаррам 680 г. по нашему летоисчислению Хуссейн и его отважно сражавшиеся спутники были атакованы и разбиты. 87 человек пали вместе с ним, среди них многие из его семьи и семьи брата. На его трупе было 33 следа от ударов копий и 34 раны от мечей. Командир вражеского войска приказал всадникам проскакать по трупу Хуссейна. Внук пророка был втоптан в землю лошадиными копытами. Его отрезанную голову послали калифу в Дамаск. Калиф воткнул ей в рот свой посох. Старый соратник Мухаммеда, присутствовавший при этом, упрекнул его: «Вынь посох, я видел, как этот рот целовал рот пророка».

«Несчастья семьи пророка» стали с тех пор главной темой шиитской вероучительной литературы. «Настоящего шиита узнают по тому, что тело его изнурено воздержанием, губы пересохли от жажды, а глаза опухли от непрерывного плача. Настоящий шиит ниц и гоним, как семейство, за которое он предстоит и страдает. В семье пророка это стало почти профессией — быть преследуемым и гонимым».

Начиная с горестного события при Кербеле, история рода пророка представляет собой бесконечную хронику мук и гонений. Изложение их в поэзии и прозе составило богатую мартирологическую литературу. Они стали поводом собраний шиитов в первой трети месяца мухаррам, десятый день которого — *ашура* — отмечается как годовщина трагедии при Кербеле. «Наши памятные дни — наши траурные встречи», — так завершает один шиитски настроенный князь свое стихотворение, посвященное страданиям семьи пророка. Траур и плач по несчастьям семейства алидов и мученикам его представляют собой единственное дело истинно верующего. «Трогательней, чем слезы шиита», — гласит арабское присловье. «Плач по Хуссейну, — пишет современный индиец, принадлежащий к шиитской вере, — это цена нашей жизни и нашей души; без этого мы были бы неблагодарнейшими из созданий. Даже в раю мы будем печалиться о Хуссейне... Траур по Хуссейну — это знак подлинности ислама. Шиит не может не плакать. Его сердце — это живая могила, настоящая могила для головы обезглавленного мученика».

Переживание личности и судьбы Хуссейна представляет собой эмоциональное ядро веры. Это главный источник, из которого струится религиозный опыт. Его смерть истолкована как принесение себя в жертву, через его страдания святые достигают рая. Представление о посреднике изначально было чуждо исламу. В шиизме со смерти Хуссейна оно стало господствующим.

Могила Хуссейна на равнине Кербелы издавна стала важнейшим местом паломничества шиитов. Ее окружают 4000 ангелов, днем и ночью оплакивающих его. Каждого паломника, откуда бы он ни пришел, они провожают до самой границы. Кто поклонится этой могиле, получает большие преимущества. На него никогда не рухнет крыша дома. Он никогда не утонет. Он не погибнет в огне. Не будет пожран дикими зверями. Тому же, кто молится здесь с истинной верой, будет добавлено годов жизни. Он получит фору в 1000 паломничеств в Мекку, 1000 мученических смертей,

1000 голодных дней, 1000 отпущений рабов на волю. На следующий год его не обуяют дьявол и злые духи. Умрет он — его похоронят ангелы, и в день воскрешения он восстанет с приверженцами имама Хуссейна, которого опознают по знамени в руках. Имам с триумфом поведет своих паломников прямой дорогой в рай.

Согласно другому поверью, все, кто похоронен у могилы имама, в день воскрешения не будут подвергнуты проверке, как бы они ни грешили в жизни, а прямо с погребальных полотен будут закинута в рай, где ангелы встретят их приветственными рукопожатиями.

Поэтому старые шииты переселяются в Кербелу, чтобы здесь умереть. Другие, живущие на большом удалении от священного города, завещают похоронить их в Кербеле. Уже много столетий из Персии и Индии стекаются в Кербелу бесконечные караваны мертвых; город превратился в одно гигантское кладбище.

Где бы ни жили шииты, их самый большой праздник — дни месяца мухаррам, на которые пришлись страдания Хуссейна. Десять дней вся персидская нация в трауре. Король, министры, чиновники — все в черных или серых одеждах. Солдаты и погонщики мулов ходят в выпущенных рубахах с открытой грудью, что является знаком величайшего горя. Праздник начинается в первый день мухаррама, он же — первый день нового года. С многочисленных кафедр проповедники повествуют о страданиях Хуссейна. Все изображается в подробностях, не упускается ни один эпизод. Слушатели переживают необычайно глубоко. «О, Хуссейн! О, Хуссейн!», — звучат вопли, сопровождаемые стонами и плачем. Скандирование длится до вечера, проповедники сменяют друг друга на кафедрах. Первые девять дней по улицам бродят группы голых до пояса мужчин, у которых грудь и спина раскрашены в красную и черную краску. Они рвут на себе волосы, ранят себя ножами, бичуют тяжелыми цепями, пускаются в дикие танцы. Иногда вспыхивают кровавые схватки с иноверцами.

Праздник достигает кульминации на десятый день мухаррама, когда отправляется в путь торжественная процессия, изображающая похороны Хуссейна. В центре восемь мужчин несут гроб Хуссейна. За ними следуют примерно пятьдесят человек, вымазанных в крови и распевających воинственные песни. Потом ведут боевого коня Хуссейна. Потом обыкновенно следует еще одна группа — около полусотни мужчин, ритмично бьющих друг друга деревянными палками. Неистовство, в которое впадают при виде процессии оплакивающие массы, невозможно себе представить. Описание, которое будет приведено несколько ниже, дает об этом лишь самое общее представление.

Настоящее драматизированное воспроизведение страстей Хуссейна учредилось как регулярное торжество только в первой половине девятнадцатого столетия. *Гобино*, который в 50-е годы и позже долго жил в Персии, дал его впечатляющее изображение.

Театральные постановки финансировались богатыми людьми, это было высокопочитаемое деяние — дающий «воздвигает себе дворец в раю». Самые большие театры вмещали от 2000 до 3000 человек. В Исфагане представление происходило на глазах 20 000 зрителей. Вход был свободный, одинаково пропускали и богатого помещика, и нищего в лохмотьях. Действо начиналось в пять утра. Перед этим несколько часов длились шествия, танцы, проповеди и песни. Разносились прохладительные напитки, самые богатые и уважаемые люди считали за честь лично обслуживать даже убогих оборванцев.

Гобино описывает два типа братств, участвующих в представлении. «Мужчины и дети с факелами, с огромным черным знаменем впереди процессии втекают в театр и с пеном обходят его по кругу. Несколько детей бегут впереди всех, выкрикивая тонкими голосами: «Ай, Хуссейн! Ай, Акбар!» Братство выстраивается перед кафедрами проповедников и продолжает петь, сопровождая песнопения неожиданным и странным действием. Каждый из братьев складывает правую ладонь наподобие раковины и с силой ритмически

ударяют себя ею под левым плечом. Глухой звук от множества одновременных ударов слышен издали и производит мощное впечатление. Удары то падают медленно и тяжело, в тягучем ритме, то ускоряются и учащаются, возбуждая присутствующих. Редко бывает, чтобы к этому не присоединилась вся аудитория. По знакам старшего братья поют, ударяют себя в грудь, подпрыгивают на месте и издают резкие короткие возгласы: «Хасан! Хуссейн!»

Иного рода братство — бичующиеся. Их выступление сопровождается музыкой: с собой у них тамбурины разной величины. Они голы до пояса, босы и простоволосы. Это мужчины, иногда старики, иногда дети от 12 до 16 лет. В руках у них цепи и острые иглы, у некоторых деревянные колодки. Процессия вступает в театр, запевая, сначала довольно медленно, псалом, состоящий лишь из двух слов: «Хасан! Хуссейн!» Пение сопровождается все учащающимися ударами тамбуринов. Те, кто с деревянными колодками, начинают ритмически бить ими друг друга и пускаются в танец. Остальные в том же ритме бьют себя в грудь. Ритм убыстряется, они начинают хлестать себя цепями, сначала медленно и с явной осторожностью, потом все оживленнее и сильнее. Иглы втыкаются в руки и щеки, течет кровь, толпа ревет, возбуждение нарастает. Глава братства носится между рядами бичующихся, подбадривая слабых, удерживая тех, кто слишком неистовствует. Когда возбуждение достигает максимума, музыка замолкает — представление закончено. Трудно отойти от впечатления, которое оно внушает: это сочувствие, боль и ужас одновременно. Иногда в заключение в тот самый момент, как танец останавливается, участники воздевают руки с цепями к небу и столь глубоким голосом, со столь верующим и преданным взором выкрикивают «Йа, Аллах! О, Бог!», что невольно охватывает восторг, — так преобразается все их существо».

Бичующихся можно было бы назвать оркестром мук, они действуют как массовый кристалл. Боль, которую они причиняют себе, — это боль Хуссейна. Изображаемая ими, она становится болью всего сообщества верующих. Ритм ударов

в грудь, которому все подчиняются, порождает ритмическую массу. На ней держится аффект плача. Хуссейн — их общая потеря, им всем вместе он принадлежит.

Но не только кристаллы братств приводят присутствующих в состояние оплакивающей массы. Проповедники и просто верующие, выступающие по своей инициативе, делают то же самое. Стоит прислушаться к рассказу Гобино, ставшего свидетелем такого воздействия.

«Театр набит полностью. Конец июня, люди задыхаются под огромным тентом. Толпа расхватывает прохладительное. На сцену поднимается дервиш и заводит хвалебную песню. Она сопровождается ударами в грудь. Голос у него не велик, и выглядит он усталым. Песня не звучит, впечатления никакого. Похоже, он это чувствует, перестает петь, сходит со сцены и исчезает. Снова все успокаиваются. Но тут огромный солдат, турок, громовым голосом подхватывает песню, сопровождая ее все более мощными гулками ударами. Еще один солдат, тоже турок, но из другого полка и такой же оборванный, как и первый, принимает вызов. Удары в грудь точно отмеряют ритм. В течение 25 минут задыхающаяся толпа, целиком захваченная этими двоими, бьет себя до синяков. Монотонный тяжелый ритм песнопения завораживает. Каждый ударяет себя со всей возможной силой, все заполняет мощный глухой гул. Посреди сидящей на корточках толпы поднимается молодой негр, выглядящий как грузчик. Он швыряет оземь шапку и начинает петь в полный голос, одновременно ударяя себя обоими кулаками по стриженной голове. Он всего в десяти шагах от меня, и я вижу каждое его движение. Губы его побледнели, и чем бледнее он становится, тем яростнее возбуждает себя, крича и нанося себе удары, как бесноватый. Так продолжается примерно десять минут. Но солдаты уже выдохлись, с них градом катится пот. Хор, поскольку его уже не ведут их мощные и точные голоса, начал сбиваться и путаться. Часть голосов смолкла, а негр, как будто лишившись вдруг материальной опоры, закрыл глаза и рухнул на соседей. Казалось, каждый испытывает к нему сочувствие и уважение. Ему кла-

дут на голову лед и смачивают водой губы. Только через некоторое время удастся привести его в чувство. Придя в себя, он мягко и вежливо благодарит тех, кто оказал ему помощь.

Поскольку опять на время воцарилось спокойствие, на сцену поднимается человек в зеленой одежде. В нем нет ничего необычного, на первый взгляд это торговец пряностями. Он заводит проповедь о рае, красноречиво описывая его славу и величие. Чтобы попасть туда, недостаточно читать Коран пророка. «Мало делать все то, что предписывает эта священная книга, мало ходить в театр, чтобы плакать, как вы это делаете каждый день. Надо все добрые дела делать во имя Хуссейна и из любви к нему. Ворота рая — это Хуссейн, тот, кто держит мир, — это Хуссейн, через Хуссейна приходит спасение. Кричите: «Хасан, Хуссейн!»

Вся толпа закричала: «О Хасан, о Хуссейн!»

«Хорошо. Теперь еще раз!»

«О Хасан, о Хуссейн!»

«Молите Бога, чтобы он сохранил вас в любви к Хуссейну. Ну, воззовите к Богу!»

Вся толпа как один человек воздела руки ввысь и глухими голосами завопила: «Йа, Аллах! О, Бог!»

Сама постановка страстей Хуссейна, которой предшествует это долгое и возбуждающее вступление, представляет собой серию из 40 или 50 разрозненных сцен. Все происходящее сообщено Гавриилом, ангелом Пророка, или увидено во сне, а потом разыграно на сцене. Что именно должно произойти, зрители и так знают, дело не в напряженном драматизме, как мы его понимаем, — дело в абсолютном соучастии. Все страдания Хуссейна, муки жажды, преследовавшие его, когда был закрыт доступ к воде, эпизоды битвы и гибели изображены очень реалистично. Только имамы и святые, пророки и ангелы *поют*. Ненавистным персонажам — таким как калиф Язид, по чьему приказу был убит Хуссейн, или убийца Шамр, нанесший смертельный удар, — петь не позволено, они декламируют. Представляется, будто они подавлены чудовищностью собственных деяний. Произносятся злобные речи, они сами ударяются в рыдания. Аплодис-

ментов нет, люди плачут, стонут, бьют себя по голове. Возбуждение зрителей достигает такой степени, что они иногда пытаются линчевать мерзавцев, убивших Хуссейна. В заключение показано, как отрезанная голова мученика доставляется ко двору калифа. На пути происходит одно чудо за другим. Лев склоняется перед головой Хуссейна. Процессия останавливается у христианского монастыря: как только настоятель видит голову мученика, он отрывается от своей веры и обращается в ислам.

Смерть Хуссейна была не напрасной. В день воскресения ему будут доверены ключи от рая. Сам Аллах распорядился: «Право на заступничество только у него. Хуссейн, по моей особой милости, да будет заступник за всех». Пророк Мухаммед, вручая Хуссейну ключи от рая, говорит: «Иди и спасай из пламени тех, кто в жизни своей пролил по тебе хоть единственную слезу, тех, кто хоть как-нибудь помогал тебе, тех, кто был паломником у твоей гробницы или оплакал тебя, и тех, кто посвятил тебе трагические стихи. Возьми их всех и каждого с собою в рай».

Бóльшей сосредоточенности на плаче нет ни в одной другой вере. Плач здесь — высшая религиозная заслуга, во много раз более весомая, чем любое другое доброе дело. Вполне оправдано в данном случае говорить о религии плача.

Пароксизма, однако, это род массы достигает не в театре во время представления страстей. «День крови» на улицах Тегерана, в котором участвует более полумиллиона людей, очевидец описал буквально следующим образом. Трудно вообразить себе что-нибудь более страшное и отталкивающее.

«500 000 человек, обуянных безумием, посыпают себе головы пеплом и бьют лбами о мостовые. Им хочется стать добровольными мучениками, изошренно калечить себя и убивать себя целыми толпами. Одна за другой следуют процессии гильдий. Поскольку они состоят из людей, в коих осталась хоть капля разума, точнее, инстинкта самосохранения, их участники одеты обыкновенно.

Опускается тишина — сотнями идут люди в белых одеждах с глазами, в экстазе возведенными к небу.

Некоторые из них к вечеру умрут, многие будут изрезаны и покалечены, и белые рубахи, окрасившись кровью, превратятся в погребальные покровы. Они уже не принадлежат этой земле. Грубо скроенная одежда оставляет открытыми лишь шею и руки: лица мучеников, руки убийц.

Под безумные вопли публики им вручают сабли. Они начинают крутиться вокруг себя, лупя самих себя саблями по головам. Их крики возносятся сквозь глухой рев массы. Чтобы все это вынести, надо впасть поистине в каталептическое состояние. У них движения автоматов: они устремляются то в одну, то в другую сторону без какой-либо явной ориентации. В такт броскам на головы опускаются сабли. Струится кровь, рубахи окрашиваются в алое. Вид крови окончательно переворачивает их и без того смятенные мозги. Несколько добровольных мучеников, обливаясь кровью, падают на землю. Из их прижатых друг к другу ртов струится кровь. С рассеченными венами и артериями они тут же умирают, полицейские даже не успевают донести их до врачей, разместившихся рядом, за опущенными жалюзи магазина.

Масса, невосприимчивая к ударам полицейских дубинок, окружает этих самоубийц, укрывает в себе и увлекает в другую часть города, где продолжается кровавая баня. Ни один не в состоянии мыслить ясно. Тот, кому недостает храбрости самому вступить в кровопролитие, предлагает другим для подкрепления колу, возбуждает их наркотиком, поощряет, науськивает.

Мученики стаскивают рубахи, которые теперь считаются благословенными, и бросают в толпу. Другие, не входившие сначала в число добровольных жертв, тоже заражаются жадной кровью. Они требуют оружия, разрывают на себе платье и начинают бить и колоть себя где попало.

В шествиях иногда возникают пустоты, кто-то из участников в изнеможении падает на землю. Пустота мгновенно заполняется, масса смыкается над несчастным и идет по нему дальше.

Нет более прекрасной доли, чем умереть в праздничный день ашура. Восемь ворот рая широко раскрыты для святых, и каждый стремится к этим воротам.

Несущих службу солдат, которым назначено заботиться о раненых и наводить порядок, также охватывает возбуждение массы. Они сбрасывают форму и бросаются в кровавое месиво.

Безумие владеет и детьми, даже совсем маленькими; у фонтана стоит переполненная гордостью мать, прижимая к сердцу только что покалечившего себя ребенка. С криком бежит еще один: он только что выколол себе глаз и сейчас выколет другой. В глазах у родителей — слезы счастья».

КАТОЛИЦИЗМ И МАССА

При непредвзятом наблюдении в католицизме бросаются в глаза определенные *медленность* и *спокойствие*, а также *широта*. Он претендует на то, что в нем хватит места всем, и это — главная претензия, содержащаяся уже в его имени. Желательно, чтобы обращен был каждый, и при определенных условиях, которые можно счесть не благоприятными, а скорее жесткими, каждый будет принят. В этом — в самом принципе, а не в процессе приема — сохранился последний след равенства, замечательно контрастирующий со строго иерархической во всем остальном природой католицизма.

Спокойствием, которое, так же как и широта, многим в нем импонирует, он обязан своему возрасту и антипатии по отношению ко всему буйно массовому. Недоверие к массе свойственно католицизму с давних пор, возможно, с ранних еретических движений монтанистов, выступавших против епископов решительно без всякого уважения. Опасность внезапных массовых вспышек, легкость, с которой они распространяются, опьянение и непредсказуемость массы, но прежде всего *снятие чувства дистанции* — а самыми важными,

конечно, считаются дистанции в церковной иерархии, — все это с самого начала побудило церковь считать открытую массу своим главным врагом и всячески противостоять ей.

Все вероучительные элементы и практические формы организации церкви пронизаны этим непоколебимым убеждением. На Земле еще не было государства, которое умело бы управляться с массой столь разнообразными методами. В сравнении с церковью все властители выглядят мелкими дилетантами.

Прежде всего это относится к культу, который воздействует на верующих самым непосредственным образом. Он обладает ни с чем не сравнимыми длительностью и инерцией. Движения священников в тяжелом и жестком облачении, размеренность их шагов, обдуманность слов — все это немного напоминает до бесконечности утончившийся плач по мертвому, с такой равномерностью распределенный по столетиям, что от внезапности смерти, остроты боли почти ничего не осталось: временной процесс плача здесь *мумифицирован*.

Многообразные меры применяются для того, чтобы предотвратить связи между самими верующими. Верующие не проповедают друг другу; слово простого верующего лишено святости. Все, на что он смеет надеяться, что может разрешить его от многообразных тягот, приходит из более высокой инстанции; что ему не объяснено, этого он просто не *понимает*. Святое слово преподносится ему осмотрительно и мелкими порциями; именно как святое оно от него *охраняется*. Даже грехи принадлежат священнику, которому он должен их исповедать. Ему не будет облегчения, если он расскажет о них другому обыкновенному верующему, а держать их при себе он тоже не имеет права. Во всем, что касается важнейших моральных вопросов, он один противостоит всей священной иерархии; за полуудовлетворительную жизнь, которую она ему обеспечивает, он ей выдан связанным по рукам и ногам.

Даже причащая верующего, церковь отделяет его от всех, кто принимает причастие вместе с ним, вместо того чтобы

тут же, на месте связать их друг с другом. Для себя причащающийся принимает бесценное сокровище. Для себя он его ожидает. Для себя хранит. Если понаблюдать за теми, кто ожидает причастия, невозможно не заметить, что каждый занят только самим собой. Те, кто идет перед ним и после него, ему более безразличны, чем любой, с кем он общается в обычной жизни, хотя связь и с этим последним достаточно слаба. Причастие связывает причащающегося с церковью, которая незрима и огромна; оно отделяет его от присутствующих. Причащающиеся так же мало чувствуют себя одним телом, как и группой людей, которые нашли сокровище и тут же его поделили.

Самой организацией этого процесса, имеющего центральное значение для каждого верующего, церковь выдает свой страх перед всем, что только могло бы напоминать массу. Она смягчает и ослабляет общность между реально присутствующими людьми и заменяет ее таинственной отдаленной общностью, которая гораздо сильнее, которой сам верующий, по сути, не нужен и которая, пока он жив, по-настоящему не снимет барьер между ним и собой. Дозволенная масса, на которую католицизм обычно ссылается, — масса ангелов и святых — не только отодвинута далеко в потусторонность и тем самым изолирована и обезврежена как источник возможного заражения, сама по себе она пребывает в образцовом состоянии довольства и покоя. Невозможно представить, чтобы святые взялись за какое-то дело, их довольство напоминает довольство участников процессии. Они ступают и поют, возносят хвалу и счастливы. В этом они одинаковы, определенная унифицированность их судеб очевидна, никто еще не пытался скрыть или перемешать черты далеко идущего сходства их жизненных путей. Их много, они рядом друг с другом и исполнены равной святости. Но этим и исчерпываются их массовидные свойства. Их становится *больше*, но так медленно, что это не заметно: об их численном росте никогда не говорилось. У них нет направления. Состояние их окончательно. Придворное об-

шество, которое они вместе составляют, не меняется. Они никуда не стремятся, им нечего ждать. Наверное, это мягчайшая, безвреднейшая форма массы, которую только можно помыслить. Это, собственно, уже пограничное явление: сводный хор, исполняющий прекрасные, но не слишком волнующие песни; избранность как состояние *после* всех трудов, которые его обеспечили, и длящееся вечно. Если бы длительность не была самым труднодостижимым во всех человеческих делах и начинаниях, трудно было бы вообще понять, что сплачивает святых как массу.

Того, что бывает среди святых, на Земле не бывает, однако все, что желает показать церковь, она показывает *медленно*. Впечатляющим примером могут служить процессии. Их должно видеть как можно больше людей, для этого они и движутся, каждая как река. Процессия соединяет верующих тем, что проплывает мимо них постепенно и не побуждая их самих к чему-то большему, чем, скажем, преклонить колена в молитве или присоединиться к ней в надлежащем порядке, то есть в самом хвосте, не пытаясь проникнуть вовнутрь ее рядов.

Процессия отражает в себе церковную иерархию. Каждый шествует в одеянии, достойном его сана, невозможно ошибиться и принять его не за того, кого он представляет. Благословения ожидают от тех, кто имеет право его дать. Уже это членение процессии препятствует пробуждению в зрителе чувств, близких состоянию массы. Оно фиксируется одновременно на нескольких уровнях наблюдения, всякое уравнение их и смешивание полностью исключается. Взрослый зритель никогда не представит себя священником или епископом. Они всегда отделены от него, он ставит их выше, чем себя. Но чем глубже он верует, тем более будет стремиться выказать им, которые гораздо выше и святее его, свое почитание. Именно к этому стремится процессия и ни к чему иному, цель ее — вызвать общее *почитание* во всех верующих. Большая общность совсем не желательна, она могла бы привести к эмоциональным всплескам и действиям, которые невозможно будет контролировать. Даже

само почитание градуировано: поскольку по ходу процессии оно восходит от одной ступени к другой, — причем каждая из ступеней известна и ожиданна и все они остаются неизменными, — оно лишено всякой остроты внезапности. Оно поднимается медленно и неудержимо как река, достигает высшей точки и медленно спадает.

При том, сколь важны для церкви любые формы организации, не надо удивляться, что она демонстрирует богатый набор массовых кристаллов. Пожалуй, нигде нельзя так хорошо, как здесь, изучить их функции, не забывая, однако, при этом, что и они служат общей цели церкви: предотвращению или, точнее сказать, замедлению массовых образований.

К этим массовым кристаллам относятся монастыри и ордена. В них состоят собственно христиане, живущие для послушания, бедности и целомудрия. Они предназначены для того, чтобы многие другие, кто, хотя и зовутся христианами, но не могут жить по-христиански, постоянно имели перед глазами подлинные образцы христианской жизни. Важнейшим средством демонстрации этого является их одежда. Она символизирует отказ и разрыв с обычным укладом семьи.

В опасные времена их функция совершенно меняется. Церковь не всегда в состоянии позволить себе как благородную сдержанность, отстраненность по отношению к открытой массе, так и запрет, который она налагает на образование масс. Бывают времена, когда угроза извне столь велика или распад столь стремителен, что с ними можно бороться, только прибегнув к помощи самой заразы. В такие времена церковь считает необходимым противопоставить вражеским массам свои собственные. Монахи превращаются тогда в агитаторов, которые ходят по стране, проповедуя и призывая людей к таким действиям, которых вообще-то следовало бы избегать. Великолепным примером сознательного создания церковью огромных масс являются крестовые походы.

СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

Греческий праздник пасхи в Иерусалиме достигает кульминации в явлении совершенно необыкновенного рода. В пасхальную субботу в Церкви Гроба Господня с неба на землю сходит священный огонь. Тысячи паломников со всего света собираются здесь, чтобы зажечь свои свечи от пламени, как только оно ударит из Гроба Спасителя. Сам огонь считается безопасным, верующие убеждены, что он не причинит им вреда. Но вот борьба за то, чтобы добраться до огня, стоила жизни многим паломникам.

Стенли, который позже стал деканом Вестминстера, во время одного путешествия в 1853 г. присутствовал на пасхальном празднестве в Церкви Гроба Господня и дал его подробное описание.

«Часовня, охраняющая священную могилу, расположена в центре храма. Двумя большими кольцами, разделенные двумя рядами солдат, верующие, тесно прижавшись друг к другу, стоят вокруг могилы. Турецкие солдаты держат свободным промежутком между этими двумя кольцами. На галереях вверху сидят зрители; это утро пасхальной субботы, и пока еще все спокойно. Ничто не говорит о приближающемся событии. Двое или трое паломников крепко вцепились в отверстие в стене надмогильной часовни.

Около обеда в проход врывается беспорядочная толпа арабских христиан, они как сумасшедшие носятся по кругу, пока их не останавливают солдаты. Кажется, эти арабы верят, что огонь не явится, если они перед этим пару раз не пробегут вокруг могилы. Два полных часа продолжают эти радостные прыжки. 20, 30 или 50 человек внезапно вбегают, хватают друг друга, одного поднимают вверх — на плечи или на головы, — и так бегут, пока он не спрыгивает, уступая место следующему. На многих овечьи шкуры, а многие почти голые. Один из них обычно впереди, выполняя роль дирижера. Он хлопает в ладоши, они хло-

пают за ним и издают дикий вопль: «Вот могила Иисуса Христа! Боже, храни султана! Иисус Христос — спаситель наш!» Все это начинается в маленьких группках, потом нарастает, пока наконец весь пояс между рядами солдат не превращается в сплошную гонку, в кипящий мчащийся поток диких фигур. Постепенно безумие спадает или же приглушается. Дорожка освобождается, от греческой церкви приближается длинная процессия с расшитыми парчой хоругвями и движется вокруг могилы.

С этого мгновения возбуждение, которое ограничивалось кругом бегающих и танцующих, охватывает всех. Две огромные массы паломников, разделенные солдатами, все еще стоящие на своих местах, вдруг одновременно разражаются серией диких криков, в промежутках между которыми — и это звучит весьма необычно — можно услышать пение участников шествия. Процессия трижды обходит вокруг могилы. На третий раз турецкие солдаты смыкают ряды и присоединяются к хвосту процессии. В *одном* могучем движении масса колеблется взад и вперед.

Близится кульминация дня. Присутствие неверующих турок мешает, как считается, нисхождению огня, и наступает пора выгнать их из храма. Они позволяют себя гнать, и церковь превращается в свалку, напоминающую поле битвы. Ревущая толпа со всех сторон набрасывается на солдат, которые стекаются в юго-восточный угол и выбирают из церкви. Процессия разорвана, хоругви дрожат и качаются.

В маленькой, но плотной группе людей в часовню стремительно проходит епископ Петры, который сегодня является «Епископом Огня» и представляет Патриарха. Двери за ним закрываются. Вся церковь, ставшая теперь единым морем голов, гулко резонирует. Только один кусочек остается свободным: от отверстия в северной стене часовни к стене церкви ведет узкий проход. Перед самым отверстием стоит священник, готовый принять огонь. С обеих сторон

прохода, насколько хватает глаз, простерты обнаженные руки, как ветви леса, раскачиваемого неистовой бурей.

В прежние, более наивные времена в этот момент под куполом часовни появлялся голубь, чтобы сделать зримым явление Святого Духа. Теперь от этого отказались, но в его нисхождение все еще верят, и только если знаешь это, можно понять нарастающее возбуждение следующих мгновений. Светлое пламя, как от горящего дерева, появляется внутри отверстия — каждый образованный грек знает и признает, что его зажигает епископ в часовне. Но паломники верят, что это — свет от явления Бога на святую могилу. Все тонет теперь в общем ликовании, уже невозможно разобрать отдельные движения и детали. Медленно, постепенно огонь перекидывается из рук в руки, от свечи к свече, покрывая гигантскую массу народа, пока наконец все здание от одной галереи до другой и сплошь понизу не превращается в единый белый огонь тысяч горящих свечей.

Это момент, когда епископа или патриарха на плечах с триумфом выносят из часовни. Он почти в беспамятстве, всем видом показывая, что он сражен величием Всемогущего, присутствие которого только что пережил.

Теперь начинается настоящая давка: все стремятся скорее выбраться из дыма и удушающей жары, но в то же время не погасить свечи, донести их на улицы и в дома. Толпа бросается к единственным воротам церкви, и иногда возникающая при этом давка приводит к несчастьям, как это было, например, в 1834 г., когда празднества стоили жизни нескольким сотням паломников. Еще некоторое время паломники бродят по улицам, подставляя огню лицо и грудь, чтобы продемонстрировать неуязвимость, в которую теперь верят. Но предшествующее неистовое воодушевление с появлением огня пошло на спад. Скорое и полное прекращение массового неистовства такой интенсивности — это тоже не менее впечатляющая часть спектакля. Утреннее бешеное возбуждение особенно подчеркивает глубокое спокойствие вечера, когда церковь также запол-

нена, но теперь паломники будто погружены в глубокий сон. Они ждут всенощной».

Свидетелем большого несчастья 1834 г. был также англичанин *Роберт Керзон*. В его сообщении катастрофа изображена с потрясающей наглядностью, он прослеживает ее важнейшие этапы.

В полночь на пасхальную пятницу Керзон с друзьями явился в Церковь Гроба Господня, чтобы увидеть греческую процессию. Каждое окно и каждый угол, любой пятак, где могло бы поместиться живое существо, казалось, до отказа забито людьми. Исключение составляла лишь галерея, которую для себя и своих друзей-англичан зарезервировал турецкий губернатор Иерусалима Ибрагим Паша. В Иерусалиме находилось, по некоторым сведениям, 17 тысяч паломников, и почти все пришли в церковь встретить священный огонь.

Утром наступившего дня солдаты пробили в толпе дорогу для Ибрагима Паши. Встреченный дикими криками, он занял место на галерее.

«Люди постепенно приходили в неистовство. Они стояли в этой массе целую ночь, силы их были на исходе. Явление священного огня приближалось, они уже не могли сдерживать радости. Возбуждение нарастало, и в 1 час от греческой церкви показалось великолепное шествие. Патриарх три раза торжественно обошел вокруг могилы. Потом он снял верхнее, расшитое серебром одеяние и вошел внутрь, двери за ним закрылись. Возбуждение толпы достигло предела, люди пронзительно вскрикивали. Плотная масса раскачивалась взад и вперед, как колосья под ветром.

Огонь был передан через круглое отверстие в стене часовни. Солдаты провели к этому месту человека, заплатившего больше всех за право принять огонь. На мгновение воцарилось молчание, затем у могилы блеснул свет, и счастливый паломник принял священный огонь из рук находившегося внутри патриарха. Огонь состоял из кучки горящих восковых свечей, вставленных в гнезда железной рамки; это

было сделано для того, чтобы свечи не сломались и не погасли в толпе. Сразу разразилось настоящее сражение. Все с таким рвением бросились добывать священный огонь, что некоторые, стремясь зажечь свою свечу, гасили соседскую.

Вот и вся церемония: ни проповеди, ни молитвы, лишь немного пения во время шествия. Огоньки стали распространяться по всем направлениям, каждый зажигал свою свечу от священного огня, и вскоре часовня, галереи, любой уголок, где помещалась свеча, — все потонуло в море света. Словно в умопомрачении, люди тыкали горящие свечи себе в лицо, руки, грудь, чтобы очиститься от греха.

От дыма свечей скоро стало темно; я видел, как дым огромными клубами выплывал через отверстие посередине купола собора. Стоял ужасный запах. Трое несчастных, потеряв сознание от жары и дурного воздуха, упали с верхней галереи и были растерзаны на головах людей внизу. Бедная армянская дама лет семнадцати умерла прямо на месте от жары, жажды и изнеможения.

Наконец, когда все, что можно было увидеть, мы увидели, Ибрагим Паша поднялся и направился к выходу. Многочисленные охранники прокладывали ему путь, грубо распахивая плотную массу людей, заполнивших церковь. Толпа была столь огромна, что мы подождали немного, а потом все вместе двинулись в обратный путь к нашему приделу. Я шел первым, за мной мои друзья, солдаты расчищали нам путь. Дойдя до места, где во время крестовых походов стояла Святая Дева, я увидел множество лежавших друг на друге людей; они заполняли все вокруг, насколько я мог видеть, до самого выхода. Я пытался, насколько мог, пробираться между ними, пока их не стало так много, что я уже шел фактически по грудам тел. Вдруг у меня мелькнула мысль, что они все мертвы. Сначала я думал, что они так обессилели, ожидая встречи огня, что свалились прямо там, где стояли, и теперь постепенно приходили в себя. Но идя по грудам тел и глядя вниз, я замечал то острое, жесткое выражение лиц, насчет которого невозможно обмануться. Некоторые

лица были черны от удушья, тела других покрыты кровью, а также мозгами и внутренностями тех, кого толпа разорвала на куски.

В этой части церкви уже не было живых, но немножко дальше, за углом против главного входа люди рвались вперед. Каждый делал все возможное, чтобы спастись. Солдаты снаружи, испугавшись натиска из церкви, решили, что христиане напали на них, свалка переросла в бой. Многих бедняг, оказавшихся в свалке, солдаты убили штыками, на стены брызгали мозги и кровь людей, падавших под ударами прикладов, как скот на бойне. Каждый старался уберечься и спастись. Того, кто падал в рукопашной, мгновенно затапывали. Борьба стала такой дикой и отчаянной, что даже самые напуганные из паломников думали, казалось, не о собственном спасении, а о том, как бы сразить других.

Осознав опасность, я крикнул моим спутникам, чтобы они поворачивали обратно, что они и сделали. Сам же я стал пробираться через нагромождение тел дальше, пока не оказался вблизи дверей, где шла борьба не на жизнь, а на смерть. Здесь я понял, что меня ждет верная смерть. Один из офицеров паши — судя по звездам, полковник, — также встревоженный, искал путь к спасению. Он схватил меня за одежду и повалил на тело старика, который явно был при последнем издыхании, а сам навалился сверху. С мужеством отчаянья мы боролись в груди умирающих и мертвых. Наконец мне удалось подмять его и снова подняться на ноги... Позже я узнал, что ему подняться не довелось.

Какое-то мгновение я стоял на зыбкой почве из мертвых тел, сжатый толпой, плотно спрессовавшейся в этой части церкви. Некоторое время мы стояли спокойно. Вдруг масса качнулась. Пронесся крик, толпа разверзлась, и я увидел, что стою в середине людской шеренги, а напротив нас стоит другая, все с бледными мрачными лицами, в разодранной окровавленной одежде. Так мы стояли, таращась друг на друга, пока нами не овладел внезапный импульс: с воплем, прокатившемся по длинным пассажам церкви, враждебные шерен-

ги бросились друг на друга, и я схватился с полуголым мужчиной с измазанными кровью ногами. Масса снова качнулась назад; в отчаянной и жестокой борьбе я пробился назад в глубь церкви, где нашел моих друзей. Нам удалось добраться до католического святилища, а потом и до помещения, предоставленного нам монахами. Еще у входа в святилище нам пришлось выдержать ожесточенную схватку с большой толпой паломников, старавшихся прорваться туда же. Я благодарю Бога за спасение — надежды, казалось, уже не было.

Мертвые горами громоздились вокруг, я видел не менее 400 несчастных — мертвых и живых, лежащих штабелями до пяти тел друг на друге. Ибрагим Паша покинул церковь за несколько минут до нас, и эти несколько минут спасли ему жизнь. Масса сдавила его со всех сторон, некоторые пытались напасть. Благодаря огромным усилиям свиты, из которой многие погибли, ему удалось выйти во внешний двор. По пути он не раз падал в обморок. Его люди с обнаженными саблями пробивали дорогу в плотной массе паломников. Выбравшись наружу, он приказал очистить церковь от трупов и прежде всего извлечь из-под груд мертвых тех, кто еще подает признаки жизни.

После ужасной катастрофы в храме паломников по всему Иерусалиму будто бы охватила паника, каждый старался быстрее убраться из города. Прошел слух, будто разразилась эпидемия чумы. Вместе с другими и мы стали готовиться к отъезду».

Чтобы понять, что же здесь произошло, надо посмотреть на различия между нормальным течением праздника Пасхи и паникой 1834 г., очевидцем которой стал Керзон.

Это праздник Воскресения. Оплакивающая стая, которая собирается вокруг гроба Господня и оплакивает его смерть, преобразуется в стаю победоносную. Воскресение — это победа, как таковая она и празднуется. Огонь здесь выступает как массовый символ победы. К нему приобщается каждый, и тем самым душа его соучаствует в воскрешении. Каждый должен, если можно так выразиться, превратиться

в тот же самый огонь, происшедший из Святого Духа, и поэтому очень важно, чтобы каждый зажег от него свою свечу. Из церкви этот драгоценный огонь разносится по домам. Обман относительно способа добычи огня не играет роли. Важно лишь превращение оплакивающей стаи в победоносную стаю. Каждый из тех, кто собирается вокруг могилы Спасителя, соучаствует в его смерти. Каждый же, кто зажигает свечу от пасхального огня, исходящего из могилы Спасителя, соучаствует в его Воскресении.

Очень красиво и значительно приумножение огней, когда из *одного* огня внезапно возникают тысячи. Масса огней — это масса тех, кто будет спасен, поскольку верует. Она возникает стремительно, с той стремительностью, с какой распространяется только огонь. Огонь лучше всего символизирует внезапность и стремительность образования массы.

Но пока до этого еще не дошло, пока огонь не появился, за него надо бороться. Неверующие солдаты-турки, присутствующие в церкви, должны быть изгнаны, при них огонь не появится. Изгнание солдат входит в ритуал праздника, момент его — сразу после процессии греческих иерархов. Турки бегут к выходу, верующие насаждают, будто бы изгоняя их силой, и в церкви воцаряется суматоха борьбы и победы.

Церемония начинается с двух замерших масс, разделенных шеренгами солдат. Маленькие ритмичные стаи арабских христиан носятся между ними и пробуждают их рвение. Эти дикие фанатичные стаи действуют как *массовые кристаллы* и заражают своим возбуждением всех, ожидающих огня. Затем появляется процессия иерархов — медленная масса, которая, впрочем, в этом случае достигает своей цели стремительнее, чем когда бы то ни было: обессиленный патриарх, которого выносят после появления огня, — живое этому свидетельство.

Паника 1834 г. с ужасающей непреложностью вытекает из элементов борьбы, содержащихся в ритуале праздника. Опасность паники при появлении огня в закрытом помещении всегда велика. Но здесь она усиливается конфлик-

том между неверующими, которые сначала находятся в церкви, и верующими, которые хотят их выгнать. Рассказ Керзона богат деталями, проясняющими именно эту сторону дела. В одно из разорванных, казалось бы, лишенных связности мгновений он внезапно обнаруживает себя в шеренге людей, противостоящих другой, враждебной шеренге. Они бросаются друг на друга и сражаются не на жизнь, а на смерть, не разбирая, кто находится в одной и кто — в другой. Он говорит о кучах трупов, по которым ходят и среди которых пытаются спастись. Церковь Гроба Господня превратилась в поле битвы. Мертвые и еще живые штабелями громоздятся друг на друге. Воскрешение превратилось в свою противоположность — в общую гибель. Представление о еще больших горах мертвых тел, о чумной эпидемии овладевает паломниками, и они бегут из города священной могилы.

МАССА И ИСТОРИЯ

МАССОВЫЕ СИМВОЛЫ НАЦИЙ

Большинство попыток прояснить основания наций страдает одним существенным недостатком. Стараются найти определение национального как такового: нация, говорят, это то-то и то-то. Верят, будто бы дело в том, чтобы найти правильное определение. Стоит его найти, и можно будет применить его сразу ко всем нациям. Берут в качестве основы язык, или территорию, или литературу, или историю, или способ правления, или так называемое национальное чувство, — и в любом случае исключения оказываются важнее, чем правило. Кажется, ухватил что-то живое за свободный кончик случайного одеяния, но оно легко сдергивается, и ты опять остаешься с пустыми руками.

Наряду с этим по видимости объективным методом имеет хождение и другой, наивный, которому интересна только одна нация — собственная, а до всех прочих нет дела. Он состоит в непоколебимой убежденности в собственном превосходстве, в профетических видениях собственного величия, в своеобразной смеси претензий морального и биологического характера. Но не следует полагать, что эти национальные идеологии фактически одинаковы. Их равняют друг с другом лишь чрезвычайный аппетит и высота притязаний. Они, может быть, *хотят* одного и того же, но *они сами* — не одно и то же. Они хотят величия и обосновывают его своим множеством. Может показаться, что каждой из них завещан весь мир, и весь мир, естественно, будет ей

принадлежать. Другие нации, до которых эти претензии долетают, ощущают в них угрозу и со страху ничего, кроме угрозы, не видят. Поэтому остается незамеченным, что конкретные содержания, действительные идеологии, обосновывающие эти национальные претензии, очень сильно отличаются друг от друга. Надо попытаться отбросить общую им похоть и определить, в чем состоит своеобразие каждой нации. При этом надо как бы стоять возле, не принадлежа ни к одной из них, но глубоко и искренне каждой из них интересуясь. Надо духовно впустить в себя каждую из них, как будто бы тебе суждено принадлежать к ней добрую часть жизни. Но при этом не принадлежать так, чтобы она захватила тебя целиком, отняв у всех остальных.

Ибо тщетно пытаться говорить о нациях, не определив их различий. Нации ведут долгие войны друг с другом. Значительная часть представителей каждой нации принимает в них участие. Достаточно ясно говорится о том, за что они сражаются. Но *как* они сражаются, никому не известно. Хотя для этого есть соответствующие названия, и сами они говорят: как французы, как немцы, как англичане, как японцы. Но что обозначает этим словом человек, применяя его по отношению к самому себе? Чем, как он *верит*, он отличается от других, когда идет на войну как француз, как немец, как англичанин, как японец? Нас интересует здесь не то, чем он отличается в действительности. Можно основательно изучить его нравы и обычаи, способ правления, литературу, но все равно упустить то специфически национальное, что всегда сопровождает его на войне как *вера*.

Следовательно, нации надо рассмотреть так, как если бы они были *религиями*. У них действительно есть тенденция впадать время от времени в такое состояние. Предпосылки для этого имеются всегда, а для времени войн характерно оживление и обострение национальных религий.

С самого начала можно предположить, что представитель нации чувствует себя *не одиноким*. Как только его внесут в списки, в его представления входит нечто масштаб-

ное, некое единство, с которым он чувствует себя связанным. Род этого единства не безразличен, так же как и характер связи с ним. Это не просто географическое целое страны, как она изображается на картах; нормальному человеку оно безразлично. Определенные эмоции в нем могут пробудить границы, но не все пространство страны как таковое. Он думает также не о своем языке, как бы ясно и определено он ни противопоставлялся языкам других. Разумеется, слова, которые ему знакомы, именно в период возбуждения оказывают на него большое воздействие. Однако не словарь стоит за ним, и не за словарь он идет сражаться. Еще меньше значит для нормального человека история его нации. Он не знает, ни как она в действительности протекала, ни насколько преемственны ее эпохи, ему не знакома жизнь, какой она была раньше, и он знает очень мало имен тех, кто жил прежде. Фигуры и мгновения, которые запечатлены в его сознании, находятся по ту сторону всего, что нормальный историк понимает под историей.

Единство, с которым он действительно чувствует себя связанным, — это всегда *масса* или *массовый символ*. Оно всегда несет в себе черты, характерные для масс или их символов: плотность, потенциал, рост, открытость в бесконечное, неожиданность или крайняя стремительность образования, своеобразный ритм, внезапность разрядки. Многие из этих символов уже обсуждались. Речь шла о море, о лесе, о зерне. Было бы глупо снова говорить здесь о свойствах и функциях этих вещей, предопределивших их судьбу как массовых символов. Их можно будет отыскать в представлениях и чувствах, которые переживают и испытывают нации по отношению к самим себе. Но эти символы никогда не выступают голыми, никогда *сами по себе*: представитель нации всегда видит самого себя на *своей* лад одетым, в прочной связи с массовым символом, который у его нации считается важнейшим. В его регулярном возвращении, в его появлении согласно требованиям момента заключается преемственность национального чувства. С ним, и только с ним,

изменяется самосознание нации. Он гораздо изменчивее, чем обычно полагают, и из этого можно черпать надежду на дальнейшее существование человечества.

Ниже будет сделана попытка рассмотреть некоторые нации под углом зрения свойственных им символов. Чтобы избежать предвзятости, надо перенестись мысленно лет на двадцать назад. Здесь, конечно, налицо — я не устану это повторять — редукция к очень простым и всеобщим характеристикам; о конкретном индивидуальном человеке отсюда вряд ли можно что узнать.

Англичане

Разумно будет начать с нации, которая мало говорит о себе громких слов, но, без сомнения, все еще демонстрирует самое устойчивое национальное чувство из всех ныне известных, то есть с Англии. Каждый знает, что означает для англичанина *море*. Но слишком мало известно, насколько точно совпадают отношение англичанина к морю и прославленный британский индивидуализм. Англичанин видит себя *капитаном* на корабле, окруженным маленькой группой людей, а *вокруг него и под ним* — море. Фактически он один: капитан изолирован от команды.

Море ему *подвластно* — и это самое главное. Корабли одиноки на его необозримой поверхности как отделенные друг от друга индивидуумы, воплощением которых служит капитан. Абсолютное полновластие капитана не подлежит сомнению. Курс, который он прокладывает, — это приказ, который он отдает морю, и лишь промежуточное восприятие его командой мешает увидеть тот факт, что именно морю надлежит подчиниться. Капитан определяет цель, а море на свой живой манер доставляет его туда, хотя не без штормов и других проявлений характера. При величине океана очень важно, кого он слушается чаще всех. Добиться его послушания еще легче, если целью является английская колония: тогда море — как лошадь, которая хорошо знает дорогу. Корабли

других наций больше напоминают случайных наездников, которым лошадь доверили лишь на время; все равно потом в руках господина она поскачет гораздо лучше. Море столь велико, что важно и *количество* судов, которые его бороздят.

Что касается характера моря, то вспомним, сколь многим и бурным изменениям оно подвержено. В своих превращениях оно еще более разнообразно, чем все массы животных, с которыми вообще приходится иметь дело человеку, и насколько безопаснее и надежнее кажутся по сравнению с морем леса охотника и поля крестьянина. В катастрофы свои англичанин попадает на море. Мертвых своих ему часто приходится воображать на морском дне. Так море преподносит ему превращения и опасность.

В домашней жизни англичанин ищет то, чего ему не хватает на море: главное в ней — стабильность и безопасность. У каждого свое место, которое нельзя покинуть, несмотря ни на какие превращения; если англичанин его покинул, значит, ушел в море. Нрав каждого так же устойчив, как и его дом.

Голландцы

Значимость национальных массовых символов особенно легко усмотреть в различии между англичанами и жителями Нидерландов. Эти народы сродни друг другу, языки их схожи, религиозное развитие почти одинаково. И одна, и другая нации — мореходы, обе благодаря морю создали всемирные империи. Судьба голландского капитана, выходявшего открывать новые торговые пути, ничем не отличалась от судьбы английского. Войны, которые англичане и голландцы вели между собой, — войны между близкими родственниками. И все же есть между ними различие, которое, сколь бы ничтожным ни казалось на первый взгляд, определяет все остальное. Оно касается их национальных символов.

Англичане захватили себе остров, но не море вокруг него. Море покоряется лишь кораблям англичан, приказывает

морю капитан. Голландец же землю, на которой он живет, должен *сначала отвоевать у моря*. Она лежит так низко, что ее приходится укрывать от моря дамбами. Для голландца дамба — это начало и конец его национальной жизни. *Масса мужчин сама становится подобна дамбе*: сплотившись, она может преградить дорогу морю. Если дамбы в плохом состоянии, стране грозит опасность. Во времена кризиса дамбы разрушали и на возникших искусственных островах спасались от врага. Нигде ощущение человеческой стены, противостоящей морю, не сформировалось так отчетливо, как здесь. На дамбы полагаются в мирные времена, но, если их приходится разрушить из-за нападения врагов, их мощь переходит в мужчин, которые восстановят их после войны. В их воображении дамба живет, пока снова не становится реальной. Таким замечательным и необычным образом во времена серьезных испытаний голландцы носят *в себе* границу, отделяющую их от моря.

Если на англичан нападали на их острове, они выходили в море: штурмами оно помогало справиться с врагом. За остров они могли не беспокоиться, так же как и за свои корабли. Голландцам же опасность всегда дышала в спину. Море никогда не покорялось им полностью. Хоть они доплыли по морю до концов света, дома оно каждый миг могло ринуться на них, а в самом крайнем случае, чтобы отрезать и погубить врага, им самим приходилось призывать на себя море.

Немцы

Массовым символом немцев было *войско*. Но это было больше, чем войско, — это был *марширующий лес*. Ни в одной из современных стран чувство леса не сохранилось так живо, как в Германии. Прямызна и параллельность вертикально стоящих стволов, их плотность и численность наполняют сердце немца таинственной глубокой радостью. Он и сегодня с удовольствием идет в лес, где жили его предки, чтобы вновь пережить свое родство с деревьями.

Аккуратность и отдельность деревьев по отношению друг к другу, прочерченность вертикалей отличают этот лес от леса тропиков, где лианы сплетаются и ползут в разных направлениях. В тропическом лесу глазу нет простора, взгляд утыкается в хаотическую нерасчлененную массу, которая живет на свой особенный лад, исключая всякое чувство правильности и равномерности повторения. Лес умеренной зоны обладает наглядным ритмом. Взгляд скользит по череде видимых стволов, теряясь в неизменно равной себе дали. Отдельное же дерево больше, чем отдельный человек, и растет неотвратно. Многие в его упорстве напоминают упорство воина. Кора, которая сначала могла казаться панцирем, в лесу из деревьев одной породы напоминает форму военного отряда. Лес и войско были для немца, даже если сам он этого не осознавал, во всех отношениях одним и тем же. Что другим могло восприниматься как пустота и однообразие военной жизни, немцу светило уютом и огоньками леса. Здесь ему не страшно, здесь он в безопасности среди своих. Прямоту и непреклонность деревьев он взял себе в обычай.

Мальчишка, бежавший из тесного дома в лес, чтобы, как ему казалось, помечтать и побыть одному, предчувствовал там прием в ряды воинов. В лесу уже ждут его товарищи — честные, верные, прямые: каждый *прямо*, хотя все различаются по высоте и мощи, — таким он станет сам. Влияние ранней лесной романтики на немца нельзя недооценивать. Он впитывал ее из сотен стихов и песен, и лес, который в них проступает, часто так и звался «немецким».

Англичанин любит видеть себя в *море*, немец любит видеть себя в *лесу* — трудно короче выразить различия в их национальном чувстве.

Французы

Массовый символ французов нового происхождения — это их *революция*. Праздник свободы справляют ежегодно. Он стал настоящим днем национального торжества. 14 июля

незнакомые люди могут танцевать друг с другом на улицах. Народ, у которого свободы, равенства и братства так же мало, как и у других народов, подает дело так, будто как раз у него-то они есть. Бастилия взята, и улицы снова полны народа, как в те далекие дни. Масса, веками бывшая жертвой королевского правосудия, теперь вершит суд сама. Воспоминание о казнях того времени — стимулах разжигания массового чувства — определяет дух праздника сильнее, чем люди могут себе в этом признаться. Кто противопоставил себя массе, отдал ей свою голову. Он был у нее в долгу и на свой лад послужил тому, чтобы поддержать и повысить ее воодушевление.

Ни один национальный гимн, какой бы народ мы ни взяли, не имеет такой истории, как французский, — «Марсельеза» родилась именно тогда. Взрыв свободы как периодическое событие, каждый год ожидаемое и каждый год приходящее, очень выгоден в качестве массового символа нации. Он и позже, как и в те времена, будил силы сопротивления. Французские армии, завоевавшие Европу, вышли из революции. Они нашли себе Наполеона и стяжали величайшую славу. Победы были победами революции и ее генералов, императору досталось заключительное поражение.

Против такого понимания революции как национально-массового символа французов можно возражать. Слово кажется слишком неопределенным, в нем нет конкретности английского капитана на четко очерченном корабле, нет деревянного порядка марширующего немецкого войска. Но не забудем, что корабль англичанина соотносится с колышавшимся морем, а немецкое войско — с волнуемым лесом. Море, лес питают национальное чувство и представляют собой его текущий элемент. А массовое чувство революции тоже выражается в конкретном движении и направлено на конкретный объект — это Бастилия и штурм Бастилии.

Еще одно или два поколения назад к слову «революция» каждый добавил бы «французская». Революция отличала французов в глазах всего мира, это была их национальная

особенность, то, чем они выделялись. Впоследствии русские с их революцией нанесли ощутимую рану национальному самосознанию французов.

Швейцарцы

Национальное сплочение *Швейцарии* неоспоримо. Патриотизм швейцарцев сильнее, чем у многих народов, говорящих на *одном* языке. Здесь же многообразие языков, разнообразие кантонов, их различия в социальной структуре, противоречия религий, когда-то воевавших друг с другом, причем память об этих войнах еще живет в исторической памяти, — и все это не может всерьез пошатнуть национального самосознания швейцарцев. Впрочем, у них есть общий массовый символ, всегда стоящий перед глазами и непоколебимый, как ни один другой из национальных символов: *горы*.

Вершины своих гор швейцарец видит отовсюду. Но с некоторых мест их видно в большем количестве. Ощущение, что отсюда видишь горы, собравшиеся вместе, придает этим обзорным точкам нечто сакральное. Иногда по вечерам — невозможно заранее угадать, когда именно, также невозможно и каким-либо образом повлиять на этот момент — горы загораются алым светом: это момент их высшего торжества. Их недоступность и твердость наполняют уверенность душу швейцарца. В своих вершинах отделенные друг от друга, внизу горы составляют единое огромное тело. Они — одно тело, это тело и есть страна.

Планы обороны Швейцарии во время двух прошедших войн любопытным образом отразили это отождествление нации с горной грядой Альп. Все плодородные долины, города, производства в случае вражеского нападения предполагалось отдать. Армия должна была отступить в глубину гор и там начать сражаться. Народ и земля приносились в жертву. Но армия в горах по-прежнему представляла бы Швейцарию: массовый символ нации превратился бы в самую страну.

Это собственная дамба, которой располагают швейцарцы. Им не приходится возводить ее самим, как голландцам.

Они ее не строят, они ее не разрушают, море через нее не перехлестывает. Горы стоят, и их нужно хорошо знать. Они их излазали и изъездили вплоть до каждого закоулка. Горы как магнит притягивают из всех уголков мира людей, которые благоговеют перед ними и исследуют их наподобие швейцарцев. Альпинисты из самых далеких стран похожи на верующих швейцарцев: армии их, рассеянные по миру, отслужив периодически краткую мессу горам, все остальное время хранят чувство верности Швейцарии. Стоило бы разобратся, какой вклад они внесли в сохранение ее самостоятельности.

Испанцы

Если англичанин видит себя капитаном, то испанец — *матадором*. Вместо моря, которое подчиняется капитану, у матадора — собственная покорная ему масса. Животное, которое он должен убить согласно благородным правилам своего искусства, — это злое чудище старых преданий. Он не может показать страха, самообладание для него — все. Малейшее его движение видят и судят тысячи. Это сохранившаяся римская арена, только быкоборец превратился здесь в благородного рыцаря. Он выходит против зверя в одиночку. Средневековье дало ему другие чувства, другую одежду, но особенно изменило его идею. Покоренный дикий зверь, раб человека снова восстал против него. Но герой древности принял вызов, он на месте. Он выступает на глазах всего человечества и столь уверен в своем мастерстве, что в мельчайших подробностях разыгрывает перед зрителями убийство чудовища. Он весь точность и мера, его движения рассчитаны как в танце. Но *убивает* он *по-настоящему*. Убивает на глазах тысяч, приумножающих эту смерть своим неистовством.

Казнь дикого животного, которое уже не имеет права быть диким, которого сделали диким, чтобы за это осудить на смерть, — эта казнь, кровь и безупречный рыцарь двойным образом отражаются в глазах почитателей. Каждый из них — это и рыцарь, убивающий быка, и масса, которая ему

рукоплещет. За матадором, в которого воплощается каждый, на другой стороне арены каждый вновь видит самого себя как массу. В кольце все соединены в одно замкнутое на самого себя существо. Каждый видит повсюду глаза — свои глаза — и слышит повсюду единственный голос — свой собственный.

Так испанец, обожающий своего матадора, с самого начала привыкает к виду совершенно особой массы. Он знает ее досконально. Она настолько жизнеспособна, что исключает многие нововведения и новообразования, которые неизбежны в странах другого языка. Матадор на арене, столь многое для него значащий, превратился в его национальный символ. Если он воображает множество испанцев, собравшихся вместе, то он вообразит место, где они собираются чаще всего. По сравнению с этими массовыми восторгами массовые мероприятия церкви имеют мягкий и безвредный характер. Они были таковыми не всегда: во времена, когда церковь не страшилась разжечь адское пламя для еретиков прямо на земле, массовое хозяйство испанцев было организовано иначе.

Итальянцы

Самочувствие современной нации, ее поведение на войне в большой степени зависит от *признанности* ее национальных массовых символов. История разыгрывает над некоторыми народами дурную шутку задним числом, уже после того, как они завоюют единство. На примере Италии можно показать, как тяжело нации, когда города полны воспоминаний о величии, а настоящее сознательно дезорганизовано этими воспоминаниями.

Пока Италия не обрела единства, все было просто: расчлененное тело должно собраться воедино, быть и чувствовать себя одним организмом. Для этого нужно изгнать врага. Враг паразитирует на стране: он как туча саранчи, питающейся плодами честного труда местных жителей. Враг хочет увековечить свое господство: для этого он разделяет людей и земли, чтобы легко справляться с ними поодиноч-

ке. Угнетенные, наоборот, устанавливают тайные связи и ищут момента восстать и освободить страну. Наконец это происходит: Италия обрела единство, к которому долго и тщетно стремились многие ее лучшие умы.

Однако с этого самого мига оказалось, что непросто поддерживать жизнь в таком городе, как Рим. Массовые постройки древних стояли вокруг *пустые*; развалины Форума содержались в чрезмерном порядке. Человек чувствовал себя там подавленным и отвергнутым. Второй Рим, Рим Святого Петра, напротив, сохранил достаточно прежней своей притягательности. Собор Святого Петра заполняли паломники со всего мира. Однако точкой, на которую ориентировалась бы нация, этот второй Рим служить не мог. Он все еще обращался ко всем людям без различия, способ его организации был присущ тем временам, когда еще не было наций в современном виде.

Между этими двумя Римами как бы парализованным застыло национальное чувство современной Италии. Невозможно отбросить тот факт, что Рим был, и римляне были итальянцами. Фашизм избрал, казалось бы, самое простое решение и попытался влезть в подлинный старый костюм. Но костюм не сидел как влитой, оказался широк, фашизм двигался в нем так резко и неуравновешенно, что поломал себе члены. Один за другим стали раскапывать форумы, но они почему-то не заполнялись римлянами. Связки прутьев вызывали лишь ненависть в тех, кого этими прутьями стегали, — наказание и приручение не наполняли гордостью. Попытка *навязать* Италии ложный национальный массовый символ, к счастью для итальянцев, провалилась.

Евреи

Понять евреев труднее, чем любой другой народ. Они распространились по всей населенной земле, а родину потеряли. Их приспособляемость славят и проклинают, но степень ее очень и очень различна. Среди них есть испанцы, индийцы и китайцы. Они переносят с собой из одной

страны в другую языки и культуры и берегут их сильнее любых сокровищ. Дураки могут рассказывать сказки о том, что они повсюду одинаковы; кто их знает, согласится скорее, что среди них гораздо больше разнообразных типов, чем в любом другом народе. Удивительно, насколько они многообразны по внешности и внутреннему складу. Популярная формула, согласно которой среди них есть и самые хорошие, и самые плохие люди, в наивной форме выражает этот факт. Они иные, чем все прочие. Но в действительности они, если можно так выразиться, еще более иные по отношению друг к другу.

Они вызывают удивление тем, что вообще еще существуют. Они не единственный народ, который обнаруживается повсюду: армяне, например, тоже распространились широко. Они также и не самый древний народ: китайцы пришли из глубин предыстории. Однако среди древних народов они — единственный, *что так долго блуждает*. Им дано было больше всех времени для бесследного исчезновения, и все же они есть, и их больше, чем когда-либо.

Территориальное и языковое единство у них до последних лет отсутствовало. Большинство уже не понимает по-еврейски, они говорят на сотне языков. Для миллионов из них их древняя религия — не больше чем пустые мехи; даже количество евреев-христиан постепенно растет, особенно среди интеллектуалов; еще больше среди них неверующих. Вообще говоря, с позиций самосохранения им следовало бы приложить все усилия, чтобы заставить окружающих забыть, что они — евреи, и самим забыть об этом. Однако оказывается, они не могут забыть об этом, а большинство и не хочет забыть. Надо спросить себя, в чем эти люди остаются евреями, что делает их евреями, что то последнее, самое последнее, что объединяет их с другими такими же, когда они говорят себе: я — еврей.

Это последнее лежит в самом начале их истории и с невероятной последовательностью воспроизводится в ходе этой истории: *исход из Египта*.

Надо явственно представить себе, о чем это предание: целый народ, хотя и сосчитанный, но составляющий огром-

ные множества, сорок лет тянется сквозь пески. Его легендарному прародителю было обещано потомство, многочисленное как морской песок. Оно уже здесь, и оно бредет как песок сквозь пески. Море расступается перед ними, сквозь ряды врагов они пробивают себе дорогу. Их цель — обетованная земля, которую они отвоюют себе мечами.

Это множество, годы и годы влачащееся сквозь пески, превратилось в массовый символ евреев. Образ так же прост и понятен, как и в те далекие времена. Народ видит себя вместе, как будто бы он еще не распался и не рассеялся, он видит себя в странствии. В этом *сплоченном* состоянии он принимает для себя законы. У него есть цель, как у массы. Его ожидают приключение за приключением — общая для всех судьба. Это *голая* масса: всего, что может отвлечь человека в отдельной жизни, здесь просто нет. Вокруг лишь песок — самая голая из всех возможных масс: ничто не может до такой степени довести ощущение одиночества бредущей толпы, как картина песков. Часто цель пропадает, и массе начинает грозить распад; сильными толчками самой разной природы ее пробуждают, настораживают, сплывают. Число бредущих людей, шестьсот или семьсот тысяч человек, огромно не только по скромным масштабам доисторических времен. Но особенно важна длительность пути. Масса, распростершаяся когда-то на сорок лет, пролегла до нынешних времен. Эта длительность стала наказанием, как и все муки последующих странствий.

ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВЕРСАЛЯ

Чтобы как можно четче разграничить представленные здесь понятия, следует сказать кое-что о массовой структуре Германии, которая в первой трети нынешнего столетия неожиданно продемонстрировала новые тенденции и формы, смертельной опасности которых тогда никто не понял. Только сейчас их начинают понемногу разгадывать.

Массовым символом объединенной германской нации, как она сложилась после французской войны 1870—1871 гг., было и осталось *войско*. Армия была предметом национальной гордости немцев; мало кто сумел избежать могучего воздействия этого символа. Мыслитель универсальной культуры Ницше вынес с войны импульс к созданию своего главного труда «Воля к власти» — это был образ кавалерийского эскадрона, навсегда засевающий в его памяти. И это не случайный факт: он показывает, сколь вообще значимо для немцев войско и как этот массовый символ воздействовал в Германии даже на тех, кто высокомерно отстранялся от всего, напоминавшего толпу, массу. Горожане и крестьяне, рабочие и профессора, католики и протестанты, баварцы и пруссаки — все видели в армии материальный образ нации. Более глубокие корни этого символа, его связь с *лесом* вскрыты в другом месте. *Лес* и *войско* в сознании немцев теснейшим образом связаны, и массовым символом нации можно считать и то и другое; в этом смысле они одно и то же.

Но важнее всего, что войско, помимо того что действует символически, еще и существует конкретно. Символ живет в воображении и чувствах людей; как таковой он представляет собой любопытное образование «лес-войско». Напротив, реальная армия, в которой служил каждый молодой немец, функционировала как *закрытая масса*. Вера во всеобщую воинскую обязанность, убежденность в ее глубочайшем смысле; благоговение перед ней было сильнее, чем традиционные религии, оно было свойственно католикам так же, как и протестантам. Кто исключал себя из армейских списков, тот не был немцем. Уже было сказано, что армию можно называть массой лишь в определенном, ограниченном смысле. Но в случае немца было иначе: он воспринимал армию как наиважнейшую закрытую массу. Она имеет закрытый характер, поскольку служат молодые люди определенного возраста ограниченное число лет. Для некоторых служба — профессия и потому тоже не имеет все-

общего характера. Однако каждый мужчина проходил через армию и на всю жизнь оставался внутренне с ней связанным.

Массовым кристаллом армии была каста прусских юнкеров, составлявшая лучшую часть постоянного офицерского корпуса. Это был как бы своего рода орден со строгими, хотя и неписаными законами, или же наследственный оркестр, который на зубок знает и прекрасно отрепетировал музыку, которой предстоит заразить публику.

Когда разразилась Первая мировая война, весь немецкий народ превратился в одну *открытую массу*. Воодушевление тех дней многократно и повсюду отображено. Кое-кто за границей рассчитывал на интернационализм социал-демократов, к их удивлению, он абсолютно не проявился. Удивляться было нечему, ведь эти самые социал-демократы носили в себе «лес-войско» как символ своей нации, они сами принадлежали к закрытой массе армии, в армии они подчинялись приказу и воздействию со стороны точно ориентированного и необычайно действенного массового кристалла — юнкерской и офицерской касты. Их принадлежность к политической партии, наоборот, почти ничего не весила.

Но те первые августовские дни 1914 г. были еще и *моментом зачатия* национал-социализма. Имеется совершенно надежное свидетельство Гитлера: он рассказывает, как, узнав о начале войны, пал на колени и возблагодарил Бога. Это его решающее переживание, это единственный миг, когда он сам искренне влился в массу. Он этого не забыл, и вся его дальнейшая жизнь посвящена воспроизведению этого мига, но уже *снаружи*. Германия снова должна стать такой, как тогда, — сознающей свою мощь, единой и сплоченной.

Но Гитлер никогда не достиг бы этой цели, если бы Версальским договором не была распущена немецкая армия. Запрещение всеобщей воинской обязанности отняло у немцев их самую главную закрытую массу. Маневры, отныне запрещенные, строевая подготовка, получение и передача

приказов — все это превратилось в нечто такое, что теперь любой ценой следовало вернуть. Запрет всеобщей воинской обязанности — это *рождение* национал-социализма. Любая закрытая масса, насильственно ликвидированная, переходит в открытую, которую и наделяет всеми своими отличительными признаками. Взамен армии явилась партия, а для нее внутри нации не было границ. Каждый немец — мужчина или женщина, ребенок или старик, солдат или штатский — может стать национал-социалистом; не важно, был ли он солдатом; если нет, то это лучше для него: он получает доступ к делам, к которым раньше бы его не допустили.

Бесперывно и неустанно Гитлер употребляет оборот «Версальский диктат». Немало удивлялись тому, сколь действительным оказалось это словосочетание. Повторение не уменьшало его воздействия, наоборот, оно росло с годами. Что, собственно, такого в нем содержалось? Что сообщал им Гитлер массам слушателей? Для немца в слове «Версаль» воплощалось не поражение, которого он на самом деле так и не признал, — оно обозначало запрещение иметь армию, то есть запрещение деятельности, имеющей сакральный смысл, деятельности, без которой он не мыслил свою жизнь. Запрет армии был как запрет религии. Вера отцов поругана, восстановить ее — святой долг каждого мужчины. На эту рану и падало слово «Версаль» каждый раз, как произносилось; благодаря ему рана оставалась свежей, кровоточила и не затягивалась. Пока в массовых аудиториях со всей силой звучало слово «Версаль», даже начало выздоровления было исключено.

Важно, что речь при этом всегда шла о *диктате*, а не о договоре. «Диктат» напоминает о *приказе*. Один-единственный чужой приказ, приказ врага, потому и названный «диктатом», прервал все это горделивое течение военных приказов от немца к немцу. Тот, кто слышал или произносил слова «Версальский диктат», самой глубиной существа чувствовал, что у него отнято — немецкая армия. И воссозда-

ние армии становилось единственной подлинно важной целью. С нею все стало бы снова как прежде. Тем более что значение армии как национального массового символа не было поколеблено: самая глубокая и самая древняя часть его — *лес* — все равно стояла в неприкосновенности.

Выбор слова «Версаль» в качестве ударного лозунга был, с точки зрения Гитлера, исключительно удачным. Оно не только напоминало о последнем, крайне болезненно переживаемом событии национальной жизни немцев — о ликвидации всеобщей воинской обязанности и запрете иметь армию. Оно еще и соединяло в единое целое другие хорошо известные моменты немецкой истории.

В Версале Бисмарк основал второй германский рейх. Единство Германии было возглашено сразу после великой победы — в момент неодолимой мощи и высшего восторга. Победа была одержана над Наполеоном III, считавшимся продолжателем дела великого Наполеона: благодаря преклонению перед легендарным именем он вознесся как наследник его духа. Версаль был также резиденцией Людовика XIV, им самим построенной. Из всех французских владык до Наполеона Людовик XIV нанес немцам самые чувствительные раны. Благодаря ему Франция поглотила Страсбург с его собором. Его войска опустошили Гейдельбергский замок.

Имперская декларация в Версале казалась поэтому результатом объединенной победы над Людовиком XIV и Наполеоном, *вместе взятыми*, к тому же достигнутой в одиночку, без всяких союзников. На немца в те времена она должна была оказывать именно такое воздействие; есть достаточно свидетельств, что так оно и было. Имя «Версаль» было связано с величайшим триумфом в новой немецкой истории.

Всякий раз, когда Гитлер упоминал пресловутый «диктат», вместе с ним проскальзывало воспоминание о тогдашнем триумфе, воспринимавшееся слушателями как обещание. Враги должны были бы слышать в этих словах угрозу войны и реванша, если бы они имели уши, чтобы слышать. Без преувеличения можно сказать, что все важнейшие лозунги национал-социалистов, за исключением тех, что касались

евреев, можно получить путем расщепления слов «Версальский диктат»: «Третий рейх», «Зиг хайль» и так далее. Весь смысл нацистского движения сконцентрировался в этом словосочетании. Версаль — это *поражение, которое должно стать победой*; это запрещенная армия, которую для этой цели следует восстановить.

Пожалуй, здесь надо обратиться к символу движения — свастике. Ее воздействие двояко: воздействие *знака* и воздействие *слова*. В обоих случаях оно мрачно и жестоко. В самом знаке есть что-то от двух изломанных виселиц. Он как-то увертливо угрожает созерцателю, будто бы хочет сказать: «Погоди, ты еще увидишь, кто здесь будет висеть». Поскольку свастика заключает в себе момент вращательного движения, то оно содержит в себе угрозу колесования, напоминая о переломанных членах тех, кого реально казнили таким способом.

Слово (Hakenkreuz — крючковатый крест, крест с крючьями, произносится как «хакенкройц». — *Перев.*) унаследовало от христианского креста его мрачные, кровавые свойства — это крест, на *котором распинают*. «Крюк» напоминает о том, как «зацепляют крюком», то есть ставят подножку мальчишки, и как бы обещает своим сторонникам множество жертв, которых принудят к падению. Для некоторых здесь открывается ассоциация с военной службой и слышится звук крючьев соударяемых шпор. Во всяком случае, угроза страшной казни соединена здесь с тонким коварством и отдаленно звучащим напоминанием о военной дисциплине.

ИНФЛЯЦИЯ И МАССА

Инфляция — это массовый процесс в подлинном и точном смысле слова. Дезорганизирующее воздействие, которое она оказывает на население целых стран, ни в коем случае не ограничивается самым моментом инфляции. Можно ска-

зять, что в наших современных цивилизациях, кроме войн и революций, нет ничего, что можно было бы сравнить с инфляцией по ее далеко идущим последствиям. Потрясения, которые она вызывает, столь глубоки, что о них предпочитают умолчать и забыть. А может быть, просто бояться признать за деньгами, ценность которых люди искусственно устанавливают сами, массообразующий эффект, который далеко превосходит их изначальное предназначение и таит в себе нечто алогичное и бесконечно постыдное.

Остановимся на этом подробнее и сначала скажем кое-что о психологических свойствах самих денег. Деньги могут служить массовым символом; но в отличие от других символов, разобранных выше, в деньгах *единицы*, изумножения которых при определенных обстоятельствах возникает масса, подчеркнута обособлены. Каждая монета четко ограничена и имеет собственный вес, она опознается с первого же взгляда, она свободно переходит из рук в руки и непрерывно меняет свое соседство. Часто на ней отчеканен профиль властителя, по имени которого она и называется, особенно если это ценная монета. Были луидоры, талеры Марии-Терезии. Монета воспринимается как *ощутимая* личность. Рука, в которой она зажата, чувствует ее целиком, со всеми гранями и плоскостями. Человеку свойственна по отношению к ней своего рода нежность, ибо она может дать каждому, что он желает, и это наделяет ее личностным «характером». В одном отношении монета превосходит живое существо: металлическая плотность и твердость гарантирует «вечность» ее состава; ее ничем, кроме огня, не разрушить. Она не вырастает по величине: готовой выходит она из-под пресса и должна оставаться тем, что она есть; меняться ей нельзя.

Пожалуй, именно надежность монеты является самым важным ее свойством. Только от владельца зависит, сохранится она или нет: она не убежит, как животное, нужно только охранять ее от других людей. К ней не нужны «подходы», она всегда готова к обращению, у нее не бывает настроений, которые нужно брать в расчет. Положение каждой

монеты упрочивается в силу ее отношения к другим монетам иной стоимости. Строго соблюдаемая иерархия монет придает им еще больше личного. Можно говорить о социальной системе монет со свойственной ей сословной иерархией, которая в данном случае является стоимостной иерархией: за знатные монеты можно получить простые, за простые знатные — никогда.

Груда монет издавна у большинства народов считается *сокровищем*. Его воспринимают как целое, даже не зная еще, сколько в нем содержится; в этом заключается его сходство с массой. Им можно наслаждаться, перебирая монету за монетой. При этом их всегда оказывается меньше, чем ожидалось. Оно часто скрыто от людских глаз и является внезапно. Но не только тот, кто всю жизнь надеется найти сокровище, но и тот, кто им обладает, представляют себе дело так, будто оно растет, и старается сделать все возможное, чтобы оно росло и далее. Не подлежит сомнению, что люди, живущие только ради денег, воспринимают сокровище как замену человеческой массы. Об этом свидетельствует множество историй об одиноких скупцах: они выступают в роли сказочных драконов, сторожащих сокровище, что составляет единственный смысл и содержание их жизни.

Можно возразить, что такое отношение к монетам и сокровищам современному человеку уже не свойственно, что повсюду применяются бумажные деньги, что сокровища в невидимой и абстрактной форме содержатся в банках. Однако значимость *золотого покрытия* для надежной валюты, тот факт, что от золота по-прежнему не отказались, свидетельствуют, что сокровище никоим образом не утратило своей роли. Подавляющая часть населения, даже в самых развитых странах, получает почасовую оплату, и величина оплаты повсюду представляется в монетах. Бумажки все еще меняют на монеты; прежнее чувство, прежняя установка по отношению к монетам свойственна каждому; обмен денег как повседневный процесс — это один из простейших и распространеннейших механизмов нашей жизни, пользоваться которым умеет каждый ребенок.

Но все же верно, что, кроме этого традиционного, выработалось другое, современное отношение к деньгам. Монетная единица в любой стране имеет теперь более абстрактную стоимость. От этого она не перестала восприниматься как единица. Если раньше монетам было свойственно нечто вроде иерархической организации закрытого общества, то теперь при бумажных деньгах отношения единиц напоминают отношения людей в большом городе.

Из сокровища возник сегодня *миллион*. Это слово космополитического звучания, оно распространилось по всему современному миру и по отношению к любой валюте. В миллионе интересно то, что он возникает *скачкообразно* благодаря удачной спекуляции; он стоит перед глазами каждого, чье честолюбие направлено на деньги. Миллионеры окружены сиянием, свойственным старым сказочным королям. Как обозначение численности миллион применяется не только к деньгам, но и к людям. Этот двойственный характер слова особенно легко почувствовать в политических речах. *Сладострастие скачущих чисел* характерно, например, для речей Гитлера. Там оно относилось обычно к миллионам немцев, которые живут вне границ рейха и которых нужно освободить. После первых бескровных побед еще до начала войны Гитлер получал особое наслаждение от роста численности населения своей империи. Он сопоставлял ее с числом всех немцев, живущих на земле, и признавался, что его цель — заполучить их всех в сферу своего влияния. И всегда — угрожая, требуя, высказывая удовлетворение — он оперировал словом *миллион*. Другие политики применяют его чаще по отношению к деньгам. Несомненно, оно излучает какое-то особенное сияние. Абстрактное число от применения его к населению стран, а также гигантских городов, где жителей всегда считают в миллионах, обрело массовое содержание, какого не имеет сегодня ни одно другое число. Поскольку деньги связаны с тем же самым «миллионом», масса и деньги сегодня близки как никогда.

Что же происходит во время инфляции? Денежная единица внезапно теряет свой личностный характер. Она

превращается в растущую массу единиц, ценность которых тем ниже, чем больше масса. Миллионы, к которым раньше так стремились, теперь вот они — в руках, но они уже *не* миллионы, они только так *называются*. Как будто бы самый процесс скачкообразного роста лишил то, что растет, всякой ценности. Если валюта включилась в это движение, напоминающее бегство, то остановки не видать. Как бесконечно может расти *счет* денег, так бесконечно может падать их стоимость.

В этом процессе выражается свойство психологической массы, которое я считаю особенно и исключительно важным, — страсть к быстрому неограниченному росту. Однако здесь оно переходит в негатив: то, что растет, делается слабее и слабее. То, что прежде было одной маркой, теперь называется 10 000, потом 100 000, потом миллион. Отождествление отдельного человека с его маркой теперь невозможно. Она утратила свою твердость и границу, она в каждое мгновение что-то другое. Она уже *не* похожа на личность, у нее нет длительности. Она стоит все меньше и меньше. Человек, который раньше в нее верил, не может теперь не воспринимать ее унижение как свое собственное. Он слишком долго себя с ней отождествлял, доверие к ней было как доверие к самому себе. Из-за инфляции не только все вокруг начинает колебаться, становится ненадежным, ускользающим — сам человек делается *меньше*. Он сам, чем бы там он ни был, уже ничто — так же как миллион, к которому он всегда стремился, уже ничто. У *каждого* есть миллион. Но каждый — ничто. Процесс накопления сокровищ обратился в свою противоположность. Надежность денег исчезла как мыльный пузырь. Их не прибавляется, а, наоборот, убавляется, все сокровища исчезают. Инфляцию можно назвать ведьмовским шабашем обесценивания, где люди и денежная единица особенным образом сливаются друг с другом. Одно выступает вместо другого, человек чувствует себя так же плохо, как и деньги, которым становится все хуже; и все вместе люди обречены на эти дурные деньги, и так же все *вместе* чувствуют собственную неполноценность.

Во время инфляции, следовательно, происходит нечто неожиданное, непредвиденное и столь опасное, что вызывает ужас во всяком, кто чувствует ответственность за положение дел и способен различить возможные последствия: *двойное обесценивание*, следующее из двойного отождествления. *Человек* чувствует себя обесцененным, так как стала недееспособной единица, на которую он полагался и с которой себя отождествлял. *Масса* чувствует себя обесцененной, потому что обесценился *миллион*. Было показано, сколь двусмысленно употребление слова «миллион»: оно обозначает как большую сумму денег, так и большое собрание людей, особенно когда это относится к современному большому городу; один смысл постоянно переходит в другой и, наоборот, оба питаются друг от друга. Все массы, образующиеся в инфляционные времена — а именно тогда они образуются особенно часто, — испытывают давление этого обесцененного миллиона. Как мало значит отдельный человек, так же мало в это время значат и все вместе. Когда число миллионов растет, весь народ, который состоит из миллионов, превращается в ничто.

Этот процесс соединяет людей, чьи материальные интересы, вообще говоря, имеют между собой мало общего. Наемный рабочий страдает так же, как рантье. Последний за одну ночь может потерять все или почти все, что имеет, столь надежно, казалось бы, сохраняемое в банковских сейфах. Инфляция снимает различия, существующие от века, и сплавливает в единую инфляционную массу людей, которые в другие времена даже руки бы друг другу не подали.

Это ощущение внезапного обесценивания собственной личности не забудется никогда — настолько оно болезненно. Его носят в себе всю жизнь, если, конечно, не удастся перенести его на кого-то другого. Но и масса в целом не забывает своего обесценивания, в ней возникает естественная тенденция: люди, подвергшиеся обесцениванию, начинают искать кого-то, кто еще менее значим, чем они сами, кем они могли бы пренебречь, как пренебрегли ими сами-

ми. Мало присоединиться к этому пренебрежению там, где оно уже есть, сохраняя его на том уровне, как оно существовало ранее. Возникает потребность в динамическом процессе *унижения*: с объектом нужно обращаться так, чтобы он значил все меньше и меньше, как денежная единица во время инфляции, чтобы в конце концов свести его к полному ничтожеству. Потом его можно выбросить как старую бумагу или отдать в переработку.

Объектом для удовлетворения этой потребности во время инфляции в Германии Гитлер выбрал евреев. Они для этого словно были созданы: имеют дело с деньгами, хорошо разбираются в перемещениях денежных масс и колебаниях курсов, удачливые спекулянты, толпятся на биржах, где все их поведение и облик так резко контрастируют с армейским идеалом немцев. Во времена, когда деньги делали все вокруг сомнительным, неустойчивым, враждебным, именно эти черты евреев выглядели особенно сомнительными и враждебными. Отдельный еврей «плох». Почему? Потому что его денежные дела идут полным ходом, тогда как другие уже перестали что-либо понимать и предпочли бы вообще не иметь дела с деньгами. Если бы во время инфляции речь шла о процессах обесценивания в немцах *по отдельности*, достаточно было бы возбудить ненависть по отношению к конкретным евреям. Но в действительности немцы как *масса* чувствовали себя униженными крушением своих миллионов, и Гитлер, который это ясно понимал, стал действовать против евреев как таковых.

В отношении евреев национал-социализм в точности воспроизвел процесс инфляции. Сначала на них нападали, представляя их дурными и опасными людьми, приписывая им враждебные намерения; процесс обесценивания шел дальше; поскольку своих не хватало, стали собирать евреев из покоренных стран; в конце концов их буквально превратили в *саранчу*, которую можно безнаказанно истреблять миллионами. До сих пор еще не осознан полностью масштаб преступлений немцев, даже тех из них, кто не участво-

вал в этом сам, а безучастно наблюдал или просто не замечал происходящего. Вряд ли дело зашло бы так далеко, если бы несколькими годами раньше они не пережили инфляцию, при которой марка упала в несколько миллиардов раз. Именно эту инфляцию как массовый феномен они перенесли с себя на евреев.

СУЩНОСТЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ СИСТЕМЫ

В *двухпартийной системе* современного парламентаризма используется психологическая структура сражающихся армий. Эти армии и в самом деле мерялись силами в гражданской войне, хотя и без особого воодушевления. Своих ведь убивают неохотно, родовое чувство страдает от крови гражданской войны и обычно довольно быстро кладет ей конец. Но обе партии остаются и должны и дальше меряться силой. Вот они и сражаются, наложив запрет на убийство. Считается, что превосходящие силы в кровавой схватке должны победить. Главная забота любого полководца — быть сильнее там, где произойдет решающее сражение, иметь в этот момент и в этом месте больше людей, чем противник. Победоносный полководец тот, кому удастся иметь превосходство на большинстве важнейших участков, даже если в целом он слабее.

Парламентское голосование состоит не в чем ином, как в выяснении тут же, на месте соотношения сил обеих групп. Знать его заранее недостаточно. К одной партии могут принадлежать 360, к другой — 240 депутатов, но *голосование* все равно играет решающую роль как момент действительного *выяснения сил*. Это как бы пережиток кровавой стычки, которая разыгрывается и переживается на разные лады: угрозы, ругань, общее возбуждение, доходит иногда до драки и швыряния предметов. Однако подсчет голосов кладет битве конец. Ясно, что 360 человек над 240 все равно одержали бы победу. Масса мертвых во внимание не принимается. В парла-

менте не должно быть мертвых. Неприкосновенность депутатов ярче всего выражает эту идею. Депутаты неприкосновенны в двояком смысле: снаружи, по отношению к правительству и его органам, и внутри, по отношению к другим, таким же, как они, депутатам; на этот второй пункт обращают мало внимания.

Никто никогда на самом деле не верил, что точка зрения большинства, победившая при голосовании, одновременно и самая разумная. Здесь воля противостоит воле, как на войне; каждой из этих волей свойственна и убежденность в собственной правоте и собственной разумности, ее не надо доискиваться, она самоочевидна. Смысл партии состоит именно в том, чтобы поддерживать в боевом состоянии эти волю и убежденность. Противник, побежденный при голосовании, смиряется не потому, что разуверился в собственной правоте, — он просто побит. Но это не страшно, потому что с ним ничего не произошло. Он никак не отвечает за свои прежние враждебные действия. Если бы он испытывал страх за свою жизнь, то и реагировал бы совсем иначе. А он рассчитывает на будущие схватки. Конца им не предвидится, ни в одной из них ему не быть убитым.

Равенство депутатов, то, что делает их массой, заключается в их неприкосновенности. Здесь между партиями нет разницы. Парламентская система работает, пока гарантирована неприкосновенность. Она разваливается, если в ней появляется человек, способный принять в расчет смерть кого-либо из членов сообщества. Нет ничего опаснее, чем видеть мертвого среди этих живых. Война потому война, что в выяснении соотношения сил участвуют мертвые. Парламент постольку парламент, поскольку он исключает мертвых.

Инстинктивное отчуждение английского, например, парламента от своих собственных мертвых, даже от тех, что умерли мирно и вонне его стен, проявляется в системе *довыборов*. Кто унаследует место умершего, никогда не известно заранее. Автоматического замещения не происходит. Выставляются кандидатуры, разворачивается нормальная предвыборная борьба, происходят нормальные выборы. Умерший же

выбывает из парламента. У него здесь нет права распорядиться своим наследством. Умиравший депутат не может точно знать, кто станет его наследником. Смерть со всеми ее опасными последствиями действительно исключена из английского парламента.

Против такого понимания парламентской системы можно возразить, сказав, что, например, все континентальные парламента состоят из многих партий различной величины, что в них не всегда складываются две противоборствующие группы. Но в самой природе голосования это ничего не меняет. Оно всегда и повсюду — решающий момент. Оно определяет ход событий, и в нем всегда спорят *два числа*, большее из которых налагает обязательство на всех, кто участвует в голосовании. Повсюду парламента стоит на депутатской неприкосновенности или рушится вместе с нею.

Выборы депутатов имеют в принципе ту же природу, что и процессы внутри парламента. Лучшим среди кандидатов, победителем считается тот, кто доказал, что он сильнейший. Сильнейший же тот, кто собрал больше всего голосов. Если бы 17 562 человека, проголосовавшие за него, в качестве армии выступили бы против 13 204 человек, поддержавших его соперника, они должны были бы одержать победу. Здесь также не допускается смерти. Хотя неприкосновенность *избирателя* не так важна, как неприкосновенность *избирательного бюллетеня*, опускаемого им в урну для голосования и содержащего имя его избранника. Обработка избирателя почти всеми возможными средствами разрешается вплоть до момента, когда он принимает окончательное решение и вписывает в бюллетень имя своего кандидата. Над вражескими кандидатами издеваются, возбуждают по отношению к ним всеобщую ненависть. Избиратель может принять участие во многих выборах баталиях, изменчивость их судеб является для него, если он политически активен, сильнейшим возбудителем. Но момент, когда он действительно выбирает, почти священен, священны запечатанные урны, содержащие заполненные бюллетени, священен процесс подсчета голосов.

Праздничность всех этих мероприятий обусловлена отказом применять смерть как орудие принятия решений. Каждый поданный бюллетень здесь будто отодвигает смерть. То, на что она могла бы воздействовать, то есть сила противника, определяется числом поданных голосов. Если кто играет с числами, скрывает их или подделывает, тот, сам того не подозревая, выпускает смерть обратно. Любители решать вопросы силой, насмехающиеся над листками бюллетеней, выдают этим лишь собственные кровавые намерения. Бюллетени, как и договоры, для них просто клочки бумаги. Если они не омыты кровью, то ничего не стоят; для таких людей важны только те решения, при которых пролилась кровь.

Депутат — это концентрированный избиратель: те отдельные мгновения времени, когда избиратель существует как таковой, в депутате соединены вместе. Он служит для того, чтобы голосовать *часто*. Но и количество людей, среди которых он подает свой голос, гораздо меньше. Благодаря интенсивности здесь достигается тот уровень возбуждения, который избиратели испытывают в силу своей большой численности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ. СОЦИАЛИЗМ И ПРОИЗВОДСТВО

Проблема *справедливости* так же стара, как проблема *распределения*. Когда бы люди ни выходили вместе на охоту, потом вставал вопрос о разделе добычи. В стае они были вместе, при разделе выступали по отдельности. У людей не выработался общий желудок, который дал бы им возможность есть вместе, как единое существо. В ритуале причастия они подошли ближе всего к представлению об общем желудке. Это было недостаточно полное, но все же приближение к идеальному состоянию, потребность в котором ими ощущалась. *Отдельность* при поглощении пищи лежит в корне

ужасающего возрастания власти. Тот, кто ест один и для себя, должен один и для себя убивать. Кто убивает вместе с другими, должен делиться добычей.

С признания необходимости дележа начинается справедливость. Правило справедливости — это первый закон. Он и поныне остается важнейшим законом и в этом своем качестве — подлинным основанием всех движений, ориентирующихся на совместность человеческой деятельности и человеческого существования.

Справедливость требует, чтобы у каждого была еда. Но она же предполагает, что каждый внесет свою долю в обеспечение пищей. Огромное большинство людей занято производством различного рода благ. Но с их дележом дело обстоит неблагоприятно. Таково содержание социализма, сведенное к простейшей формуле.

Но как бы ни толковали способы распределения благ в современном мире, относительно предпосылки этой проблемы у сторонников и противников социализма нет разногласий. Эта предпосылка — *производство*. По обе стороны идеологического конфликта, расщепившего мир на две приблизительно равные по силе половины, производство всячески расширяется и поощряется. Производят ли для того, чтобы продавать или чтобы распределять, сам процесс производства не только не ставится под вопрос ни одной из этих сторон — он *почитается*, и это вовсе не преувеличение, когда говорят, что в глазах большинства сегодня производство священо.

Можно, конечно, спросить, откуда идет это благоговейное отношение. Может быть, в истории человечества удастся обнаружить точку, когда было санкционировано производство. Но, немного поразмыслив, понимаешь, что такой точки нет. Санкция производства уходит так далеко в прошлое, что всякой попытке локализовать ее исторически недостает масштабности и дальнозоркости.

Гордыня производства объясняется его происхождением от *приумножающей стаи*. Эту связь легко проглядеть, поскольку сейчас нет стай, которые на практике заняты при-

умножением. Появились гигантские массы, растущие буквально с каждым днем во всех центрах цивилизации. Но если учитывать, что конца этому росту не предвидится, что все большее число людей изготавливают все большее количество товаров, что к числу этих товаров относятся также живые звери и растения, что методы производства живых и безжизненных товаров почти ничем друг от друга не отличаются, то надо признать, что приумножающая стая оказалась самой богатой последствиями и последовательно реализовавшейся формой из всех, когда-либо выработанных человечеством. Ритуалы, нацеленные на приумножение, превратились в машины и технические процессы. Любая фабрика — единица, практикующая этот культ. Новое состоит в ускорении процесса. То, что раньше было выработкой и нагнетанием *ожидания* — дождя, зерна, приближения стад животных, на которые охотились, или приращения тех, которых разводили дома, — то сегодня превратилось в непосредственное изготовление. Нажимается пара кнопок, передвигается несколько рычагов, и то, что нужно, в любом виде выходит готовым через несколько часов или еще быстрее.

Стоит заметить, что тесная и строго определенная связь пролетариата и производства, ставшая общепризнанной примерно столетие назад, воспроизвела в чистейшем виде старое представление, лежавшее в основе приумножающей стаи. Пролетарии — это те, кто быстро приумножается, причем их становится больше двояким образом. Во-первых, они рожают больше детей, чем другие люди, и уже благодаря многочисленности потомства в них проявляется нечто массовидное. Их количество растет еще и другим способом: все больше людей стекается из сельских районов в места производства. Но точно такой же двойственный род приращения был свойствен, как вспоминается, и примитивной приумножающей стае. На ее празднества и церемонии стекалось множество людей, и так, во множестве, они осуществляли ритуалы, которые должны были обеспечить обильное потомство.

Когда было выработано и стало проводиться в действие понятие бесправного пролетариата, исходили из оптимистической перспективы возрастания. Никто даже на мгновение не предположил, что его может стать меньше, потому что ему плохо живется. Расчет был на производство. Благодаря его росту должно увеличиваться и число пролетариев. Продукция, которую они обеспечивают, должна служить им самим. Пролетариат и производство должны расти вместе. Здесь точно та же неразрывная взаимосвязь, которая просматривается и в действиях примитивных приумножающих стай. Нужно, чтобы больше стало самих людей, и тогда должно будет увеличиться все, чем живут люди. Одно неотрывно от другого и так тесно обусловлено другим, что иногда даже непонятно, *чего* должно стать больше сначала.

Было показано, что благодаря превращению в животных, которые собираются вместе в больших количествах, человек обретал мощное чувство приумножения. Можно сказать, что он *научился* этому чувству у животных. У человека перед глазами были стаи рыб и насекомых, гигантские стада копытных, и, если он так хорошо подражал им в своих танцах, что становился ими, чувствовал себя ими, если ему удавалось некоторые из этих превращений заложить в основу тотема и передать как священную традицию своим потомкам, то тем самым передавалось дальше и стремление к приумножению, превосходящее естественную предрасположенность человека.

Точно таково же и отношение современного человека к производству. Машины могут произвести больше, чем кто-либо раньше мог себе представить. Возможности приумножения благодаря им возросли до невероятных масштабов. Поскольку речь идет скорее о предметах, чем о живых существах, число их увеличивается по мере роста потребностей человека. Становится все больше вещей, которым он находит применение, в ходе их применения возникают новые потребности. Этот аспект производства — неостановимое размножение как таковое во всех возможных направлениях — больше

всего бросается в глаза в «капиталистических» странах. В странах, где на первое место выставляется «пролетариат» и где не разрешается большое скопление капиталов в руках отдельных лиц, проблемы всеобщего *распределения* теоретически столь же значимы, сколь и проблемы *приумножения*.

САМОУНИЧТОЖЕНИЕ КОЗОВ

Однажды утром в мае 1856 г. девочка из племени *козов* пошла за водой на речку, протекающую поблизости от ее дома. По возвращении она рассказала, что видела у реки странных людей, каких раньше никогда не встречала. Ее дядя по имени Умлаказа пошел посмотреть на пришельцев и обнаружил их в указанном месте. Они сказали, чтобы он шел домой и произвел определенные ритуалы; после этого пусть принесет быка в жертву духам мертвых и на четвертый день придет сюда же. В их виде было нечто, заставляющее подчиниться, и Умлаказа сделал, что было предписано. На четвертый день он пошел к реке. Странные люди снова были на месте, с удивлением он увидел среди них своего брата, умершего много лет назад. Тут он узнал, кто они такие и зачем явились. Извечные враги белого человека, как ему было объяснено, они пришли с полей битв, лежащих по ту сторону моря, чтобы помочь козам: благодаря их непреодолимой силе англичане будут изгнаны из страны. Умлаказа должен стать посредником между ними и вождями племени, он будет получать указания для дальнейшей передачи. Ибо если предложенная помощь будет принята, случатся удивительные вещи, удивительнее всего, что когда-либо случалось. А первым делом он должен сказать козам, что они должны прекратить колдовать друг против друга, а также должны забить и съесть самую жирную скотину.

Весть об установлении контактов с миром духов быстро разнеслась среди козов. Крели, верховный вождь племени,

встретил послание с радостью (говорят также, не заботясь, впрочем, о доказательствах, что сам он и был подлинным инициатором всего плана). Было решено подчиниться приказу духов забить и съесть лучшую скотину. Часть племени находилась под британским правлением, к ее вождям были посланы представители — рассказать о случившемся и просить присоединиться. В кланах козов закипела работа. Большинство вождей начали забой скота. Только один из них, по имени Зандиле, очень осторожный человек, колебался. Английский верховный комиссар велел сообщить Крели, что на своей территории он может делать все, что хочет, но если он не прекратит подбивать британских подданных уничтожать свое имущество, то будет наказан. Угроза Крели не беспокоила — он верил, что вот-вот придет время, когда наказывать будет *он*.

Откровения, приходящие через пророков, набирали силу. Девочка, стоя посреди реки в окружении огромной толпы верующих, воспринимала особенные подземные звуки. Ее дядя, пророк, объяснял, что это голоса духов, которые собрались на совет о делах людей. Требование забивать скот было исполнено, но духи оказались ненасытными. Сколько скота ни забивали, все было мало. Из месяца в месяц безумие росло, захватывая новые жертвы. Через некоторое время сдался даже осторожный Зандиле. Его принудил к этому брат, который своими глазами видел двух умерших советников их отца, лично с ними разговаривал, и они велели Зандиле забить принадлежащий ему скот, если он не хочет погибнуть вместе с белыми людьми.

Но вот поступило последнее указание пророка. Его выполнение означало завершение подготовки козов ко дню, когда при помощи армии духов они обретут небывалое счастье. Все стада до последнего животного должны быть забиты, зерно в хранилищах уничтожено. Приказ сопровождался демонстрацией картины великолепного будущего. В назначенный день стада в тысячи и тысячи голов, прекрас-

нее, чем те, которые пришлось забить, возникнут из земли и разбредутся по лугам. Огромные поля овса, зрелого и готового к употреблению, в один миг пробьются из почвы. В этот день восстанут умершие герои, вожди и мудрецы и будут радоваться вместе с живыми. Заботы и болезни исчезнут, так же как и старческие немощи. Восставшие из мертвых и больные среди живущих будут вознаграждены молодостью и красотой. Ужасной, однако, будет судьба тех, кто противился воле духов или пренебрегал их указаниями. День, что принесет радость верующим, для них станет днем муки и гибели. Небо обрушится на землю и уничтожит их вместе с белыми и полукровками.

Миссионеры и агенты правительства напрасно старались остановить безумие. Козы стали как одержимые и не терпели ни возражения, ни сопротивления. Белым, которые пробовали вмешаться, адресовались угрозы, те всерьез стали опасаться за свою жизнь. Некоторые из вождей увидели в этом хорошую возможность для начала войны. Они хотели бросить на колонию все хорошо вооруженное и голодное племя. Они были слишком возбуждены, чтобы понимать ужасную опасность подобного предприятия, практически обреченного на неудачу.

Некоторые не верили ни в предсказания пророков, ни в возможный успех войны, но и они уничтожили свои запасы до последнего зернышка. К ним принадлежал дядя верховного вождя Крели. «Таков приказ вождя», — говорил он, а потом, когда есть стало нечего, старик и его любимая жена сели в пустом краале и умерли. Даже главный советник Крели возражал против чудовищного плана, пока не понял, что слова бесполезны. Сказав, что все, что он имеет, принадлежит вождю, он приказал уничтожить скот и зерно и убежал, как безумный. Тысячи козов действовали против собственного убеждения. Вождь приказывал — они подчинялись.

В первые месяцы 1857 г. по всей стране развернулась новая необычная деятельность. Готовились огромные краали для приема скота, который скоро должен был явиться в

небывалых количествах. Изготавливались огромные кожаные емкости для молока, которого скоро станет столько же, сколько воды. Во время этой работы многие голодали. К востоку от реки Кей приказ пророка был выполнен в точности, но все равно день воскрешения пришлось отодвинуть. В области, принадлежащей вождю Зандиле, приступившему к делу позже других, не закончили забой скота. Одна часть племена уже голодала, тогда как другая только приступала к уничтожению продуктов.

Правительство предпринимало все возможное для охраны границы. Посты были усилены, на границу ушли все имеющиеся в распоряжении солдаты. Колонисты тоже готовились отразить удар. Приняв необходимые оборонительные меры, стали думать, как спасти голодающих.

Наконец настал долгожданный день. Всю ночь козы бодствовали в состоянии необычайного возбуждения. Они ждали. Над холмами на востоке должны были взойти два кроваво-красных солнца, после чего небо рухнет на землю и раздавит врагов. Едва живые от голода, они провели ночь в дикой радости. Но взошло, как обычно, только одно солнце. Их сердца дрогнули. Они не сразу потеряли надежду: может быть, имелся в виду полдень, когда солнце стоит наиболее высоко. Когда и в полдень ничего не произошло, они стали ждать заката. Солнце зашло, все кончилось.

Воины, которые должны были обрушиться на колонию, из-за непонятной ошибки не сумели собраться вместе. А теперь было поздно. Попытки перенести день воскрешения уже ничего не могли изменить. Радость и возбуждение сменились глубочайшим отчаянием. Не грозными мстителями, а голодными и нищими оборванцами козы устремились к колонии. Брат дрался с братом, отец с сыном за клочки кожи от огромных емкостей для молока, старательно приготавливавшихся в дни высшей надежды. Больных, старых и слабых бросали на произвол судьбы. Все, что растет, вплоть до древесных корней, вытаскивалось и съедалось. Те, кто жил ближе к побережью, пытались есть моллюсков, но, будучи

непривычными к этой пище, заболели дизентерией и умирали. В некоторых местах люди сидели и умирали целыми семьями. Позже под одним деревом находили по пятнадцать — двадцать скелетов — родителей, умерших со своими детьми. Неостановимый поток голодающих залил колонию: в большинстве это были молодые мужчины и женщины, но иногда отцы и матери с полумертвыми детьми за спиной. Они садились на корточки перед домами фермеров и жалобно просили пищи.

В течение 1857 г. население британской части земли козов сократилось со 105 до 37 тысяч человек. 68 тысяч погибли. При этом жизнь многих тысяч была спасена благодаря запасам зерна, заложенным правительством. В свободной части, где не было таких запасов, умерло относительно больше людей. Мощь племени козов была сломлена полностью.

Не случайно изложению этих событий отведено довольно много места. Может возникнуть подозрение, что вся история выдумана кем-то, кто хотел отчетливо изобразить протекание процессов в массе, его закономерный и точный характер. Но все это произошло на самом деле в 50-е годы прошлого столетия, следовательно, в не очень отдаленном прошлом. Имеются сообщения очевидцев, и каждый может с ними ознакомиться.

Попытаемся вычленить в изложенном некоторые важнейшие моменты.

Прежде всего бросается в глаза, насколько *живы* мертвецы козов. Они принимают деятельное участие в судьбах живущих. Они находят пути и средства войти с ними в контакт. Они обещают им военную помощь. В качестве армии, то есть как *масса мертвых воинов*, они собираются присоединиться к войску живых козов. Подкрепление представляется точно таким же, как если бы речь шла о союзе с другим племенем. На самом деле это союз с племенем собственных мертвых.

Когда обещанный день придет, все вдруг сразу станут *равными*. Старики станут молодыми, больные — здоровы-

ми, озабоченные — беззаботными, мертвые станут в числе живых. Шагом в сторону всеобщего равенства было уже прекращение колдовства друг против друга, чего требовал первый приказ духов. Такие враждебные действия сильнее всего нарушают единство и равномерность жизни племени. В назначенный великий день масса племени, которая сама по себе слишком слаба для победы над врагом, резким скачком прирастет за счет массы всех его мертвых.

Было предопределено даже направление, в котором предстояло течь массе: она устремится к колонии белых, под чьим владычеством частично находится. Мощь ее, благодаря подкреплению духов, станет неодолимой.

Желания духов, впрочем, те же, что у живых людей: они любят мясо и хотят, чтобы им жертвовали скот. Предполагается, что они с удовольствием едят зерно, которое уничтожают живые. Сначала жертвования носят единичный характер как знаки уважения и благоговения. Затем их число возрастает: мертвые хотят больше и больше. Стремление приумножить собственный скот и собственное зерно превращается в стремление приумножить их в пользу мертвых. Теперь становится больше *забитого* скота и *уничтоженного* зерна, ибо они переходят в скот и зерно для мертвых. Динамическое влечение массы к скачкообразному, безоглядному и слепому росту, когда все приносится в жертву ради этой единственной цели, — такое влечение, всегда проявляющееся там, где формируется масса живых людей, поддается *переносу*. *Охотники* переносят его на *диких животных*, которых никогда не довольно: разнообразными ритуалами они стараются ускорить их приумножение. *Скотоводы* переносят его на *скот*; они все делают для того, чтобы стада росли, и благодаря их практической сметке постоянно возникают действительно большие и даже огромные стада. *Земледельцы* переносят то же самое влечение на продукты своего труда. *Зерно* прирастает сразу тридцати- или даже стократно, и закрома, где оно собрано на всеобщее обозрение и удивление, свидетельствуют об удавшемся скачкообразном при-

умножении. Они вложили в это столько труда, что в результате переноса чувства массы скота или зерна рождается нечто вроде нового самоощущения, и им даже начинает иногда казаться, что все это они совершили сами, в одиночку.

Во время самоуничтожения козов все тенденции приумножения, что у них имелись в отношении людей, скота, зерна, оказались связанными с их представлением о *мертвых*. Чтобы отомстить белым, все более подчиняющим себе их страну, чтобы победить после стольких поражений, требовалось одно — воскресить мертвых воинов. Если бы они восстали необозримыми толпами, можно было бы уверенно начинать войну. Вместе с мертвыми явились бы скот и овес мертвых в количествах, намного превосходящих те, что были направлены туда живыми: весь скот и весь овес, что были накоплены мертвыми с незапамятных времен.

Забиваемый скот и уничтожаемое зерно выполняли функцию массовых кристаллов, вокруг которых концентрировались бы весь скот и все зерно, имеющиеся у мертвых. В иные времена для тех же целей наверняка принесли бы человеческие жертвы. Но зато в назначенный великий день луга должны были наполниться новыми огромными стадами, а на полях заколосился бы зрелый, готовый в пищу овес.

Следовательно, мероприятие было рассчитано на возвращение мертвых со всем, что необходимо для жизни. На осуществление этого грандиозного замысла было брошено все. Веру подкрепляли посланники из того мира, которые были *узнаны*. Брат пророка, двое советников прежнего, умершего верховного вождя были гарантами соглашения, заключенного с мертвыми. Противники и колеблющиеся разрушали массу, лишая ее необходимого единства. Поэтому их уравняли с врагами — вместе с врагами они должны были погибнуть.

Размышляя о катастрофическом исходе событий, когда обетованный день не пришел, не явились ни овес, ни стада, ни мертвые души, с позиций веры козов можно было бы сказать, что мертвые их обманули. Они вовсе и не собирались

выполнять соглашение, их интерес был не в том, чтобы победить белых, — они заботились только о собственном приращении. Благодаря лукавым заверениям они сначала перетянули к себе скот и запасы зерна живущих, а потом за ними последовали умершие с голоду люди. Так что мертвые в конце концов победили, хотя и другим способом и в другой войне — их *масса стала больше*.

Особую роль в поведении козов играет также *приказ*. Он стоит несколько изолированно и имеет вполне самостоятельное значение. Мертвым, которые отдают приказ, требуется посредник для его дальнейшей передачи. Иными словами, они вполне признают земную иерархию. Пророк должен обратиться к вождю и подвигнуть того принять приказ духов. Когда Крели, верховный вождь, согласился с планом, предложенным духами, все дальнейшее приобрело черты нормального исполнения приказа. Были направлены гонцы во все кланы козов, даже в те, что стояли под «неправильным», то есть английским, правлением. Даже неверующие, долго противившиеся исполнению плана, в их числе дядя Крели и его главный советник, в конце концов подчинились приказу вождя, ясно заявив, что это единственная причина их подчинения.

Но еще любопытнее все выглядит, если обратить внимание на *содержание* приказа. Речь идет, по сути, о *забое* скота, то есть об *убийстве*. Чем настойчивее повторяется приказ, чем более широким и массовым мыслится его применение, тем яснее становится, что дело идет к войне. С точки зрения приказа скот рассматривается как *враг*. Скот — это и враг, и вражеский скот, точно так же, как зерно, которое надо уничтожить, — это вражеское зерно. Война начинается в собственной стране, как будто это уже вражеская страна; приказ, таким образом, возвращается к своей изначальной форме, когда он был еще *смертным приговором*, инстинктивным смертным приговором одного рода другому.

Над всеми животными, которые содержатся человеком, висит его смертный приговор. Приведение его в исполне-

ние иногда — часто даже надолго — *откладывается*, но помилования не бывает. Так человек собственную смерть, о которой он прекрасно знает, безнаказанно перекладывает на своих животных. Отрезок жизни, который он им предоставляет, похож в чем-то на его собственный, разве что в их случае *он* заботится о том, когда должен прийти конец. Он легче переносит их смерть, если их у него много, и скот из стада на убой можно брать поодиночке. Обе цели — приумножение стад и убийство отдельных животных, которые ему нужны, — тогда удачно соединяются. В этом образе — в образе пастуха и скотовода — он могущественнее, чем любой охотник. Его животные собраны вместе, и им не уйти. Длительность их жизни в его руках. Он не зависит от случая, который они ему предоставят, и не должен убивать на месте. Из *силы* охотника рождается *власть* пастуха.

Так что приказ, отданный козам, сконцентрировал в себе суть приказа как такового: исполнение смертного приговора их скоту должно предшествовать истреблению их врагов, как будто скот и враги, в сущности, одно и то же; они и есть одно и то же.

Надо отметить, что приказ к убийству исходит от самих мертвых, будто в этом деле им принадлежит высший авторитет. В конце концов они все переправляют к себе. Среди них находятся и те, кто раньше отдавал приказы, — поколение вождей. Уважение к ним велико, оно было бы так же велико, если бы они не мертвыми, а живыми вдруг стали среди живых. Но нельзя избавиться от ощущения, что их власть возросла с их смертью. То, что они дали проку себя увидеть, что они вообще явились и говорили с ним, превращает прежнее уважение в некое сверхъестественное благоговение: они сумели обойти смерть и остаться столь впечатляюще *деятельными*. *Обойти* смерть, *уклониться* от нее — это древнейшее и упорнейшее стремление всех властителей. В этой связи есть смысл добавить, что вождь Крели на много лет пережил голодную смерть своего народа.

ВНУТРЕННОСТИ ВЛАСТИ

ХВАТАНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ

Психология хватания и поглощения, как и психология еды вообще, еще совершенно не исследована; нам все здесь кажется самоочевидно ясным. Здесь происходят многие загадочные процессы, о которых мы даже не задумываемся. Еда — это самое древнее в людях, и даже то, что многое в этих процессах объединяет нас с животными, до сих пор не вызывает в нас любопытства.

Приближение одного существа к другому, относительно которого оно питает враждебные замыслы, воплощается в ряде действий, каждое из которых имеет особенное традиционное значение. Например, *выслеживание* добычи: она оказывается преследуемой задолго до того, как осознает наш замысел. Ее наблюдают, рассматривают, изучают с особым удовлетворением: она воспринимается как мясо, хотя еще жива, и это разглядывание столь интенсивно и необратимо, что схватывание становится просто неизбежным. Ходящий вокруг добычи знает, что она ему уже принадлежит; с момента, как она определена в добычу, в воображении она уже съедена.

Выслеживание — это особый захватывающий процесс, оно может иметь свой отдельный от всего прочего смысл. Иногда оно искусственно продлевается, потом начинает существовать само по себе, независимо от добычи, которую сулит. Но выслеживанию и преследованию человек предается небезнаказанно. Иногда ему приходится пережить то

же самое на собственной шкуре; для него это переживание сильнее, чем для животного, ибо, обладая большим разумом, он чувствует больше опасностей и сильнее страдает, становясь объектом преследования.

Не всегда человек столь силен, что может прямо схватить добычу. Преследование — по-своему точная и требующая больших познаний наука — порождает сложнейшие ситуации. Часто человек прибегает к превращению, составляющему его природный дар, и изображает себя животным, за которым охотится. Он играет так хорошо, что ему верят. Этот способ приближения к дичи можно назвать спекуляцией на доверии. Человек говорит животному: «Я — такой же, как ты. Я — это ты. Дай подойти поближе».

За подкрадыванием и прыжком, о которых речь пойдет в другой связи, следует первое *прикосновение*. Это, пожалуй, самый страшный для жертвы момент. Палец осязает то, что скоро будет принадлежать всему телу. Схватывание другими органами чувств — зрением, слухом, обонянием — далеко не так опасно: между охотником и жертвой остается пустое пространство; пока оно существует, есть возможность спастись, все еще не решено окончательно. Осязание же — предвестник ощущения вкуса. Ведьма в сказке тыкала пальцем, чтобы проверить, достаточно ли жирна жертва.

В момент прикосновения конкретизируется намерение одного тела в отношении другого. Даже в высочайших формах жизни это мгновение воспринимается как решающее. Прикосновение будит наши древние страхи, мы мечтаем о прикосновении, его описывают поэты, а цивилизованная жизнь вообще есть не что иное, как усилие его избежать. Продолжится ли сопротивление с этого момента или вовсе прекратится, зависит от соотношения сил касающегося и касаемого, точнее, от представления касаемого о соотношении сил. Чаще всего он пытается спасти свою шкуру, но против силы, которая кажется ему подавляющей, предпринять ничего невозможно. Бесповоротное прикосновение, когда любое сопротивление представляется немислимым,

в нашей социальной жизни воплотилось в *аресте*. Тот, кто уполномочен произвести арест, кладет руку на плечо, и человек сдается, даже не будучи, собственно, схваченным. Он сгибается и идет, куда его ведут, готовый ко всему, что последует, хотя это совсем не означает, что он воспримет дальнейшее спокойно и доверчиво.

Следующая ступень приближения — *хватание*. Пальцы руки образуют покое пространство, в которое зажимают часть жертвы. Строение и органический состав добычи никакой роли при этом не играют. Теперь уже все равно, будет она поранена или нет. Часть ее тела должна быть зажата в образовавшемся пространстве как залог целого. Полость согнутой ладони здесь — преддверие пасти или желудка, который окончательно поглотит добычу. У многих животных не рука и не когти, а именно вооруженная пасть предназначена для хватания. У людей рука, которая уже не отпускает добычу, превратилась в наглядный образ власти. «Он у него в руках». «Все в наших руках». «Все в длани Господней». Подобные выражения распространены и привычны на всех языках.

При хватании важно производимое рукой *давление*. Пальцы сжимаются вокруг захваченного, покое пространство, куда оно втиснуто, сужается. Оно должно ощущаться всей внутренней поверхностью ладони и как можно сильнее. Прикосновение сначала легкое и мягкое, идущее вширь, затем оно усиливается и концентрируется, пока часть добычи не зажимается со всей доступной силой. Это сдавливание напоминает разрывание когтями, которое еще практиковалось в древних культах, но считалось свойственным животным. При необходимости человек издавна использовал зубы.

Давление может расти вплоть до *раздавливания*. Как сильно давить, действительно ли раздавливать — это зависит от того, насколько опасен противник. Если борьба обещает стать жестокой, если противник представляет реальную угрозу, если он разъярен или даже ранен, то лучше обезопасить себя и сдавить сильнее, чем, по сути дела, нужно.

Но еще больше, чем опасность или ярость, к раздавливанию побуждает пренебрежение. Нечто микроскопиче-

ское, к чему нельзя отнестись серьезно — *насекомое*, — раздавливают потому, что человек иначе не определит, сумел ли с ним разделаться. Человеческая рука не может образовать для этого достаточно узкую полость. Однако кроме того что человек хочет покончить с мучителем, да еще и знать, точно ли с ним покончено, такое поведение по отношению к мухе или блохе демонстрирует кое-что еще: пренебрежение к абсолютно беззащитному существу, стоящему в совсем ином порядке сил и величин, существу, с которым нас ничто не связывает, с которым мы никогда не сравнимся, которого никогда не побоимся, разве что оно вдруг возникнет в гигантской массе. Уничтожение этих мельчайших созданий — единственный акт насилия, который даже *в нас* остается совершенно безнаказанным. Их кровь не падет на нашу голову, она не напомнит нам о нашей собственной. Мы не заглянем в их угасающие глаза. Мы их не едим. По крайней мере у нас, на Западе, они не включались во все растущий, хотя и не особенно эффективный круг очеловечивания. Другими словами, они вне закона и могут быть безнаказанно убиты. Когда я говорю кому-то: «Я раздавлю тебя голыми руками», — то выражаю этим глубочайшее презрение и пренебрежение. Я как бы говорю: «Ты насекомое. Ты для меня ничего не значишь. Ты ни для кого ничего не значишь. Тебя можно безнаказанно уничтожить. Никто этого не заметит. Никто об этом не вспомнит. И я тоже».

Высшая степень уничтожения давлением — *размалывание*. Рука к этому уже не способна, она слишком мягкая. Оно требует огромного механического перевеса, жесткого низа и жесткого верха, между которыми и происходит размалывание. То, чего не может сделать рука, делают зубы. Вообще же, когда речь идет о размалывании, никто уже не думает о живом: процесс как таковой отодвигается в область неорганического. По-настоящему это слово должно употребляться в связи с природными катастрофами: огромные скалы, обрушиваясь, размалывают в прах множество мелких существ. Это слово так же часто употребляется в переносном

смысле, хотя и не совсем всерьез. В нем передается ощущение разрушительной силы, свойственной скорее не человеку, а его орудиям. В размалывании есть нечто вещественное, одно лишь тело в своих внешних проявлениях к нему не способно и великодушно от него отказывается. Самое жесткое, на что оно способно, это «железная» хватка.

Примечательно, каким уважением пользуется *хватка*. Функции руки так многообразны, что не удивляешься множеству связанных с ней языковых оборотов. Но подлинный ореол ей придает хватка — главное и прославленное свойство власти. Высочайший ранг таких слов, как «схвачен», «схвачено», свидетельствует об этом убедительнейшим образом. Они выражают нечто решенное и окончательное, сочетающееся с силой, не поддающейся никаким воздействиям. «Схваченный» схвачен какой-то гигантской рукой, он в ее власти и даже не делает попытки себя защитить, хотя намерений ее знать не может.

Так что ясно, почему решающий акт власти всегда локализуется там, где он наиболее выразителен, а именно в *схватывании*. С этим связан суеверный страх, с каким относятся люди к хищным кошкам — тиграм и львам. Они — величайшие схватыватели; собственно, только в этом и состоит их функция. Все остальное — выслеживание, прыжок, подавление сопротивления, раздирающее — как бы части одного процесса. Мощь и неумолимая последовательность его осуществления, вытекающие из несомненного превосходства нападающего, который уверен, что любая добыча ему по плечу, — вот это и вызывает суеверный страх и благоговение. С какой позиции ни посмотреть, мы имеем дело с властью высочайшей степени концентрации. В этой своей форме она производит на людей неизгладимое впечатление — все короли охотно видят себя львами. Восхищает сам акт схватывания, его успех. И всюду как отвага и доблесть превозносится то, что основано, в сущности, на превосходящей силе.

Льву нет необходимости во что-то *превращаться*, чтобы обеспечить себя добычей, — он добывает в своем *собствен-*

ном обличье. Прежде чем приступить к охоте, он объявляет о себе рыком — он единственный обнаруживает свои намерения, громогласно возвещая о них всем и каждому. Он никогда не притворяется, а потому внушает еще больший ужас. Власть в своей сердцевине и власть на своей вершине чуждается превращения. Тут она удовлетворяет сама себя, она желает только себя. В этой форме она больше всего бросается людям в глаза: абсолютная и безответственная, она не существует ни для чего и ни для кого, а только для самой себя. Она вызывает в них больше всего благоговения, когда выступает именно в этой форме; и до сих пор ничто не в состоянии помешать ей появляться вновь и вновь именно таким образом.

Но есть еще и второй аспект власти, хотя и не столь впечатляющий, но наверняка не менее важный. Зачарованные великолепием схватывания, люди иногда забывают о том, что происходит параллельно: больше власти у того, кто *не дает себя схватить*.

Все свободные пространства, которые создает вокруг себя властитель, служат именно этой второй цели. Любой человек, даже самый незначительный, стремится не дать никому приблизиться слишком вплотную. Какая бы ни устанавливалась между людьми форма совместной жизни, она обязательно выразится в дистанциях, снимающих постоянную боязнь быть схваченным. Необычайная симметрия, бросающаяся в глаза в некоторых древних цивилизациях, происходит из того, что человек там создает вокруг себя со всех сторон равномерные дистанции. Властитель, от чьего существования зависит существование других, откладывает между собой и другими самую большую и самую непреодолимую дистанцию; именно благодаря ей, а не только своему блеску, он — Солнце или, как у китайцев, еще отдаленнее — небо. Доступ к нему труден, вокруг него строятся дворцы со множеством залов. Каждые ворота, каждая дверь под неусыпной охраной, проникнуть в них вопреки его воле невозможно. Он из своего безопасного отдаления может

велеть схватить каждого, кого захочет. Но как схватить его, стократ отдаленного и отделенного?

Настоящее *усвоение* добытого начинается во рту. Это изначальный путь всего, что может быть усвоено, — из руки в рот. У некоторых тварей, не имевших рук для хватания, для этого предназначался сам рот, его зубы или предвещающий их клюв.

Главнейшим инструментом власти, которым снабжен человек, а также многие животные, являются *зубы*. Их выстроенность в ряд, блеск и сверкание выделяют их из всего прочего, что принадлежит телу и употребляется в действие. Их можно назвать вообще самым первым *строем* из всех известных: это строй, таящий в себе угрозу, которая выражена если и не всегда, то всегда, когда рот открыт, а значит, очень часто. Материал зубов отличается от других видимых частей тела; если бы человек имел только два зуба, это производило бы большее впечатление. Зубы гладкие, твердые, не уступают давлению, сжимаясь, они не меняют объема. Они будто вставленные отполированные камни.

Человек очень рано начал использовать камни в качестве орудий и инструментов, но прошло много времени, прежде чем он научился полировать их так, что они сравнялись по гладкости с зубами. Весьма возможно, что в этих попытках улучшения орудий в качестве образца ему служили зубы. С давних пор он использовал зубы больших животных. Они добывались с опасностью для жизни, и часть силы животного, грозившего ему этими зубами, с его точки зрения, в них сохранялась. Они служили трофеями и талисманами: он себя ими обвешивал, чтобы внушать другим страх, который эти зубы внушали когда-то ему самому. Он гордился шрамами от этих зубов на собственном теле — это были знаки доблести, столь высоко ценимые, что позже их наносили искусственным образом.

Так сильно и многообразно воздействие зубов на человека — зубов других, больших зверей и своих собственных. По своей природе они — нечто среднее между прирожден-

ной частью тела и орудием. То, что они могут выпасть или быть выбитыми, еще больше сближает их с орудием.

Гладкость и *строй* как очевидные свойства зубов перешли в сущность власти вообще. Они стали неотъемлемы от власти, и это первые качества, отчетливо проявляющиеся в любой ее форме. Все началось с примитивных орудий, но по мере роста власти гладкость и строй переросли свое первоначальное качество. Скачок от камня к металлу был решающим в возрастании гладкости. Как бы сильно ни шлифовался камень, все равно меч — сначала бронзовый, потом железный — еще глаже. Металл может быть глаже, чем все остальное, — вот что в нем привлекает и подкупает. В машинах и инструментах современного мира гладкость неизмеримо выросла, она превратилась в гладкость функции вообще. В языке это выражается напрямую, когда говорят: все идет гладко, работает гладко. Это означает, что человек полностью и беспрепятственно контролирует процесс, о каком бы процессе ни шла речь. Мания гладкости в современной жизни распространилась даже на такие сферы, где раньше гладкости избегали. Дома и сооружения раньше изукрашивались, как тела и части тел. Украшения менялись, но не исчезали, даже когда их символический смысл был давно потерян. Теперь же гладкость захватила дома, стены, ограды, предметы, устанавливаемые в домах: орнамент и украшения забыты, ибо свидетельствуют о дурном вкусе. Все говорит о функциональности, ясности, полезности, но в действительности торжествует *гладкость* и скрыто содержащийся в ней престиж власти.

Этот пример из современной архитектуры показывает, как трудно разделить гладкость и строй. У них древняя общая история, такая же древняя, как зубы. Равенство всего ряда зубов, четкость промежутков, отделяющих их друг от друга, были образцом для многих форм строевого порядка. Может быть, именно отсюда ведут начало разного рода упорядоченные группы, которые нынче считаются чем-то само собой разумеющимся. Строй воинских подразделений, со-

здаваемых самими людьми, легенда связывает с зубами. Солдаты Кадма, возникшие из-под земли, были не чем иным, как посеянными зубами дракона.

Имеются, конечно, и другие формы упорядочения, которые человек сначала обнаруживал в природе, например, в злаках или в деревьях. Но он не находил их в себе самом, как зубы; они не были так прямо и постоянно связаны с приемом пищи; кроме того, они не были так удобны. Именно их функция в качестве органов кусания так настойчиво навязывала человеку идею строя. Выпадение некоторых из них и связанные с этим болезненные последствия заставляли задуматься о важности строя.

Зубы — это вооруженные охранники *рта*. В пространстве рта тесно — это прообраз всех *тюрем*. Кто попал внутрь, тот пропал; некоторые попадают туда живыми. Многие животные убивают добычу лишь в пасти, некоторые даже еще не там. Готовность, с какой рот или пасть открывается, если уже не был открыт во время преследования, и окончательность, с какой он захлопывается и остается закрытым, напоминает самые страшные главные качества тюрьмы. Вряд ли можно ошибиться, предположив, что смутный образ пасти воздействовал на организацию тюрем. Для ранних людей существовали, конечно, не только киты, в пасти которых им было достаточно места. Там ничто не может вырасти, даже если есть время для обживания. Посевы там сохнут и гибнут. Когда пасти и драконы были, так сказать, истреблены, им нашлась символическая замена — тюрьмы. Раньше, когда они были только пыточными камерами, сходство с пастью можно было проследить вплоть до мельчайших деталей. Ад выглядит так же и по сию пору. Настоящие тюрьмы, напротив, стали выглядеть весьма пуритански: гладкость зубов завоевала мир, по-настоящему гладки стены камеры, нарушенные лишь маленьким окошечком для света. Свобода для заключенного — это все, что по ту сторону плотно сжатых зубов, которые замещают голые стены камеры.

Узкая *глотка*, в которую затем должна уйти добыча, для еще живого — последний и отчаянный ужас. Человеческую

фантазию всегда занимали эти этапы поглощения. Разверстые пасти огромных бестий преследовали человека в снах и мифах. Путешествия в преисподнюю их глоток были не менее важны, чем путешествия в заморские страны, и, конечно, столь же опасны. Кого-то, уже лишившегося надежды, удавалось вытащить живым, и шрамы от ужасных зубов он носил всю оставшуюся жизнь.

Жертве предстоит долгий путь по телу. Здесь она высасывается, все, что в ней есть полезного, извлекается. Остаются отбросы и вонь.

Этот процесс, которым заключается завладение жертвой у животных, многое говорит о сущности власти вообще. Тот, кто хочет господствовать над людьми, стремится их унижить: лишить возможности сопротивления и всех прав, свести их перед собой на уровень животных. Он их и использует как животных; хотя *им* он этого не сообщает, *про себя* он с полной ясностью осознает, как мало они для него значат; ну а в разговорах с приближенными люди для него всегда овцы или скот. Конечная цель у него всегда одна и та же — поглотить их и высосать. И ему все равно, что от них останется. Чем дурней он с ними обходится, тем более их презирает. Если ничего полезного из них уже не извлечь, он потихоньку избавляется от них, как от собственных экскрементов, и заботится о том, чтобы они не отравляли воздух в доме.

Далеко не все в этом процессе он осмеливается назвать своими именами. В унижении людей до уровня животных он еще может — особенно если он любитель шокирующих фраз — признаться своим придворным. Но если он не управляет своих подданных как сырье на скотобойни и не питается ими физически, он никогда не признается в том, что *высасывает* их и *переваривает*. Наоборот, именно он дает им пищу. Ошибиться в том, кормит он их или ест, очень легко с тех пор, как люди стали держать животных, которых не убивают или убивают не сразу, а используют еще и для других нужд.

Но даже если отвлечься от властителей, способность концентрировать все в своих руках, отношение человека к собственным экскрементам все равно относится к сфере власти.

Ничто не принадлежит человеку так полно, как то, что стало экскрементом. Постоянное давление, которое испытывает превратившаяся в пищу добыча на всем своем долгом пути сквозь тело, ее растворение и внутреннее соединение с тем, кто ее переваривает, полнейшее и безвозвратное исчезновение сначала функций, потом форм, характеризовавших ее собственное существование, ассимиляция, уравнение с тем, что уже есть налицо как тело переваривающего, — все это вполне можно считать самым главным, хотя и глубоко запрятанным процессом власти. Это настолько само собою разумеющийся, настолько автоматический, настолько неосознаваемый процесс, что важность его часто недооценивают. Обычно люди видят во власти множество удовольствий; это лежит на поверхности, но это лишь малая часть. Внизу день за днем происходит переваривание и переваривание. Нечто чужое схватывается, измельчается, поглощается и уравнивается с собой; только поэтому человек и живет. Если этого не будет, ему конец, это любому известно. Но ясно, что *все* фазы этого процесса, не только внешние и полуосознанные, должны отпечатываться в душевном строении. Найти в душе их соответствия не просто, некоторые из важных впечатлений как бы сами себя демонстрируют в ходе этого исследования. Особенно важны в этой связи, как мы еще увидим, болезненные проявления при *меланхолии*.

Экскременты, остающиеся после всех, выражают наш кровный грех. По ним можно узнать, кого мы убивали. Это сконцентрированная сумма улик против нас. Они воняют и вопиют к небу как наш ежедневный, неостановимый и беспрерывный грех. Важно, что человек старается быть с ними наедине. Он опорожняется в собственных специально для этого служащих комнатах; момент отделения — самый интимный из моментов жизни, лишь со своими экскрементами человек действительно наедине. Ясно, что он стыдится самого себя. Это изначальная печать того самого властного процесса переваривания, который разыгрывается втайне и *остался бы* тайной, не будь этой печати.

РУКА

Рука обязана своим возникновением жизни на деревьях. Первый ее признак — отделение большого пальца: его мощное строение и увеличенный промежуток между ним и остальными пальцами позволили тому, что было когда-то лапой, охватывать целые сучья. Благодаря этому стало возможно двигаться по деревьям в любом направлении; на примере обезьян видно, для чего нужна рука. Это древнее предназначение руки широко известно и ни в ком не вызовет сомнения.

О чем, однако, по инерции люди недостаточно задумываются, так это о многообразии функций рук при лазаньи. Руки не делают одно и то же одновременно. Когда одна рука схватывает следующий сук, другая крепко держится за предыдущий. Это удерживание чрезвычайно важно: при быстром перескакивании с одного сука на другой только оно предохраняет от падения. Рука, на которую целиком приходится вес тела, ни в коем случае не должна *отпустить* то, за что она держится. Она вырабатывает некоторую способность удержания, которая, однако, сильно отличается от древней способности удержания добычи. Ибо, когда другая рука ухватила за следующий сук, держащая рука должна *отпустить* предыдущий. Если это будет происходить недостаточно быстро, карабкающийся просто не сумеет сдвинуться с места. Следовательно, новой способностью руки стало молниеносное отпускание: раньше добыча не отпускалась никогда, разве что под воздействием извне и, конечно, против привычки и желания.

Работа лазанья состоит, следовательно, для каждой из рук из двух следующих друг за другом фаз: схватить — отпустить, схватить — отпустить. Другая рука делает хотя и то же самое, но со сдвигом на одну фазу. В каждое мгновение каждая рука делает противоположное тому, что делает другая. Что отличает обезьян от других животных, так это молниеносное чередование этих двух движений. Хватание и

отпускание мелькают одно за другим, что и обеспечивает обезьянам удивительную легкость передвижений.

Даже высшие обезьяны, вернувшиеся с деревьев на землю, не утратили этого важного качества — сыгранности рук. Об этом ясно напоминает широко распространенный обычай, представленный во всем человеческом роде: *торг*.

Он заключается в том, что человек, получающий нечто, отдает что-то взамен. Одна рука твердо держит предмет, который привлекает партнера. Другая же требовательно протянута за другим предметом, который хочется получить в обмен на свой. Как только она его коснулась, первая рука разжимается. Но никак не раньше, ибо тогда она может его лишиться, ничего не получив взамен. Такая грубая форма обмана, когда что-то забирают, а взамен ничего не дают, будучи переведенной в лексику лазанья, означала бы падение с дерева. Чтобы этого не случилось, все время торго надо быть начеку и наблюдать за каждым движением партнера. Радость и удовлетворение, которые доставляет людям торговля, можно, наверное, объяснить тем, что одна из древнейших поведенческих конфигураций здесь реализуется в качестве душевной позиции. Ни в чем ином человек по сей день так не близок к обезьянам, как в торговле.

Но вернемся из этого экскурса в позднейшие времена назад к руке и ее началам. На ветвях деревьев рука научилась крепко держаться за то, что не было пищей. Тем самым оказался прерванным краткий и в общем-то неизменный путь из руки в рот. Когда сук под рукой обломился, возникла *палка*. Она помогала держать врагов на расстоянии. Она создавала свободное пространство уже вокруг тех давно исчезнувших существ, которых человек даже не числит своими родственниками. Если глядеть с дерева, палка была самым доступным видом оружия. Человек доказал ей свою верность; он так никогда с ней и не расстался. Человек бил ею, заострял ее в копье, сгибал в лук, обрезал до размера стрелы. Но во всех этих превращениях она оставалась, по сути, тем же, чем была с самого начала, — инстру-

ментом создания дистанции, средством, помогающим не допустить прикосновения и избегнуть приводящей в ужас хватки. Как прямохождение до сих пор не утратило своего пафоса, так и палка, несмотря на все свои превращения, не стала просто скучным предметом: как волшебная палочка и как скипетр она осталась атрибутом двух важнейших форм власти.

О терпении рук

Все резкие движения руки считаются древними. Внезапность и жестокость связывают не только с хватанием. Многие уже позже возникшие процессы, такие как нанесение удара, втыкание, давление, швыряние, стрельба, как бы они ни ветвились и ни усложнялись технически, неосознанно включаются людьми в один и тот же ряд. Скорость и точность могут расти и расти, но смысл и цель остаются прежними. Скорость и точность важны для охотника и воина, но собственно *престижа* человеческой руке они не добавляют.

Совершенствуется она на других путях, а именно там, где отказывается от насилия и от добычи. Подлинное *величие рук* в их *терпении*. Медленные, спокойные действия рук создали мир, в котором нам хочется жить. В самом начале Библии творцом назван гончар, руки которого формируют глину.

Но как руки стали терпеливыми? Как они приобрели тонкость ощущения в пальцах? Одно из самых ранних занятий, о которых мы знаем, — это перебирание *меха* своих друзей, так любимое обезьянами. Считается, будто они что-то отыскивают, и, поскольку они и вправду иногда что-то находят, эти действия толкуют слишком узко, исходя из идеи полезности и целесообразности. В действительности же дело главным образом в приятных ощущениях, возникающих в пальцах, перебирающих мех. Эти действия пальцев — древнейшие из известных человеку. Лишь они превратили пальцы в тонкие инструменты, какими мы их знаем сегодня.

О движениях пальцев обезьян

Обыкновение тщательной взаимной переборки меха бросалось в глаза каждому, кто наблюдал за обезьянами. Старательная проверка каждого отдельного волоска создавала впечатление, что дело здесь в поисках паразитов. Поза животных напоминает о человеке, занятом ловлей блох; вот пальцы осторожно подносятся ко рту, значит, что-то поймали. Часто так и происходит, что и считается доказательством необходимости таких поисков. Таково было общераспространенное мнение. Лишь в последнее время зоологи получили более точное представление об этом процессе.

Целостное изображение и анализ этой привычки обезьян дает Цукерман в книге «*Социальная жизнь обезьян и человекообразных обезьян*». Оно настолько поучительно, что я обращаюсь прямо к тексту:

«Ловля блох, независимо от того, что могли бы сказать социологи, является самой фундаментальной и самой специфической формой общения среди резусов. Обезьяны, и в меньшей степени человекообразные обезьяны, проводят большую часть дня во взаимном осматривании. Животное старательно перебирает пальцами мех своего товарища и поедает большую часть из обнаруживаемых мелких частиц. Большая часть найденного или отправляется в рот рукой, или прямо выкусывается после вылизывания отделенного пучка волос. Этот процесс предполагает особенную координацию движений пальцев и точную аккомодацию и конвергенцию глаз. Такое поведение часто неправильно оценивается как избавление от вшей. В действительности же паразиты встречаются редко как у обезьян, содержащихся в неволе, так и у тех, что живут на свободе. Результатом поисков оказываются обычно мельчайшие перхотинки, отделившиеся чешуйки кожи, кожные выделения, колючки и другие чуждые тела. Когда обезьяны не заняты ничем другим, самого присутствия меха достаточно, чтобы они начали «искаться». Таким образом обезьяна реагирует на мех сразу

после рождения, такая же реакция резко и выразительно проявляется на всех фазах ее развития. Если здоровая обезьяна пребывает в одиночестве, она начинает заниматься собственным мехом. В одной группе две или три обезьяны могут одновременно очищать мех одной из своих товарок. Обыкновенно тот, кого чистят, ведет себя пассивно, совершая лишь те движения, которые облегчают другим их работу. Иногда же он сам занимается одним из других животных, исследуя его мех. Работу по уходу за мехом обезьяны не ограничивают существами своего вида. Любой покрытый волосами предмет, независимо от того, одушевленный он или нет, побуждает их к этой деятельности. Они всегда готовы искать в волосах людей. Этот процесс, очевидно, имеет сексуальную основу, и не только по причине мягкого стимулирования имеющихся в коже нервных окончаний, но и потому, что часто сопровождается прямой сексуальной деятельностью. Поэтому, а также вследствие частоты таких проявлений представляется возможным рассматривать реакцию искания и перебирания волос как факторы, служащие сплочиванию социальных групп у низших приматов».

Прочтя описание, данное самим же Цукерманом, трудно представить себе большую неожиданность, чем сексуальное истолкование этого процесса. Говорится о том, что несколько обезьян сразу ищут в шерсти одной. Подчеркивается, что для них важен мех любого рода. На последующих страницах книги констатируется *противоположность* искания в меху и сексуальных проявлений. Упоминается, например, что обезьяны в периоде сексуального покоя, вовсе не демонстрирующие сексуальных намерений, все же чешутся о решетку. Много говорится о значении меха для детенышей обезьян.

Самое первое чувственное восприятие обезьяны — это восприятие волос. Сразу после рождения мать берет ребенка к груди, его пальцы ухватывают и держат мех. Потом он долго ищет сосок, мать ему в этом не помогает. «В первый месяц он питается только молоком, мать носит его на себе

повсюду. Когда мать сидит, ребенок плотно прижимается к ней, вцепившись ногами в шерсть на ее животе, а руками — в шерсть на груди. Когда она расхаживает, ребенок цепляется за нее точно таким же образом, так сказать, вися под ней. Обычно он держится прочно без всякой помощи, но иногда мать охватывает его рукой, ковыляя в это время на трех «ногах». Малыш выказывает сильный интерес к меху. Он трется о мех матери, а примерно через неделю начинает чесать собственное тело. Я наблюдал, как обезьянка, родившаяся всего неделю назад, не очень координированными движениями руки перебирала мех своего отца, сидевшего рядом с матерью. Иногда мать раздражается от того, как ребенок вцепляется в ее мех, и отрывает от себя его руки и ноги».

Поведение кормящей обезьяны-матери не меняется, если ребенок умирает. Она по-прежнему прижимает его к груди и носит с собой на руках повсюду. «Сначала она его не отпускает и ищет в его меху так же, как если бы он был живым. Она исследует его рот и глаза, нос и уши. Через несколько дней ее поведение начинает меняться. Тело, которое начинает демонстрировать легкие признаки разложения, свисает с ее рук. Она все еще прижимает его к груди, но только когда начинает ходить. Она по-прежнему ищет и покусывает в его меху, но все чаще кладет тело на землю. Разложение продолжается, наступает стадия мумифицирования, но она продолжает исследовать его кожу и мех. Высохшее тело начинает распадаться, видно, что отсутствует рука или нога, скоро останется лишь кусок высохшей кожи. Мать часто откусывает от него по кусочку, но непонятно, глотает ли. Потом уж она сама бросает оставшиеся высохшие кусочки кожи».

Предметы из меха и перьев обезьяны охотно оставляют при себе. Годовалая самка павиана, которую наблюдал Цукерман, схватила кошку, убила ее, целый день не выпускала из рук, перебирая ее мех, и потом отчаянно сопротивлялась, когда вечером ее забрали. Обезьян в Лондонском зоопарке часто видят перебирающими перья убитых ими воробьев. Из литературы известен случай, когда обезьяна так же всерьь-

ез ухаживала за дохлой крысой, как описанная выше — за своим мертвым младенцем.

Из всех описанных выше фактов Цукерман делает вывод о том, что надо различать три фактора, воздействующих на материнское поведение. Первые два имеют социальный в своей основе смысл: это привлекательность маленьких покрытых волосами предметов, а также привлекательность материнского меха для детенышей. Третий — сосательный рефлекс молодых обезьян, которые своей активностью снимают напряжение в материнской груди.

Реакция на мех является, следовательно, фундаментальным фактором социального поведения вообще. О его роли можно заключать также из того, что молодая обезьяна после смерти матери продолжает держаться за ее мех. Но ее интересует не какое-то определенное тело: если человек пересадит ее на тело другой мертвой обезьяны, она точно так же успокаивается. «Фундаментальная природа реакции на мех следует также из трудностей ее отграничивания, а также из разнообразия ситуаций, в которых она может проявляться. Перья, мыши, кошки одинаково могут служить ее побудителем. Очень вероятно, что социальный процесс «искания» можно вывести из врожденной реакции на мех и что последняя является одной из фундаментальных скреп в социальной жизни обезьян».

Теперь — после множества цитат из его книги — можно не сомневаться, что сам Цукерман не принимает всерьез сексуального истолкования взаимного «искания» у обезьян. Ясно, что мех как таковой для обезьян во всех жизненных обстоятельствах имеет особую привлекательность. Наслаждение, которое они испытывают при перебирании волосков, должно быть совершенно особенным, они извлекают его всегда, «ища» у живых и мертвых, у обезьян и других животных. Даже величина животного при этом не имеет значения. Младенец для матери в этом смысле значит ровно столько же, сколько мать для младенца. Сюда же относятся и любовные, и дружеские пары. Несколько обезьян могут одновременно заниматься мехом одной.

Это наслаждение — наслаждение *пальцев*. Его никогда не бывает достаточно: обезьяна может провести множество часов, пропуская волоски сквозь пальцы. И это то самое животное, энергичность и подвижность которого вошла в поговорки: согласно одной из китайских легенд, у обезьян нет желудка и они переваривают пищу путем скакания и прыгания вокруг нее. Тем сильнее контраст с бесконечным терпением, которое они демонстрируют при поисках в меху. Пальцы при этом становятся все восприимчивее: множество кончиков волос, которые они в состоянии ощутить одновременно, порождают особенное осязательное чутье, в корне отличное от грубых ощущений при хватании. Нельзя при этом не задуматься о всех позднейших занятиях человека, где важнее всего *деликатность* и *терпеливость* его пальцев. Неизвестные пока что предки человека, как и все обезьяны, проводили долгое время, упражняя пальцы. Без этого наша рука не достигла бы столь многого. Происхождение этих процедур могло быть достаточно сложным: может быть, действительно, в начале всего стояло искание насекомых, может быть, это были ранние переживания детенышей у покрытой волосами груди матери. Но процесс как таковой, наблюдаемый в его развитой форме у всех обезьян, ныне имеет свою целостность и свой смысл. Без него мы никогда не научились бы *придавать форму*, никогда — *шить* и никогда — *ласкать*. С него начинается подлинная жизнь руки. Без наблюдения за конфигурациями, которые образуют при этом пальцы и которые постепенно должны запечатлеваться в ищущем, мы, возможно, никогда бы не научились обозначать вещи знаками, следовательно, не обрели бы *язык*.

Руки и рождение предметов

Рука, черпающая воду, — это первый сосуд. Переплетенные пальцы обеих рук образовали первую корзину. Богатое разнообразие всякого рода переплетений от шнуровок до ткачества, пожалуй, именно здесь берет свое нача-

ло. Возникает чувство, что руки ведут собственную, полную превращений жизнь. Недостаточно того, что какая-то форма уже имеется в окружающей природе. Прежде чем ранний человек попытался сформировать ее сам, ее должны были *сыграть* его руки и пальцы. Пустая скорлупа плодов, например, кокосовых орехов, возможно, была всегда и с пренебрежением выбрасывалась. Лишь пальцы, сложившиеся в полость для зачерпывания воды, открыли смысл скорлупы. Можно себе представить, что предметы в нашем смысле слова, предметы, представляющие собой ценность, поскольку мы создали их сами, сперва возникли как *знаки рук*. При этом имелся, очевидно, необычайно важный центральный момент, когда рождение знаков для обозначения вещей сопровождалось наслаждением, и это было задолго до того, как человек попытался делать сами предметы. То, что сперва было сыграно при помощи рук, лишь много позже, будучи сыгранным достаточно много раз, было исполнено на самом деле. *Слова и предметы* стали поэтому итогом и результатом единственного и единого переживания, а именно: *изображения при помощи рук*. Все, чем человек является и что он может, все, что представляет собой его культура, он сперва присвоил себе путем превращений. Руки и лицо были подлинными орудиями этого присвоения. Их значение по сравнению с прочими частями тела постоянно возрастало. Собственная жизнь рук в первоначальном ее смысле больше всего сохранилась в жестуляции.

Тяга к разрушению у обезьян и человека

Тягу к разрушению у обезьян и человека вполне можно рассматривать как *упражнение в твердости* рук и пальцев. Использование сучьев постоянно приводило руки обезьян в соприкосновение с материалом, гораздо более жестким, чем они сами. Чтобы управляться с сучьями, обезьяны должны были их держать, но также и уметь их *обла-*

мывать. Проверка прочности опоры как раз и была проверкой ветвей и сучьев: те, что легко обламывались, не могли быть надежной опорой для движения. Исследование этого мира сучьев превращалось в непрерывную проверку их на прочность; такое испытание осталось необходимым даже после того, как оказался накопленным огромный опыт. Палка, которая обезьяне, как и человеку, была первым оружием, открыла ряд *твердых* инструментов. Руки должны были приспособиться к ней, как позже к камню. Плоды и мясо животных — все это было мягким, мягче всего был мех. Перебиранием меха упражнялась тонкость и чувствительность пальцев, уничтожением того, что при этом попадалось, — их твердость.

Следовательно, руки обладают собственной *тягой к разрушению*, не связанной непосредственно с охотой и убийством. Она — чисто механической природы и нашла свое дальнейшее развитие в механических изобретениях. Она стала особенно опасной именно по причине своей невинности. Лишенная всякой злонамеренности, она, так сказать, позволяет себе реализацию любой идеи. Выглядит так, будто речь идет лишь о руках самих по себе, их способностях и предприимчивости, которые не могут причинить вреда. Если же эта механическая тяга рук к разрушению, выраженная теперь в сложных технических системах, связывается с убийством, то это как бы автоматически происходящая и ненамеренная часть процесса, отзывающаяся пустотой и жутью; в самом деле, никто вроде этого и не хочет, все случается как бы само собой.

Среди частностей и мелочей жизни обнаруживается то же самое: каждый помнит, как в результате бездумной игры пальцев остаются сломанные спички и порванная бумага. Многообразные формы, которые принимают эти механические позывы к разрушению, тесно связаны с развитием технического инструментария. Человек хотя и научился преодолевать твердость одних предметов твердостью других,

последней инстанцией все равно остается рука. Ее собственная жизнь и здесь произвела гигантские последствия. Во многих отношениях она стала нашей судьбой.

Убийцы всегда берут верх

Не только рука как целое стала образцом и побудителем развития. В частности пальцы, особенно указательный палец, приобрели важное значение. Палец омолодился на конце и вооружился ногтем; сначала он давал активное ощущение *укальвания*. Из него развился кинжал — это удлиненный и заостренный палец. Из скрещивания птицы и пальца возникла стрела. Чтобы проникать глубже, он вытянулся, чтобы лучше лететь, ему пришлось утончиться. В эту композицию оказались вплетенными клюв и шип; клюв, впрочем, вообще присущ всему окрыленному. Но заостренная палка превратилась в копьё: руку, кончающуюся одним-единственным пальцем.

Всем видам оружия такого рода свойственна концентрация в одной точке. О большие жесткие шипы укальвался сам человек, пальцами он их вытаскивал. Палец, который отделяется от остальной руки и играет роль шипа, то есть передает укол дальше, — психологический источник оружия такого рода. Уколотый сам укальвает — сначала собственным пальцем, потом искусственным «пальцем», который он постепенно научился изготавливать.

Из способностей рук не все пользовались одинаковым авторитетом, отношение к ним было различным. Те, что были особенно важны для фактической жизни человеческой группы, оценивались особенно высоко. Высшим уважением всегда пользовалось то, что помогало в деле *убийства*. То, что могло убивать, порождало страх, а то, что не служило непосредственно убийству, считалось просто полезным. Все свойственные руке способности терпения не принесли тем, кто на них сосредоточивался и их упражнял, ничего, кроме порабощения. Верх же взяли те, что были ориентированы на убийство.

К ПСИХОЛОГИИ ЕДЫ

Все, что съедается, является предметом власти. Голодный чувствует в себе незаполненное пространство. Неудобство, причиняемое ему этим пустым пространством, он преодолевает, заполняя его пищей. Чем он полнее, тем лучше себя чувствует. Тяжелый и довольный возлежит тот, кто может съесть больше всех, — *главный едок*. Есть человеческие группы, которые в таком главном едоке видят своего вождя. Его неутолимый аппетит представляется им гарантией того, что и сами они никогда не будут страдать от голода. Они полагаются на его набитое брюхо, как будто он набил его и для них всех. Здесь отчетливо проявляется связь переваривания и власти.

В других формах господства уважение к телесности главного едока несколько отодвинуто на задний план. Вовсе не нужно, чтобы он был на бочонок толще любого другого. Но он пирует и бражничает с избранными людьми своего окружения, и все, чем он угощает, *принадлежит ему*. Если он и не самый сильный едок, то его припасы — самые обильные: скота и зерна у него больше всех. Он мог бы, если б захотел, стать главным едоком. Но он переносит удовольствие от собственной наполненности на свой двор, на всех участников застолья, оставляя за собой лишь право от всего откусывать первым. Фигура короля — главного едока на самом деле не умерла. Постоянно видишь, как кто-нибудь изображает его перед зачарованными подданными. Даже господствующие группы в целом охотно предаются этому наслаждению: излишества римлян вошли здесь в поговорку. Любая прочно стоящая семейная власть часто демонстрирует себя в этой форме, а те, кто приходит на смену, стараются повторить и превзойти эти демонстрации.

Стремление и способность к *расточительству* во многих обществах перерастает в форменные, ритуально закрепленные оргии разрушения. Самый известный пример — это *потлач* североамериканских индейцев, когда целые общи-

ны собираются на всеобщие торжества, кульминация которых — состязания вождей в уничтожении собственного имущества. Каждый вождь хвалится, как много он готов пустить на распыл и уничтожение, и тот, кто пустит больше всех, — самый славный и могучий. Пирь также предполагают уничтожение принадлежащих главному едоку жизней животных. Создается впечатление, что в потлаче это самое уничтожение распространилось на часть имущества, которое несъедобно. Вождь здесь может еще больше гордиться собой: он будто бы съедает все, подлежащее разрушению, но при этом избегает телесных недомоганий.

Было бы полезно бросить взгляд на *принимающих пищу* вообще, независимо от их ранга. Неоспоримо определенное уважение по отношению друг к другу среди тех, кто *ест вместе*. Оно выражается прежде всего в том, что они *делят пищу*. Лежащее на общем блюде принадлежит им всем. Каждый берет часть себе, каждый видит, что и другие взяли. Все стараются быть справедливыми, никто не берет себе слишком много. Самая сильная связь между едоками возникает, когда они едят от *одного* — одного животного, одного тела, которое они знали живым и единым, или от одного каравай хлеба. Но ощущение легкой праздничности, царящее среди них, только этим не объяснить; их взаимное уважение означает также, что они не будут есть *друг друга*. Хотя такая опасность всегда существует между людьми, живущими совместно в группе, в момент еды она наиболее заметна. Люди сидят вместе, люди обнажают зубы, люди едят, но даже в этот критический момент ни одному не приходит охота попробовать от другого. Каждый следит за собой, но следит и за другими, ибо все равно обязаны сдерживаться.

В *семье* мужчина приносит полагающуюся ему часть добычи, а женщина готовит пищу. Он регулярно ест приготовленное ею, и это — основа их связи. Самая интенсивная семейная жизнь там, где семья чаще всего ест вместе. Когда об этом подумаешь, перед глазами встает картина: родители и дети, собравшиеся за одним столом. Все остальное —

лишь подготовка к этому моменту: чем чаще и регулярнее он повторяется, тем более участники совместных трапез чувствуют себя семьей. Приглашение за такой стол практически равно принятию в семью.

Пожалуй, здесь самое место сказать о сердцевине и сердце этой институции — о *матери*. Мать — это та, кто дает в пищу собственное тело. Она питает ребенка в себе, а затем дает ему свое молоко. В смягченной форме это продолжается много лет после того, как ребенок отнят от груди: ее мысли все равно постоянно крутятся вокруг необходимой ему пищи. Это даже не обязательно собственный ребенок — ей могли подсунуть чужого, она могла его усыновить. Но страсть ее не меняет своей природы: она должна давать есть, смотреть, как он ест, видеть, как еда в нем во что-то превращается. Ее главная цель — чтобы он рос и прибавлял в весе. Можно сказать, что она отдается этому до самозабвения; это верно, если рассматривать ее как отдельное человеческое существо, как человека для себя самого. В действительности же она раздвоила свой живот и сохраняет контроль над обоими его воплощениями. Новый живот и новое неразвитое еще тело интересуют ее больше, чем свое собственное. То, что сначала происходит при беременности, потом просто переносится вовне. Выработанное здесь представление о переваривании как о центральном процессе власти правильно и по отношению к матери; только у нее этот процесс распределяется на более чем одно тело, а тот факт, что новое тело, о чьем пропитании она заботится, отделено от ее собственного, только придает процессу в целом ясность и наглядность. Власть матери над ребенком на ранних стадиях его развития абсолютна, и не только потому, что от нее целиком зависит его жизнь, но и потому, что она испытывает сильнейшее желание непрерывно пользоваться этой властью. Концентрация стремления господствовать на таком крохотном создании дает ей ощущение сверхвласти, которое невозможно ни в каком ином из нормальных межчеловеческих отношений.

Бесперывность этого господства, реализуемого день и ночь, гигантское множество частных и мелочей, из которых оно складывается, — все это придает ему полноту и завершенность, невозможные ни в какой другой форме господства. Его пределы не ограничены отдачей приказов, которые сначала не могут быть даже поняты. Оно позволяет одному человеку держать другого в своей власти, хотя в этом случае действительно для его собственной пользы. Оно позволяет одному человеку — даже не понимающему, что он делает, — внушать другому то, что он сам усвоил под давлением десятки лет назад и что осталось сидеть в нем неизвлеченным жалом. Оно позволяет человеку заставлять другого *расти*, что даже властителям удается только путем создания искусственных чиновничьих иерархий. Для матери ребенок соединяет в себе свойства растения и животного. Он дает ей возможность пользоваться правами, которыми человек никогда больше не в состоянии пользоваться одновременно: правом контроля роста, в чем сказывается власть человека над растениями, и правом держать взаперти и контролировать движения, в чем сказывается власть человека над животными. Ребенок прорастает как зерно под руками матери, как домашнее животное он исполняет то, что она велит; он снимает с нее часть тяжелой ноши старых приказов, которая давит всякого воспитанного в морали человека, и, кроме всего, этого он становится человеком, новым цельным человеком, за взращивание которого группа, в которой ему придется жить, всегда обязана ей благодарностью. Не существует более интенсивной формы власти. Если роль матери обычно оценивается не так, то тому есть две причины. Каждый лучше помнит времена *ослабления* этой власти, и всем кажется гораздо важнее бросающаяся в глаза, но не столь существенная власть отца.

Твердой и стабильной семья оказывается в том случае, когда другие исключены из ее трапез; естественным поводом для исключения других выступает необходимость заботиться о своих близких. Неосновательность этой причи-

ны ясна, когда видишь семьи, не имеющие детей, и при этом отказывающиеся делиться пищей с другими; семья из двоих членов — самое жалкое произведение человечества. Но даже когда дети имеются, они часто лишь ширма, прикрывающая самый бессовестный эгоизм. Экономят «для своих детей», оставляя других голодать. В действительности же сохраняют, пока живут, для самих себя.

Современный человек любит есть в ресторане, за отдельным столиком, в своей компании, за которую и платит. Поскольку другие в ресторане делают то же самое, человек впадает в иллюзию, что еды достаточно всем вообще. Но даже самые тонкие натуры не питают эту иллюзию слишком долго: сытый спокойно перешагивает через голодного.

Тот, кто ест, прибавляет в весе, чувствует себя тяжелее. В этом есть что-то от похвальбы: он не в состоянии больше расти, но прибавить он может прямо здесь, на глазах у всех. Это одна из причин, почему он ест вместе с другими: своего рода соревнование в самонаполнении. Удовлетворение от наполненности, когда больше есть невозможно, — это высший уровень, к которому стремятся. Первоначально никто этого не стыдился: большую добычу следовало немедленно съесть, ели, сколько могли, запас уносили в себе.

Кто ест в одиночестве, отказывается от той доли уважения, которую принесла бы ему трапеза с другими. Обнажение зубов, когда никого нет, никого и не впечатлит. Вместе видно, как каждый открывает рот и, сам действуя зубами, видит, как это проделывают другие. Отсутствие зубов производит жалкое впечатление; не показывать имеющиеся зубы — что-то вроде проявления аскетизма. Совместные трапезы — это естественная возможность их продемонстрировать. Современные манеры требуют есть с закрытым ртом. Даже легчайшая угроза, которая возникает при наивно открытом рте, тем самым сводится к минимуму. Однако наша безвредность не заходит слишком далеко. Мы едим ножом и вилкой, которые легко могут послужить для нападения. Часть, которую человек отрезает и аккуратно отправ-

ляет в рот, и в современном языке по-прежнему зовется «кус-сок» (словом, происходящим от «кусать»).

Смех считается вульгарным, потому что при этом широко открывается рот и обнажаются зубы. Наверняка он ведет свое происхождение от радости по поводу добычи или пищи, которая кажется верной. Упавший человек напоминает другому животное, на которое тот охотился и которое завлек в ловушку. Падение, вызывающее смех, напоминает о беспомощности жертвы: если хочешь, с упавшим можно обойтись как с жертвой. Человек *не* смеялся бы, если бы намеревался продолжить изображенный выше естественный процесс и действительно употребить добычу в пищу. Человек смеется *вместо того*, чтобы ее съесть. Еда, не ставшая едой, — вот что вызывает смех: неожиданное чувство превосходства, как заметил уже Гоббс. Но только он не добавил, что это чувство лишь тогда перерастает в смех, когда последствия этого превосходства остаются нереализованными. Гоббсовское понимание смеха останавливается на полпути к истине: собственно «животного» происхождения смеха он не разглядел, возможно потому, что животные не смеются. Но животные и не отказываются от пищи, которая в их досягаемости, когда они ее хотят. И только человек научился замечать полный процесс поглощения символическим актом. Кажется, что исходящие из диафрагмы и характерные для смеха движения замещают совокупность всех глотательных движений тела.

Из животных лишь гиена способна издавать звуки, близко напоминающие наш смех. Их можно вызвать нарочно, подсунув пленной гиене пищу, а затем быстро отдернув, прежде чем она успеет ее схватить. Нелишне напомнить, что на воле она питается падалью; можно представить, как часто вожаденная пища выхватывалась другими у нее из-под носа.

ВЫЖИВАЮЩИЙ

ВЫЖИВАЮЩИЙ

Момент *выживания* — это момент власти. Ужас от ощущения смерти переходит в удовлетворение от того, что мертв не ты, а другой. Он лежит, а ты стоишь. Будто ты сразил врага в единоборстве. В деле выживания каждый каждому враг, и любая боль — ничто по сравнению с фундаментальным триумфом выживания. Важно, что выживший *один* попирает одного или многих мертвых. Он видит себя одним, чувствует себя одним и, если говорить о власти, которую он ощущает в это мгновение, то нужно всегда помнить, что она проистекает только и исключительно из его *единственности*.

Во всех человеческих надеждах на бессмертие есть что-то от страсти выживания. Дело не в том, чтобы просто быть всегда, нужно быть, когда других уже нет. Каждый хочет стать старейшим и знать об этом, а когда не станет его самого, о нем будет напоминать его имя.

Простейшая форма выживания — *убийство*. Убивают животное, чтобы употребить его в пищу; оно теперь неподвижно и беззащитно, от его тела можно отрезать куски, распределяя себе и ближним. Так же убивают и человека, который, выпрямившись, стоит на пути, противостоит как враг. Его надо повалить, чтобы почувствовать, что ты есть, а его уже нет. Но он не должен исчезнуть вовсе, для полноты триумфа необходимо его телесное присутствие в виде трупа. Теперь с ним можно делать что угодно, он уже не может принести вреда. Он лежит и навсегда таким останется.

ся, ему уже никогда не подняться. Можно забрать у него оружие, можно отрезать часть его тела, сохранив ее как трофей. Этот миг противостояния убитому наполняет выжившего властью совершенно особого рода, не сравнимой ни с чем иным. Нет иного мига, столь мощно взывающего к повторению.

Ибо выживший знает, что мертвых много. Если была битва, он видел, что многие падали вокруг. Он шел в бой, намереваясь одержать победу. Убить как можно больше врагов — это было его заявленной целью, и победить он может только в том случае, если эта цель достигнута. Победа и выживание для него совпадают. Но победитель тоже должен платить. Среди мертвых много его людей. Павшие друзья и павшие враги вперемешку лежат на поле битвы, составляя общую груды мертвых тел. Иногда случается так, что павших с обеих сторон уже не разделить: в одну и ту же братскую могилу идут их останки.

Этим гудам павших выживший противостоит как счастливец и избранник. То, что он жив, тогда как многие, только что бывшие с ним, мертвы — это факт гигантского значения. Вокруг беспомощно лежат мертвые, а он гордо вышагивает, и дело выглядит так, будто битва совершилась для того, чтобы он выжил. Смерть была отведена им на других. Но при этом он не избегал опасности. Смерть грозила ему так же, как его друзьям. Они пали. Он стоит и торжествует.

Это чувство возвышенности над мертвыми знакомо каждому, кто воевал. Его скрывает траур по павшим товарищам, но их мало, а врагов всегда множество. Торжествовать, стоя над ними, — это чувство, по существу, сильнее любой печали, это ощущение избранности меж многими, чья судьба столь явно одинакова. И каким-то образом человеку просто потому, что он живой, начинает казаться, что он лучший. Он защитил себя, поэтому он живет. Он один сумел защитить себя, поэтому все, кто лежат, мертвы. Кому выживание удается часто — тот герой. Он сильнее. В нем больше жизни. К нему благосклонны высшие силы.

ВЫЖИВАНИЕ И НЕУЯЗВИМОСТЬ

Тело человека голо и открыто, уязвимо в своей мягкости. Если он путем уловок и ухищрений сумел нейтрализовать опасность вблизи себя, она может настигнуть его издалека. В него могут проникнуть меч, копьё, стрела. Он изобрел щит и латы, выстроил вокруг себя стены и целые крепости. Но из всех способов защиты всего ценнее те, что дарят ощущение неуязвимости.

Человек добивался ее двумя способами. Они прямо противоположны друг другу и ведут к разным результатам. Прежде всего он старался отдалить от себя опасность, расположить между собой и ею большие пространства, легко просматриваемые и охраняемые. Он, так сказать, скрывался от опасности, устранял ее.

Другой путь давал гораздо больше оснований гордиться собой. Все предания старых времен полны восхвалений тому, кто избрал этот путь. Вот он отыскал опасность и смело вышел против нее. Он подпустил врага вплотную и в схватке рискнул собственной жизнью. Из всех возможных ситуаций он выбрал самую рискованную и обострил ее до крайности. Он сделал кого-то врагом и бросил ему вызов. Может, это и раньше был враг, а может, ему сначала пришлось превратить его во врага. Но каковы бы ни были детали, он всегда обострял напряженность и вел дело к решающей схватке.

Это путь героя. Чего хочет герой? Что ему на самом деле нужно? Слава? Стойкая и непреходящая слава, которую все народы воздают своим героям, если их подвиги разнообразны и многочисленны, часто заставляет обманываться относительно подлинных мотивов их деяний. Предполагается, что все дело в славе, но я думаю, что первоначально речь шла о кое-чем ином, а именно о чувстве *неуязвимости*, которое быстро достигалось на этом, избранном ими пути.

Конкретная ситуация, в которой оказывается герой, преодолевший опасность, — это ситуация выживающего. Вра-

гу требовалась его жизнь, как ему — жизнь врага. С этой целью они выступили друг против друга. Враг убит. Герой же невредим. Возбужденный этим необычайным событием, он бросается в следующую битву. Оставшись невредимым раньше, он останется им и теперь. От одной победы к другой, от одного мертвого врага к другому он все более чувствует себя в безопасности: растет неуязвимость — его все крепчающая броня.

Нет иного способа обрести это чувство кроме как в бою. Кто бежал от опасности, спрятался от нее, тот просто отказался от решения. Ощущение неуязвимости ему не достанется, оно достается герою — тому, кто не испугался решения, кто действительно выжил, кто вновь и вновь идет в бой, нагромождая моменты выживания. Он, собственно, тогда и становится героем, когда обретает ощущение неуязвимости. Теперь он осмеливается на все, ему нечего бояться. Возможно, мы любили бы его еще больше, будь у него основания для страха. Но это — точка зрения стороннего наблюдателя. Народ хочет, чтобы его герои были неуязвимы.

Подвиги героя вовсе не исчерпываются поединками, которые он навязывает врагам. Он может столкнуться с целой стаей врагов. Он не только не убегает, он нападает и истребляет всех, благодаря чему одним махом достигает ощущения неуязвимости.

Чингисхана спросил один из его старых верных соратников: «Ты властитель, люди зовут тебя героем. Какие знаки помогли тебе в победах и завоеваниях?» Чингисхан отвечал ему: «Еще до того, как я взошел на трон, мне довелось однажды скакать по степи и наткнуться на шестерых убийц, подстерегавших у брода через реку. Приблизившись, я выхватил саблю и напал на них. Они осыпали меня градом стрел, но все пролетели мимо, ни одна меня не коснулась. Я зарубил их всех и, не получив ни одной раны, поскакал дальше. Возвращаясь назад, я проехал мимо того места, где убил этих шестерых. Шесть лошадей без хозяев бродили вокруг. Я пригнал их к себе домой».

Оставшись неуязвимым в схватке с шестью врагами сразу, Чингисхан посчитал это надежным знаком будущих побед и завоеваний.

ВЫЖИВАНИЕ КАК СТРАСТЬ

Выживание дарит своеобразное наслаждение, охота за которым может стать опасной ненасытной страстью. Чем выше груды мертвых тел, над которыми стоит выживающий, чем чаще он переживает эти мгновения, тем сильнее и неодолимее становится потребность в них. Карьеры героев и наемников свидетельствуют о том, что возникает своего рода наркотическая тяга, с которой невозможно справиться. Обычно даются объяснения такого рода, что, мол, эти люди только в минуты опасности дышат полной грудью, что обыкновенное, лишненное опасностей существование для них — пустота и скука, что они лишены вкуса к мирной жизни. Конечно, влечения к опасности нельзя недооценивать. Но забывают, что эти люди пускаются в приключения не в одиночку, что с ними идут другие, которые погибают. Что им нужно на самом деле, без чего они действительно не могут обойтись, — это наслаждение выживанием.

К тому же, чтобы удовлетворить эту страсть, им далеко не всегда нужно подвергать опасности самих себя. Никто не может в одиночку перебить достаточно много народу. На полях сражений для этой цели трудится бесчисленное множество людей, и тот, кто ими командует, если он сам решился на битву и отвечает за ее исход, смело присваивает себе все, что получилось в результате, вплоть до кончика ногтей самого последнего трупа. Полководец (по-немецки *Feldherr* — «хозяин поля») не напрасно носит свое гордое имя. Он приказывает: посылает своих людей на врага, на смерть. Если он победил, ему принадлежит все поле мертвых тел. Одни пали, сражаясь за него, другие — сражаясь

против него. От победы к победе он переживает их всех. Празднуемые им триумфы точнейшим образом выражают суть его стремлений. Их величие измеряется числом убитых. Смешон триумф, если враг мужественно оборонялся, если победа добыта с трудом и стоила огромных жертв.

«Всех военных героев и полководцев Цезарь превзошел тем, что дал больше всего сражений и истребил наибольшее число врагов. Ибо за те неполные десять лет, в течение которых он вел войну в Галлии, он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста народностей, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен».

Это суждение Плутарха — одного из гуманнейших представителей человечества, которого не обвинишь в кровожадности или милитаристском безумии. Оно ценно тем, что итог подведен однозначно. Сражался с тремя миллионами врагов, миллион убил, миллион забрал в плен. Его превзошли позднейшие полководцы — монголы и не монголы. Но это древнее суждение отмечено еще и наивностью, с которой все происшедшее приписано одному человеку. Взятые штурмом города и покоренные народы, миллионы разбитых, уничтоженных и плененных врагов — все принадлежат Цезарю. Но не наивность Плутарха выразилась в этих суждениях, а наивность истории. С этим свыклись со времен военных донесений египетских фараонов, вплоть до сегодняшнего дня здесь едва ли что изменилось.

Вот как много врагов счастливо пережил Цезарь. Считается бестактным в таких случаях подсчитывать собственные потери. Счет известен, но великим людям его не предъявляют. В войнах Цезаря он был не очень велик по сравнению с числом убитых врагов. Но все равно он пережил много тысяч римлян и их союзников — совсем без потерь обойтись не удалось.

От поколения к поколению передавались эти величественные итоги, в каждом поколении обнаруживались потенциальные герои войны. Благодаря им страсть переживать массы людей разгоралась до подлинного безумия. И суд

истории, казалось, оправдывал их планы еще до того, как они превращались в действительность. Кто лучше всех разбирается в этом способе выживания, тому гарантировано надежное и почетное место в истории. Для такого рода посмертной славы гигантское число жертв в конечном счете важнее, чем победа или поражение. И это еще вопрос, каково было на душе у Наполеона во время похода в Россию.

ВЛАСТИТЕЛЬ КАК ВЫЖИВАЮЩИЙ

Властителя, который отодвигает от себя опасность, можно отнести к параноидальному типу. Вместо того чтобы бросить вызов и выйти на бой, вместо того чтобы решить свою судьбу в открытой схватке, он пытается всякими приемами и ухищрениями перекрыть судьбе дорогу. Он создает вокруг себя пустые, хорошо обозримые пространства, чтобы заметить и предотвратить любую опасность. Сторожить приходится со всех сторон, ибо в нем постоянно жив страх перед возможным окружением: врагов много и они могут наброситься отовсюду одновременно. Страшней всего опасность за спиной, где ее трудно заметить вовремя. Поэтому у него глаза повсюду, и самый легкий шорох от него не ускользает, ибо за ним могут скрываться враждебные намерения.

Воплощение всех опасностей, разумеется, смерть. Очень важно в точности прояснить его отношение к смерти. Первый и решающий признак властителя — это право распоряжаться жизнью и смертью. К нему никто не допускается: если прибывает гонец с посланием, который должен приблизиться к властителю, его обыскивают и забирают оружие. Смерть от него систематически отодвигают и держат в отдалении: он сам может и должен ею распоряжаться. Он причиняет смерть, когда ему угодно. Произнесенный им смертный приговор всегда будет исполнен. Это печать его власти: власть абсолютна до тех пор, пока его право на вынесение смертного приговора неоспоримо.

Настоящие его подданные — только те, кто позволяет ему себя убивать. Решающая проверка послушания, от которой все зависит, всегда одна и та же. Его солдаты воспитаны в духе двойной готовности: их посылают уничтожать его врагов, и сами они готовы принять от него смерть. Но и все остальные его подданные, не солдаты, знают, что он может обрушиться на них в любой момент. Ему подобает нагонять страх: это его прерогатива, за это перед ним благоговеют. Крайней формой благоговения является обожествление. Сам Господь Бог раз и навсегда произнес над людьми, в том числе и над теми, кому еще только предстоит жить, смертный приговор. От его настроения зависит, приводить его в исполнение сейчас или позже. И никому не придет в голову воспротивиться — сопротивление бесполезно.

Земным владыкам не так легко, как Богу. Они не вечны, подданные знают, что и их дням положен конец. И его можно ускорить, как и любой другой конец, путем насилия. Кто отказывается подчиняться, тот нацелился на борьбу. Ни один властитель не может быть всегда уверен в неизменном послушании подданных. Пока они позволяют себя убивать, он спит спокойно. Но если хоть один отказался принять приговор, властитель в опасности.

Ощущение этой опасности никогда в нем не засыпает. Позже, когда речь пойдет о природе приказа, станет ясно, что страхи его *должны* становиться тем сильнее, чем больше его приказов исполняется. Он может подавить сомнения только действием. Он приказывает казнить кого-то ради самой казни, не важно, виновна ли жертва. Он производит казни одну за другой по мере того, как множатся его сомнения. Самые надежные, можно сказать, совершеннейшие его подданные — это те, кто за него умер.

Ибо каждая произведенная им казнь добавляет ему мощи. Он набирается таким образом силы выживания. Жертвы не обязательно те, кто действительно выступал против него, — достаточно того, что они могли бы против него выступить. Свои страхи он превращает, хотя и задним числом, во врагов, с которыми пришлось сразиться. Они им приговоре-

ны, убиты, он их пережил. Право вынесения смертного приговора превращается в его руках в оружие, такое же, как любое другое, но гораздо более действенное. Нагромождать вокруг тела жертв, чтобы они всегда были перед глазами, часто считали нужным вожди варваров и восточные владыки. Но и там, где обычаями это не дозволялось, в уме властители постоянно проигрывали эту тему. Сообщают о своеобразной забаве, выдуманной римским императором Домицианом. Устроенный им пир для римской знати, единственный в своем роде и никем не повторенный, дает самое наглядное представление о глубинной природе параноидальных властителей. Вот что рассказывает об этом Кассий Дион:

«В другой раз Домициан развлекал знатнейших сенаторов и всадников следующим образом. Он приготовил зал, где пол, стены и потолок были черными, как смола, и на непокрытом полу покоились убогие лежа, убранные черным. Гости должны были прибыть ночью и без свиты. Возле каждого лежа он приказал установить плиту, по форме напоминающую могильный камень, с выбитым на ней именем гостя, а вдобавок еще маленькую лампаду из тех, которые вешают на могилы. Затем в зал вошли стройные голые мальчики, тоже раскрашенные в черный цвет и похожие на призраков. Они исполнили жуткий танец вокруг лежащих гостей и стали каждый в ногах у каждого гостя. Затем было предложено угощение: то, что обычно приносится в жертву духам умерших, — все черное и на блюдах того же цвета. Гости дрожали от страха, ожидая, что в следующее мгновение им перережут глотки. Все онемели, кроме Домициана. Царило смертное молчание, будто они уже прибыли в царство мертвых. Сам же император разразился речью о смерти и убийствах. Наконец гостей отпустили по домам. Но рабы, ожидавшие своих господ в прихожей, были предварительно удалены, гостей поручили другим, неизвестным им рабам, которые должны были развезти их в колясках и на носилках. От этого они пришли в еще больший ужас. Едва гости оказались у себя дома и облегченно вздохнули, как объявились гонцы императора. Хотя каждый решил, что вот

теперь-то и пришел его последний час, внесли плиты, которые оказались серебряными. Потом другие предметы, в частности, драгоценные блюда, стоявшие перед ними во время пира. Последними прибыли мальчики, во время пира стоявшие в ногах гостей как их собственные мертвые души; теперь они были вымыты и украшены драгоценностями. После того как гости провели ночь в смертельном страхе, настало время приема подарков».

Таков был «Пир трупов» Домициана, как назвал его народ.

Нескончаемый ужас, в котором император держал своих гостей, заставил их онеметь. Говорил лишь он сам и говорил о смерти и убийстве. Казалось, что они мертвы, а жив только он один. На пиру он собрал свои жертвы, ибо такими они себе и казались. Одетый как хозяин, а на самом деле выживающий, он обращался к своим жертвам, одетым гостями. Но ситуация выживающего здесь была не только изображена, она была изощренным образом обострена. Хотя они и были как мертвые, он еще мог их убить. Был начат подлинный процесс выживания. Отпустив их, он их помиловал, а потом снова привел в отчаяние, передав незнакомым рабам. Они добрались до дома — он вновь послал вестников смерти. Оказалось, что доставили подарки, и самым главным подарком была дарованная им жизнь. Он, так сказать, отправил их на тот свет, а потом возвратил к жизни. Он много раз испытал наслаждение выживанием в этой игре, давшей ему чувство власти, выше которого невозможно вообразить.

СПАСЕНИЕ ИОСИФА ФЛАВИЯ

Из истории войны между римлянами и евреями, пришедшейся на молодость Домициана, известен случай, ярче всего показавший природу выживающего. Римской стороной командовал Веспасиан, отец Домициана; именно во время этой войны род Флавиев достиг императорской власти.

Восстание евреев против господства римлян продолжалось уже довольно долго. Когда оно распространилось вширь, евреи назначили своих командующих в разные части страны. В их обязанности входило мобилизовывать людей и готовить города к отпору римским легионам, которые наверняка скоро должны были прибыть в страну. Иосиф — тогда еще молодой, ему едва исполнилось тридцать лет — получил провинцию Галилея и усердно принялся за выполнение поставленной задачи. В своей «Истории иудейской войны» он описывал трудности, которые приходилось преодолевать: отсутствие единства среди граждан, интриги соперников, не желающих выступать вместе и стремящихся собрать собственное войско, колебания городов, которые не хотели признавать его командующим, а признав, через некоторое время опять отказывались. Но с огромной энергией он ставил на ноги свою плохо вооруженную армию и готовил крепости к отпору врагу.

И римляне пришли; ими командовал Веспасиан, при котором находился его младший сын Тит, ровесник Иосифа. Императором в Риме тогда еще был Нерон. Веспасиан пользовался славой старого опытного генерала, отличившегося во многих сражениях. Он вторгся в Галилею и окружил Иосифа с его армией в крепости Иотапата (Йодфат). Евреи отважно оборонялись, Иосиф изобретательно находил средства для отражения одного штурма за другим, римляне несли тяжелые потери. Оборона длилась 47 дней. Наконец римлянам удалось хитростью проникнуть в крепость: это случилось ночью, все спали, и врага обнаружили только на рассвете. Евреи впали в безысходное отчаяние и убивали себя целыми толпами.

Иосиф спасся. Что с ним происходило после взятия города, стоит передать его собственными словами. Ибо, как мне кажется, в мировой литературе нет второго такого рассказа выжившего о самом себе. Совершенно осознанно, можно даже сказать, с пониманием сущности выживания Иосиф описывает, что было предпринято им для собственного спа-

сения. Быть искренним ему не составило труда, ибо писалось это позднее, когда он был уже в фаворе у римлян.

«Повсюду — среди мертвых и в укрытиях — римляне искали Йосефа: и потому, что были злы на него, но главным образом по той причине, что таково было желание главнокомандующего, считавшего, что война будет в действительности закончена лишь тогда, когда Йосеф окажется в его руках. Однако во время взятия города Йосефу, который находился в самой гуще неприятеля, несомненно, не без божественного содействия удалось ускользнуть, спрыгнув в глубокую яму, сообщавшуюся с незаметной снаружи обширной пещерой. Он застал в этом укрытии еще 40 человек из видных граждан и необходимые припасы, которых должно было хватить на много дней. Таким образом, днем, когда враги шарили повсюду, он скрывался в пещере, а ночью выходил, изыскивая способ бегства и высматривая расположение вражеских караулов; удостоверившись, что все пути перекрыты и нет возможности ускользнуть, он вновь спускался в пещеру. Так в течение двух дней ему удавалось оставаться необнаруженным, но на третий день была поймана находившаяся вместе с ним в пещере женщина, которая и выдала его. Веспасиан немедленно послал к пещере двух трибунов, Паулина и Галликана, чтобы те предложили ему соглашение и склонили выйти.

Прибыв к пещере, трибуны принялись убеждать Йосефа выйти и обещали ему безопасность. Однако их усилия были тщетными: мысль о том, что может грозить человеку, нанесшему римлянам столько ударов, помешала ему увидеть подлинные намерения приглашавших и сделала его крайне подозрительным. И он продолжал опасаться, что трибуны приглашают его затем, чтобы впоследствии подвергнуть наказанию, до тех пор пока Веспасиан не послал еще одного трибуна — знакомого Йосефа Никанора, его давнишнего друга. Выступив вперед, Никанор начал пространный речь о том, что доброта к побежденным — в природе римлян; доблесть Йосефа, говорил он, вызвала в римских полководцах скорее восхищение, нежели ненависть, и

главнокомандующий хочет вывести его из пещеры не для наказания (ведь он и без этого мог бы наказать Йосефа), но лишь затем, что желает сохранить жизнь столь выдающемуся человеку. Еще Никанор сказал, что если бы Веспасиан готовил хитрость, то не послал бы к Йосефу его друга, пряча самое отвратительное из преступлений — вероломство под личиной дружбы, самой прекрасной из добродетелей, да и сам он, Никанор, никогда бы не явился сюда, если бы от него требовали обмануть друга.

В то время как, несмотря на уверения Никанора, Йосеф все еще колебался, воины в гневе готовы были поджечь пещеру, и лишь приказ главнокомандующего, желавшего во что бы то ни стало получить Йосефа живым, остановивал их. По мере того как Никанор повторял свои призывы, а поведение войска становилось все более угрожающим, Йосеф внезапно вспомнил виденный им ночью сон, в котором Бог возвещал ему о грядущих бедствиях евреев и о судьбах римских императоров. Он же был способен толковать сны и проникать в скрытый смысл двусмысленных речей Бога, ибо был священником и потомком священников и был хорошо знаком с пророчествами священных книг. Как раз в этот миг исходящее от них вдохновение охватило его, и он мгновенно проник в смысл внушающих трепет видений своего недавнего сна. И тогда он обратился с тайной молитвой к Богу: «Поскольку Тебе угодно излить Твой гнев на сотворенный Тобою еврейский народ и передать все милости судьбы римлянам и поскольку Ты избрал меня, чтобы поведать мне о том, что должно произойти, я добровольно предаюсь в руки римлян и буду жить, но я торжественно заявляю, что я иду не как предатель, но как Твой слуга».

С этими словами он уже готов был выйти к Никанору, однако когда евреи, прятавшиеся вместе с ним в пещере, поняли, что он принимает приглашение, они столпились вокруг него, крича: «Отеческие законы, данные самим Богом, наделившим дух нашего народа презрением к смерти, конечно, возопят к небесам! Неужели ты, Йосеф, настолько любишь жизнь, что ради нее готов влачить существова-

ние раба? Как быстро забыл ты себя! Скольких из нас ты убедил отдать жизнь ради свободы! Слава о твоём мужестве и уме не более чем ложь, если ты и в самом деле ожидаешь пощады от тех, кому нанес такие глубокие раны, или, когда даже их предложение истинно, желаешь спастись таким образом. Ты потерял голову при виде того, сколь милостива к римлянам судьба? Мы сами позаботимся о добром имени нашей страны — мы одолжим тебе меч и руку, которая владеет им. Если ты умрешь по собственному желанию, то ты умрешь как вождь евреев, если же нет — то как предатель». С этими словами они направили на него свои мечи и угрожали умертвить его, если он сдастся римлянам.

В страхе перед угрозой нападения и веря, что, умерев до того, как исполнит возложенное на него Богом, он предаст Его веления, Йосеф в этом затруднительном положении повел перед ними философские рассуждения. «Почему, друзья мои, — начал он, — мы так торопимся умертвить самих себя? Почему мы так стремимся разлучить этих лучших друзей — душу и тело? Тут кто-то сказал, что я переменялся, — что ж, об этом лучше всего известно римлянам. Мне говорят, что прекрасно пасть на войне, — согласен, но только по законам войны, то есть от руки победителей. Если я избегаю мечей римлян, то я действительно заслуживаю смерти от собственной руки, но если они склонны пощадить врага, то еще более справедливым с нашей стороны поступком будет пощадить самих себя, ведь было бы нелепостью причинить себе то, из-за чего мы укрылись от них. Вы говорите, что прекрасно умереть за свободу, — я тоже говорю это, однако на поле боя и от руки тех, кто пытается лишить нас свободы. Но ведь сейчас они не намереваются вступать с нами в сражение или убивать нас! Тот, кто не желает умереть, когда следует умереть, такой же трус, как тот, кто желает умереть, когда умирать не следует. В самом деле, что препятствует нам сдаться римлянам? Не страх ли смерти? Но в таком случае неужели же мы из страха перед возможной смертью от руки врагов навлечем на себя верную смерть от своей собственной

руки? «Нет, из страха перед рабством», — скажет мне кто-нибудь из вас. Но как будто сейчас мы свободны! «Убить себя — благороднейшее деяние», — скажет другой. Вовсе нет! Нет поступка низменнее этого, и я думаю, что отъявленным трусом является тот кормчий, который из страха перед еще не разразившейся бурей заранее топит свое судно.

Кроме того, самоубийство противоречит природе, общей для всех живых существ, перед лицом же сотворившего нас Бога — это сущее нечестие...

Итак, мы должны, товарищи, придать своим мыслям достойное направление и не прибавлять к нашим человеческим страданиям нечестие по отношению к нашему Создателю. И если нам угодно отстаться в живых, давайте останемся в живых: ведь спасение не навлекает позора, если оно исходит от тех, кого мы своим непревзойденным сопротивлением убедили в нашей доблести. Если же мы предпочитаем умереть, то куда как достойнее пасть от руки победителей. Что же касается меня, то я не перейду на сторону врагов, чтобы предать самого себя: ведь если бы я поступил так, то был бы гораздо глупее перебежчиков, которые делают это ради спасения своей жизни, ибо для меня переход на сторону врага равнозначен гибели, моей собственной гибели. Я молюсь, однако, о том, чтобы римляне оказались вероломными: ведь если, дав мне слово, они предадут меня смерти, я умру с радостью, найдя в нарушенной клятве этих лжецов утешение большее, нежели сама победа».

Йосеф долгое время приводил подобные доводы против самоубийства, однако отчаяние сделало его слушателей глухими к речам: уже задолго до того они посвятили себя смерти, и слова Йосефа только приводили их в ярость. С мечами в руках они бросились к нему со всех сторон, понося за трусость, казалось, каждый вот-вот поразит его. Но он назвал одного по имени, бросил повелительный взгляд на другого, схватил за руку третьего, увещеванием устыдил четвертого, и так, сообразно с необходимостью различая между различными страстями, он удержал их мечи от убийства, подобно

затравленному зверю бросаясь поочередно на каждого из них. И даже в таких крайних обстоятельствах они все еще сохраняли почтение к своему полководцу: их руки разжались, мечи выскользнули из рук, а многие из тех, кто еще направлял на него свои мечи, произвольно опустили их лезвиями вниз.

Находчивость Йосефа не оставила его и в этих безвыходных обстоятельствах, и, положившись на покровительство Бога, он достиг гавани спасения. «Итак, вы избрали смерть, — воскликнул он, — что ж, давайте бросим жребий и умертвим друг друга: тот, на кого жребий падет первым, будет убит следующим по очереди, и так далее, как решит судьба. Таким образом, никто не умрет от своей собственной руки, и бесчестно поступит тот, кто после смерти всех остальных вдруг передумает и спасет свою жизнь». Слушатели поверили его словам, и он, убедивший их, стал тянуть жребий вместе с остальными. Каждый, на кого падал жребий, без колебаний подставлял свое горло под меч следующего по очереди, уверенный, что несколькими мгновениями спустя их полководец тоже будет мертв, ведь смерть вместе с Йосефом они почитали сладостнее самой жизни. Но Йосеф, благодаря ли удаче или же по воле божественного провидения, остался последним с еще одним человеком и, поскольку ему претила мысль быть убитым по жребию или же, в случае если он окажется самым последним, запятнать свои руки убийством соплеменника, он прибег к убеждению, оба договорились и остались жить.

Таким образом, пройдя неведимым через две войны — с римлянами и со своими собственными людьми — Йосеф был приведен Никанором к Веспасиану. Все римляне сбегались посмотреть на него, и по мере того, как толпа вокруг вражеского полководца росла, поднялся разноголосый шум: одни торжествовали над пленником, другие угрожали ему, третьи протискивались через толпу, чтобы посмотреть на него вблизи. Те, кто стоял позади, громко требовали казни врага, те же, кто стоял рядом с Йосефом, вспоминали его подвиги

и дивились перемене в его судьбе. Что же касается военачальников, то среди них не было ни одного, кто, если даже раньше и питал к нему неприязнь, при виде Йосефа совершенно не забыл бы об этом. Но тем, кто более всех остальных был поражен стойкостью, с какой Йосеф переносил несчастье, и сожалел о его молодости, был Тит: когда он вспоминал о том, как Йосеф еще совсем недавно воевал с римлянами, и видел его теперь поверженным и в руках врагов, он начинал размышлять о беспредельном могуществе судьбы, о внезапных поворотах хода дел на войне, об отсутствии всякой определенности в человеческих делах. Потому-то он и склонил очень многих римлян проникнуться к Йосефу тем же сочувствием, какое испытывал сам, и он-то и был главной причиной принятого его отцом решения пощадить жизнь узника. Однако Веспасиан распорядился содержать Йосефа под строжайшей охраной, поскольку он намеревался при первой же возможности отправить его к Нерону.

Услышав об этом его намерении, Йосеф попросил переговорить с ним с глазу на глаз. Веспасиан приказал всем, за исключением своего сына Тита и двух близких друзей, удалиться, и Йосеф сказал следующее: «Ты думаешь, Веспасиан, что, взяв меня в плен, ты получил всего-навсего Йосефа? Нет, я явился к тебе как вестник ожидающего тебя величия — иначе, если бы я не был послан к тебе самим Богом, то поверь, я хорошо знаю еврейский Закон и знаю, как подобает умереть полководцу. Ты отправляешь меня к Нерону? Зачем? Разве останутся на его престоле те, кто наследует ему до тебя? Ты, Веспасиан, ты Цезарь и Император, ты и твой находящийся здесь сын. Потому надень на меня самые крепкие твои оковы и сохрани меня для себя самого, ибо ты не только мой господин, Цезарь, ты господин земли и моря и всего человеческого рода, и если я все беспокою имя Бога, я действительно заслуживаю наказания строжайшим заключением».

Тогда, казалось, Веспасиан не принял его слов всерьез и был склонен думать, что Йосеф придумывает все это ради

собственного спасения. Но постепенно, поскольку Бог уже пробудил в нем стремление к императорской власти и возвестил ему о будущем скипетре и через другие предзнаменования, он стал верить, тем более что ему довелось убедиться в истинности других предсказаний Йосефа. Именно один из друзей главнокомандующего, присутствовавших при этой тайной беседе, выразил свое удивление по поводу того, что Йосеф не предупредил защитников Йодфата о падении города и не предвидел своего собственного пленения, — значит, и то, что говорит он сейчас, просто пустая болтовня человека, желающего отвлечь от себя гнев. На это Йосеф ответил, что он предсказал жителям Йодфата, что после 47 дней осады город падет и что он сам будет живым взят римлянами. Тогда Веспасиан переговорил наедине с пленниками и, узнав от них, что Йосеф сказал правду, стал принимать на веру и его предсказания относительно себя самого. Так что, хотя он и продолжал держать Йосефа в оковах и под стражей, он подарил ему одежду и другие ценные вещи и все время был с ним милостив и обходителен, чему в значительной мере содействовал сын его Тит».

Драма самоспасения Иосифа распадается на три акта. Сначала ему удастся избежать кровавой бани, творящейся в захваченной крепости. Защитников города, не кончавших самоубийством, уничтожали римляне; некоторые попали в плен. Иосиф скрылся в пещере за ямой, где оказались еще сорок человек, которых он выразительно именуется «избранными». Все они выжившие, как и он. С запасом пищи они надеялись отсидеться в своем укрытии, пока не откроется путь к бегству.

Однако из-за предательства женщины убежище Иосифа, которого, собственно, и ищут римляне, раскрыто. Ситуация в корне меняется, начинается второй акт, самый интересный во всем рассказе. Главное действующее лицо повествует об этом с поистине неповторимой откровенностью.

Римляне обещают сохранить ему жизнь. Поскольку он им верит, они ему уже не враги. В некоем глубочайшем

смысле это вопрос веры. В нужный момент ему является видение во сне, и он узнает, что евреи будут разбиты. Они уже побеждены, пока что лишь в крепости, где он командовал. Счастье на стороне римлян. Образы этого видения исходили от Бога. С Божьей помощью он найдет и путь к римлянам. Он вручает себя Господу и обращается к новым своим врагам — евреям, с которыми делит убежище и которые хотят убить себя, чтобы не попасть в руки римлян. Он, вождь, поднимавший их на борьбу, и в этой славной гибели должен бы стать первым. А он на самом деле твердо решил жить. Он старается их уговорить, изыскивает различные аргументы, чтобы перебороть их тягу к смерти. Но безуспешно: что бы он ни говорил, их слепая решимость только растет, а с ней и гнев на него, осмелившегося возражать. Он видит, что спасение возможно, только если они перебыют друг друга и он останется последним. Он делает вид, что согласился, и предлагает бросать жребий.

Если задуматься, как происходила жеребьевка, трудно поверить, что обошлось без обмана. Это единственное место рассказа, звучащее довольно невнятно. Иосиф приписывает удивительный исход этой смертельной лотереи воле Бога или случаю, но звучит все так, будто он предлагает читателю самому догадаться, что было на самом деле. Ибо в результате произошла невероятнейшая вещь: у него на глазах его воины перебили друг друга. И не сразу, одномоментно, а постепенно, в порядке очереди. Убийства следуют по жребию. Каждый убивает своего товарища и сам становится жертвой следующего, на кого пал жребий. Религиозные аргументы, выдвинутые Иосифом против самоубийства, к убийству явно не относятся. По мере того как падают его товарищи, растет надежда на его собственное спасение. Он хочет смерти им всем и каждому в отдельности, для себя же жаждет только жизни. А они умирают легко, зная, что полководец умрет вместе с ними. Они не могут предположить, что он окажется последним. Невероятно, чтобы они могли даже представить себе такую возможность. Конечно, кто-

то будет последним, и он об этом предупредил: было бы величайшей несправедливостью, сказал он, если бы после смерти соратников оказавшийся последним вдруг передумал и решил спасти себе жизнь. Именно такую несправедливость он и замыслил. Самое невероятное, что можно сделать после смерти соратников, он и решил сделать. Под тем предлогом, что в эти последние минуты он хочет быть с ними и одним из них, он послал товарищей на смерть и тем самым спас собственную жизнь. Они не знают, что он чувствует, глядя, как они умирают. Они верят в единство общей судьбы, а он мыслит себя отдельно от судьбы, которую им уготовил. Они умирают, чтобы ему спастись.

Это — совершенная ложь. Это — ложь всех вождей. Они подают дело так, будто идут на смерть впереди своих воинов. На самом деле они посылают людей на смерть, чтобы самим остаться живыми. Здесь всегда одна и та же хитрость. Вождь стремится выжить, от этого крепнут его силы. Если для этого есть враги, хорошо; если нет врагов, имеются соратники. Во всяком случае, использует он и тех, и других, по очереди либо одновременно. Врагами он пользуется чаще, для этого они и враги. Своими приходится пользоваться тайком.

В пещере Иосифа эта хитрость видна насквозь. Снаружи находятся враги. Они победили, но их прежние угрозы превратились теперь в обещания. Внутри же вокруг друзья. Они полны прежней решимости, внушенной им вождем, и не желают верить новым обещаниям. Поэтому пещера, где спасается вождь, стала для него крайне опасной. Тогда он обманывает друзей, решившихся погубить его и самих себя собственными руками, и посылает их всех вместе на смерть. Себя же он отделяет от них сначала в мыслях, а потом и на деле. Он остается наедине с последним из товарищей. Поскольку, как он говорит, не хочется проливать кровь соплеменника, он убеждает его сдать римлянам. Только одного он уговорил жить. Сорок было для него слишком много. Оба спаслись у римлян.

Так он вышел невредимым из схватки со своими людьми. Это он и принес римлянам: обостренное ощущение собственной жизни, напитавшейся смертью товарищей. Передача этой только что обретенной силы Веспасиану представляет собой третий акт драмы спасения Иосифа. Она выразилась в пророческих видениях. Римляне отлично знали, как упорны евреи в своей вере. Они понимали, что легкомысленно помянуть имя Божье, — последнее, к чему можно принудить еврея. Иосиф, должно быть, очень хотел, чтобы императором был Веспасиан вместо Нерона. Нерон, к которому его собирались отправить, не сохранил бы ему жизнь. От Веспасиана он имел хотя бы слово. Ему было также известно, что Нерон невзлюбил Веспасиана, гораздо более старшего, чем он сам, имевшего обыкновение засыпать на его певческих концертах. Он часто демонстрировал ему свою немилость и только теперь, когда восстание евреев опасно разрослось, вернул в строй старого испытанного генерала. У Веспасиана были основания не доверять Нерону. Предсказания грядущего величия были ему приятны.

Иосиф, похоже, сам верил в известие, принесенное им Веспасиану от Божьего имени. Дар пророчества был у него в крови. Он считал себя настоящим пророком. Поэтому он дарил римлянам то, чем сами они не обладали. Римских богов он всерьез не принимал, все, что от них исходило, считал суеверием. Но он знал, что должен убедить Веспасиана, презиравшего, как всякий римлянин, евреев и их религию, в серьезности и добросовестности своего послания. Силе убеждения, уверенности, с какой он держал речь — он, окруженный врагами, которым принес столько бед, — а также вере в себя, сидевшей в нем прочнее, чем любая другая вера, Иосиф обязан был тем, что выжил среди своих соратников. Свой дар выживания, проверенный и усиленный в пещере, он перенес на Веспасиана, который пережил Нерона, бывшего на тридцать лет моложе, и всех его наследников, числом не менее трех. Каждый из них пал, так сказать, от руки другого, и Веспасиан стал римским императором.

ВРАЖДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИТЕЛЕЙ К ВЫЖИВАЮЩЕМУ. ВЛАСТИТЕЛЬ И ПРЕЕМНИК

Делийский султан Мухаммед Туглак лелеял планы, по размаху превосходящие планы Александра и Наполеона; в числе прочих был проект покорения Китая с переходом через Гималаи. Для этой цели была собрана армия в 100 000 всадников. Она выступила в поход в 1337 г. и погибла в горах. Только десятерым удалось спастись. Они принесли в Дели весть о гибели гигантского войска. Все десятеро были казнены по приказу султана.

Враждебность властителей по отношению к выживающим имеет универсальный характер. Властители полагают, что выживать надлежит только им, выживание — их богатство, их бесценное достояние. Если кто нагло позволил себе выжить в опасной ситуации, особенно где многие погибли, тот полез не в свое дело, и они ненавидят его всеми фибрами души.

Там, где абсолютная власть существовала в чистом виде, например, в странах мусульманского Востока, ненависть властителей к выживающим могла проявляться открыто. Даже если приходилось искать предлог для расправы над ними, владыки не в силах были скрыть бушевавшей в них голой ярости.

На Деканском нагорье утвердилось отколовшееся от Дели новое мусульманское царство. Глава возникшей династии Мухаммед Шах все время своего правления вел ожесточенную борьбу с соседними индуистскими княжествами. Однажды индуисты захватили важный город Мудкал, вырезав всех жителей — мужчин, женщин и детей. Спасся единственный человек, принесший весть в столицу султана. «Услышав об этом, — пишет хронист, — владыка исполнился горя и гнева: он сразу повелел казнить несчастного вестника. Он не в силах был вынести присутствия этого жалкого существа, ставшего свидетелем гибели многих своих отважных товарищей и пережившего их».

Здесь еще можно говорить о каком-то предлоге, и, может быть, султан в самом деле не догадывался, почему невыносим для него вид единственного, избежавшего смерти. Египетский калиф Хаким, правивший около 1000 г., вполне осознавал природу властных игр и наслаждался ими на манер императора Домициана. Он любил, переодевшись, бродить ночью по окрестностям. В одну из ночных прогулок на горе недалеко от Каира ему повстречались десятеро вооруженных мужчин, которые, узнав его, стали просить денег. Он им ответил: «Разделитесь на две группы и сразитесь друг с другом. Кто победит, тому я дам денег». Они подчинились и с таким остервенением набросились друг на друга, что девятеро пали мертвыми. Десятому, оставшемуся в живых, калиф бросил большую горсть золотых. Но когда тот нагнулся их подобрать, Хаким приказал стремянным изрубить его на куски. Он показал тем самым ясное понимание процесса выживания: он наслаждался им как своего рода представлением, которое сам же и организовал, а под конец еще и порадовался, уничтожив выжившего.

Наиболее характерно в этом смысле отношение властителя к своему преемнику. Если речь идет о династии и преемник — сын, отношение вдвое сложнее. Естественно, что сын переживет отца, как всякий сын, и столь же естественно, что в нем с малых лет пробуждается и растет страсть к выживанию, — ведь ему самому предстоит править. У обоих есть основания ненавидеть друг друга. Их соперничество, истекающее из неравных предпосылок, достигает особенной остроты именно в силу этого неравенства. Тот, у которого в руках власть, знает, что он должен умереть раньше, чем противник. Тот, кто еще не имеет власти, уверен, что переживет другого. Он страстно жаждет смерти старшего, который меньше всех на свете хочет умереть, — иначе какой бы он был властитель! С другой стороны, старший любыми средствами препятствует младшему приблизиться к власти. Этот конфликт в действительности неразрешим. История изобилует восстаниями сыновей против отцов. Некоторым удает-

ся свергнуть отцов, другие терпят поражение, после чего их либо милуют, либо казнят.

Можно предположить, что в династии долгоживущих абсолютных властителей восстание сыновей против отцов должно стать чем-то вроде постоянного учреждения. Поучительна в этом смысле история императорской династии Моголов в Индии. Принц Салим, старший сын императора Акбара, «жаждал взять бразды правления в свои руки и злился по поводу долгой жизни своего отца, из-за чего он не мог насладиться высшей властью. Он решил сам взять такую власть, по собственной воле назвал себя королем и присвоил себе королевские права». Так говорится в дошедшем из тех времен сообщении иезуитов, хорошо знавших и отца и сына и пытавшихся обратить обоих в христианство. Салим организовал собственный двор. Он нанял убийц, которые, напад из засады, зарубили доверенного друга и советника отца. Бунт сына длился три года, в это время состоялось даже лицемерное примирение. Наконец отец угрозил, что назначит другого наследника, и сын вынужден был явиться ко двору отца. Сначала его принимали сердечно, но вскоре отец увлек его во внутренние покои, надавал оплеух и запер в купальне. К нему приставили врача и двух санитаров, как к душевнобольному, лишили вина, которое он любил. Принцу было тогда 35 лет. По прошествии нескольких дней Акбар освободил его и вновь возвел в достоинство наследника трона. На следующий год Акбар умер от дизентерии. Говорили, что он был отравлен собственным сыном, но ясности на этот счет теперь уже не добиться. «После смерти отца, которой он так страстно желал», принц Салим стал наконец императором и назвал себя Джахангиром.

Акбар царствовал 45 лет, Джахангир — 22 года. Но, процарствовав вдвое меньше, он пережил то же самое, что его отец. Его любимый сын Шах Джахан, которого он сам избрал своим преемником, восстал против него и развязал войну, длившуюся три года. В конце концов он потерпел пора-

жение и запросил у отца мира. Его помиловали, но с одним жестким условием: два его сына должны содержаться заложниками при императорском дворе. Он весьма остерегался теперь попасться отцу на глаза и только ждал его смерти. Через два года после заключения мира Джахангир умер, и Шах Джахан стал императором.

Шах Джахан правил 30 лет. Что он причинил своему отцу, то случилось и с ним самим. Но его сыну повезло больше. Аурангзеб, младший из братьев, содержавшихся заложниками про дворе своего дедушки, выступил против отца и старшего брата. Описанная свидетелями-европейцами знаменитая «война преемников» кончилась его победой. Брата он велел казнить, отца до самой смерти, то есть восемь лет, держал в тюрьме.

Вскоре после победы Аурангзеб объявил себя императором и царствовал полвека. Его собственный любимый сын потерял терпение задолго до истечения этого срока. Он взбунтовался против отца, но старик оказался хитрее сына и сумел подкупить и переманить его союзников. Сыну пришлось бежать в Персию, где он и умер в изгнании еще раньше, чем отец.

Если охватить взором всю историю династии Моголов, откроется удивительно однообразная картина. Блеск ее длился 150 лет. В это время царствовали четыре императора, каждый был сыном предыдущего, все отличались упорством, долгожительством и были привязаны к власти всеми фибрами души. Каждый царствовал необычайно долго: Акбар — 45 лет, его сын — 22 года, его внук — 30 лет и правнук — полвека. Начиная с Акбара, ни один из сыновей не выдержал положенного срока: те из них, кто потом становился императором, восставали против отцов. Восстания заканчивались по-разному. Джахангир и Шах Джахан были разбиты, но помилованы отцами. Аурангзеб разбил отца и продержал его в тюрьме до самой смерти. Его собственный сын потерпел поражение и умер в изгнании. Со смертью Аурангзеба ушла мощь империи Моголов.

В этой династии долгожителей каждый сын восставал против отца и каждый отец вел войну против сына.

Обостреннейшее чувство власти присутствует там, где властитель вообще не хочет сына. Особо показательна история Чаки, основавшего в первой трети XIX в. нацию и государство зулу в Южной Африке. Чака был великим полководцем, его сравнивали с Наполеоном, а другого столь откровенного, как он, властителя едва ли вообще знала история. Он отказывался жениться, потому что не хотел законного наследника. Даже бесконечные мольбы матери, которую он успокаивал наградами, ни к чему не приводили. Она всего лишь хотела внука, а он не изменял своему решению. В его гареме насчитывалось несколько сот женщин, под конец их было 1200; официально их звали «сестрами». Им было запрещено беременеть и рожать детей. Они состояли под строгим контролем. Беременность наказывалась смертью. Если какая-нибудь из них рожала тайно, Чака собственноручно убивал ребенка. Он гордился своим любовным искусством, в совершенстве владел собой и твердо верил, что женщина не может понести от него. А потому ему никогда не придется бояться своего подрастающего сына. Его убили в возрасте 41 года двое его собственных братьев.

Если отвлечься от земных владык и переключиться на небесных, сразу приходит в голову Бог магометан, единовластие которого — самое полное и неоспоримое среди всех прочих богов. Он правит от начала времен, ему не пришлось, как Богу Ветхого Завета, прежде одолевать серьезных соперников. Коран вновь и вновь упорно повторяет, что он никем не рожден, но и никого не рождает. Здесь в полемике с христианством выражено чувство единства и неделимости его власти.

И напротив, бывают восточные владыки с сотнями сыновей, которым приходится долго и упорно сражаться друг против друга, пока не выяснится настоящий преемник. Можно предположить, что эта их взаимная враждебность несколько смягчает горечь, которую испытывает их отец, сознающий наличие преемника.

О значении преемника, его намерениях и преимуществах пойдет речь в другой связи. Здесь нужно только отметить, что властитель и его преемник состоят в особого рода вражде, которая возрастает как раз по мере усиления жажды власти, жажды выживания.

ФОРМЫ ВЫЖИВАНИЯ

Имеет смысл рассмотреть формы выживания; их много, важно ни одну не упустить из виду.

Первичный процесс в жизни каждого человека, происходящий задолго до рождения и, конечно, превосходящий его по значимости, это процесс *зачатия*. С точки зрения выживания он еще не рассматривался. О мгновении, когда семенная клетка проникает в яйцеклетку, известно многое, можно сказать, почти все. Но едва ли кого заставлял задуматься тот факт, что подавляющее большинство семенных клеток не достигает цели, хотя и активно участвует в процессе. Ведь к яйцу устремляется не *одна*-единственная семенная клетка. Их около 200 миллионов. Извергнутые разом, все они устремляются к *одной* и той же цели.

Число их огромно. Они размножились делением и потому одинаковы; теснее, чем они есть, расположиться невозможно; у них одна общая цель. Вспомним, что именно эти четыре характеристики являются сущностными свойствами массы.

Вряд ли нужно особо подчеркивать, что масса, состоящая из семенных клеток, отличается от массы, состоящей из людей. Но аналогия, а может быть, и нечто большее, чем просто аналогия, здесь очевидна.

Все эти семенные клетки *погибают* либо на пути к цели, либо потом возле нее. В яйцеклетку вторгается одно-единственное семя. Его вполне можно считать выживающим. Оно, так сказать, вождь, и ему удастся то, о чем явно или

тайно мечтают все вожди: ему удастся пережить ведомых. Из такого выжившего, пережившего 200 миллионов себе подобных, и возникает каждый человек.

От этой элементарной, хотя никогда не анализировавшейся формы перейдем к другим, более нам знакомым. В предыдущих разделах много говорилось об *убийстве*. Человек выступает против врагов: против одного-единственного, когда речь идет о единоборстве, против окружившей его стаи или, в конце концов, против целой массы. В последнем случае он не одинок и бросается на битву в ряду своих товарищей. Но выживание он всегда воспринимает как свое частное, личное дело, и тем более частное и личное, чем выше он по рангу. Побеждает «хозяин поля». Но поскольку многие из его людей тоже погибли, в горах мертвых не только враги, но и друзья; это напоминает о «нейтральной» ситуации — *эпидемии*.

Здесь убийство граничит с *умиранием*, со смертью в экстремальных размерах по причине болезней и природных катастроф. Выживший переживает здесь всех смертных, будь они друзья или враги. Любые отношения ничего не значат, смерть уравнивает столь универсально, что неизвестно, кого опускают в могилу, знают лишь, что это человек. Характерны повторяющиеся истории о том, как люди приходили в себя в груде мертвых тел, возвращались в жизнь, восставали из мертвых. После этого они обычно слывут неуязвимыми — своего рода чумные герои.

Сдержанное и скрытое удовлетворение в окружающих — друзьях и родственниках — рождает *единичная* естественная смерть. Никто не нападает и не убивает. Ничего не нужно предпринимать, а только спокойно ждать. Младшие переживают старших, сыновья — отцов.

Сын считает вполне естественным, что отец умирает раньше. Долг обязывает его поспешить к смертному ложу отца, закрыть ему глаза, нести его к могиле. Иногда процедура растягивается на несколько дней, и все это время отец лежит перед ним мертвым. Человек, командовавший им, как

никто другой, теперь нем. Бессильно терпит он все, что проделывается над его телом, а сын, который так долго ему подчинялся, теперь дает указания.

Уже здесь налицо удовлетворенность пережившего. Она вытекает из их предшествующих отношений. Один из них был слаб и беспомощен, полностью подчинялся другому. Другой, когда-то всемогущий, теперь свергнут и унижен, и первый распоряжается его безжизненными останками.

Все, что осталось от отца, идет на пользу сыну. Наследство — это его добыча. Он может распорядиться им совсем иначе, чем это делал отец. Отец был экономен, сын может оказаться транжирой, отец был умен, сын окажется безголовым. Как будто принят новый закон и тут же введен в действие. Разрыв с прежним полон и необратим. Его причина — выживание; это его самое личное и интимное выражение.

Совсем иначе выглядит выживание среди *ровесников*, одноклассников. Поскольку речь идет о собственной группе, стремление к выживанию здесь замаскировано иными, более мягкими формами соперничества. Группы ровесников распределяются по возрастным классам. Переход из одного класса в другой сопровождается жесткими, иногда даже жестокими ритуалами, исполнение которых может — хотя это бывает только в исключительных случаях — повлечь смерть молодого человека.

Старейшины — мужчины, которые по истечении определенного количества лет все еще живы, пользуются большим уважением уже у первобытных народов. Обычно люди умирают там гораздо раньше: жизнь там опаснее, чем у нас, они более, чем мы, подвержены болезням. Требуется усилие, чтобы достигнуть определенного возраста, и оно вознаграждается. Старики не только больше знают, не только извлекли массу опыта из пережитых ситуаций, они прошли проверку, о чем свидетельствует сам тот факт, что они живы. Они удачливы, раз живыми вышли из всех войн, охот и несчастий. По мере преодоления новых опасностей уважение к ним растет. Свои победы они могут подтвердить трофея-

ми. Их дрящаяся жизнь в племени, насчитывающем немного народа, выглядит событием выдающимся. Сколько раз им приходилось оплакивать других, а сами они живут, и чем больше умерло их сверстников, тем выше уважение к ним, оставшимся. Хотя последнее самим племенем может расцениваться не так высоко, как победа над врагами, одно неоспоримо: оставаться в живых — это само по себе означает иметь успех. Старейшины не просто живы, они *все еще* живы. Они могут, если захотят, брать себе молодых женщин, и парням придется довольствоваться теми, что постарше. Дело старейшин определять места кочевков, выбирать врагов и союзников. Если в таких обстоятельствах заходит речь об организованном правлении, то правят они, старейшие.

Стремление к долгожительству, характерное для большинства культур, на практике означает, что люди стремятся пережить своих сверстников. Зная, что многие умирают рано, каждый хочет для себя другой судьбы. Моля Бога даровать ему долгую жизнь, человек исключает себя из среды своих товарищей. Хотя в молитве об этом не упоминается, предполагается, что он станет старше их. «Здоровое» долгожительство воплощается в образе *патриарха*, озирающего многие поколения своих потомков. Патриарх один, нельзя помыслить возле его другого патриарха. С него будто бы начинается новый род. Поскольку вокруг него множество внуков и правнуков, ему не повредит, если кто-то из сыновей умрет раньше его: это лишь прибавит к нему уважения, показав, что жизнь в нем упорнее, чем в них.

Заключая обзор класса старейших, обратимся к последнему — *наистарейшему*. Длительностью его жизни определялись *этрусские века*. Об этом стоит сказать подробнее.

«Века» у этрусков были разной протяженности, иногда короче, иногда длиннее, и каждый раз определялись заново. В каждом поколении имелся человек, который жил дольше всех остальных. Смерть этого наистарейшего, пережившего всех прочих, считалась знаком, который боги дают человечеству. Этим мгновением определялась длительность

века: если умершему было 110 лет, ровно столько длился век, если он покинул мир в 105, устанавливается век, длившийся 105 лет. Век выживающего и есть *saeculum*, он исчисляется годами его жизни.

Протяженность жизни каждого города и каждого народа были predeterminedены. Народу этрусков суждены были десять веков, которые отсчитывались от основания города. Если выживающие в каждом из поколений держались особенно долго, то и нация в целом становилась намного старше. Это исключительное явление, в качестве религиозного института оно беспримерно в истории.

Выживание во *временном отдалении* — это единственная форма выживания, оставляющая человека невиновным. Людей, живших задолго до меня, которых я не знал, нельзя убить, невозможно желать им смерти, бессмысленно ее ждать. Известно, что они жили когда-то, когда меня еще не было. Но, осознавая, что они были, я помогаю им преуспеть в какой-то мягкой и часто пустой форме выживания. Может быть, я при этом оказываюсь им полезнее, чем они мне. Но можно показать, что и они стремятся удовлетворить собственную жажду выживания.

Существует, следовательно, выживание по отношению к *предкам*, которых человек лично знать не мог, а также и по отношению ко всем *предшествующим поколениям*. Ощущения последнего рода возникают на кладбищах. Они сродни чувству выживания во время эпидемии; только люди, собранные здесь из разных времен, пали жертвой не чумы, а эпидемии смерти.

Можно возразить, что в этом исследовании о выживающем обсуждается не что иное, как явление, давно уже нам известное под именем инстинкта *самосохранения*.

Но совпадает ли одно с другим? Разве это одно и то же? Как надо представлять себе действие инстинкта самосохранения? Мне кажется, что это понятие уже потому сюда не подходит, что предполагает одного-единственного *изолированного* человека. Акцент здесь делается на *само*. Еще важ-

нее вторая часть слова — *сохранение*. В нем заложен двоякий смысл: сначала, что каждая тварь должна *питаться*, чтобы жить, и далее она должна каким угодно образом *защищаться* от нападений. Рисуеться этакая монументальная фигура существа, которое одной рукой принимает пищу, а другой отталкивает врага. По сути дела, мирное создание! Оставь его в покое, оно будет жрать траву и не причинит никому ни малейшего вреда.

Можно ли изобразить человека более лживо, смешно и извращенно? Конечно, человек ест, но не то же, что корова, и его не пасут на лужайке. Он добывает себе пищу подлым, жестоким и кровавым путем, никогда не бывая при этом пассивным. Он не избегает врага, чтобы быть от него подальше, а, наоборот, бросается в бой, лишь только тень врага мелькнет на горизонте. Оружие нападения у него всегда сильнее, чем оружие обороны. Конечно, человек хочет себя сохранить, но есть другие вещи, которых он тоже желает, и разделить их невозможно. Человек хочет убивать, чтобы пережить других. Он не хочет умирать, чтобы его не пережили другие. Если то и другое можно назвать самосохранением, то выражение имеет смысл. Непонятно, правда, зачем держаться такого нечеткого понятия, если другое точно отражает суть дела.

Все перечисленные формы выживания имеют древнее происхождение, они встречаются, как будет показано далее, уже у первобытных народов.

ВЫЖИВАЮЩИЙ В ВЕРОВАНИЯХ ПЕРВОБЫТНЫХ НАРОДОВ

Мана, в понимании жителей островов южных морей, это безличная сверхъестественная сила, способная переходить от одного человека к другому. Обретение мана весьма желательно, она может скапливаться в отдельных индивидах.

Храбрый воин может накопить в себе много мана. Но он обретает ее не по причине большого боевого опыта или телесной силы — она переходит к нему как мана убитых им врагов.

«На *Маркизах* простой воин благодаря личной храбрости мог стать племенным вождем. Предполагалось, что воин заполучает в свое тело мана всех убитых им врагов. В соответствии с проявленной им храбростью растет его собственная мана. Но храбрость, согласно представлениям туземцев, есть *результат*, а не причина роста мана. С каждым убитым врагом растет также мана его копья. Победитель в единоборстве брал себе имя убитого врага, это означало, что в него перешла сила убитого. Чтобы непосредственно присвоить себе мана врага, надо поесть от его тела; чтобы прибывшая сила сохранялась в битве, чтобы обеспечить интимный контакт с добытой мана, надо всегда иметь при себе как часть боевого оснащения телесный остаток убитого врага — кость, высушенную руку, иногда даже целый череп».

Трудно яснее выразить воздействие победы на выживающего. Убив другого, он становится сильнее, и прирост мана делает возможными новые победы. Это как бы благословение, вырванное им у врага, но получить его можно, только когда враг мертв. Физическое присутствие врага, живого или мертвого, здесь обязательно. Он должен быть сражен и убит, собственно, к акту убийства сводится все дело. Подходящая часть трупа, которую победитель присваивает себе, либо съедая, либо привешивая к поясу, всегда напоминает о том, как возросла его сила. Он возбуждается ею сам и возбуждает ужас в других: каждый новый враг содрогается, предвидя свою горестную судьбу.

Согласно верованиям *мурнгинов*, населяющих *Землю Арнхема* в Австралии, между убитым и убийцей складываются более тесные, хотя также выгодные для последнего отношения. Дух убитого проникает в тело убийцы и удваивает его силу, сам убийца при этом становится *больше*. Надо думать, такая награда побуждает молодых людей к войне. Каж-

дый ищет себе врага, чтобы стать сильнее и крупнее. Но это намерение осуществится только в том случае, если враг убит *ночью*, ибо днем душа жертвы видит убийцу и, рассердившись, отказывается входить в его тело.

Процесс «вхождения» изображен весьма подробно. Это так любопытно, что мы приводим часть рассказа.

«Если человек убил на войне другого человека, он возвращается домой и отказывается есть вареное, пока к нему не приблизится душа убитого. Он может *слышать*, как она приближается, ибо древко копья болтается на каменном наконечнике, воткнувшемся в мертвеца: оно волочится по земле, цепляется за кусты и стволы деревьев, создавая шум при ходьбе. Когда душа совсем близко, убийца слышит звуки, идущие из раны.

Он хватает копьё, удаляет наконечник и ставит этот конец древка между большим и вторым пальцем ноги. Другой конец он кладет на плечо. Душа достигает углубления, в котором раньше был закреплен наконечник, и поднимается в ногу убийцы, а потом в его чрево. Она двигается как муравей. Пробравшись в желудок, она его запирает. Человеку становится дурно, будто у него лихорадка в желудке. Он трет живот рукой, громко произнося имя убитого. Это помогает, и он выздоравливает, ибо дух покидает живот и переходит в сердце. Это оказывает такое действие, как будто кровь убитого перешла в убийцу, как будто бы человек перед смертью передал свою живую кровь тому, кто его убьет.

Убийца теперь становится гораздо крупнее и сильнее, чем был, он усвоил всю жизненную силу, имевшуюся у мертвого. Душа убитого нашептывает ему, где можно найти добычу. «Там вверху у ручья, — говорит она, — ты увидишь нескольких кенгуру», или «там на горе гнездо медоносных пчел», или «у песчаной косы ты убьешь черепаху, а на пляже найдешь черепаший яйца».

Он прислушивается, а потом покидает стоянку и углубляется в буш, где встречает душу убитого. Душа приближается вплотную и ложится. Убийца пугается и кричит: «Кто

это? Кто здесь?» Он поворачивается туда, где был дух убитого, и видит там кенгуру. Он необычно маленький. Убийца глядит и понимает, что это значит: кенгуру ведь точно на том месте, где он слышал движения духа. Он берет пот из подмышки и натирает им руку. Потом поднимает копьё и, выкрикнув имя убитого, поражает животное. Кенгуру сразу умирает, но успеваает за это время сильно вырасти. Человек пытается его поднять, но не может, таким большим стал кенгуру. Он оставляет его и возвращается на стоянку. «Я только что убил душу мертвого человека», — сообщает он друзьям. «Никому не говори об этом, а то она снова разгневется». Близкие друзья и родственники идут с ним вместе, чтобы помочь разделать зверя. Где бы они ни начинали резать, всюду обнаруживается жир, а это самое большое лакомство. Сначала на огонь кладут совсем маленькие кусочки. Осторожно пробуют, но мясо все время оказывается с неприятным вкусом.

Затем животное варят целиком и с удовольствием съедают самые вкусные части. Остаток несут на главную стоянку. Старики смотрят и видят, какое это необычайно большое животное. Они становятся вокруг, и один спрашивает:

«Где ты его убил?»

«Там внизу у реки».

Старики понимают, что это не простая добыча, ведь всюду у нее жир. Через некоторое время один из них спрашивает:

«Тебе не встречалась там в буше душа одного убитого?»

«Нет, не встречалась», — вынужден соврать молодой человек.

Старики пробуют мясо, у которого совсем не такой вкус, как у обыкновенного кенгуру. Они трясут головами и цокают языками: «А все-таки ты встретил там в буше душу убитого!»

Выживший присваивает силу и кровь убитого им врага. Не только сам он крупнеет, даже его добыча становится жирнее и толще. Он имеет от врага самый личный и непосредственный прибыток. Поэтому мысль молодого че-

ловека всегда устремлена к войне. Но поскольку все должно происходить тайно и в ночи, это мало соответствует представлениям о героизме, содержащимся в наших преданиях.

Герои знакомого нам типа, бесстрашно в одиночку бросающиеся в гущу врагов, встречаются на островах *Фиджи*. Там есть легенда о мальчике, который вырос при матери, не зная своего отца. Угрозами он вырвал у нее отцовское имя. Отец оказался небесным королем, к нему мальчик и отправился. Отец был разочарован, что сын оказался таким маленьким. Он собирался на войну, ему требовались не мальчики, а настоящие мужчины. Королевские приближенные хохотали над малышом, пока он дубинкой не пробил одному из них голову. Королю это понравилось, и он оставил мальчика при себе.

«На следующее утро совсем рано к городу приблизились враги, вопя и выкрикивая: «Выходи к нам, небесный король, потому что мы проголодались! Выходи, мы хотим есть!»

Тут поднялся мальчик и сказал: «Пусть никто не следует за мной. Все оставайтесь в городе!» Он вскинул самодельную дубинку и ворвался в гущу врагов, разя налево и направо. От каждого удара падал один из врагов, пока все они не ударились в бегство. Он уселся на кучу трупов и закричал людям в городе: «Выходите и оттащите убитых!» Они вышли, затаив песню смерти, и утащили 42 трупа, тогда как в городе били барабаны.

Еще четырежды разгромил мальчик врагов своего отца, пока души их не сморщились и они не явились к небесному королю с предложением мира: «Сжался над нами, о господин, оставь нас в живых!» Так у него не стало врагов, и царство его распространилось на все небо».

Мальчик в одиночку справился со всеми врагами, ни один его удар не пропал даром. Под конец мы видим его сидящим на куче трупов, добытых им собственноручно.

Но не надо думать, что такое бывает только в сказке. На *Фиджи* для обозначения героев имеется четыре разных имени. Тот, кто убил одного человека, именуется *корои*. Кто

убил десять, зовется *коли*. Убивший двадцать и тридцать — соответственно *виса* и *вангка*. Один великий вождь добился того, что ему был присвоен титул *коли-виса-вангка*, означавший, что он убил десять + двадцать + тридцать, всего шестьдесят человек.

Деяния таких героев, пожалуй, еще величественнее, чем деяния наших героев, ибо, убив врагов, они их еще съедают. Один вождь, затаивший на своего врага особенную злобу, поклялся съесть его целиком и действительно никому не дал ни куска.

Однако герой, могут мне возразить, сражается не только с врагами. Его главной специальностью, согласно преданию, являются страшные чудовища, от которых он освобождает свой народ. Чудовище постепенно уничтожает целый народ, и никто не может от него защититься. В лучшем случае устанавливается страшное правило: ежегодно ему на съедение выдается столько-то людей. Герой, сжалившись над населением, выходит на бой и в опасном единоборстве одолевает монстра. Благодарный народ чтит его память. Она живет в светлом и чистом образе неуязвимого героя.

Но есть мифы, где отчетливо просматривается связь такого светлого образа с кучами трупов, причем не только вражеских. В самой концентрированной форме она выражена в мифе, записанном у южноамериканского племени *уито-то*. Он содержится в важном и до сих пор недостаточно оцененном собрании *К. Т. Пройса* и воспроизводится здесь, насколько это касается интересующего нас предмета, в сокращенном виде.

«Однажды две девочки, жившие с отцом на берегу реки, увидели в воде маленькую красивую змейку и попытались ее поймать. Несколько раз она от них ускользала. Но потом они попросили отца сплести сито с особенно тонкими ячейками, поймали змейку и принесли домой. Они посадили ее в горшок с водой и стали давать ей всякую пищу, но она от всего отказывалась. Только когда отцу во сне явилась мысль кормить змейку специально приготовленной картофельной

мукой, она стала питаться по-настоящему. Сначала она сделалась толщиной с нитку, потом с кончик пальца, и девочки пересадили ее в горшок большего размера. Она ела все больше картофельной муки и стала толщиной с руку. Тогда они пересадили ее в маленькое озерко. Она всегда была голодной и глотала картофельную муку так жадно, что чуть не заглатывала руку вместе с кормом. Скоро она стала толстой, как дерево, упавшее в воду. Она начала выходить на берег и глотать оленей и других животных, но на призыв сестер всегда мчалась к месту кормежки и поглощала картофельную муку в огромных количествах. Она вырыла себе нору под селениями и стала жрать человеческих предков, первых людей на земле. Однажды девочки позвали ее есть, она приплыла и разинула пасть так широко, что проглотила сосуд с картофельной мукой вместе с девочкой, которая его держала.

Оставшаяся сестра, плача, рассказала об этом отцу, и отец решил отомстить. Он сел жевать табак, как всегда делают эти люди, решив кого-нибудь погубить, впал в опьянение, и в этом состоянии ему пришла в голову мысль, как он мог бы отомстить змее. Он приготовил много картофельной муки, вышел на берег и, позвав змею, проглотившую его дочь, крикнул ей: «Глотай меня!» Чтобы убить ее, он был готов на все и пил из табакерки, висящей у него на шее. Змея пришла на зов и схватила горшок с картофельной мукой, который он держал высоко над собой. Он прыгнул к ней в пасть и спрятался там. Змея подумала, что убила его, и уплыла.

После этого она съела одно племя, и прямо на нем разлагались люди. Потом она начала есть другое племя, и люди тоже разлагались на нем. Он сидел, а они гнили на нем, отчего приходилось выносить сильную вонь. Она проглотила все племена на реке, и там не осталось ни одного человека. Он захватил из дому острую раковину, чтобы взрезать ей живот, но рассек его только слегка, отчего змее все время было больно. Потом она стала поедать племена на другой

реке. Людям было страшно, они не ходили обрабатывать поля и все время сидели дома. Да и все равно это было невозможно, на полпути змея устроила себе нору и хватала всех, кто возвращался с поля. Каждый боялся, что змея его сожрет, и не показывал носу из дому. Даже из своих подвешенных коек они старались не вылезать, боясь, что вблизи окажется нора и змея утащит их к себе.

На нем гнили и разлагались люди. Он пил табачный настой и резал тело змеи изнутри так, что она испытывала сильную боль. «Что со мной? Наверное, я проглотила Деигому, Режущего, и теперь мне больно», — говорила змея и вскрикивала. Теперь она отправилась к другому племени, выходила там из земли и хватала людей. Им некуда было бежать, и на реке тоже не было спасения. В бухте, где они брали воду, появлялась змея, хватала их и утаскивала с собой. Даже когда они утром вставали на пол, змея хватала их и уносила. Отец же резал ей живот раковинной, и она кричала: «Откуда у меня эта боль? Я проглотила Деигому, Режущего, и оттого мне больно».

Дух-хранитель предупредил его: «Деигома, будь осторожней, когда режешь. Это не тот речной залив, где стоит твой дом. Очень далеко отсюда до твоего дома». Услышав это, он перестал резать. Змея же вернулась туда, где ела людей раньше, и стала хватать оставшихся. «Она все еще здесь, — говорили жители деревень. — Что с нами будет? Она извела наше племя». Они отощали. Им нечего было есть.

Люди умирали и сгнивали в брюхе. Деигома пил из табакерки и резал ее тело. Он уже долго сидел внутри ее. С незапамятных времен он ничего не ел, а довольствовался табачным соком. Да и что ему было есть? Он пил табачный сок и, несмотря на вонь, был спокоен.

Племен больше не было, змея пожрала все живое, что было на реках под небом, и людей больше не осталось. Духи-помощники сказали отцу: «Деигома, вот залив, где твое жилище. Режь теперь сильнее. Еще два изгиба реки, и ты дома». Он взялся за раковину. «Режь, Деигома, режь сильнее», —

говорили они. Тут он рассек брюхо змеи, расширил отверстие и через мех на брюхе выбрался наружу прямо в своем заливе.

Выбравшись наружу, он сел. Оказалось, голова у него совсем облезла, на ней не было волос. Змея билась неподалеку. Так он вернулся назад, проведя немыслимое время во внутренностях змеи. Он хорошенько помылся в своем заливе, пошел в хижину и увидел своих дочерей, радующихся возвращению отца».

На всем протяжении этого мифа, который приведен здесь в значительно сокращенном виде, не менее пятнадцати раз специально отмечено, как люди разлагаются на героя. Этот важный мотив приобретает буквально навязчивый характер: это разложение, да еще пожирание людей змеей — вот чаще всего повторяющиеся ситуации. Деигома пьет табачный сок и поэтому остается в живых. Это спокойствие и невозмутимость посреди разложения отличают героя. На нем могут сгнить все, кто только есть в мире, и это на него не повлияет, посреди всеобщего гниения он останется прямым и целеустремленным. Это, если угодно, невинный герой — гниющие не на его совести. Но ему приходится жить и действовать во всеобщем распаде. Распад не губит его, но, наоборот, можно сказать, заставляет сохранять целеустремленность. Концентрация трупов в этом мифе, где все действительно важное происходит в брюхе змеи, более чем наглядна — это сама истина.

Герой тот, кто благополучно выходит из все новых и новых опасных ситуаций. Но выживает не только герой. Его выживанию помогает масса его товарищей, и именно в том случае, если они все погибают.

Как удастся человеку спастись на войне, когда все его товарищи погибли, и что он, оставшись один, ощущает? Об этом говорится в одном из индейских мифов, записанных *Кох-Гринбергом у таулипангов* в Южной Америке.

«Ночью враги напали на деревню, состоящую из пяти хижин, и подожгли ее в двух местах, чтобы стало светло и

жители не смогли скрыться в темноте. Тех, кто выскакивал из домов, они убивали дубинками.

Один по имени Майчауле невредимым улегся между мертвыми и вымазал лицо и тело кровью, чтобы ввести врагов в заблуждение. Они решили, что все мертвы, и ушли. Майчауле остался один. Он встал, смыл с себя кровь и пошел к другой деревне, что располагалась неподалеку. Он думал, там кто-то есть, но никого не нашел. Все жители убежали. Он нашел только лепешки из маниоки и копченое мясо и немного поел. Потом он поразмыслил, вышел из дому и пошел неизвестно куда. Потом он сел и опять стал размышлять. Он думал об отце и матери, убитых врагами, и о том, что теперь у него никого нет. Потом он сказал себе: «Я хочу лежать с моими близкими, которые мертвы». В тоске он пошел назад к сожженной деревне. Там было много стервятников. Майчауле был знахарем и подумал о красивой девушке. Он спугнул стервятников и лег возле своих мертвых родственников. Он опять намазался кровью, а руки держал над головой, чтобы удобно было хватать. Скоро стервятники вернулись и стали кружиться над трупами. Потом прилетела дочь королевского грифа. И что же сделала дочь королевского грифа? Она села на грудь Майчауле. Она хотела разодрать его тело, и тут-то он схватил ее. Стервятники улетели. Он сказал дочери королевского грифа: «Превратись в женщину! Я такой одинокий, и никто мне не помогает». Он забрал ее с собой в пустой дом и там держал, как ручную птицу. Он сказал ей: «Сейчас я пойду на рыбалку. Когда я вернусь обратно, ты должна уже превратиться в женщину».

Сначала он лег среди мертвых, чтобы спастись от смерти, притворился мертвецом, чтобы его не нашли. Потом он обнаружил, что остался один, на душе стало жутко и тоскливо. Он решил вернуться и лечь к своим мертвым родным. Возможно, сначала он думал о том, чтобы разделить их судьбу. Но это было не очень всерьез, ибо он возмечтал о красивой девушке, и, поскольку кроме стервятников ничего живо-

го вокруг не было, поймал себе стервятника вместо женщины. Можно бы добавить, что потом птица, согласно его желанию, и впрямь превратилась в женщину.

Удивительно, как много племен по всей Земле произошло от пар, оставшихся в живых после огромной катастрофы. В хорошо знакомой истории всемирного потопа ситуация несколько смягчена: Ной остался со своим семейством. Ему было дозволено взять в ковчег всю родню и каждой твари по паре. Но благосклонностью Господа пользовался только он: доблесть выживания, на этот раз религиозного характера, была присуща только *ему*, и только благодаря ему в ковчег пустили остальных. Есть более последовательные варианты той же легенды, где гибнут абсолютно все, кроме пары прародителей. Такие повествования не обязательно связаны с идеей потопа. Иногда это бывает эпидемия, когда умирают все, кроме одного-единственного человека, который бродит в поисках живой души, пока не наткнется на женщину или на двух женщин и не женится на них, кладя тем самым начало новому роду.

То, что он остался один, добавляет предку славы и величия. Даже если об этом не сказано прямо, все равно тот факт, что он не погиб вместе с остальными, ставится ему в заслугу. К уважению, которым он пользуется как прародитель всех ныне живущих, добавляется преклонение перед его счастливой способностью выживания. Пока он жил вместе с другими, ничто его особенно не выделяло — такой же, как все. И вдруг он оказывается в полном одиночестве. Период его одиноких скитаний изображается во множестве подробностей. Показано, как он ищет живых, но везде находит только трупы. Поняв, что в живых больше никого не осталось, он приходит в отчаяние. Но при этом отчетливо звучит и другая нота: человечеству, начинающему сначала, он — единственная опора, без его решимости начать все снова никого и ничего не было бы.

Одно из самых выразительных преданий такого рода — легенда о происхождении *кутенаи*. В ней говорится дословно следующее.

«Жили-были люди, и однажды пришла болезнь. Они умирали. Все умирали. Они ходили по округе и сообщали друг другу эту новость. Все кутенаи оказались поражены болезнью. Они приходили в селения и рассказывали об этом. Везде было одно и то же. А в одном селении никого не оказалось. Все умерли. Остался только один человек. И вот он выздоровел. Это был мужчина, и он был совсем один. Он подумал: «Похожу-ка я по миру и посмотрю, может быть, где-то есть кто-нибудь еще. Если никого не найду, не вернусь обратно. Здесь никого нет, и никто не придет в гости». Он сел в каноэ и поплыл к следующей стоянке кутенаи. Когда он прибыл туда, где обычно на берегу собирались люди, там никого не оказалось, и сколько он ни ходил вокруг, везде были только мертвые и никакого признака жизни. И он понял, что никого не осталось. Он сел в каноэ и поплыл дальше. Он прибыл в новое место, вышел и тоже нашел только мертвых. Во всем селении не было никого. Он отправился назад и достиг последнего места, где жили кутенаи. Он вошел в селение. В вигвамах лежали только трупы. Он обошел все вокруг и увидел, что людей уже нет. Обходя селения, он плакал. «Я единственный, кто остался, — сказал он себе, — даже собаки мертвы». Достигнув самой дальней деревни, он увидел человеческие следы. Там стоял вигвам, и в нем не было трупов. Тут он понял, что два или три человека остались в живых. Он видел большие и маленькие следы и не мог точно сказать, два или три человека остались в живых. Однако кто-то спасся. Он сел в свое каноэ и подумал: «Поплыву в эту сторону. Сюда обычно плавали те, кто жил здесь раньше. Если это мужчина, он, наверное, переселился дальше».

Плывя в каноэ, он увидел наверху в некотором отдалении двух черных медведей, лакомящихся ягодами. «Надо их застрелить, — подумал он. — Если я их застрелю, у меня будет пища. Мясо можно будет завялить. А потом я посмотрю, не остался ли кто-нибудь еще. Надо сначала приготовить мяса, а потом искать оставшихся. Я ведь видел следы. Мо-

жет быть, это изголодавшиеся мужчины и женщины. Им тоже нужно поесть». Он пошел по направлению к медведям, подошел ближе и увидел, что это были не медведи, а женщины. Одна была пожилая, а другая — девочка. Он подумал: «Как я рад видеть людей. Возьму эту женщину в жены». Он подошел и схватил девочку. Девочка сказала матери: «Мама, здесь мужчина». Мать посмотрела и увидела, что ее дочь сказала правду. Она увидела мужчину, держащего ее дочь. И тогда женщина, девочка и молодой мужчина заплакали, потому что все кутенаи были мертвы. Они смотрели друг на друга и плакали. Тогда женщина сказала: «Не бери мою дочь. Она еще маленькая. Возьми меня. Ты станешь моим мужем. Потом, когда дочь подрастет, она станет твоей женой. Потом у вас будут дети». Молодой человек женился на этой женщине. Прошло немного времени, и она сказала: «Теперь моя дочь выросла. Она может быть твоей женой. Хорошо будет, если у вас родятся дети. У нее уже сильное тело». Тогда молодой человек взял девочку в жены. С тех пор умножились кутенаи».

Третий род катастроф — массовое самоубийство, которое, в свою очередь, может быть следствием войны или эпидемии, — породил своих выживающих. Здесь нужно привести легенду *ба-ила*, одной из народностей банту в Родезии.

Два клана *ба-ила*, тотемом одного из которых была коза, а другого — шершень, затеяли серьезный спор. Речь шла о том, из какого клана должен избираться вождь племени. Клан козы, к которому принадлежал предыдущий вождь, теперь лишился этого почетного права, гордость его представителей оказалась уязвлена, и они решили все вместе утопиться в озере. Мужчины, женщины и дети начали вязать длинную-длинную веревку. Потом они собрались на берегу, этой веревкой привязали себя друг к другу за шею и все разом бросились в воду. Среди них был человек из третьего клана — льва, женатый на женщине — козе. Он всячески старался отговорить ее от самоубийства, а когда это не удалось, решил умереть вместе с ней. Случайно они ока-

зались последними в ряду связанных. Их потянуло в воду и они уже начали захлебываться, когда мужу вдруг расхотелось умирать. Он перерезал веревку и освободил себя и жену. Она пыталась вырваться, крича: «Пусти меня! Пусти!» Но муж не поддался и вытащил ее на берег. Поэтому люди из клана льва до сих пор говорят людям козы: «Это мы спасли вас от вымирания!»

Наконец нужно отметить еще одно, на этот раз вполне сознательное использование выживающего, относящееся к историческому времени и надежно заверенное. Во время истребительной войны двух индейских племен в Южной Америке одному-единственному из побежденных враги даровали жизнь и отправили его обратно к его племени. Он должен был сообщить соплеменникам о происшедшем, лишив их тем самым воли к сопротивлению. Вот что рассказывает *Гумбольдт* об этом вестнике отчаяния.

«Долгое сопротивление, которое *кабры*, объединившись под руководством храброго вождя, оказывали *караибам*, привело их после 1720 г. на грань уничтожения. Они побили врага в устье реки; множество караибов было убито во время бегства между быстринной и лежащим посередине островом. Пленных съели, но со свойственной народам как Южной, так и Северной Америки изощренной жестокостью *одному* из пленников оставили жизнь и, загнав его на дерево, заставили быть свидетелем варварской сцены, чтобы он передал побежденным, что их ожидает. Но победная эйфория вождя кабров длилась недолго. Караибы вернулись в таком количестве, что от племени каннибалов-кабров остались лишь жалкие крохи».

Этот единственный, которому из глумливости сохранили жизнь, видит с дерева, как победители пожирают его соплеменников. Все, с кем он выступал в поход, либо пали, либо перешли в желудки врагов. Выживший против собственной воли, с отчаянием в глазах он возвращается к своим. Смысл послания, внушенный врагами, таков: «Только один из вас остался в живых. Видите, как мы сильны. Не

вздумайте опять бороться с нами!» Однако то, что он остался один, и то, что он видел, наоборот, загло местью сердца соплеменников. Караибы стеклись со всех сторон и навсегда покончили с кабрами.

Это предание, не единственное в своем роде, показывает, как ясно первобытные народы видят выживающего. Они полностью осознают своеобразие его ситуации. Они принимают ее в расчет и стараются использовать в своих конкретных целях. С обеих сторон — и для врагов, и для друзей — загнанный на дерево караиб правильно сыграл свою роль. Бесстрашно осмыслив эту его двойную функцию, можно узнать бесконечно много.

МЕРТВЫЕ КАК ПЕРЕЖИТЫЕ

Всякий, кто занимается оригинальными явлениями религиозной жизни, не перестает удивляться тому, как велика в них роль мертвых. Ритуалы, относящиеся к мертвым, переполняют существование многих племен.

Что бросается в глаза повсюду и прежде всего, так это *страх* перед мертвыми. Считается, что они недовольны своим положением и полны зависти к живущим. Они мстят — иногда за оскорбления, нанесенные им при жизни, но чаще просто за то, что другие живы, а они нет. Именно зависти мертвых больше всего страшатся живые. Они стараются их умилостивить, подлаживаясь и предлагая пищу. Они готовы отдать все, что может потребоваться для путешествия в страну мертвых, лишь бы мертвые там и оставались, а не возвращались назад, неся живым страдания и муки. Духи мертвых насылают или приносят болезни, воздействуют на успех охоты и сбор урожая, вообще по-всякому вторгаются в жизнь.

Но самое страстное желание мертвецов, никогда их не оставляющее, — это перетащить к себе живущих. Поскольку

ку их волнует, что живые присвоят себе оставшиеся после них предметы обихода, считалось необходимым избавляться от этих предметов или по крайней мере сохранять их в минимальном количестве. Все складывали в могилу или сжигали вместе с умершим. Хижину, где он жил, оставляли навсегда. Часто мертвеца со всеми пожитками хоронили прямо в его доме, как бы показывая, что все имущество с ним, себе никто ничего не взял. Но и это не избавляло от его гнева. Ибо зависть мертвых касается не предметов, которые ведь можно сделать или достать снова, — она касается самой жизни.

Удивительно, что это чувство приписывают мертвым всюду и при самых разных обстоятельствах. Кажется, что среди умерших всех народов господствует один и тот же настрой — лучше бы нам остаться в живых. С точки зрения тех, кто остался, каждый, кто ушел, потерпел поражение. Поражение заключается в том, что он был *пережит*. Он не может с этим смириться, и, вполне естественно, эту сильнейшую боль, которую вынужден был вынести сам, он старается причинить другим.

Значит, каждый мертвый — *пережитый*. Такое отношение к мертвым меняется только в случае крупных катастроф, происходящих относительно редко, когда погибает вместе множество людей. При единичной же смерти, о которой сейчас идет речь, из семьи или группы выбывает *один*. Налицо оказывается масса выживших, имеющих определенные права на мертвого; они образуют оплакивающую стаю. К ощущению потери, понесенной группой, добавляется любовь, которую к нему испытывали, и эти чувства часто невозможно разделить. Горестный плач в основе своей выражает искренние чувства. И если посторонние склонны относиться к нему с подозрением, то это потому, что ситуация многозначна по самой своей природе.

Ведь эти люди, у которых есть основания для плача, в то же самое время являются выжившими. Как понесшие утрату они рыдают, как выжившие испытывают своего

рода удовлетворение. Даже самим себе они не признаются в этом неподобающем чувстве. Но им отлично известно, как воспринимает все это мертвый. Он должен их ненавидеть, ибо у них есть жизнь, которой он лишен. И они взывают к его душе, чтобы доказать, что не желали его смерти. Они напоминают о своей доброте к нему, когда он еще был жив, приводят факты, подтверждающие, что все делалось, как он хотел. Его явно выраженные последние желания исполняются неукоснительно. Во многих местах последняя воля имеет силу закона. Во всем их поведении просматривается ясное и непоколебимое убеждение в том, что он ненавидит их как выживших.

Один индийский мальчик из племени *демерера* взял привычку есть песок и от этого умер. И вот его тело лежит в открытом гробу, купленном у живущего по соседству плотника. Сейчас гроб закроют и опустят в могилу. Рыдая, к нему припала бабушка и говорила:

«Дитя мое, я ведь много раз говорила тебе не есть песок. Я тебе никогда не давала песку, я знала, что это вредно. Ты сам его отыскивал. Я всегда говорила, что это плохо. И видишь, ты от этого умер. Не мсти мне, ты сам ведь это с собой сотворил, что-то злое внушило тебе есть песок. Смотри, я кладу с тобой лук и стрелы, чтобы ты радовался. Я всегда была к тебе добра. Будь и ты добр и не причиняй мне зла».

Потом подошла рыдающая мать и стала причитать:

«Дитя мое, я родила тебя в мир, чтобы ты видел только хорошее и всему радовался. Эта грудь кормила тебя, пока ты ее хотел. Я делала тебе игрушки и шила красивые рубашечки. Я за тобой ухаживала, кормила тебя, играла с тобой и ни разу тебя не ударила. Будь и ты ко мне добр, не причини мне зла».

Следом приблизился к гробу отец ребенка и произнес:

«Мальчик мой, когда я тебе говорил, что нельзя есть песок, ты меня не послушался и, видишь, теперь ты мертв. Я пошел и добыл тебе красивый гроб. Мне надо много работать, чтобы за него расплатиться. Я сделал тебе могилу в этом

красивом месте, где ты любил играть. Я тебя положу удобно и дам песка для еды, теперь он не повредит, а я знаю, что ты его любишь. Не приноси мне несчастья, лучше ищи того, кто заставил тебя есть песок».

Бабушка, мать и отец любили ребенка и, хотя он умер совсем маленьким, боятся его гнева только потому, что он умер, а *они* живут. Они уверяют мертвого, что не виновны в его смерти. Бабушка кладет ему лук и стрелы. Отец покупает красивый гроб и кладет в гроб песок, зная, что сын его любит. Так трогательна эта простодушная нежность к мертвому ребенку, но есть в ней что-то жуткое — она пронизана страхом.

У многих народов из веры в дальнейшую жизнь мертвых возник *культ предков*. Там, где он приобрел устойчивые формы, кажется, будто люди научились усмирять собственных мертвых. Мертвые получают все, что им хочется — почет и пищу, — и чувствуют себя удовлетворенными. Заботясь о них по всем правилам, пришедшим из стародавних времен, их превращают в союзников. Чем они были в этой жизни, тем же остаются и теперь, занимая свое прежнее место. Кто на земле был могучим вождем, тот вождь и под землей. Во время жертвоприношений и заклинаний его упоминают на первом месте. Его чувствительность намеренно преувеличивается, ведь если ее задеть, он может стать опасным. Он заинтересован в процветании потомства, от него многое зависит, поэтому нужно, чтобы он был по-доброму настроен. Он любит быть поблизости от своих потомков, и надо вести себя осмотрительно, чтобы по неосторожности не прогнать его отсюда.

У зулу в Южной Африке совместное существование с предками приняло особенно интимные формы. Материалы, собранные и изданные около ста лет назад английским миссионером *Келлавеем*, — это лучшее, что можно найти о культе предков у зулу. Он дает информаторам говорить самим и ведет записи на их собственном языке. Его книга «The Religious System of the Amazulu» является раритетом и по-

этому мало известна; это один из важнейших документов человечества.

Предки зулу обращаются в змей и уходят в землю. Но это не мифические змеи, как можно было бы думать, которых никто никогда в глаза не видит. Это обыкновенные, хорошо знакомые виды; они охотно живут возле хижин и иногда даже в них заползают. Некоторые из этих змей по телесным признакам напоминают определенных предков и рассматриваются живущими как таковые.

Но они не только змеи, ибо во сне могут являться живущим в человеческом облике и разговаривать с ними. Таких снов ждут, и, если их нет, жизнь становится неудобной. Зулу *хотят* разговаривать со своими мертвыми, им важно видеть их во сне ярко и отчетливо. Иногда образ предка мутнеет и затемняется, тогда его надо вновь прояснить при помощи особенных ритуалов. Время от времени и, разумеется, при всех важных событиях предкам приносят жертвы. Забивают коз и быков и торжественно приглашают предков прийти и накушаться. Их зовут, громко выкликая почетные титулы, которым уделяется огромное внимание: предки весьма честолюбивы, забыть или намеренно замолчать почетное звание — это тягчайшее оскорбление. Жертвенное животное должно громко визжать или стонать, чтобы его слышали предки, им по душе этот крик. Поэтому овец, умирающих молча, не берут для жертвы. Жертва — это не что иное, как трапеза, в которой мертвые участвуют вместе с живыми, причащение живых и мертвых.

Если жизнь идет как надо, то есть как привычно предкам: обычаи соблюдаются, жертвы приносятся, все остается неизменным, — предки довольны и способствуют благополучию потомков. Если же кто-то вдруг заболевает, значит, он возбудил недовольство своих предков и должен положить все силы, чтобы выяснить повод этого недовольства.

Ибо мертвые вовсе не всегда справедливы. Они были людьми, их человеческие слабости и ошибки у многих на

памяти. В снах они являются так, как это соответствует их характеру. Стоит труда разобраться в случае, довольно подробно описанном Кэлловеем. Из него следует, что даже самых ухоженных и почитаемых предков иногда охватывает злоба на оставшихся в живых только за то, что те живы. Проявление этой злобы, как мы сейчас увидим, если перевести его на наши обстоятельства, соответствует опасной болезни.

Скончался старший брат. Все его достояние и особенно скот, который здесь только и считается подлинным достоянием, перешло к младшему брату. Это обычный порядок наследования. Кроме того, младший брат, вступивший в наследство и принесший, как полагается, все жертвы, ничем не провинился перед мертвым. Однако внезапно он тяжело заболел, и во сне ему явился старший брат. «Мне приснилось, что он ударил меня и спросил: «Как вышло, что ты уже не знаешь меня?» Я ответил: «Что мне сделать, чтобы ты видел, что я знаю тебя? Я знаю, что ты мой брат». Он спросил: «Когда ты приносишь в жертву быка, почему не зовешь меня?» Я возразил: «Но я зову тебя и выкликаю все твои славные имена. Назови мне хоть одного быка, которого я убил, не позвав тебя». Он ответил: «Я хочу мяса». Я отклонил это требование, сказав: «Нет, брат мой, у меня нет быков. Разве ты видишь их в загоне?» «Если есть хоть один, — ответил брат, — я требую его». Когда я встал, то почувствовал боль в боку. Я пытался дышать и не мог, я задыхался».

Младший брат был упрям и не хотел лишаться быка из-за каприза мертвого старшего. Он сказал: «Я в самом деле болен и знаю, какая болезнь меня разбила». Люди ему возразили: «Если ты знаешь болезнь, то почему от нее не избавишься? Может, ты ее намеренно в себе вызываешь? Если ты знаешь, что это такое, может, ты хочешь умереть? Потому что если дух гневается на человека, он его губит».

Младший брат возразил: «Нет, господа мои! Меня сделал больным один человек. Я увидел его во сне, когда лег.

Ему захотелось мяса, и он явился ко мне под предлогом, что я его не зову, когда забиваю скот. Это меня удивило, потому что я забивал много скота и ни разу не было, чтобы я его не позвал. Если ему так захотелось мяса, он мог просто сказать: «Брат, мне хочется мяса». Однако же он сказал, что я его не почитаю. Я зол на него и думаю, что он хочет меня убить».

Люди сказали: «Как ты думаешь, понимает дух речи? Где он, чтобы мы могли сообщить ему наше мнение? Мы присутствовали при том, как ты забивал скот. Ты призывал его и называл славными именами, которые он заслужил за свою храбрость. Мы это слышали, и, если бы возможно было, чтобы этот твой брат или какой-либо другой мертвый восстал, мы бы призвали его к ответу и спросили: «Почему говоришь ты такие вещи?»

Больной ответил: «Ах, мой брат так бахвалится, потому что он старший. Я младше, чем он. Я жду, что он потребует, чтобы я уничтожил весь скот. Разве он не оставил скота, когда умер?»

Люди сказали: «Он ведь умер. Мы же в действительности говорим с тобой, и твои глаза в действительности смотрят на нас. Поэтому мы говорим тебе, что тебя касается: поговори с ним спокойно, и если у тебя есть хоть одна коза, отдай ему. Позор, что он приходит и губит тебя. Почему это ты видишь брата во сне и болеешь? Должно быть так, что, если человеку снится брат, он просыпается здоровым».

Он ответил: «Хорошо, господа мои, я дам ему мясо, которое он так любит. Он требует мяса. Он меня убивает. Это несправедливо. Каждую ночь он мне снится, а потом я просыпаюсь больным. Он не мужчина, он всегда был забияка и скандалист. Так у него и было: слово и сразу драка. Когда ему что-то скажут, он сразу в крик. Потом драка, и он всему причиной. Он ни разу не поразмыслил и не признал: «Да, я совершил ошибку, я не должен был бить этих людей». Дух его такой же, как он сам, — дурной и злобный. Но я дам ему мясо, которого он требует. Если я увижу, что он меня отпу-

стил и я здоров, завтра утром забью для него быка. Но он должен отпустить меня и вернуть мне дыхание, если это он. Я не должен так задыхаться, как сейчас».

Люди согласились: «Правильно, если утром ты будешь здоров, то мы узнаем, что виноват дух твоего брата. Но если утром ты будешь еще болен, то нельзя будет сказать, что это дух твоего брата; тогда это обыкновенная болезнь».

На закате солнца он все еще жаловался на боли. Но когда пришло время дойки коров, попросил поесть. Ему дали жидкую кашу, и он смог немного проглотить. Потом он сказал: «У меня жажда. Дайте мне немножко пива». Женщины принесли ему пива и почувствовали облегчение на сердце. Они обрадовались, потому что были очень испуганы и говорили себе: «Он даже не ест, наверное, он совсем плох». Они радовались про себя, не выражая своей радости, а только поглядывая друг на друга. Он выпил пиво и сказал: «Принесите-ка мне мой нюхательный табак, я хочу немножко понюхать». Они принесли табак, он взял немножко и лег. Потом он уснул.

Ночью явился брат и спросил: «Ну, ты уже выбрал для меня быков? Готов ты их утром забить?»

Спящий сказал: «Да, я убью для тебя одного быка. Почему ты говоришь, брат мой, что я никогда не зову тебя, ведь я всегда зову тебя почетными именами, когда забиваю скот. Ибо ты был храбрецом и славным воином».

Тот ответил: «Я говорю это нарочно, когда мне хочется мяса. *Я ведь умер и оставил тебе деревню. У тебя большая деревня*».

«Хорошо, хорошо, брат, ты оставил мне деревню. Но когда ты оставил деревню и умер, забил ли ты весь скот?»

«Нет, весь, конечно, не забил».

«Так почему же теперь, сын моего отца, ты требуешь, чтобы я все уничтожил?»

«Нет, я не требую, чтобы ты все уничтожил. Я говорю тебе: забивай скот, но пусть твоя деревня будет большой».

Он проснулся и почувствовал, что здоров, боль в боку прошла. Он сел и позвал жену: «Вставай, разведи огонь». Жена проснулась и развела большой огонь. Она спросила, как он себя чувствует. «Успокойся, — сказал он, — пробудившись, я почувствовал облегчение. Я говорил с моим братом и теперь выздоровел». Он понюхал табаку и снова уснул. Снова явился дух его брата и сказал: «Видишь, я тебя исцелил. Не забудь же утром забить скотину».

Утром он встал и пошел в загон для скота. У него были еще младшие братья, он позвал их, и они пошли вместе с ним. «Я позвал вас потому, что уже здоров. Брат сказал, что исцелил меня». Потом он велел им привести быка. Они привели. «Приведите теперь ту бесплодную корову». Они привели. Потом они пошли в верхнюю часть загона и стали возле него. Он произнес такую молитву:

«А теперь ешьте, вы, люди нашего дома. С нами добрый дух, с которым дети хорошо растут, а взрослые остаются здоровыми. Я спрашиваю тебя, того, который мой брат, почему ты опять и опять являешься мне во сне, почему ты мне снишься и потом я болею? Добрый дух приходит и приносит добрые вести. А мне все время пришлось страдать от болезни. Что это за скот такой, если его владелец должен его весь сожрать, а потом все время болеть? Прекрати, говорю я тебе! Перестань насылать на меня болезнь! Я говорю тебе: приходи во сне, поговори спокойно, скажи, чего тебе хочется! Ты же являешься, чтобы меня убить. Ясно, в жизни ты был отвратительным типом. Ты и под землей таким остался. Я и не ждал, что твой дух явится с дружбой и принесет хорошие новости. Почему ты приходишь с дурным, ты, мой старший брат, который должен нести деревне только хорошее, чтобы ничего плохого не случилось, ибо ты ведь владелец деревни!»

Затем он вот что сказал о скоте и возблагодарил: «Вот скот, который я тебе жертвую, вот красный бык, а здесь белая с красным бесплодная корова. Убей их! Я говорю: будь ко мне дружелюбен, чтобы я просыпался без болей. Я гово-

рю: пусть все духи нашего дома соберутся вокруг тебя, вокруг мяса, которое ты так любишь!»

Потом он приказал: «Закалывайте!» Один из его братьев взял копье и заколол бесплодную корову, она упала. Он заколол быка, он упал. Оба закричали. Он убил их, и они умерли. Он приказал их освежевать, с них сняли шкуру. Они сели есть в загоне для скота. Все мужчины собрались вокруг и просили дать им поесть. Каждому дали по куску. Все ели и были довольны. Они были благодарны и говорили: «Благодарим тебя, сын такого-то. Если какой-то дух найдет на тебя болезнь, мы будем знать, что это твой злой брат. Когда ты тяжело болел, мы не знали, придется ли нам еще есть с тобой мясо. Теперь ясно, что брат хотел тебя сгубить. Мы радуемся, что ты снова здоров».

«Ведь я же умер», — сказал старший брат, и в этой фразе — суть спора, опасной болезни, вообще всей истории. Что бы ни предпринимал мертвый, чего бы он ни требовал, — он же умер, и у него есть причина для озлобления. «Я тебе оставил деревню», — сказал он и добавил: «У тебя большая деревня». Жизнь другого и есть эта самая деревня, он мог бы сказать: «Я ведь умер, а ты живешь».

Именно этого упрека боится оставшийся в живых и в сновидении признает правоту умершего: он действительно его пережил. Эта несправедливость настолько велика, что рядом с ней бледнеет всякая другая несправедливость, и именно она дает мертвому силу превращать свою злобу в тяжкую болезнь для живого. «Он хочет меня убить», — говорит младший брат, а сам думает: «Потому что он умер». Он очень хорошо знает, почему боится умершего, и, чтобы умирить его, приносит ему жертву.

Так что переживание умерших связано для остающихся в живых со значительными неудобствами. Даже там, где приняты формы регулярного почитания, умершему нельзя полностью довериться. Чем влиятельнее он был когда-то здесь на земле, тем сильнее и опаснее будет его загробный гнев.

В королевстве *Уганда* нашли способ удерживать дух умершего короля среди его верных подданных. Он не исчезал, его не провожали, он оставался здесь, в этом мире. После его смерти избирался медиум, именуемый *мандва*, в котором поселялся дух умершего короля. Медиум, исполнявший функции священника, должен был выглядеть как король и точно так же себя вести. Он подражал всем особенностям языка умершего, и, если речь шла о короле давно прошедших времен, ему приходилось, как это точно удостоверено в одном из случаев, пользоваться архаичным языком трехсотлетней давности. Ибо если медиум умирал, дух короля переходил в другого представителя того же клана. Новый мандва принимал на себя обязанности предыдущего, и у духа короля всегда имелось жилище. Так что могло случиться, что медиум употреблял слова, которые никто не мог понять, даже его коллеги.

Не надо думать, будто медиум играл короля постоянно. Время от времени король, как говорили, «входил в его голову». Он впадал в состояние одержимости и начинал повторять умершего до последней черточки. В клане, отвечающем за поставку медиумов, характерные черты короля к моменту его смерти передавались от поколения к поколению. Король Кигала умер в глубокой старости, его медиум был совсем молодым человеком. Когда король «входил в его голову», медиум превращался в старика: тряс головой, на лице появлялись морщины, изо рта текла слюна.

К таким припадкам относились с величайшим почтением. Считалось честью при них присутствовать, лицезреть мертвого короля и *узнавать* его. Он же мог проявляться, когда захочет, в теле человека, специально для этого предназначенного, и потому не должен был испытывать злобы, характерной для тех, кто совсем исчез из этого мира.

Наиболее последовательный культ предков выработан *китайцами*. Чтобы понять, чем является для них предок, надо немножко углубиться в их представления о душе.

Они верили, что каждый человек обладает двумя душами. Одна, *по*, возникает из *спермы*, а потому имеется в человеке с момента зачатия; ей человек обязан памятью. Другая, *хун*, возникает из *воздуха*, который вдыхается после рождения, и формируется постепенно. Она имеет форму тела, которое ею одушевлено, но является невидимой. Ей свойственна разумность, увеличивающаяся по мере ее роста; это высшая душа.

После смерти воздушная душа поднимается в небо, а душа, возникшая из спермы, остается с трупом в могиле. Именно этой низшей души боятся больше всего. Она зловредна, завистлива и старается утащить с собой живых. По мере разложения тела эта возникшая из спермы душа тоже постепенно распадается, теряя способность вредить оставшимся.

Высшая душа, напротив, продолжает существовать. Ей нужна пища, ибо неблизок путь в страну мертвых. Если потомки не предложат ей пищи, ее ждут жестокие страдания. А если она не найдет дороги, то станет несчастной и такой же опасной, как душа из спермы.

Погребальные ритуалы имеют двоякую цель: обезопасить живущих от враждебных действий умерших и одновременно обеспечить выживание душ умерших. Ибо связь с миром мертвых становится опасной, если они перехватывают инициативу. Она благоприятна, если выступает в виде культа предков, практикуемого согласно предписанным нормам в соответствующие дни и часы.

Выживание души зависит от физических и моральных сил, которые она накопила при жизни. Они приобретаются посредством *питания* и *обучения*. Особенно важно различие между душой господина, «мясоеда», который всю жизнь хорошо питался, и душой обыкновенного, дешево и дурно питавшегося крестьянина. «Только у господ, — говорит *Гране*, — есть душа в подлинном смысле слова. Даже старость не портит эту душу, а, наоборот, обогащает ее. Господин готовится к смерти, потребляя изысканные блюда и

тонкие напитки. За свою жизнь он усвоил множество эссенций, тем больше, чем пышнее и продолжительнее была его власть. Он приумножил богатую субстанцию собственных предков, которые тоже наедались мясом и дичью. Его душа, когда он умрет, не рассеется как душа простолюдина, а выскользнет из трупа, полная сил.

Если господин следовал правилам своего сословия, душа его, очищенная и облагороженная траурной церемонией, обретает возвышенную и светлую власть. Она получает добродетельную мощь духа-хранителя и одновременно сохраняет в себе черты праведника и долгожителя. Она становится *душой предка*».

Теперь ей посвящается особенный культ в ее собственном храме. Она участвует в церемониях смены времен года, в жизни природы и в жизни страны. Когда охота удачна, она получает много еды. Если не удался урожай, она голодает. Душа предка питается зерном, мясом, дичью с господских владений, где она родилась. Но сколь ни велико ее личностное богатство, сколь долго она ни держится, используя запас накопленных сил, — настает миг, когда она рассеивается и гаснет. Через четыре или пять поколений дощечка предка, с которой она была связана определенным ритуалом, теряет право считаться особенной святыней. Она складывается в каменный ларь к дощечкам других, старших предков, время почитания которых давно минуло. Предок, имя которого было на ней запечатлено и которого она представляла, уже больше не господин. Его мощная индивидуальность, так долго выдвигавшаяся на передний план, исчезает. Его жизненный путь закончен, роль предка отыграна. Благодаря специальному культу ему в течение многих лет удавалось избежать судьбы обыкновенных мертвецов. Теперь же он возвращается в массу прочих мертвых и становится анонимным, как все они.

Не всех предков хватает на четыре или пять поколений. Как долго остается стоять дощечка, как долго продолжают обращаться к душе с просьбой прийти и принять пищу —

это зависит от ранга предка. Некоторых уже через поколение откладывают в сторону. Но сколько бы они ни протянули, тот факт, что они вообще существуют, в корне изменяет саму природу выживания.

Оно уже не является тайным триумфом сына, который живет, когда отец уже умер. Ибо отец присутствует здесь же в качестве предка: ему сын обязан всем, что имеет, и в его интересах сохранять отцовское благоволение. Он обязан кормить отца, даже умершего, и сто раз поостережется, прежде чем показать ему свое превосходство. Пока сын жив, душа отца всегда рядом, причем, как мы видели, она несет в себе совокупность черт определенной узнаваемой личности. Отцу же, в свою очередь, крайне важно, чтобы его питали и почитали. В новом существовании в виде предка ему необходимо, чтобы сын его жил: не будет потомков, не от кого будет ждать почитания. Ему нужно, чтобы сын и последующие поколения жили дольше, чем он сам. Ему нужно, чтобы дела их шли хорошо, ибо их успехом определяется его собственное существование в качестве предка. Ему нужно, чтобы они жили до тех пор, пока готовы помнить о нем. Так возникает органичное и благоприятное сочетание интересов: отец в качестве предка обретает своеобразную форму продления жизни, дети — гордость за то, что в состоянии это обеспечить.

Так же важно, что в течение нескольких поколений предки существуют *поодиночке*. Их помнят и почитают в качестве индивидуумов, и, лишь уйдя в совсем далекое прошлое, они сливаются в массу. Именно отец и дед как отдельные четко определенные индивиды стоят между потомками и безликой массой предков. Пока сын испытывает удовлетворение от того, что отец *рядом*, ее влияние сдержаннее и мягче. Из-за самой природы отношений она не может побудить сына к умножению числа мертвых. Лишь он сам станет тем, кто увеличит это число на единицу, но ему хочется, чтобы этого не случилось как можно дольше. Так ситуация выживания теряет свой массовидный характер. Выживание

как страсть оказывается непонятным и противоестественным, оно лишается своих смертоносных качеств. Самоощущение и память заключают союз между собой. Одно окрашивается другим, и лучшее из обоих сохраняется.

Задумавшись над образом идеального властителя, как он сложился в истории и мышлении китайцев, поражаешься его человечности. В нем нет насилия, что скорее всего надо отнести на счет такого вот рода культа предков.

ЭПИДЕМИИ

Лучшее изображение чумы дал *Фукидид*, который сам переболел ею и выздоровел. Оно кратко и четко передает все характерные черты этой болезни, поэтому стоит здесь воспроизвести важнейшее.

«Люди мерли как мухи. Тела умерших громоздились друг на друга. Можно было видеть, как полумертвые создания, шатаясь, брели по улицам, или, жаждая воды, скапливались у источников. Храмы, где они содержались, были полны трупов умерших там людей.

Многие семьи были так поражены павшим на них несчастьем, что забывали оплакивать мертвых.

Погребальные церемонии смешивались одна с другой, мертвых хоронили кое-как. Некоторые, в чьих семьях умерло столько народу, что денег на похороны уже не хватало, прибегали к бесстыднейшим уловкам. Они первыми появлялись у погребального костра, сложенного другими, клали туда своих мертвых и поджигали дрова, или, если костер уже горел, бросали в него принесенные с собой трупы прямо поверх уже лежащих там.

Их не останавливал страх перед законами божескими или человеческими. Что касается богов, то не важно было, считаешь ты их или нет, ибо каждый видел, что одинаково умирают и праведные, и грешные. Никто не боялся быть

привлеченным к ответу за нарушение человеческих законов, ибо дожить до этого никто не надеялся. Каждый чувствовал, что над ним произнесен уже гораздо более страшный приговор, и хотел, пока он не исполнился, еще хоть немного насладиться жизнью.

Больше всех заботились о больных и умирающих те, кто сам переболел чумой и выздоровел. Они не только понимали в деле, но и чувствовали себя в безопасности, ибо никто не заболел второй раз, а если и заболел, то никогда смертельно. Таких все поздравляли, и они сами испытывали такой подъем, что, им казалось, они никогда уже не умрут от болезни».

Из всех несчастий, с давних пор постигавших человечество, крупные эпидемии оставили по себе особенно живое воспоминание. Они разражались с внезапностью природных катастроф, но если землетрясение исчерпывалось несколькими короткими толчками, эпидемия растягивалась на несколько месяцев или даже на год. Землетрясение сразу причиняет ужаснейший урон, его жертвы гибнут все одновременно. Чумная эпидемия, напротив, обладает *кумулятивным* действием: сначала она захватывает только некоторых, потом случаи заболевания учащаются, скоро смерть навевывается повсюду, потом мертвых становится больше, чем живых. Результат эпидемии может быть таким же, как и землетрясения. Но здесь люди — *свидетели* массового умирания, все происходит у них на глазах. Они как будто участники сражения, которое длится дольше, чем любое из известных сражений. Но враг здесь таинственен и невидим, ему невозможно нанести удар. Остается лишь ждать нападения. Нападает только он и разит, когда хочет. Он убивает одного за другим, и скоро кажется, что он уничтожит всех.

Когда эпидемия обнаружилась, она не может закончиться иначе, чем общей гибелью всех. Против нее нет средств, и те, кого она захватила, ждут исполнения произнесенного над ними приговора. Лишь захваченные ею представляют собой *массу*: они *равны* перед лицом судьбы. Их число уве-

личивается с возрастающим ускорением. Цель, к которой они движутся, будет достигнута через несколько дней. Они достигнут при этом величайшей плотности, к какой способны человеческие тела — плотности собранных в кучу трупов. Эта задержанная масса мертвых, согласно религиозным представлениям, еще не окончательно мертва. В некий миг она восстанет и, тесно построившись перед Господом, предстанет на Страшный Суд. Но если отвлечься от дальнейшей судьбы мертвых — не везде верят одинаково, одно остается неоспоримым: эпидемия завершается массой умирающих и мертвых. Ими полны «улицы и храмы». Иногда их уже невозможно хоронить как положено, поодиночке, и их валят друг на друга в братские могилы, тысячами в одну яму.

Существует три важнейших, хорошо знакомых человечеству явления, цель которых состоит в нагромождении груды трупов. Они родственны друг другу, и потому важно их между собою разграничить. Это битва, массовое самоубийство и эпидемия.

Битва рассчитана на нагромождение трупов врагов. Нужно уменьшить число живых врагов, чтобы в сравнении с ним огромным казалось число своих. Гибель своих при этом оказывается неизбежной, но к этому не стремятся. Цель — груда мертвых врагов, и к ней стремятся изо всех сил, применяя все умения и возможности.

При *массовом самоубийстве* такая же активность оборачивается против своих. Мужчины, женщины, дети убивают себя, пока не останется никого, а только груда собственных мертвецов. Чтоб никто не попал в руки врага, чтобы уничтожить всех полностью и окончательно, на помощь призывают огонь.

При *эпидемии* результат тот же, что при массовом самоубийстве, но смерть здесь происходит не по собственной воле и кажется причиняемой неизвестной внешней силой. Цель здесь достигается не так быстро, страшное ожидание уравнивает всех, разрушая все прочие отношения.

Эпидемия — это господство заразы, и страх перед нею разделяет людей. Самое надежное — ни к кому не приближаться, ибо зараза может скрываться в каждом. Некоторые бегут из города и уединяются в своих поместьях. Другие запираются в домах и никого к себе не пускают. Каждый избегает другого. Сохранение дистанции — последняя надежда. Надежда выжить, сама жизнь, так сказать, отталкивает здоровых от больных. Зараженные постепенно переходят в массу мертвых, незараженные избегают всех, иногда даже собственных родственников, родителей, супругов, детей. Примечательно, что надежда на выживание отделяет человека от всех прочих, противостоящих ему как масса жертв.

Но посреди всеобщего проклятья, где каждый, кого коснулась болезнь, считается погибшим, происходит удивительная вещь: некоторые выздоравливают, перенеся чуму. Можно представить себе их чувства. Выжив, они ощущают себя *неуязвимыми*. Они сочувствуют больным и умирающим вокруг. «Они испытывали такой подъем, — говорит Фукидид, — что, им казалось, они никогда уже не умрут от болезни».

ОБ АТМОСФЕРЕ КЛАДБИЩА

Кладбища обладают притягательной силой, их посещают, даже если там не лежит никто из близких. В чужих городах они — место паломничества, где бродят не торопясь и с чувством, будто для этого они и существуют. Даже в чужих местах привлекает не всегда только могила великого человека. Но даже если прежде всего она, все равно из посещения рождается нечто большее. На кладбище человек скоро впадает в совершенно особое настроение. Есть благочестивый обычай обманывать себя относительно его природы. Ибо печаль, которую человек чувствует и выставляет на вид, скрывает тайное удовлетворение.

Что, собственно, делает посетитель, находясь на кладбище? Как он продвигается и чем занят? Он не торопясь бродит между могилами, сворачивает туда-сюда, медлит перед одним, потом другим камнем, читает имена, привлекая его внимание. Потом его начинает интересовать, что стоит под именами. Здесь пара, они долго прожили вместе и теперь, как водится, покоятся рядом. Здесь ребенок, умерший совсем маленьким. Здесь юная девушка, только-только достигшая восемнадцатилетия. Все больше посетителя начинают интересоваться временными отрезками. Они освобождаются от трогательных деталей и становятся важны как таковые.

Этот вот дожил до 32, а там лежит умерший в 45 лет. Посетитель уже гораздо старше, чем они, а они, как говорится, сошли с дистанции. Оказывается, много таких, что не дожили до его нынешнего возраста, и, если они не умерли особенно молодыми, их судьба не вызывает никакого сожаления. Но есть и такие, что сумели его превзойти. Некоторым было за 70, а лежащему вон там исполнилось 80 лет. Но он еще может этого достичь. Они зовут сравняться с ними. Ведь для него все открыто. Неопределенность собственной еще незавершенной жизни — это его важнейшее преимущество, и при некотором напряжении сил он мог бы даже их превзойти. Они уже достигли финиша. С кем бы из них он ни вступил в заочное соперничество, сила на его стороне. Ибо там сил уже нет, а есть лишь состоявшийся финиш. С ними покончено, и этот факт наполняет его желанием навсегда стать *больше*, чем они. Лежащий вон там восьмидесятидевятилетний — это мощный стимул. Что мешает ему достичь девяноста?

Но это не единственный род расчетов, которым предаются посреди могил. Можно проследить, как долго некоторые здесь лежат. Время, протекшее со дня их смерти, рождает удовлетворение: вот насколько дольше я живу. Кладбища, где есть старые могилы, сохранившиеся с XVIII или даже XVII в., особенно торжественны. Человек стоит перед старшей от времени надписью, пока не разберет ее до кон-

ца. Расчет времени, к которому обычно прибегают лишь с практической целью, здесь вдруг наполняется глубокой жизненностью. Все столетия, которые я знаю, мне принадлежат. Лежащий внизу даже не представляет, что стоящий созерцает все пространство его жизни. Его летоисчисление завершилось в год его смерти, для созерцающего оно пошло дальше, вплоть до него самого. Что ни дал бы старый мертвец, чтобы стать здесь рядом с ним! 200 лет прошло с тех пор, как он умер; созерцающий в некотором смысле на 200 лет старше, чем он. Ибо многое из времени, утекшего с той поры, дошло до него в передаче. О многом он читал, о чем-то слышал рассказы, а кое-что пережил сам. Трудно не почувствовать при этом превосходства; наивный человек его и чувствует.

Но он чувствует еще кое-что, гуляя здесь в одиночестве. У ног его в тесноте во множестве лежат неизвестные люди. Число их не вполне определено, но велико и постоянно растет. Они не могут разойтись и остаются вместе как в куче. Лишь он один приходит и уходит когда хочет. И он один стоит среди лежащих.

О БЕССМЕРТИИ

Хорошо именно с такого человека, как Стендаль, начать обсуждение приватного или литературного бессмертия такого рода. Трудно найти другого человека, так решительно отвергшего общепринятые верования. Он свободен от клятв и обетов любой религии. Его чувства и мысли отданы исключительно посюсторонней жизни. Он ощущал и любил мельчайшие ее детали, входил во все, что приносило радость, не впадая при этом в пошлость, ибо давал *частностям* оставаться самими собой. Он ничего не связывал в сомнительные целостности. Он не доверял всему, что невозможно *ощутить*. Он много размышлял, но у него не най-

ти холодной мысли. Все, что им записано и создано, сохраняет жар первоначального мгновения. Он многое любил и во многое верил, и удивительным образом все это ясно и постижимо. Что бы это ни было, он все мог найти в себе самом, не прибегая к сомнительным штучкам какой-нибудь системы.

И этот человек, который был лишен предрассудков, все хотел испытать сам, который был сама жизнь, поскольку она есть душа и дух, который любое событие переживал в собственном сердце, а потому мог наблюдать его также извне, у которого слово и смысл естественным образом совпадали, как будто бы он на свой страх и риск взялся за очистку языка, — так вот, этот редкостный и подлинно свободный человек *верил*, и об этой своей вере говорил легко и понятно как о возлюбленной.

Он без тщетных сожалений довольствовался тем, что пишет для немногих, и в то же время был совершенно уверен, что через сто лет его будут читать многие. Более прямой и ясной и в то же время лишенной всякой самонадеянности веры в литературное бессмертие в наше время не найти. Что означает эта вера? Каково ее содержание? Она означает, что человек будет жить, когда другие, что жили одновременно с ним, уже умрут. И это не означает злонамеренности по отношению к живущим как таковым. Их не убивают с пути, против них ничего не предпринимают, с ними никто не вступает в борьбу. Недостойно иметь дело с теми, кого вознесла ложная слава, но еще более недостойно сражаться с ними их же оружием. На них не стоит даже сердиться, ибо знаешь, как жестоко они заблуждаются. Надо искать общества тех, к кому сам принадлежишь: тех ушедших, чьи труды живут и сегодня, кто говорит с тобой, чьи мысли тебя питают. Благодарность, которую чувствуешь к ним, это благодарность к самой жизни.

Такой подход не требует убивать, чтобы выжить, ибо выжить нужно не *сейчас*. На арене появляешься через сто лет, когда тебя уже нет в живых и ты не можешь убивать. Высту-

пает труд против труда, и если чего-то недостает, то дела не поправить, уже поздно. Здесь настоящее соперничество начинается, когда соперников уже нет. Им не суждено наблюдать за битвой, которую ведут их труды. Но сам труд должен жить, а чтобы он жил, в нем должна содержаться величайшая и чистейшая мера жизни. Человек не только постыдился убивать, он всех, кто был рядом, взял с собой в то бессмертие, где важно и значимо все — и великое, и малое.

Он являет собой полную противоположность тем властителям, со смертью которых умирают все, кто им близок, чтобы в потустороннем бытии они не знали недостатка в привычном окружении. Ничто не показывает ярче их ужасное внутреннее бессилие. Они убивают при жизни, убивают при смерти, свита убитых сопровождает их на том свете.

Но кто раскрывает Стендаля, встречает его самого и тех, кто был рядом, здесь, в этой жизни. Мертвые предлагают себя живущим как изысканную пищу. Их бессмертие на радость живым. Это жертвоприношение, наоборот, всем идет на пользу. Выживание теряет свое жало, и царство вражды гибнет.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЛАСТИ

НАСИЛИЕ И ВЛАСТЬ

С *насилием* связывают представление о том, что близко и прямо сейчас. Оно непосредственнее и безотлагательнее власти. Подчеркивая этот аспект, говорят о физическом насилии. Власть на более глубоком, животном уровне лучше назвать *насилием*. Путем насилия добыча схватывается и переносится в рот. Насилие, если оно позволяет себе помедлить, становится властью. Однако в то мгновение, которое все же приходит — в момент решения, в момент необратимости, она опять чистое *насилие*. Власть гораздо общее и просторнее, она *включает* в себя много больше и она уже не столь динамична, как *насилие*. Она считается с обстоятельствами и обладает даже некоторой долей терпения. В немецком языке слово «Macht» (власть) происходит от древнего готского корня «*magap*», означающего «*koennen, vermoegen*» (мочь, обладать), и вовсе не связано со словом «*machen*» (делать).

Различие насилия и власти можно проиллюстрировать очень просто, а именно отношением между *кошкой* и *мышью*.

Кошка, поймавшая мышь, осуществляет по отношению к ней *насилие*. Она ее настигла, схватила и сейчас убьет. Но если кошка начинает *играть* с мышью, возникает новая ситуация. Кошка дает ей побежать, преграждает путь, заставляет бежать в другую сторону. Как только мышь оказывается спиной к кошке и мчится прочь от нее, это уже *не насилие*, хотя и *во власти* кошки настичь ее одним прыжком.

Если мышь сбежала вовсе, значит, она уже вне сферы кошачьей власти. Но до тех пор, пока кошка в состоянии ее догнать, мышь остается в ее власти. Пространство, перекрываемое кошкой, мгновения надежды, которые даны мышши, хотя кошка при этом тщательно за ней следит, не оставляя намерения ее уничтожить, все это вместе — пространство, надежду, контроль и намерение уничтожения — можно назвать подлинным телом власти или просто властью.

Власть, в противоположность насилию, пространнее, в нее входит больше пространства и больше времени. Высказывалась догадка, что *тюрьма* может быть произведена от *пасти*; связь той и другой выражает отношение власти к насилию. В пасти, собственно, уже не остается надежды, нет времени и свободного пространства вокруг. Во всех этих отношениях тюрьма — не что иное, как некоторое расширение пасти. Как мышь под взором кошки, арестант делает несколько шагов в одну и другую сторону, и взгляд часового упирается ему в спину. Он располагает временем и надеется, что за это время сумеет выйти либо сбежать из тюрьмы. Он постоянно ощущает намерение аппарата, в одной из клеток которого он оказался, с ним покончить, хотя осуществление этого намерения отложено на время.

Даже в совершенно иной сфере — в многообразных оттенках религиозного рвения — видно отношение между властью и насилием. Все верующие находятся во власти Бога и научаются, каждый по-своему, с этим жить. Некоторым, однако, этого мало. Они ожидают жесткого вмешательства, прямого акта божественного насилия, который можно было бы ясно почувствовать на себе. Они живут в ожидании приказа. Бог имеет в их глазах черты властителя. Его деятельная воля и их деятельное подчинение в каждом конкретном случае, в каждом проявлении суть ядро их веры. Религии такого рода стремятся подчеркнуть роль божественного предопределения, их сторонники имеют таким образом возможность воспринять все, что с ними происходит, как непосредственное выражение божественной воли. Они гото-

вы подчиняться чаще и до конца. Они словно живут во рту Бога и в следующий миг будут раздавлены и стерты в порошок. Но и в эти ужасные минуты они должны бесстрашно жить и делать то, что надлежит.

Ислам и кальвинизм наиболее известны такими настроениями. Их сторонники жаждут божественного *насилия*. Божественной власти им мало, она слишком неконкретна и отдаленна и слишком многое оставляет на их собственное усмотрение. Это постоянное ожидание приказа оказывает на людей, которые ему предаются, глубочайшее воздействие и порождает тяжкие последствия в их отношениях с окружающими. Оно создает тип верующего-солдата, для которого битва — подлинное выражение жизни и который не боится битвы, потому что чувствует ее в себе постоянно. Об этом типе подробнее речь пойдет далее, при рассмотрении *приказа*.

ВЛАСТЬ И СКОРОСТЬ

Скорость, поскольку она относится к сфере власти, — скорость *погони* или *нападения*. В обоих отношениях прообразом человеку служат звери. Догонять он учился у стремительно мчащихся зверей, особенно у волка. Нападать внезапным прыжком его научили кошки: львы, тигры и леопарды всегда будили в нем восторг и зависть. Хищные птицы соединили в себе и погоню, и нападение. В хищнике, парящем одиноко у всех на виду и ударяющем внезапно с дальней дистанции, это единство нашло совершеннейшее выражение. Хищная птица подсказала человеку стрелу — оружие, долго развивавшее наибольшую из доступных ему скоростей: в своих стрелах человек летел к добыче. Все эти животные издавна были символами власти. Они представляли либо богов, либо предков властителей. Волк был предком Чингисхана. Сокол Гора — бог египетских фараонов.

В африканских королевствах львы и леопарды — священные звери королевских родов. Из пламени, в котором сжигалось тело римского императора, взмывала в небо его душа в виде орла.

Но самое быстрое, то, что всегда было самым быстрым, — *молния*. Широко распространен суеверный страх перед молнией, от которой нет защиты. Монголы, говорит францисканский монах Рубрук, посетивший их как посланник Людовика Святого, более всего страшатся грома и молнии. Они выгоняют чужих из своих юрт, заворачиваются в черные войлочные кошмы и не высовывают носа, пока гроза не уйдет прочь. Они остерегаются, сообщает персидский историк Рашид, состоявший у них на службе, есть мясо убитого молнией животного, больше того, они боятся даже приблизиться к нему. Всевозможные запреты служат у них для того, чтобы настроить молнию благосклонно. Нужно избегать всего, что могло бы ее привлечь. Молния часто — главное оружие могущественнейшего Бога.

Внезапное явление молнии во тьме носит характер откровения. Она является и дает свет. Из формы и обстоятельств ее появления люди выводят заключения о воле богов. В каком виде и в каком месте неба она возникла? С какой стороны появилась и куда ударила? У этрусков разгадывание смысла молний было задачей специальных жрецов, которые потом под именем «фульгураторов» существовали и у римлян.

«Власть господина, — говорится в одном старом китайском тексте, — подобна лучу молнии, блещущей в ночи». Удивительно, как часто молния поражала властителей. Рассказам об этом не всегда нужно верить, но знаменательно само по себе существование этой связи. Множество таких сообщений есть у римлян и у монголов. Оба народа верили в высшего бога на небесах, оба имели развитое чувство власти. Молния воспринималась ими как сверхъестественный приказ. Раз она попала, то *должна* была попасть. Если она попала в могущественного человека, значит, она направле-

на кем-то еще более могущественным. Это — мгновенная, внезапная, но при том явная и очевидная кара.

Подражая молнии, человек преобразовал ее в огнестрельное оружие. Вспышка и гром выстрела, ружье и особенно пушка внушали страх народам, которые сами этого оружия не имели: оно воспринималось как молния.

Однако еще раньше усилия человека были направлены на то, чтобы сделать себя более быстрым животным. Поколение лошади и создание конницы в ее совершеннейшей форме привело к великим историческим вторжениям с Востока. В любом из исторических свидетельств о монголах подчеркивается их *стремительность*. Их появление всегда было неожиданным; так же внезапно, как появлялись, они исчезали и еще внезапно возникали снова. Даже стремительное бегство монголы умели обратить в нападение: едва лишь противник успевал поверить, что они бегут, как оказывался окруженным ими со всех сторон.

С тех пор физическая скорость как свойство власти выросла во всех отношениях. Излишне говорить здесь о ее роли в нашу техническую эпоху.

К области нападения относится совсем другой род стремительности — стремительность *разоблачения*. Вот вроде бы безвредное или даже преданное существо, но с него срывается маска и оказывается, что за ней — враг. Чтобы быть действенным, разоблачение должно происходить внезапно. Такой род стремительности можно назвать *драматическим*. Погоня здесь сосредоточивается в очень малом пространстве, она концентрируется. Смена масок как средство ввести противника в заблуждение практикуется с незапамятных времен; его негатив — разоблачение, срывание маски. От маски к маске происходят существенные сдвиги в отношениях власти. С вражеским лицемерием борются собственным лицемерием. Властитель приглашает военных или гражданских нотаблей на совместную трапезу. Вдруг, когда гости расслабились, по знаку хозяина начинается резня. Переход от одной позиции к другой точно соответствует смене масок.

Он должен быть как можно более стремительным, от этого зависит весь успех предприятия. Властитель, постоянно осознающий степень собственного лицемерия, от других может ждать только того же самого. Действовать с опережением ему позволительно и даже необходимо. Не страшно, считает он, если под удар попадет невинный: в сложной игре масок возможны ошибки. Он будет сильнее переживать, если, промедлив, даст скрыться врагу.

ВОПРОС И ОТВЕТ

Всякий вопрос есть вторжение. Применяемый как средство власти, он врезается как нож в тело того, кому задан. Известно, что там *можно* найти; именно это спрашивающий хочет найти и ощупать. Он движется к внутренним органам с уверенностью хирурга. Это хирург, который сохраняет своей жертве жизнь для того, чтобы получить о ней более точные сведения, хирург особого рода, сознательно вызывающий боль в одних местах, чтобы точно узнать о других.

Вопросы рассчитаны на ответы. Вопросы, которые ответа не получают, — это пущенные в воздух стрелы. Невинный вопрос — это тот, что остается сам по себе и не влечет за собой другие. Например, прохожий спрашивает незнакомца, как пройти к такому-то зданию. Получает справку и, удовлетворенный ответом, идет своей дорогой. На какой-то миг он задержал незнакомца и заставил его задуматься. Чем подробнее и точнее был ответ, тем скорее они расстались. Прохожий получил что хотел, и оба никогда больше не увидятся.

Но тот, кто задал вопрос, может остаться неудовлетворенным и прибегнуть к дальнейшим вопросам. Следуя один за другим, они могут вызвать недовольство спрашиваемого. Дело не только в вынужденной задержке, но и в том, что с каждым ответом он выдает какую-то часть самого себя. На-

верное, это что-то маловажное, лежащее у поверхности, но оно ведь затребовано незнакомцем. Оно, в свою очередь, связано с чем-то, гораздо глубже лежащим и гораздо выше ценимым. Недовольство спрашиваемого перерастает в недоверчивость.

А в спрашивающем вопросы поднимают ощущение власти: он наслаждается, ставя их снова и снова. Отвечающий покоряется ему тем более, чем чаще отвечает. Свобода личности в значительной мере состоит в защищенности от вопросов. Самая сильная тирания та, которая позволяет себе самые сильные вопросы.

Умен тот ответ, что прекращает вопросы. Тот, кто может себе позволить, отвечает вопросом на вопрос; среди равных это испытанный способ защиты. Но если положение не позволяет, остается либо отвечать подробно, раскрывая именно то, на что нацелился спрашивающий, либо пытаться хитростью усыпить в нем охоту к дальнейшему проникновению. Можно предусмотрительной лестью подчеркнуть превосходство спрашивающего, так что ему не понадобится самому его демонстрировать. Можно отвести его вопросы на других, кого ему было бы интереснее либо проще расспросить. Умеющий лицемерить попытается замаскировать свою подлинную сущность, в результате вопрос окажется адресованным будто бы и не ему, а он окажется будто бы не тем, кто на самом деле должен на него ответить.

Допрос, конечная цель которого — вскрытие, начинается с прикосновения. Вопросы касаются самых разных мест и проникают вовнутрь, туда, где сопротивление слабее. Извлеченное откладывается для дальнейшего употребления, а не используется тут же. Сначала нужно найти нечто совершенно определенное, для чего все и предпринято. Допрос всегда преследует конкретную, четко осознаваемую цель. Ненацеленные вопросы, задаваемые ребенком или дураком, бессильны, от них легко отделаться.

Опаснее всего ситуация, где отвечать надо коротко и прямо. В нескольких словах трудно или вообще невозможно вы-

дать себя за другого или иначе уйти от ответа. Самый грубый способ защиты — притвориться глухим или непонимающим. Но это помогает только между равными. Если сильный спрашивает слабого, вопрос будет поставлен в письменном виде или переведен. Тогда ответ уже ко многому обязывает. Он фиксируется, и противник может на него ссылаться.

Кто беззащитен снаружи, втягивается в свою внутреннюю броню; эта внутренняя броня, защищающая от вопросов, — *тайна*. Она скрывается внутри первого тела как второе, гораздо более защищенное. Натолкнувшийся на него испытывает неприятное разочарование. Тайна отделена от окружающей среды как нечто более *плотное* и скрыта во мраке, осветить который в силах лишь немногие. Опасность тайны как таковой всегда важнее, чем собственно ее содержание. Самое важное, или, можно сказать, самое плотное в ней — это действенная защита от вопросов.

Молчание в ответ на вопрос — как отражение удара щитом или броней. Это крайняя форма защиты, причем преимущества и недостатки здесь уравниваются. Молчание не раскрывается, но выглядит при этом опаснее, чем он есть на самом деле. В нем подозревают больше, нежели он скрывает. Он молчит, потому что ему есть что скрывать, тем важнее это из него вытащить. Упорное молчание ведет к тяжелому допросу, к пытке.

Но всегда, даже в самых обычных обстоятельствах, ответ связывает ответившего. От него уже нельзя отказаться. Ответивший как бы встал на определенное место и должен теперь на нем оставаться, тогда как спрашивающий может подобраться к нему с любого боку: он, так сказать, расхаживает вокруг и ищет себе позицию поудобнее. Он может кружить, возникать в неожиданном месте, приводя спрашиваемого в недоумение и растерянность. Возможность смены места дает ему свободу, которой другой лишен. Он пытается зацепить его вопросом, и, лишь только коснется его, то есть вынудит ответить, как сразу свяжет, привяжет намертво к определен-

ному месту. «Кто ты такой?» «Я такой-то». И другим ему уже не стать, ложь чревата большими неприятностями. Он уже не может использовать превращение. В своем развитии процесс этот напоминает *приковывание*.

Первый вопрос касается идентичности, второй — места. Так как оба предполагают наличие *языка*, хотелось бы знать, мыслима ли некая архаическая ситуация, предшествующая словесной постановке вопросов и ей соответствующая. Место и идентичность должны в ней еще совпадать, одно без другого было бы бессмысленным. Вот она — эта архаическая ситуация: осторожное ощупывание добычи. Кто ты? Можно тебя есть? Зверь, непрерывно рыскающий в поисках пищи, трогает и обнюхивает все, что попадается на пути. Он всюду сует нос: можно тебя есть? каков ты на вкус? Ответ — запах, противодействие, безжизненная твердость. Чужое тело там же, где он сам, и, нюхая и касаясь, зверь узнает, каково оно есть, или, в переводе на язык человеческих нравов, называет его.

На раннем этапе развития ребенка необычайно сильны два перекрещивающихся процесса, они разнонаправленны и тем не менее тесно связаны друг с другом. От родителей исходит огромное количество все более жестких и настойчивых приказов, тогда как от ребенка — целый Эверест вопросов. Эти ранние детские вопросы — как плач, свидетельствующий о желании пищи, но только на следующей, уже более высокой ступени. Они безвредны, поскольку не дают ребенку возможности перенять все родительские познания; превосходство родителей остается несравнимым.

С каких вопросов начинает ребенок? Самые ранние связаны с местом: «Где...?» Другие первоначальные вопросы: «Что это?» и «Кто?» Видно, какую роль играют в этот период место и идентичность. Они — первое, чем интересуется ребенок. Лишь в конце третьего года появляются вопросы с «почему», и еще позже — с «когда», «как долго», то есть вопросы, связанные со временем. Ребенок очень нескоро овладевает представлениями о времени.

Вопрос, начав с осторожного прикосновения, старается, как сказано, проникнуть глубже. Он разделяет как нож. Это понимаешь, столкнувшись с тем, как дети сопротивляются двойным разделительным вопросам. «Что ты хочешь, яблоко или грушу?» Ребенок надолго замолкает, а если и говорит: «грушу», — то потому, что это последнее слово. Подлинное решение, предполагающее разделение яблока и груши, он принять не может, — по сути, он хочет того и другого.

По-настоящему разделение происходит там, где возможен лишь один из двух простейших ответов: да или нет. Поскольку одно исключает другое и третьего не дано, ответ здесь особенно обязывает и связывает.

Часто до того, как задан вопрос, человек сам не знает, что он думает по тому или другому поводу. Вопрос заставляет его взвесить все «за» и «против». Если вопрос вежлив и не навязчив, решение предоставляется ему самому.

Сократ в диалогах Платона — настоящий король вопросов. Обыкновенная власть ему не интересна, и он старательно отрешивается от всего, что о ней напоминает. Его превосходство над всеми прочими состоит в мудрости, и ею он готов делиться с любым желающим. Но внушает он ее чаще не путем изложения, а путем постановки вопросов. В диалогах он в основном ставит вопросы, которые оказываются самыми важными. Таким образом он удерживает слушателей, побуждая их к разного рода разделениям. Посредством вопросов он достигает власти над слушателями.

Важны обычаи, *ограничивающие* вопросы. О некоторых вещах нельзя спрашивать незнакомого человека. Если спросить, он воспримет вопрос как покушение на собственное тело, как попытку проникнуть внутрь его; естественно, у него есть основания чувствовать себя оскорбленным. Сдержанность же, напротив, демонстрирует оказываемое ему уважение. С незнакомым надо обходиться так, будто он — сильнее: это своего рода лесть, побуждающая его ответить тем же. Лишь в этом случае — на определенной дистанции, вне зоны опасных вопросов, когда словно бы все сильны и равны по силам, — люди уверены в себе и миролюбивы.

Невероятный вопрос — о *будущем*. Это, можно сказать, высший из вопросов и самый жгучий. Когда он адресуется богам, они могут не отвечать. Если он задан сильнейшему, — это отчаянный вопрос. Боги ничем себя не связывают, человек не может в них проникнуть. Их высказывания двусмысленны и не поддаются расчленению. Все вопросы к ним остаются *первыми* вопросами, на которые дается лишь *один* ответ. Очень часто он является всего лишь знаком. Эти знаки священники разных народов собирают в большие системы. Из Вавилона дошли многие тысячи таких знаков. Бросается в глаза, что каждый из них изолирован от другого. Они не вытекают друг из друга и лишены внутренней связи. Есть перечни знаков, не более того, и если даже кто-то знает их все, он все равно может делать заключения лишь от каждого знака отдельно по отношению к какой-то отдельной части будущего.

Прямо в противоположность этому *допрос* стремится восстановить *прошедшее*, причем восстановить с максимальной полнотой. Он всегда направлен против слабейшего. Но прежде чем приступить к толкованию допроса, нужно кое-что сказать об установлении, пробившем себе дорогу в большинстве стран мира, — об общей полицейской *системе выяснения личности*. Сложился специфический комплекс вопросов, повсюду один и тот же, цель которого — обеспечение порядка. При их помощи выясняется, насколько человек опасен и, если опасен, как его можно нейтрализовать. Первый вопрос, который задается официально, это вопрос об имени и фамилии, второй касается местожительства, адреса. Это, как мы выяснили, древнейшие вопросы о месте и идентичности. Вопрос о профессии нацелен на выяснение рода занятий. Отсюда, а также из данных о возрасте заключают о его престиже и влиянии, а косвенно о том, как на него воздействовать. Вопрос о гражданском состоянии дает информацию о тех, кто ему близок, будь это мужчина, женщина или дети. Про-

исхождение и национальность указывают на его возможный образ мышления; сегодня, в эпоху фанатичных национализмов, это важнее, чем вероисповедание, утратившее былое значение. Все вместе, к тому же с фотографией и подписью, выглядит как первая страница дела.

Ответы на эти вопросы обычно принимаются на веру. Сначала в них не сомневаются. Лишь при допросе, преследующем определенную цель, к ним относятся с недоверием. Выстраивается система контрольных вопросов, допрашивающий исходит из того, что каждый ответ может быть ложью. В допрашиваемом он видит врага. Допрашиваемый слабее: он может спастись, только заставив поверить, что он не враг.

В судебном расследовании вопросы *задним числом* обеспечивают всезнание вопрошающего как власть имущего. Пути, которыми шел опрашиваемый, места, которые он посещал, часы, когда, как казалось, он был свободен и никто его не контролировал, — все теперь вдруг оказывается под контролем. Все дороги надо пройти заново, снова зайти во все комнаты, но уже под присмотром. В конце концов от той прошлой свободы мало что остается. Чтобы вынести приговор, судья должен знать очень много. Его власть особенным образом зиждется на всезнании. Чтобы его обрести, он может задать любой вопрос: «Где ты был? Почему ты там оказался? Что ты там делал?» В ответах, обеспечивающих алиби, место противопоставляется месту, идентичность — идентичности. «Я в это время был совсем в другом месте. Я не тот, кто это сделал».

«Однажды в полдень возле Десы, — говорится в вендской сказке, — спала в стогу сена крестьянская девушка. Возле нее сидел жених и размышлял про себя, как ему избавиться от невесты. Тут пришла полдневная женщина и стала ставить ему вопросы. Как только он отвечал на один вопрос, она задавала новые. Когда пробило час, сердце его остановилось. Полдневная женщина спрашивала его до смерти».

ТАЙНА

Тайна лежит в сокровеннейшем ядре власти. Акт *выслеживания* является тайным по своей природе. Выслеживающее существо прячется или маскируется под окружающие предметы и ни малейшим движением не дает себя обнаружить. Оно исчезает целиком, окутывается в тайну, как в другую кожу, и пребывает под ее покровом. В этом состоянии для него характерно особое сочетание терпения и нетерпения. Чем дольше оно в нем пребывает, тем неистовее надежда на внезапность удачи. Но чтобы в конце концов удача пришла, терпение должно стать бесконечным. Кончись оно на мгновение раньше, чем нужно, и все напрасно. Надо начинать сначала.

В момент хватания власть проявляет себя открыто, поскольку внушаемый ужас усиливает воздействие, но с начала поглощения все опять разыгрывается во тьме. Во рту темно, в желудке и кишках мрак. Никто не вслушивается и не вдумывается в то, что безостановочно происходит в его внутренностях. Из этого древнейшего процесса поглощения большая часть остается тайной. Он начинается с выслеживания — тайны, которую человек активно творит сам, — и заканчивается пассивно и неосознаваемо в таинственном мраке тела. Только хватание наподобие молнии освещает собственное убегающее мгновение.

Собственно тайной является то, что разыгрывается в телесных внутренностях. *Туземный врачеватель*, действующий на основе знания телесных процессов, прежде чем приступить к своей профессии, подвергается особым операциям на собственном теле.

У *аранда* в Австралии человек, посвящаемый во врачеватели, является к пещере, где живут духи. Там ему сначала протыкают язык. Он совсем один и дрожит от страха, этот страх является частью посвящения. Способность переносить одиночество в самых страшных и опасных местах — пред-

посылка его профессии. Потом, как он сам верит, его убивает копьё, пронзающее ему голову от уха до уха, и духи кладут его в пещере, которая служит им вроде как потусторонним домом. В нашем мире он лежит бездыханным, а в том мире из него вынимают внутренние органы и вкладывают ему новые. Предполагается, что эти органы лучше, чем обыкновенные, может быть, они неуязвимы или меньше поддаются колдовским воздействиям. Таким образом он оказывается подготовлен к своей профессии, но подготовлен изнутри, его новая власть начинается в его внутренностях. Он был мертвым прежде, чем стать врачом, и смерть послужила полному обновлению его тела. Его тайна известна только ему и духам, она — в его теле.

Замечательно, что в оснащение колдуна входит множество маленьких кристаллов. Он носит их вокруг тела, и в его профессии они незаменимы: процесс лечения состоит, в частности, в энергичных манипуляциях с этими камушками. Сначала он раскладывает одни камушки на теле больного, затем извлекает другие из его членов. Эти, теперь извлеченные, чуждые твердые образования как раз и были причиной страданий. Это как бы особенные деньги болезни, обменный курс которых известен одному колдуну.

В отличие от вполне интимного процесса врачевания больных колдовство всегда действует заочно. Втайне подготавливаются всевозможные виды заостренных волшебных дротики, которые затем издали направляются в ничего не подозревающего человека, оказывающегося, таким образом, жертвой ужасного колдовства. Колдун прибегает здесь к тайне выслеживания. Дротики несут зло, иногда они заметны на небе в виде комет. Само их воздействие мгновенно, но результаты могут заставить себя ждать.

Наслать порчу путем колдовства лично в состоянии каждый аранда. Но защитой владеют только специалисты. Благодаря посвящению и практике они защищены сильнее всех остальных. Некоторые очень старые колдуны могут навести порчу на целые группы людей. Имеется, следовательно,

как бы три ступени увеличения власти. Кто может наслать болезнь на многих сразу, тот — самый могучий.

Особый страх внушает чужое колдовство, то есть насылаемое теми, кто живет в отдаленных местах. Может быть, его боятся потому, что средства против чужого колдовства знают хуже, чем против собственного. Кроме того, трудно призвать их к ответу за злодеяния, тогда как внутри собственной группы это всегда возможно.

В отражении зла, в лечении больных сила колдуна всегда выступает своей доброй стороной. Но рука об руку с ней идет и злая сторона. Ничто дурное не является само по себе, все причинено злонамеренными людьми или духами. То, что мы назвали бы *причиной*, у них считается *виной*. Каждая смерть — это убийство, а убийство должно быть отомщено.

Близость к миру *параноика* во всех отношениях просто удивительна. В заключительных главах этой книги, посвященных *случаю Шребера*, об этом будет сказано подробнее. Даже извлечение внутренних органов изображено там в деталях; после полного уничтожения и долгих страданий они возникли вновь уже неуязвимыми.

Двойственный характер присущ тайне и в более высоких формах проявления власти. От примитивного колдуна до параноика едва ли даже один шаг. Не дальше от обоих до *властителя*, как он представлен исторически во многих хороших известных экземплярах.

В этом случае в тайне важен активный момент. Ее использует властитель, который ее досконально знает и соотносит с конкретными обстоятельствами. Он знает, кого выслеживает, знает, что он сделает с добычей, знает, кого из помощников использовать. У него много тайн, потому что много планов, он организует эти тайны в систему, где они взаимно сохраняют друг друга. Он доверяет одному одно, другому — другое и следит, чтобы доверенные лица не пересекались друг с другом.

Тот, кому что-то известно, состоит под надзором другого, который, однако, никогда не узнает, что именно он сто-

рожит в первом. Его задача — отмечать каждое слово и каждое движение того, кто ему вверен, он должен нарисовать властителю образ мышления поднадзорного. Но надзиратель сам под надзором, и чей-то еще доклад корректирует его собственный. Таким образом властитель осведомлен о состоянии сосудов, которым доверил свои тайны, всегда в курсе того, насколько они надежны, и в состоянии оценить, какой из них полон настолько, что грозит потечь через край. Ко всей сложной системе тайн ключ только у него. Он боится доверить его кому-то еще.

К сфере власти относится также неравное распределение *просматриваемости*. Властвующий должен видеть все насквозь, но не позволяет смотреть в себя. Сам он остается закрытым. Его настроения и намерения никому не дано знать.

Классическим примером такой непостижимости был *Филиппо Мария*, последний *Висконти*. Принадлежащее ему герцогство Милан было одним из крупнейших государств Италии XV в. Никто не мог сравниться с ним в умении скрывать свою подлинную суть. Он никогда не говорил прямо, чего хочет, а маскировал свои намерения особым способом выражения. Если кто-то переставал ему нравиться, он продолжал его хвалить; осчастливив кого-то чинами и подарками, обвинял его в поспешности или глупости, заставляя того чувствовать себя недостойным выпавшей ему удачи. Желая иметь кого-то в своем окружении, он приближал счастливца к себе, возбуждал в нем надежды, а потом вдруг отсылал прочь. Когда изгнанный полагал себя уже совсем забытым, его снова звали ко двору. Оказывая милости особо отличившимся, он лукаво расспрашивал окружающих, словно ничего не слышал об общеизвестном подвиге. Давая что-то, он давал обычно не то, что просили, и всегда не так, как хотели. Желая наделить кого-то дарами или почестями, он за несколько дней начинал расспрашивать их о вещах, не относящихся к делу, чтобы никто не смог догадаться о его намерении. Чтобы никому не

открылись его подлинные цели, он часто высказывал сожаление о милостях, оказанных им самим, или о казнях, совершенных по его приказу.

В этом последнем случае он вел себя так, будто хотел, чтобы его тайны стали тайнами для него самого. Они утрачивали для него осознанный и активный характер, его влекло к той пассивной форме тайн, которые человек хранит во мраке собственного тела, которые носит там, где сам их не в состоянии ощутить, которые сам не осознает.

«Это право королей — хранить свои тайны от отца, матери, братьев, жен и друзей», — говорится в арабской «Книге короны», описывающей старинные традиции двора *Сасанидов*.

Персидский король *Хосров II Победоносный* нашел весьма своеобразный метод, позволяющий проверить, способны ли хранить тайну люди, которых он намеревался использовать. Если он узнавал, что двое из его окружения связаны тесной дружбой и во всем имеют полное согласие, он запирался с одним из них и поверял ему тайну, связанную с его другом: сообщал, что намерен отдать его на казнь, и под страхом наказания запрещал открыть эту тайну несчастному. С этого момента он пристально наблюдал, как другой ведет себя во дворце, каков цвет его лица, как стоит он перед королем. Если поведение не менялось, значит, испытуемый не предал другу доверенную тайну. Тогда он приближал его к себе, всячески отличал, повышал в чине, давал почувствовать свое благорасположение. Позже, оставшись с ним наедине, он говорил: «Я собирался казнить того человека, потому что было донесение о его дурных намерениях, но при расследовании оно оказалось ложным».

Если же он замечал, что другой обманом, старается держаться в стороне и прячет глаза от короля, то понимал, что тайна перестала быть тайной. Он обрушивал на предателя свой гнев, наказывал и понижал в чине, другому же сообщал, что всего лишь хотел испытать его друга, доверив эту тайну.

Он считал, что тайну способен хранить лишь тот, кого он вынудил предать на смерть лучшего друга. Надежней всех он считал самого себя. «Кто не годится служить королю, — говорил он, — тот и сам по себе ничего не стоит, а кто сам по себе ничего не стоит, из того не извлечешь выгоды».

Сила молчания всегда высоко ценима. Она означает, что человек может противостоять бесчисленным внешним побуждениям к речи. Он ни на что не отвечает, как будто его не спрашивают. Невозможно понять, что ему нравится, а что — нет. Он онемел, не будучи немым. При этом он слышит. Стоическая добродетель бесстрастия должна в своем крайнем виде выражаться в молчании.

Молчание предполагает точное знание того, что умалчивается. Поскольку невозможно молчать всегда, приходится делать выбор между тем, что можно сказать и о чем следует молчать. Умалчиваемое — это лучше известное. Оно точнее и ценнее. Путем умалчивания оно не только сохраняется, но и концентрируется. Много молчащий человек в любом случае выглядит более сконцентрированным. Наверное, ему многое известно, раз он молчит. Наверное, он много размышляет о своей тайне. Он умолкает всякий раз, как должен ее сохранить.

Так что в молчащем тайна не исчезает. Его уважают за то, что она жжет сильнее и сильнее, растет в нем, но не может вырваться наружу.

Молчание изолирует — молчащий более одинок, чем говорящий. Так ему приписывается власть отдельности. Он сторож сокровища, и сокровище *в нем*.

Молчание направлено против *превращения*. Его внутренний часовой не может покинуть свой пост. Молчащий может притворяться, но только очень грубо. Он может надеть какую-то маску, но ее и должен держаться. Текучесть превращения для него запретна. Слишком неопределенны его результаты, невозможно знать заранее, где и кем окажешься, отдавшись его потоку. Молчат обычно там, где превращение невозможно. В молчании обрываются все позывы к

превращению. Между людьми все раскручивается благодаря речи, а в молчании костенеет.

У молчащего то преимущество, что его высказываний ждут. Они считаются весомыми. Они коротки и отдельные, тем самым приближаясь к приказу. Искусственно установленное отношение родового различия между тем, кто отдает приказ, и тем, кто его выслушивает, предполагает, что у них нет общего языка. Они не должны говорить друг с другом, как будто они не могут это делать. Фиктивное отсутствие понимания за рамками приказа должно сохраняться при всех обстоятельствах. Поэтому командующие, находясь при исполнении своих функций, молчат. Так образуется привычка ждать от того, кто молчит, если он заговорит, фраз, звучащих как приказания.

Сомнение и пренебрежение, которые вызывают относительно свободные формы правления, поскольку они не могут всерьез осуществлять властные функции, тесно связаны с отсутствием в них тайны. Дебаты в парламенте разыгрываются с участием многих сотен людей, в публичности их подлинный смысл. Провозглашаются и сопоставляются самые противоположные мнения. Даже заседания, объявленные закрытыми, по сути дела, не являются таковыми. Профессиональное любопытство прессы, финансовые интересы ведут к нарушениям секретности.

Считается, что сохранить тайну способен лишь один ее обладатель, в крайнем случае — вместе с маленькой группой зависимых от него подчиненных. Самое надежное, когда совет происходит в очень узком кругу, сформированном, исходя из соображений секретности, и под угрозой жесточайших санкций в случае предательства. Решение же лучше всего должно приниматься одним человеком. Он сам о нем не знает, пока оно не принято, а будучи принятым, как приказ, подлежит немедленному исполнению.

Уважение к диктатурам в значительной степени вызвано тем, что в них видят способность концентрации тайны, которая в демократиях разделяется и распыляется. Издева-

тельски говорят, что в них все *забалтывается*. Каждый треплет языком, каждый вмешивается во что угодно, в результате ничего не происходит, потому что все всем известно заранее. Жалуются на недостаток политической воли, на самом же деле разочарование вызвано отсутствием тайны.

Человек готов многое вынести, если беда тяжка и нежданна. Это своего рода рабский зуд — стремление очутиться в могучем желудке. Неизвестно, что произойдет, неизвестно когда, все равно хочется быть первым у входа в ад. Человек преданно ждет в страхе и в надежде оказаться избранной жертвой. Такое состояние можно считать апофеозом тайны. Все остальное посвящено ее возвеличению. И даже не важно, что произойдет, лишь бы это произошло внезапно и непреодолимо, как извержение вулкана.

Но концентрация тайн на одной стороне и в одних руках в конце концов фатальна как для ее обладателя, что само по себе не так важно, так и для всех, кого она касается, а это уже бесконечно важно. Любая тайна взрывоопасна, и внутреннее напряжение в ней постоянно растет. Ее замók — клятва — и есть то место, где она вновь и вновь открывается.

Сколь опасной может быть тайна, мы в состоянии полностью понять только сегодня. В разных сферах, которые только по внешности независимы друг от друга, она заряжается все большей властью. Едва лишь настоящий диктатор, против которого вел войну объединенный мир, умер, как тут же и воскрес в виде атомной бомбы — еще опаснее, чем прежде, и становясь еще опаснее в ее потомстве.

Концентрацию тайны можно описать как отношение числа тех, кого она касается, к числу тех, кто ее хранит. Исходя из этого определения, легко видеть, что наши современные технические тайны — самые концентрированные и самые опасные из всех, которые когда-либо существовали. Они касаются *всех*, а известны лишь ничтожному числу лиц, и всего лишь пять или десять человек решают, будут ли они применены.

СУЖДЕНИЕ И ОСУЖДЕНИЕ

Лучше всего начать с явления, всем хорошо знакомого, — *радости от негативного суждения*. Не раз мы слышали суждения типа: «плохая книга» или «плохая картина»; говорящий при этом делал многозначительную мину, будто высказал нечто содержательное. По лицу его видно, что сказано это с удовольствием. Форма высказывания обманчива, скоро в таких случаях происходит переход на личности: говорится «плохой писатель» или «плохой художник», и звучит это совсем как «плохой человек». Легко поймать знакомого, незнакомца, себя самого на такого рода фразах. Радость от негативного суждения очевидна.

Это грубая и жестокая радость, которую ничто не может смутить. Суждение — это всего лишь суждение, даже если оно высказано с необычайной уверенностью. Оно не знает полутонов, как не знает и осторожности. Оно складывается мгновенно, отсутствие предварительного размышления более всего соответствует его сущности. С этим связана страсть, которую оно выдает. Такое скорое и безусловное суждение вызывает радость в чертах судящего.

В чем состоит эта радость? Судящий отталкивает нечто от себя в группу неполноценного, причем предполагается, что сам он принадлежит к группе наилучшего. Человек возвышает себя, принижая другое или другого. Двойственность, в которой представлены противоположные ценности, считается естественной и необходимой. Чем бы ни было доброе, оно налицо, потому что отличается от дурного. Человек сам определяет, что принадлежит одному, что другому.

Власть *судьи* — вот что приписывает себе человек, действуя таким образом. Ибо только по видимости судья стоит *между* двумя лагерями, на границе, разделяющей добро и зло. Он сам всегда относит себя к добру, его право на занятие этой должности состоит прежде всего в том, что он неразрывно связан с царством добра, как будто бы он в нем

рожден. Он судит, так сказать, беспрерывно. Его суждение обязательно. Есть совершенно определенные вещи, о которых он должен судить, его широкое знание добра и зла порождено долгим опытом. Но и тот, кто не судья, кто для этого не поставлен, кого, будучи в здравом уме, и невозможно поставить судьей, — все они судят и судят обо всем на свете. Знание предмета при этом отсутствует, тех, кто скромно воздерживается от суждения, можно пересчитать по пальцам.

Болезнь суждения — самая распространенная в человеческом роде, практически все ею задеты. Попробуем прояснить ее корни.

У человека имеется глубокая потребность вновь и вновь перегруппировывать всех людей, каких он только может себе представить. Разделяя неопределенное, аморфное человеческое множество на две большие группы и противопоставляя эти группы друг другу, он как бы приписывает им внутреннюю *сплоченность*. Группы представляются так, будто им предстоит борьба друг с другом, будто они полны нетерпимости и вражды. Такими, как он их представляет и хочет видеть, они только и годятся сражаться. Суждение о «дobre» и «зле» — это древнейшее орудие дуальной классификации, которая никогда не воплотилась целиком в понятиях и которая никогда не была совсем мирной. Дело в напряженности между членами оппозиции, а судящий создает и обостряет эту напряженность.

В основе этого разделения лежит страсть к созданию враждебных стай. В конечном счете оно должно вести к военным стаям. Но страсть *распыляется*, относясь одновременно ко всем возможным областям жизни и способам деятельности. И даже если процесс протекает мирно, реализуясь в паре осуждающих слов, в ядре его всегда — страсть нагнетания вражды вплоть до кровавой стычки двух стай.

Каждый человек, связанный с жизнью тысячами связей и отношений, принадлежит к бесчисленным группам «доброе», которым противостоит ровно столько же групп «зло-

го» или «дурного». Лишь чистая случайность решает, когда одна из этих групп вдруг превратится в стаю и ринется на врага, прежде чем тот успеет предупредить нападение.

Из вроде бы мирного суждения возникает смертный приговор врагу. Граница добра теперь проложена точно, и горе тому, кто ее перешагнет. Ему нечего делать в стане добра, он должен быть уничтожен.

ВЛАСТЬ ПРОЩЕНИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ

Власть прощения — это власть, которой подвластны все и которая доступна каждому. Было бы интересно изобразить жизнь в актах прощения, которые человек совершал. Человек *параноидальной* природы — это тот, кто прощает с трудом или вообще не умеет прощать, кто долго об этом размышляет, кто никогда не забывает того, что было прощено, кто конструирует фиктивные враждебные акты, чтобы не прощать. Главное, чему он сопротивляется в жизни, — это прощение в любой форме. Когда такие люди приходят к власти и ради ее упрочения *должны* прощать, они делают это только для видимости. Властитель никогда не прощает на самом деле. Каждый враждебный акт остается в точности зафиксированным, если непосредственной реакции нет, значит, она отложена на потом. Прощение можно получить в обмен на полное и абсолютное подчинение; великодушные поступки властителей надо понимать только в этом смысле. Они настолько стремятся подчинить все, что им противостоит, что часто платят за это несообразно большую цену.

Бессильный, кому мощь владыки кажется необъятной, не видит, как важно для последнего полное подчинение всех без изъятия. Приращение власти (если он вообще его способен ощутить) он будет оценивать по действительным возможностям и никогда не поймет, как важен для блистательного короля покорный поклон самого последнего, нищего

и забитого подданного. Библейский Бог с его упорным стремлением не упустить ни единой души может служить высшим примером каждому властвующему. Он даже организовал запутанную торговлю прощениями: кто ему подчинится, того он снова примет в милость. Поведение порабощенных он рассматривал именно с этой точки зрения, хотя при его всеведении было вовсе не трудно заметить, насколько его обманывают.

Не подлежит сомнению, что многие запреты существуют лишь для поддержания власти тех, кто может карать или прощать их нарушение. *Помилование* — это высоко значимый и концентрированный акт власти, ибо он предполагает приговор; до вынесения приговора помилование невозможно. В помиловании заключается также *избрание*. Не принято даровать помилование более чем определенному ограниченному числу приговоренных. Наказывающий будет остерегаться излишней мягкости, и даже если он убедит себя в том, что жестокость приговора противоречит сути его натуры, то вспомнит о священной необходимости наказания и ею сумеет обосновать жестокость. Но путь к помилованию останется открытым, будет ли он решать это сам, делегирует ли это право другой инстанции.

Свое высшее проявление власть демонстрирует там, где помилование приходит в последнее мгновение. Именно в миг, когда приговоренный должен принять смерть, под виселицей или перед строем солдат с заряженными ружьями, помилование является как новая жизнь. Здесь — граница власти: вернуть к жизни мертвого она уже не в состоянии, но благодаря возможности задержать акт помилования властителю чудится, будто он переступает эту грань.

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ: БЕГСТВО И ЖАЛО

Приказ есть приказ! О нем редко и мало задумываются, пожалуй, именно потому, что он всегда выглядит окончательным и бесспорным. Он кажется вечным, таким же естественным, как и необходимым. К приказам привыкают с детства, из них состоит добрая часть того, что именуется воспитанием; ими пронизана вся взрослая жизнь, идет ли речь о труде, войне или вере. Никто не задается вопросом, а что это, собственно, такое — приказ, действительно ли он так прост, как кажется, не оставляет ли он, несмотря на скорость и гладкость исполнения, глубокий, может быть, роковой след в человеке, который ему подчиняется.

Приказ старше, чем язык, иначе его не понимали бы собаки. Дрессировка животных заключается как раз в том, чтобы они, не зная языка, научились понимать, чего от них хочет человек. В коротких ясных приказах, которые в принципе ничем не отличаются от приказов, адресуемых людям, животным объявляется воля дрессировщика. Они ее исполняют, соблюдая также запреты. Поэтому с полным основанием корни приказа можно искать в древности; по крайней мере ясно, что в каких-то формах он существует и вне человеческого общества.

Древнейшая форма воздействия приказа — *бегство*. «Бежать!» — диктует одному животному другое, более сильное и находящееся *вне* его. Бегство лишь по видимости спонтанно; у опасности есть облик, и, не узнав его, животное

никогда не ударится в бегство. Приказ «бежать!» силен и прям как взгляд.

С самого начала сущность бегства предполагает различие *видов* существ, вступающих таким образом в отношение друг с другом. Одно из них объявляет, что намерено пожрать другое; отсюда смертная серьезность бегства. «Приказ» приводит слабейшего в движение, не важно, разворачивается затем преследование или нет. Дело лишь в мощи угрозы голосом, взглядом или внушающим страх силуэтом.

Стало быть, приказ происходит от *приказа бежать*, в первоначальной форме отношение приказа возникало между двумя животными разной породы, одно из которых угрожало другому. Большое различие в силе этих двоих, тот факт, что одно, можно сказать, привыкло служить другому добычей, непоколебимость этого отношения, существовавшего как бы изначала, — все это вместе придало явлению характер абсолютности и необратимости. Бегство — единственная и последняя инстанция, к которой можно апеллировать против смертного приговора. Рык льва, вышедшего на охоту, — это действительно смертный приговор; это *единственный* звук его языка, понятный всем его жертвам, и, может быть, это понимание — единственное общее, что у них есть. Древнейший приказ — тот, что был отдан гораздо раньше, чем на Земле появился человек, — это смертный приговор, побуждавший жертву к бегству. Уместно задуматься об этом, когда речь пойдет о приказах среди людей. Смертный приговор с его ужасающей безжалостностью просвечивает в каждом приказе. Система приказов у людей устроена так, что человек обычно избегает смерти, однако ужас перед ней и ее угроза сохраняются постоянно; а существование и исполнение действительных смертных приговоров сохраняет страх перед каждым приказом, перед приказом вообще.

Забудем теперь на мгновение, что мы обнаружили в прошлом приказа, и взглянем на него непредвзято, как бы наблюдая его впервые.

Первое, что привлекает внимание: приказ запускает действие. Вытянутый палец, указывающий направление, может действовать как приказ. Глаза, заметившие палец, поворачиваются в том же направлении. Кажется, будто вызвать действие в определенном направлении — это и есть цель, которую преследовал приказ. Направление особенно важно: не разрешено ни развернуться, ни свернуть в сторону.

Приказ также не допускает противоречия. Его нельзя обсуждать, разъяснять, ставить под сомнение. Он ясен и краток, потому что должен быть понят сразу. Промедление с восприятием воздействует на его силу. С каждым повторением — если он не исполняется сразу — приказ как бы теряет часть своей жизни, морщится и опадает, как спущенный воздушный шар; в этом случае не надо пытаться его оживить. Ибо действие, запускаемое приказом, связано с мигом, когда он отдан. Оно может быть назначено на более поздний срок, но должно следовать *однозначно*, определено ли оно словом или знаком иной природы.

Действие, исполняемое по приказу, отличается от всех других действий. Оно воспринимается как нечто *чуждое*, оно вспоминается как нечто задевшее, царапнувшее. Что-то чуждое мне промелькнуло как странное дуновение. Возможно, в этом виноват автоматизм исполнения, требуемый приказом, но только для объяснения этого мало. Важнее тот факт, что приказ приходит *извне*. Наедине с самим собой человек не может подпасть под власть приказа. Он относится к тем элементам жизни, которые *навязываются* извне, а не вырабатываются в самом человеке. Даже когда вдруг возникают некие персоны, начинающие бомбардировать окружающих указаниями и приказаниями, основывая новую веру или обновляя старую, — даже тогда проступает облик чуждой, извне навязанной силы. Они ведь никогда не говорят от собственного имени. Чего они требуют от других, то им поручено. И сколько бы они ни ввали, в этом одном пункте они всегда честны: они верят, что *посланы*.

Источник приказа — другое существо, а именно *более сильное* существо. Приказу подчиняются потому, что сопро-

тивление безнадежно: приказывает тот, кто все равно победит. Власть приказа не допускает сомнений; стоит лишь раз пробудиться сомнению, ей придется вновь утверждаться в борьбе. Как правило, обретя признание, она остается таковой надолго. Удивительно, как редко требуются новые доказательства, — достаточно старых. Победы продолжают жить в приказах, каждый исполненный приказ освежает старую победу.

На взгляд извне, власть отдающего приказания непрерывно прирастает. Любой, самый мелкий приказ хоть чуть-чуть к ней добавляет. Не только потому, что он побуждает действия, идущие на пользу власти: в готовности, с какой его исполняют, в пространстве, которое он пронизывает, в его рассекающей точности, — во всем этом есть нечто, гарантирующее власти безопасность и рост влияния. Власть посылает приказы как облака волшебных стрел; уязвленные ими жертвы сами несут себя властителю — стрелы зовут их, пленяют и ведут.

Но простота и единство приказа, на первый взгляд абсолютные и самоочевидные, при более близком наблюдении оказываются лишь видимостью. Приказ поддается разложению. Не разложив его на составные части, понять его нельзя.

Каждый приказ состоит из *движителя* и *жала*. Движитель побуждает к исполнению приказа, а именно к такому, которое следует из его содержания. Жало остается в том, кто исполнил приказ. Если приказы функционируют нормально, как от них ожидается, жала не видно. Оно спрятано, о нем не догадываются; если же оно проявится, то лишь в едва заметном нежелании подчиниться приказу.

Но жало глубоко погружается в человека, выполнившего приказ, и остается в нем, нимало не изменяясь. Среди душевных структур нет другой, столь постоянной. В жале сохраняется содержание приказа, его мощность, последствия, границы — все зафиксированное раз и навсегда в миг, когда приказ был отдан. Могут пройти годы и десятилетия,

пока эта глубоко погруженная и сохраненная часть приказа, представляющая собой его уменьшенное, но точное отображение, вновь не появится на поверхности. Важно понять, что ни один приказ не теряется — никогда исполнение не исчерпывает его целиком, он сохраняется вечно.

Кого терзают приказами сильнее всего, так это детей. Удивительно, как они вообще не ломаются под гнетом приказов и умудряются пережить рвение воспитателей. То, что потом они воспроизводят то же самое и с не меньшей жестокостью по отношению к собственным детям, так же естественно, как кусать и говорить. Но что поражает, так это длительность сохранения в первозданном виде приказов, полученных в раннем детстве: стоит только явиться следующему поколению жертв, а они уже тут как тут. И ни один не изменился ни на йоту, как будто они отданы час назад, а не двадцать, тридцать или более лет назад, как на самом деле. Детская восприимчивость по отношению к приказам, верность им и упорство в их сохранении — это не заслуга индивидуума. Умственное развитие или особая одаренность здесь не играют роли. Ни один, даже самый обыкновенный ребенок не расстанется ни с одним из приказов, которыми его истязали.

Скорее изменится внешний облик, по которому человек узнается другими, — наклон головы, изгиб рта, выражение взгляда, — чем образ приказа, жало которого сохранилось в нем, запечатлевшись в первозданном виде. В таком же виде оно и выталкивается наружу, но только при особых обстоятельствах: ситуация, при которой оно выходит, должна быть похожа на старую, то есть ту, в которой оно было воспринято, как две капли воды. Воссоздание таких ранних ситуаций, но с обратным результатом, иначе говоря, *обращение* этих ситуаций — величайший источник духовной энергии в человеческой жизни. Когда говорят о «тяге» к новому, еще не достигнутому, за этим кроется не что иное, как стремление избавиться от когда-то воспринятого приказа.

Только *выполненный* приказ оставляет в том, кто ему подчинился, свое жало. Кто отклоняет приказы, тот не хранит

их в себе. Свободный человек — тот, кто научился отклонять приказания, а не тот, кто лишь впоследствии от них освобождается. Но тот, кому требуется больше всего времени, чтобы освободиться, или кто вообще к этому не способен, тот — без сомнения — самый несвободный.

Ни один нормальный человек не воспримет как несвободу удовлетворение собственных влечений. Лишь когда они становятся чересчур сильны и удовлетворение их ведет к опасным последствиям, возникает ощущение, что человек как бы управляется кем-то извне. Но каждый ощущает несвободу и протест, сталкиваясь с приказом, который приходит извне и требует исполнения: тут каждый чувствует гнет и каждый имеет право на обращение или бунт.

ОДОМАШНИВАНИЕ ПРИКАЗА

Приказ к бегству, содержащий в себе угрозу смерти, предполагает, что тот, кто его отдает, и тот, кто его воспринимает, различаются по силам. Кто обращает другого в бегство, тот может его убить. Эта фундаментальная ситуация природы сложилась вследствие того, что многие виды животных питаются животными, а именно животными *других видов*, живут ими. Поэтому большинство представителей этих других видов чувствует исходящую от них угрозу и, подчиняясь их приказу — приказу чужака и врага, — устремляется в бегство.

Но то, что мы обыкновенно именуем приказом, разыгрывается меж *людьми*: господин приказывает рабу, мать приказывает ребенку. Приказ, каким мы его знаем, далеко ушел от своего биологического прообраза. Он одомашнился. Он применяется как в общесоциальных, так и в интимных контекстах человеческой жизни, в государстве играет не меньшую роль, чем в семье. Он выглядит здесь совсем иначе, чем изображенный нами приказ к бегству. Господин кличет раба,

раб является, хотя знает, что получит приказ. Мать зовет ребенка, и ребенок не всегда убегает. Осыпанный приказами, в общем и целом он сохраняет доверчивость. Он всегда держится близко от матери и прибегает к ней. То же самое и с собакой: она рядом, готовая примчаться по свистку хозяина.

Как удалось одомашнить приказ? Как удалось обезвредить смертельную угрозу? Объяснение просто: в каждом из случаев практикуется нечто вроде подкупа. Хозяин дает еду рабу или собаке, мать кормит ребенка. Существо, состоящее в подчинении, привыкает получать пищу только из одних рук. Собака или раб получают пищу только из рук своего господина, никто другой не обязан их кормить, да, собственно, и *не имеет права* это делать. Отношение собственности состоит отчасти в том, что пища им приходит исключительно из рук хозяина. Ребенок же вообще не в состоянии сам себя прокормить. С самого начала он не может обойтись без материнской груди.

Между предоставлением пищи и приказом сложилась очень тесная связь. Она ярко проявляется в практике дрессировки животных. Сделав то, что от него требуется, животное получает сахар из рук дрессировщика. Одомашнивание приказа превратило приказ в обещание пищи. Вместо того чтобы обращать в бегство, грозя смертью, человек обещает то, что больше всего требуется каждому живому существу, и строго держит обещание. Вместо того чтобы служить пищей господину, вместо того чтобы быть съеденным, тот, кому отдан приказ, сам получает пищу.

Такая сублимация биологического приказа к бегству вырабатывает в людях и животных своеобразную способность к добровольному рабству, существующую в массе степеней и разновидностей. Но она не изменяет полностью сущность приказа. Угроза по-прежнему живет в каждом приказе. Она смягчена, но все равно за невыполнение приказа предусмотрены санкции, они могут быть очень строгими; самая строгая та, которая самая древняя, — смерть.

ОТДАЧА И СТРАХ ПЕРЕД ПРИКАЗОМ

Приказ как стрела. Им выстреливают и попадают. Приказывающий целится, прежде чем выстрелить. Он хочет попасть приказом в кого-то определенного: стрела всегда точно направлена. Она торчит в ужаленном, который должен ее вытащить и адресовать следующему, чтобы освободиться от принесенной ею угрозы. Фактически процесс передачи приказа разворачивается так, будто бы получивший приказ извлекает стрелу, натягивает собственный лук и выстреливает ею в следующего. Рана в его собственном теле заживает, хотя и оставляет шрам. У каждого шрама своя история — след именно этой, вполне определенной стрелы.

Но тот, кто ею выстрелил, то есть тот, кто отдал приказ, испытывает легкую отдачу. Речь идет, собственно, о душевной отдаче, которую он испытывает, видя, что попал в цель. Здесь аналогия с физической стрелой уже не поможет. Но тем важнее всмотреться в след, который оставляет удачный выстрел в удачливом стрелке.

Удовлетворение от исполненного, то есть успешно отданного приказа заслоняет обычно все остальное, что происходит со стрелком. В нем всегда налицо что-то вроде ощущения отдачи: то, что он делает, запечатлевается в нем самом, а не только в жертве. Множество отдач, скапливаясь, порождают *страх*. Это особого рода страх, возникающий из многократного повторения приказов, я называю его *страхом перед приказом*. Он почти отсутствует в том, кто лишь посылает приказы дальше, являясь передаточной инстанцией. Но он тем сильнее, чем ближе отдающий приказы к самому источнику приказов.

Нетрудно понять, как он возникает. Выстрел, убивший отдельное существо, не оставляет в стрелке ощущения опасности. Убитый ему не в силах повредить. Приказ же, который грозит смертью, но при этом не убивает, оставляет память об угрозе. Одни угрозы пусты, другие в самом деле дей-

ственны; именно последние никогда не забываются. Тот, кто бежал перед угрозой или поддался ей иначе, обязательно будет мстить. Он всегда мстил, как только наступал подходящий момент; тот, от кого исходила угроза, прекрасно это знает и все готов отдать, лишь бы сделать обращение невозможным.

Чувство опасности, заключающейся в том, что все, кому человек приказывал, грозя смертью, *живы и помнят*, опасности, в которой он вдруг окажется, если все, кому грозил, вдруг соединятся против него одного, — это глубоко запрятанное, смутное и неопределенное (ибо невозможно знать, когда память тех, кому грозил смертью, вдруг выплеснется в действие), это мучительное, непреходящее и ничем не вытесняемое чувство опасности я и называю страхом перед приказом.

Он сильнее всего в тех, кто стоит на самом вершине. В источнике приказов, то есть в том, кто отдает приказы «из себя самого», ни от кого другого их не получая, кто их, так сказать, сам производит, — в том концентрация такого страха выше всего. Он, этот страх, может долго оставаться связанным и скрытым. Он может возрастать в течение жизни владыки и выплеснуться наружу как мания цезарей.

ПРИКАЗ МНОГИМ

Нужно различать между приказом, адресованным *одному* отдельному существу, и приказом, адресованным *многим*.

Это разделение содержится уже в биологическом прообразе приказа. Некоторые животные существуют изолированно и воспринимают вражескую угрозу также в одиночку. Другие бродят стадами, и угрозу воспринимает все стадо. В первом случае зверь бежит или прячется сам по себе. Во втором бежит все стадо. Животное, обычно живущее в стаде, будучи случайно застигнуто врагом в одиночестве, спасаясь, мчится

к стаду. Одиночное бегство и массовое бегство различны по своей природе. Массовый страх бегущего стада — это древнейшее и, если можно так выразиться, знакомейшее из массовых состояний, вообще известных человеку.

Из этого состояния массового страха можно весьма правдоподобно объяснить, что такое *жертва*. Лев, преследующий стадо мчащихся в ужасе газелей, прекращает погоню, поймав одно из животных. Эта газель — его жертва в самом широком смысле слова. Она дарит покой своим товаркам. Как только лев получил что хотел и газели это заметили, страх исчезает, из состояния массового бегства стадо переходит в нормальное состояние: газели беззаботно щиплют траву, занимаясь каждая чем угодно. Если бы у газелей была религия, а лев был их богом, они могли бы, чтобы ублажить его алчность, добровольно выдавать ему одну из товарок. Как раз это и происходит у людей: из состояния массового страха возникают религиозные жертвы, на некоторое время усмиряющие бег и прожорливость опасной власти.

Масса в состоянии страха стремится быть *тесно сплоченной*. При острой угрозе ей кажется безопаснее, если каждый чувствует рядом другого. Ее природа как массы обуславливается также и направлением бегства. Животное, которое выпрыгнет и помчится в собственном направлении, подвергается большей опасности. Но оно и чувствует опасность сильнее, потому что оно одно, оно в большем ужасе. Единое направление их совместного бегства можно назвать их «идеей»: их мощно гонит вперед то же, что сплачивает. Они не в панике, пока не рассеялись, пока каждое мчится рядом с каждым, повторяя его движения. Это массовое бегство, совершающееся в параллельном движении ног, шей, голов, напоминает то, что у людей я назвал *ритмической* массой.

Если звери окружены, картина меняется. Общее направление бегства исключено. Массовое бегство переходит в панику: все ищут спасения в одиночку, мешая друг другу. Круг стягивается. В начавшейся бойне каждый враг другому, ибо перекрывает путь к спасению.

Но вернемся к приказам. Приказ одному, как было сказано, — не то, что приказ многим. Прежде чем обосновать этот тезис, обсудим важное исключение.

Искусственное собрание многих — это армия. В армии различие видов приказа снимается, в чем и состоит ее сущность. Адресуется ли приказ одному, некоторым или многим, он означает здесь абсолютно одно и то же. Армия существует именно в силу постоянства приказа и его равенства самому себе. Он приходит сверху, оставаясь строго направленным и изолированным. Поэтому армия не имеет права превращаться в массу.

В массе же приказ распространяется горизонтально от сочлена к сочлену. В начале он поражает сверху кого-то одного. Но поскольку его окружают равноценные другие, он мгновенно переправляет его дальше в их направлении. В страхе он прижимается к ним теснее. В один момент все поражены страхом. Кто-то срывается в бег, за ним другие, потом все. В силу мгновенного распространения одного и того же приказа они превращаются в массу и мчатся вместе.

Так как приказ распространяется мгновенно, он не образует жала. Для этого не хватает времени: то, что могло бы стать твердым элементом, сразу распадается. Приказ массе не оставляет жала. Угроза, которая побуждает массовое бегство, в этом же бегстве и растворяется.

Только *изолированная* ситуация приказа ведет к формированию жала. Угроза, воплощаемая в приказе одному, *не может* раствориться вовсе. Кто выполнил приказ в одиночку, хранит в себе как жало, как твердый кристалл злопамятства, свой не нашедший выражения протест. Он от него избавится, лишь сам отдав такой же приказ. Его жало — это не что иное, как скрытое точное отображение приказа, который был получен, но не передан тут же дальше. Только выразив его, можно получить избавление.

Приказ многим, следовательно, имеет совершенно особый характер. Цель его — превратить многих в массу, и, поскольку это удастся, он не будит страх. Призывы ораторов,

указывающих путь, выполняют ту же функцию, их можно трактовать как приказ многим. С точки зрения мгновенно возникающей и стремящейся сохранить себя массы эти призывы нужны и необходимы. Искусство оратора состоит в том, чтобы превратить свои цели в лозунги, подав их так, чтобы способствовать возникновению и сохранению массы. Он *создает* массу и держит ее в живых силой приказа. Если это совершилось, совсем не важно, чего он от нее потребует. Он может беспощадно грозить и оскорблять собрание одиночек, и они заплатят ему любовью, если таким способом он сплотит их в массу.

ОЖИДАНИЕ ПРИКАЗА

Солдат на службе действует только по приказу. Что ему нравится, а что нет — не берется в расчет: солдату в выборе отказано. Дилеммы перед ним не возникают: даже если он медлит, задумавшись, куда идти, выбирает не он. Активные проявления его жизни со всех сторон ограничены. Что делают другие солдаты, то же делает и он *вместе* с ними, а они как раз делают то, что приказано. Лишение возможности совершать поступки, которые другими людьми, как он считает, делаются свободно, заставляет его ревностно относиться к тому, что он *должен* делать.

Часовой на посту лучше всего выражает психическое строение солдата. Ему нельзя уйти, нельзя заснуть, нельзя двинуться с места; исключение составляют лишь некоторые четко предписанные операции. Его задача состоит в сопротивлении любому позыву покинуть свой пост, в какой бы форме этот позыв ни проявился. Солдатский *негативизм*, как это можно назвать, есть стеновой хребет службы. Солдат подавляет в себе удовольствие, страх, беспокойство, то есть все текущие побуждения к деятельности, из которых складывается обычная человеческая жизнь. Лучше всего это выходит, когда он сам себе в них не признается.

Любое действие, которое он совершает, должно быть санкционировано приказом. Поскольку это вообще трудно — *ничего* не совершать, накапливается энергия ожидания. Жажда действия возрастает до немых масштабов. Но поскольку действию должен предшествовать приказ, ожидание переориентируется на приказ: хороший солдат всегда сознательно находится в *ожидании приказа*. Это состояние всячески поддерживается и культивируется, что хорошо видно в позициях и формулах военного распорядка. Энергичность солдата обнаруживается в тот миг, как он вытягивается перед начальством для получения приказа. Формулы доклада выражают напряженное ожидание и готовность исполнить еще не отданный приказ.

Воспитание солдата начинается с того, что ему *запрещают* гораздо больше, чем всякому другому человеку. За малейшее нарушение грозит тяжелый штраф. Область запретного, знакомая каждому с детства, у солдата разрастается до гигантских размеров. Вокруг него вырастают стена за стеной, они специально освещены и строятся намеренно у него на глазах. Их высота и крепость соответствуют их отчетливости. На них указывают постоянно, так что солдат не может сказать, что он не знал. В конце концов он начинает двигаться так, будто чувствует себя в их границах. *Угловатое* в солдате — это отклик его тела на твердость и гладкость стен; он обретает стереометрическую фигуру. Он — заключенный, который приспособился к стенам тюрьмы, доволен ими, заключенный, в котором протеста остается ровно столько, насколько его недоформировали стены. Если других заключенных обуревают мысли перелезть через стену, пробить ее, солдат признает стены как новую натуру, как естественную среду, в которой живет, частью которой является.

Лишь тот, кто нутром воспринял полноту запрета, кто научился день за днем в каждой обыденной мелочи различать и отклонять запретное, — только тот настоящий солдат. Ценность приказа для него вырастает неизмеримо. Приказ для него как вылазка из крепости, где сидишь слишком долго. Он как молния, перебрасывающая через стены запретного и

убивающая только иногда. В пустыне запретов, простирающейся во все стороны, приказ является как спасение — стереометрическая фигура оживает и приходит в движение.

Обучение солдата предполагает две формы восприятия приказов: в одиночку и вместе с другими. Строевые упражнения приучают к совместным движениям, одинаковым для всех. Здесь ценится своего рода отточенность, которая лучше достигается через взаимное подражание, чем в одиночку. Человек превращается в копию всех прочих; возникает равенство, которое при случае поможет трансформировать воинское подразделение в массу. Но в принципе здесь преследуется обратная цель: добиться, чтобы каждый солдат был равен другому и при этом не возникала масса.

Будучи подразделением, они действуют по приказу, который отдан им всем вместе. Но должна сохраниться возможность *их разделить*: отозвать одного, двоих, троих, половину — сколько нужно командирам. Совместные маршировки — это внешность, лишь делимая группа управляема. Нужно, чтобы приказ мог быть отдан любому числу солдат: одному, десяти, всему подразделению. Его действенность не зависит от того, скольким он адресован. Приказ тот же — все равно, подчиняется ему один солдат или все вместе. Эта сама себе равная природа приказа крайне важна, ибо исключает воздействие массы.

Кто отдавал приказы в армии, умеет избегнуть массы как в себе, так и *вне* себя. Это потому, что он воспитан в ожидании приказа.

ОЖИДАНИЕ ПРИКАЗА ПАЛОМНИКАМИ НА АРАФАТЕ

Важнейший момент паломничества в Мекку, его кульминация — *вакуф*, или *стояние на Арафате*; это последняя остановка на долгом пути к Аллаху, в нескольких часах от Мекки. Гигантская масса паломников — до шестисот, се-

мисот тысяч человек — скапливается в окруженной голыми холмами речной долине, теснясь вокруг лежащей посередине «горы Милосердия». С вершины горы, где некогда стоял пророк, несутся пламенные слова проповедника.

Масса скандирует в ответ: «Лабейкка йа Рабби, лабейкка! Мы ждем твоих приказов, Господин, мы ждем твоих приказов!» Этот зов не умолкает весь день, переходя в неистовый вопль. Потом, будто в припадке массового ужаса — этот феномен получил название *ифадха*, или поток, — все устремляется прочь от Арафата в сторону местечка Моздалифа, где проводят ночь, а наутро, как одержимые, бегут дальше — к Мине. Это беспорядочное бегство, где все сталкиваются, падают, топчут друг друга, каждый раз стоит жизни нескольким паломникам. В Мине забивают и приносят в жертву огромное количество животных, мясо тут же поедают, оставляя за собой залитую кровью, усыпанную объедками и костями землю.

Стояние на Арафате — момент, когда ожидание *приказа* массами верующих достигает высшей интенсивности. Это ясно уже из формулы «Мы ждем твоих приказов, Господин, мы ждем твоих приказов!», тысячекратно произносимой устами толпы. Ислам, то есть *преданность*, приведен здесь к своему наименьшему общему знаменателю, когда люди не способны думать ни о чем, кроме как о приказах господина, и всеми силами вымалывают этот приказ. Массовому страху, который вдруг овладевает толпой и переходит в беспримерное массовое бегство, имеется убедительное объяснение. Здесь прорывается древняя природа приказа, который есть *приказ к бегству*, хотя сами верующие и не в состоянии понять, почему это так. Интенсивность их ожидания в массе до бесконечности усиливает действенность божественного приказа, пока наконец он не выливается в то, чем изначально является любой приказ, — в приказ к бегству. Приказ Бога обращает людей в бегство. Продолжение бегства на следующий день после ночи, проведенной в Моздалифе, показывает, что мощь приказа еще не исчерпана.

Согласно исламскому пониманию, смерть человека — результат прямого божественного приказа. Именно этой смерти паломники стараются избежать, переводя ее на животных, которых забивают в Мине, конечном пункте бегства. Животные умирают здесь вместо людей — перенос, практикуемый многими религиями, вспомним хотя бы жертву Авраама. Так люди избегают кровавой расправы, уготованной им самим Богом. Они доказали свою преданность, обратившись в бегство по его приказу, но все же не отдали крови; земля напоилась кровью массы убитых животных.

Не найти другого религиозного обычая, который бы демонстрировал подлинную природу приказа ярче, чем стояние на Арафате, викуф, и последующее бегство, ифадха. Сущность ислама, в котором вообще религиозная заповедь несет в себе непосредственность приказа, а также ожидание приказа и приказ как таковой, проявляются здесь в чистейшем виде.

ЖАЛО ПРИКАЗА И ДИСЦИПЛИНА

Дисциплина составляет сущность армии. Но есть дисциплина явная и дисциплина тайная. Явная дисциплина — это дисциплина приказов; как было показано, строгое ограничение источника приказов ведет к формированию крайне своеобразного существа, скорее стереометрической фигуры, чем существа, то есть солдата. Для него характерно постоянное существование в ожидании приказа. Оно кладет отпечаток на его облик и фигуру: солдат, который больше не ждет приказа, — уже не солдат и форму носит только для вида. Строевание солдата очевидно, оно на виду.

Но явная дисциплина еще не все. Наряду с ней существует еще одна — тайная, о которой не любят говорить и которая сама себя старается не демонстрировать. Некоторые душевно тупые типы не допускают ее даже в мыслях.

Однако у большинства солдат, особенно в наше время, она постоянно функционирует своим особенным скрытным образом. Это дисциплина *поощрения*.

Может вызвать недоумение, что на столь общеизвестную и понятную вещь, как поощрение, набрасывается покров тайны. Но поощрение — это всего лишь публичный термин для обозначения гораздо более глубокого феномена, который таинствен хотя бы потому, что лишь немногим ясно, как он работает. Поощрение — это слово, обозначающее скрытое действие *жал приказов*.

Ясно, что эти жала скапливаются именно в солдате в ужасающем количестве. Все, что он делает, делает по приказу: ничего другого он не делает и не имеет права делать, таково требование явной дисциплины. Его собственные спонтанные побуждения подавлены. Он глотает приказ за приказом, и — нравится ему или нет — прекратить это он не может. Каждый исполненный приказ — а исполняются все приказы — оставляет в нем свое жало.

Их накопление — стремительно развивающийся процесс. Если это простой солдат, стоящий в самом низу военной пирамиды, у него нет никакой возможности извлечь эти жала, так как сам приказывать он не может. Он может только то, что ему велят. Он подчиняется и коснеет в подчинении.

Изменить это состояние, в чем-то даже насильственно, можно лишь путем поощрения, выдвижения в следующий чин. Как только он продвинулся, у него возникает возможность приказывать самому, и, начав приказывать, он начинает избавляться от части сидящих в нем жал. Он оказывается — хотя пока лишь частично — в ситуации *обращения*. Он может требовать того, что раньше требовали от него. Характер ситуации тот же самый, но его позиция в ней изменилась. Сидящие в нем жала теперь обнаруживаются как приказы. То, что ему приказывал его прямой начальник, теперь приказывает он сам. Это не значит, что освобождение от жал зависит теперь только от него самого, но он оказался в самой подходящей для этого ситуации: он должен при-

казывать. Положения те же самые, слова те же самые. Солдат стоит перед ним так же, как стоял он сам. Он произносит ту же формулу, что выслушивал сам, тем же тоном, так же энергично. Тождество ситуаций поражает, кажется, будто все устроено специально, чтобы помочь ему избавиться от жал. Стрелами, попавшими в него, он теперь жалит других.

Но хотя сидящие в нем жала наконец-то нашли себе применение, даже более того, они должны теперь применяться, он все равно продолжает получать приказы сверху. Теперь идет двойной процесс: избавляясь от старых жал, он накапливает новые. Конечно, теперь это переносится легче, ибо начавшееся продвижение дает крылья — оправданную надежду на будущее избавление.

Подводя итог, можно сказать: открытая армейская дисциплина выражается в отдаче прямых приказаний, тайная дисциплина — в повторном применении сохраненных жал.

ПРИКАЗ. КОНЬ. СТРЕЛА

В истории монголов бросается в глаза могучая изначальная взаимосвязь между приказом, конем и стрелой. Именно в этом соединении — основа быстрого и внезапного взлета их державы. Нужно проследить эту взаимосвязь, что мы и делаем.

Биологически, как известно, приказ происходит из приказа к бегству. Лошадь, как и другие родственные ей копытные, всю свою историю была настроена на такое бегство, это был, можно сказать, подлинный предмет ее истории. Лошади паслись стадами, а стада привыкли к *совместному бегству*. Приказ исходил от опасных хищников, угрожавших их жизни. Массовое бегство случалось так часто, что стало чем-то вроде естественного свойства лошадей. Как только угроза исчезала или казалось, что исчезала, стадо впадало в прежнее беззаботное состояние, когда каждый сам по себе и делает что хочет.

Человек, усиливший себя лошадей, приручив ее, образовал с нею новое *единство*. Он обучился ряду новых функций, которые вполне можно истолковать как приказы. Они лишь в малой части состоят из звуков, в основном же из нажатий и подергиваний, передающих лошади волю всадника. Лошадь понимает волю всадника и исполняет ее. Лошадь была так необходима и близка этим конным народам, что между нею и хозяином возникала совершенно личностная связь, своего рода интимное отношение господина и подданного, в других случаях невозможное.

Физическая дистанция, всегда имеющаяся между тем, кто приказывает, и тем, кто подчиняется, например между хозяином и его собакой, здесь снята. Тело всадника передает приказания телу лошади. *Пространство* приказа сведено к минимуму. Далекое, чужое, угрожающее, что воплощает в себе изначальный характер приказа, исчезает. Приказ здесь особым образом одомашнен, в историю отношений живых существ входит новое действующее лицо: верховая лошадь-слуга, на котором сидят, слуга, выносящий физическую тяжесть господина и покорный каждому движению его тела.

Как это специфическое отношение всадника к лошади влияет на получаемые всадником приказы? Сразу установим, что всадник может передавать полученные им сверху приказы своей лошади. Он добирается до назначенной ему цели не потому, что бежит сам, он указывает цель лошади. Поскольку это происходит мгновенно, приказ не оставляет в нем жала. Он его избегает, передав приказ лошади. От несвободы, которую нес приказ, он избавился, даже не успев ее толком почувствовать. Чем скорее он исполняет приказ, прыгает в седло и скачет, тем меньше жала в нем остается. Подлинное искусство этих всадников, если говорить об их военных навыках, состояло в том, что они сумели выдрессировать огромную массу исполнителей, которым не колеблясь передавали получаемые сверху приказы.

Военная организация монголов поражала особенно строгой дисциплиной. Народам, которые подверглись их напа-

дению и вынуждены были покориться, а потому имели возможность наблюдать их вблизи, эта дисциплина казалась самым удивительным, с чем они когда-либо сталкивались. Для персов, арабов или китайцев, русских, венгров или францисканских монахов, посетивших монголов в качестве папских послов, — для всех было непостижимым столь безусловное послушание. Эту дисциплину монголы, или татары, как их в основном называли, выносили *легко*, ибо частью их народа, на которую ложился главный груз, были *лошади*.

Монгольские дети уже в возрасте двух-трех лет обучались ездить верхом. Уже говорилось, как рано ребенок в ходе воспитания оказывается нашпигованным жалами приказов. В совсем раннем возрасте находящаяся рядом мать, потом — из несколько большего отдаления — отец, потом те, кому по должности доверено воспитание, да и вообще каждый взрослый и каждый старший никогда не в состоянии удовлетворить свою страсть к указаниям, приказам и запретам, адресованным ребенку. С самых нежных лет в нем копятся и копятся жала, которыми и объясняются все причуды и неврозы его последующей жизни. Он вынужден искать тех, на кого можно будет перебросить свои жала. Вся жизнь, таким образом, становится одним бесконечным поиском избавления или освобождения от жал. И он не знает, почему совершает тот или иной необъяснимый поступок, почему вступает в ту или иную вроде бы бессмысленную связь.

Монгольский или киргизский ребенок, который уже в самом раннем возрасте садился верхом, обретал по сравнению с детьми оседлых и более высоких культур особенного рода свободу. Понимая в лошадях, он передавал им все, что ему приказывают. Уже в раннем возрасте он освобождался от жал, которые — хоть и в меньшем объеме — все же получал в ходе своего воспитания. Лошадь выполняла желания ребенка раньше, чем их выполнял любой человек. Это послушание входило в привычку, и жизнь текла легко, но потом от покоренных народов он ждал того же самого абсолютного физического подчинения.

К этому отношению с лошадыю, столь важному для понимания природы человеческих приказов, добавляется второе по значению для монголов — *отношение к стреле*. Стрела — это прямой оттиск изначального, не одомашненного приказа.

Стрела *враждебна*, она убивает. Она перекрывает по прямой большое пространство. От нее надо уклоняться. Если это не удастся, она вонзается и торчит в человеке. Ее можно вытащить, но даже если застрявшее в теле острие не обломилось, все равно остается рана. (В «Тайной истории монголов» много рассказов о причиненных стрелами ранах.) Число выпускаемых стрел не ограничивается, стрелы — главное оружие монголов. Они убивают на расстоянии, они убивают и в движении, посланные с лошади.

Было замечено, что приказ по своему биологическому происхождению связан со смертным приговором. Кто не бежит, тот настигнут. Настигнутый — разорван.

Приказ у монголов в еще бóльшей степени носит характер смертного приговора. Они убивают людей как животных. Убийство — их третья натура, как езда верхом — вторая.

Они убивают людей так же, как животных на гончей охоте. Если они не воюют, то охотятся; охоты — это их *маневры*. Они, наверное, удивлялись, натываясь в завоевательных походах на буддистов и христиан, проповедующих исключительную ценность любой жизни. Бóльшего контраста невозможно придумать: мастера голого приказа, инстинктивно воплотившие его в себе, сталкиваются с теми, кто своей верой хочет их ослабить или изменить, чтобы они, утратив смертоносность, стали *человечными*.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСКОПЛЕНИЯ. СКОПЦЫ

О некоторых религиозных культах, практикуемых с особой интенсивностью, сообщается, что в них распространена практика оскопления. В древности этим были извест-

ны служители Великой Матери *Кибелы*. Тысячи людей в припадке неистовства кастрировали себя в честь богини. Десять тысяч таких служителей жили в *Комане* на Понте, где находилось знаменитое святилище Кибелы. Не только мужчины таким образом посвящали себя богине. Женщины, стремясь выразить свое преклонение, отрезали себе груди и вливались в ее свиту. *Лукиан* в книге «О сирийской богине» описывает, как верующие на своих собраниях впадают в неистовство, и тот, до кого дошла очередь, кастрирует себя на глазах у всех. Это жертва, приносимая богине, чтобы доказать ей раз и навсегда, что она одна отрада в жизни и не может быть иной любви, кроме как к ней.

То же можно встретить в сообщениях о русской секте *скопцов*, «белых голубей», основатель которой *Селиванов* имел большой успех во времена Екатерины II. Под его влиянием мужчины кастрировали себя сотнями, если не тысячами, а женщины во имя веры отрезали себе груди. Вряд ли можно предположить, что между этими верованиями имеется историческая преемственность. Эта последняя секта вышла из лона русского христианства примерно через 1500 лет после того, как пришли к концу безумства жрецов фригийско-сирийской богини.

Скопцов отличает сосредоточение на очень небольшом числе заповедей и запретов, а также объединение в узкие группы, где каждый знает другого. Их дисциплина носит также концентрированный характер, сводясь к признанию и почитанию собственного Христа, живущего среди них.

Книги и чтение, на их взгляд, отвлекают внимание. В Библии совсем немного мест, которые для них что-нибудь значат.

В жизни они тесно сожительствоуют, охраняя свой мир священными клятвами. Совершенно исключительную роль у них играет *тайна*. Их культовая жизнь, скрытая и отрезанная от внешнего мира, протекает в основном *ночью*. В центре ее — и это тайна, хранимая как зеница ока, — *кастрация*, на их языке *обеление*.

Посредством этой операции они становятся чистыми и белоснежными и превращаются в ангелов. Теперь они живут как на небесах. Они обращаются друг с другом с церемонным почтением, с поклонами и восхвалениями, как это, по их мнению, делают ангелы на небесах.

Увечье, которое они себе наносят, — результат выполнения строгого приказа. Это приказ сверху, выводимый из слов Христа в Евангелиях и слов Бога в книге Исаяи.

Они воспринимают этот приказ безусловно и в той же безусловности должны передать его дальше. К ним прямо применимо учение о *жале*. Приказ здесь исполняется на себе тем, кому он отдан. Чем бы человек ни занимался, что бы ни делал, подлинное и настоящее, что ему надлежит совершить, — это кастрировать самого себя.

Чтобы внести полную ясность, надо исследовать ряд приказов особого рода.

Поскольку речь идет о приказах, осуществляющихся в сфере строгой дисциплины, можно сравнить их с военными приказами. Солдат тоже воспитан так, чтобы подвергать себя опасности. Вся муштра служит тому, чтобы суметь в конце концов *противостоять* приказу врага, грозящему смертью. Стремление убить врага не важнее, чем умение выстоять, без последнего не было бы первого.

Солдат, как и скопец, приносит себя в жертву. Оба надеются выжить, но оба готовы к ранам, боли, крови и молчанию. Через бой солдат надеется стать победителем. Скопец через кастрацию становится ангелом и обретает право на небо, где, собственно, уже и находится.

Здесь, однако, речь идет о *тайном приказе* в рамках этой дисциплины; ситуацию можно сравнить с той, когда солдат, обязанный подчиняться военным приказам, в одиночку, по секрету от других должен выполнить тайный приказ. Для этого он должен переодеться, чтобы его не опознали по военной форме. Форма скопца, делающая его узнаваемым как такового, — это его кастрация, которая по самой природе дела должна держаться в тайне, он не имеет права в этом открыться.

Можно также сравнить скопца с членом ужасной секты *ассасинов*, которому руководитель поручает совершить убийство, но так, чтобы о поручении не знала ни единая живая душа. Если убийство удастся, никто никогда не должен узнать, как оно совершено. Может случиться, что жертва падет, а убийца будет схвачен, но и тогда правда о том, как это происходило, никогда не выйдет на свет. Приказ здесь близок смертному приговору и своему биологическому прообразу. Посланец отправлен на верную смерть, но об этом умалчивается. Ибо смерть, на которую он себя добровольно обрекает, служит для того, чтобы расправиться с другим, — с названной жертвой. Приказ расширяется в *двойной* смертный приговор: один остается непроизнесенным, хотя и принят в расчет, другой исполняется сознательно и целенаправленно. Жало, которое подчиненный уносит в себе, оказывается *использованным* до того, как он умрет.

У монголов есть очень наглядное выражение для убийства, совершаемого в миг перед собственной смертью. Герои «Тайной истории» говорят о враге, которого они убьют в свой последний миг: «Я заберу его с собой вместо подушки».

Но хотя сравнением с ассасинами мы приблизились к пониманию ситуации скопца, мы еще не описали ее в точности. Ибо скопец должен расправиться с *собой* и *себя* заставить молчать. Принятый приказ он может исполнить только на себе и, только исполнив его, становится счастливым сочленом своей тайной армии.

Здесь не должен вводить в заблуждение тот факт, что в действительности кастрацию чаще всего осуществляют другие. Смысл в том, что он сам дается им в руки. Когда он объявил о том, что готов к кастрации, не важно уже, *как* это происходит. В любом случае позже он передаст ее дальше; жало в нем того же самого рода, поскольку приказ воспринят им извне.

Даже если предположить, что был некто первый, кто подверг себя этой операции, все равно он действовал якобы по приказу с небес. В наличии такого приказа он твердо

убежден. Места в Библии, служащие ему для обращения других, сначала обратили его самого; то, что он усвоил, передается им дальше.

Жало здесь имеет видимую форму шрама на теле. Оно не такое скрытое, как обычные жала. Но все равно оно держится в тайне от всех, кто не принадлежит к секте.

НЕГАТИВИЗМ И ШИЗОФРЕНИЯ

Отклонять приказания можно, либо не слушая их, либо не выполняя. Жало возникает — подчеркнем это еще и еще раз — только в случае *выполнения* приказа. Только само действие, совершаемое под давлением извне, способствует образованию жала. Приказ, доведенный до исполнения, с точностью отпечатывается в исполнителе: тем, как энергично он отдан, его конкретной формой, выраженной в нем превосходящей силой и его содержанием определяется, следовательно, сколь глубоко и сколь жестко он запечатлевается. Он сохраняется как нечто *изолированное*; в результате каждый неизбежно скапливает в себе массу жал, которые так же изолированы, как изолированы были сами приказы. Удивительно, как крепко они сидят в человеке, глубоко погрузившись и не поддаваясь извлечению. Может настать момент, когда несколько жал занимают такое место, что все, кроме них, теряет смысл и перестает восприниматься.

Тогда сопротивление новым приказам становится для человека вопросом жизни. Он старается их не слышать и не воспринимать. Если не слышать нельзя, он их не понимает. Если нельзя не понять, он их вызывающим образом не выполняет, делая противоположное тому, что приказано. Ему говорят сделать шаг вперед, он делает шаг назад. Говорят — назад, он шагает вперед. Нельзя сказать, что он не исполняет приказа потому, что внутренне свободен. Он демонстрирует бессильную лунатическую реакцию, но она все же

обусловлена содержанием приказа. В психиатрии это именуется *негативизмом*, он ярко проявляется в случаях шизофрении.

У шизофреников бросается в глаза отсутствие контактности. Они гораздо изолированнее, чем прочие люди. Такое впечатление, будто они закупорены в самих себе, не связаны с другими, ничего не воспринимают и не понимают. В своем упорстве они сродни каменным скульптурам: нет позиции, в которой они не могли бы вдруг окаменеть. Но в другой период болезни те же самые люди вдруг резко меняют свое поведение. Их *внушаемость* достигает фантастических масштабов. Все исполняется с такой полнотой и стремительностью, что кажется, в них вселился другой человек. На них будто находят припадки сервильности, услужливости, доходящей до раболепства. Каменные статуи превращаются в одержимых службой рабов, выполняющих команды с рвением, доходящим до абсурда.

Противоречие между этими двумя позициями столь велико, что кажется непостижимым, как это может уживаться в одном человеке. Но если отвлечься от того, как это отражается в них самих, если поглядеть на дело совершенно *внешним* образом, то нельзя отрицать, что оба положения присущи и жизни «нормальных» людей. Только здесь они служат определенной цели и не выглядят столь утрированно.

Солдат, который не реагирует на внешние импульсы, который окаменел на посту и не может его покинуть, которого ничем не заставишь делать то, что в другое время он делал постоянно и с удовольствием, то есть настоящий опытный солдат при исполнении своих обязанностей находится в искусственно вызванном состоянии негативизма. Конечно, при определенном условии, а именно в случае приказа начальства, он приходит в действие, но только при одном этом условии. Именно благодаря реакции на определенные приказы он и введен в состояние негативизма. Это манипулируемый негативизм, и в силах начальства перевести его в полярно противоположное состояние. Если солдату будет

приказано, он продемонстрирует те же рвение и услужливость, что и шизофреник в *его* противофазе.

Но нужно добавить, что солдат отлично знает, почему он ведет себя именно так. Он подчиняется под страхом смерти. Как он постепенно привыкает к этому состоянию и начинает ему внутренне соответствовать, показано в предыдущей главе. Здесь мы хотим подчеркнуть несомненное *внешнее* сходство между солдатом при исполнении и шизофреником.

Но здесь просится и совсем другая мысль, которая кажется не менее важной. Шизофреник в состоянии крайней суггестии ведет себя как представитель *массы*. Он точно так же внушаем, точно так же реагирует на любое побуждение. Сходства обычно не замечают, потому что он пребывает в этом состоянии в *одиночестве*. Поскольку массы нет, никому не приходит в голову предположить, что внутренне он ощущает себя в массе, что он — *вырванный кусок массы*. Это можно понять, только обратившись к тому, как видят себя сами больные. Одна женщина говорила, что «все люди находятся внутри ее тела». Другая слышала «разговоры комаров». Некий мужчина слышал «729000 девушек», другой — «шепот всего человечества». В представлениях шизофреников присутствуют—в превращенных формах— все существующие виды массы; с них можно было бы даже начать исследование массы. Собираение и изучение массовых представлений шизофреников должно стать предметом особого труда. Путем классификации можно показать, сколь исчерпывающий характер они имеют.

Может возникнуть вопрос, почему оба состояния, о которых здесь говорится, необходимы для шизофреника. Для ответа надо вспомнить, что происходит с индивидуумом, ставшим членом массы. Выше мы показали, как происходит освобождение от груза дистанции, названное *разрядкой*. Надо добавить, что часть этого груза составляют скопившиеся в человеке жала приказов. В массе же все равны, никто никому не приказывает или, лучше сказать, каждый прика-

зывает каждому. Не только не возникают новые жала, даже от старых люди на время избавляются. Человек словно выскакивает из дому, забыв их в подвале, где они и остаются лежать. Это *выскакивание* из всего, что составляет прочные границы, связи, обязательства, и является причиной эйфории, овладевающей человеком в массе. Нигде он не чувствует себя свободнее, и если он отчаянно стремится остаться в массе как можно дольше, то потому, что знает, что ему предстоит. Возвратившись в *себя*, в свой «дом», он обнаружит там все то же, что оставил: тягости, обязанности, жала.

Шизофреник, перегруженный жалами настолько, что иногда закостеневаает в них, кактус муки и беспомощности, впадает в иллюзию противоположного, массового состояния. Пока он в нем остается, жала не ощутимы. Ему кажется, что он выскочил из себя, и хотя состояние это сомнительно и ненадежно, по крайней мере временно он освобождается от терзающих жал: ему кажется, он снова вместе с другими. Ценность такого облегчения, конечно, иллюзорна. Как раз там, где он начинает освобождаться, его встречают новые, еще более жесткие обязанности. То, чем мы здесь занимаемся, это не полное объяснение шизофрении. Но этого достаточно, чтобы быть уверенным в одном: больше, чем кому-либо другому, масса необходима утыканному жалами, удушаемому ими шизофренику. Он не обнаруживает массы вокруг себя и растворяется в ней *в себе*.

ОБРАЩЕНИЕ

«Ибо пища, какую ест человек в этом мире, ест его в другом мире». Эта странная и загадочная фраза записана в «Сатапатха Брахмана», древнем индуистском жертвенном трактате. Но еще более загадочна рассказанная там же история о путешествии ясновидца Бригу в потусторонний мир.

Святой Бригу — сын бога Варуны, овладел знаниями брахманов и занесся, вообразив себя выше своего божес-

ственного отца. Последний решил показать ему, как мало он знает, и посоветовал обойти одну за другой все четыре стороны света. Он должен был внимательно наблюдать и по возвращении рассказать отцу об увиденном.

«Сначала на Востоке видел Бригу людей, которые отрубали у других людей части тела и раздавали их друг другу, говоря при этом: «Это — твое, а это — мое». Увидев такое, Бригу огорчился, и люди, разрубавшие других на куски, объяснили ему, что те в другом мире делали с ними то же самое, и им не остается ничего другого, как поступать с ними соответственно.

Потом Бригу направил стопы на Юг и увидел людей, отрезавших у других части тела и раздававших со словами «Это тебе, а это мне». На свой вопрос Бригу получил тот же ответ: те, кого режут, в другом мире делали то же самое с теми, кто режет. Потом на Западе Бригу встретил людей, молча поедающих других людей, причем поедаемые тоже молчали. Так якобы последние поступали с первыми в другом мире. На Севере же он встретил людей, которые, громко крича, поедали других людей, которые тоже при этом громко кричали, и узнал, что так же поступали последние с первыми в другом мире».

Возвратившись, Бригу предстал перед своим отцом Варуной, чтобы как ученик рассказать урок. Но Бригу сказал: «О чем мне повествовать? Не о чем». Он видел слишком страшные вещи и ничего из них не вывел.

Но Варуна знал, что увидел Бригу, и объяснил ему: «Люди на Востоке, отсекавшие другим члены, это деревья. Люди на Юге, отрезавшие части других людей, это скот. Люди на Западе, молча евшие молчащих людей, это травы. Люди на Севере, крича поедающие кричащих людей, это воды».

Для каждого из этих случаев он знал противоядие. Он сказал сыну, какие жертвы нужно приносить, чтобы избежать последствий своих поступков в потустороннем мире.

В другом жертвенном трактате «Джаминья Брахмана» та же история Бригу рассказана несколько иначе. Он путеше-

ствует не по всем сторонам света, а из одного мира в другой. Вместо четырех образов, с которыми мы ознакомились, — только три. Сначала Бригу видит деревья, которые в потустороннем мире приняли человеческий облик, режут людей на куски и съедают. Затем он видит человека, пожирающего другого, — кричащего человека. Ему разъясняется: «Скот, который в нашем мире был забит и съеден, в том мире принял человеческий облик и делает с людьми то же, что они делали с ним». И наконец, он видит человека, поедающего другого, который молчит. Рис и ячмень приняли человеческий облик и мстят тем же, что испытали сами.

Здесь тоже приведены соответствующие жертвы. Кто их правильно осуществит, избежит судьбы быть съеденным в потустороннем мире деревьями, скотом, ячменем и рисом. Но нас здесь интересуют не средства, помогающие избежать этой печальной доли. Важны скорее народные верования, спрятанные под священными текстами. Что человек делает здесь, то же с ним будет сделано там. Нет каких-то специальных служителей справедливости, поставленных осуществить наказание. Каждый сам карает своего врага. Речь идет не о каких-то особенных поступках, а о том, что человек съел. «Точно так же, как в этом мире люди едят и съедают животных, таким же образом в том мире животные едят и съедают людей».

Эта фраза из другой книги брахманов, подобной той, что процитирована в начале, находит любопытное подтверждение в книге законов Ману. Там разъясняется, что есть мясо животных не грех, ибо это свойственно всем тварям. Однако тому, кто воздерживается от мяса, обещано особое вознаграждение. Смысл санскритского слова *mamsa*, обозначающего мясо, раскрывается путем разложения на слоги: «mam» значит «меня», «sa» значит «он»; «mamsa», следовательно, обозначает «меня-он» — «меня» на том свете будет есть «он», чье мясо я съел на этом. В этом, объясняют мудрые, состоит «мясность мяса». В этом особая природа мяса, подлинный смысл слова «мясо».

Обращение схвачено здесь в самой краткой из возможных формул и воплощено в образе мяса. Его ем я, меня — он. Вторая часть — следствие того, что я совершил, — это и есть слово, обозначающее мясо. Животное, съеденное человеком, помнит, кто его съел. Смерть животного не прекращает его существования. Душа его живет и в потустороннем мире превращается в человека, который терпеливо ожидает смерти того, кто его пожрал. Как только он умирает и прибывает в другой мир, изначальная ситуация оборачивается своей противоположностью. Жертва находит своего губителя, хватает, разрезает на куски и съедает.

Здесь прямо налицо связь с нашим пониманием приказа и оставляемого им жала. Но все доведено до такого предела, так конкретизировано, что сначала в страхе отшатываешься. Обращение происходит не в этой жизни, а в той. Здесь не приказ, грозящий смертью, а потому вынуждающий действовать, а самая настоящая смерть, причем в ее крайней форме с пожиранием убитого. По нашему воззрению, которое не берет уже всерьез возможность потустороннего существования, жало, оставляемое угрозой смерти, держится до тех пор, пока жива жертва. Удастся ли ей обращение — это вопрос, она будет к нему стремиться. Во всяком случае, человеком управляют сидящие в нем жала, его внутренний облик определяется извне, они — его судьба, независимо от того, сумеет ли он от них освободиться. Согласно индуистскому воззрению, для которого существование потустороннего мира несомненно, жало как твердая сердцевина души сохраняется после смерти, и обращение происходит в любом случае — оно становится смыслом потустороннего существования. В том мире человек делает то, что с ним было сделано в этом, и он делает это сам.

То, что смена образа одного из участников не препятствует обращению, здесь особенно важно. Человека хватает и режет на куски не съеденное им животное, а человек с душой животного. Налицо полное изменение внешности, но жало остается тем же самым. Ужасные картины, виденные

Бригу в его странствиях, свидетельствуют о том, что жало есть основная структура души, можно даже сказать, что она целиком состоит из жала. Подлинная сущность жала, о которой так много говорилось в этом исследовании, его абсолютная неизменяемость и требуемая им полнота обращения отпечатались в представлении индусов о съеденном, которому предстоит съесть того, кто его съел.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЖАЛА

Жало возникает *во время* исполнения приказа. Оно отделяется от него и впечатывается в исполнителя как точное отображение приказа. Оно малó, глубоко спрятано и скрыто от сознания; его главное свойство, о котором много говорено, — это его абсолютная неизменяемость. Оно изолировано от остального состава человека как нечто чуждое его плоти. Сколь бы глубоко оно ни погрузилось, как бы ни было замкнуто на себя самого, оно всегда в тягость владельцу. Оно странным образом застревает в нем как в ловушке.

Оно само рвется наружу, но не может выйти. От него невозможно как-либо избавиться. Сила, потребная для освобождения, должна быть равной той, с какой оно было воспринято, то есть, будучи редуцированным приказом, оно должно превратиться в полный приказ. Для этого требуется обращение первоначальной ситуации, ее неизбежное точное воспроизведение. Кажется, будто жало имеет собственную память, и эта память настроена на особый импульс, будто оно способно ждать месяцы, годы, десятилетия, пока не возникнет та же ситуация, которую оно мгновенно опознает. Внезапно все стало так же, как раньше, только роли полностью сменились. Оно мгновенно рассчитывает возможность и мчится к своей жертве. Обращение произошло.

Такой случай, который можно назвать чистым, — не единственный из возможных. Приказ может повторяться

часто, исходя из одного источника и адресуясь к одной и той же жертве, образуя множество одинаковых жал. Идентичные жала не остаются изолированными, соединяясь друг с другом. Новая структура растет на глазах, тот, в ком она сидит, не может ее не заметить. Она слишком крупна и докучлива, целиком, так сказать, торчит над водой.

Но *один и тот же* приказ может, повторяясь, приходиться из *разных* источников. Если это происходит часто и с немолимой последовательностью, жало утрачивает ясность своего образа и превращается — иначе это не назовешь — в опасного для жизни монстра. Оно обретает чудовищные пропорции и целиком заполняет своего хозяина, который вынужден таскать его с собой, не имея возможности забыть о нем ни на мгновение и стараясь избавиться от него при любой возможности. Бесчисленные ситуации напоминают ему первоначальную, кажутся подходящими для обращения. Но это не так, повторения и скрещения замутили образ, ключ от первоначальной ситуации пропал. *Одно* воспоминание накладывается на другое, как одно жало на другое. Этот груз не сбросить по частям. Как ни пытайся, все останется как прежде, в одиночку от этого груза уже не освободиться.

Главное здесь — в одиночку. Ибо есть способ освобождения от любых, даже самых чудовищных жал — это освобождение в массе. О *массе обращения* говорилось уже неоднократно. Но прояснить ее сущность было невозможно, пока мы не разобрали природу приказа.

Масса обращения формируется из многих индивидуумов для их совместного освобождения от жал, когда нет надежды справиться в одиночку. Множество людей спланивается против группы тех, кого они считают источником приказов, отягчающих их жизнь. Если это солдаты, то любой офицер становится на место того, кто действительно отдавал им приказания. Если это рабочие, то любой предприниматель замещает того, на кого они на самом деле работали. Классы и касты в этот миг действительно существу-

ют, они функционируют так, будто в самом деле состоят из равных. Поднявшиеся низшие классы сливаются в одну всеохватную массу, высшие, оказавшиеся под угрозой, окруженные превосходящим числом врагов, образуют ряд испуганных, готовых к бегству стай.

Тот, кто входит в массу, теперь видит перед собой в один миг сразу множество источников-целей, способных воспринять любое, самое сложное и уродливое жало. Подвергшиеся нападению стоят перед ним поодиночке или тесно прижавшись друг к другу и, кажется, отлично понимают, почему им так страшно. Может быть, не от них исходил тот или иной конкретный приказ, но отвечать будут они, и по всей строгости. Обращение, которое направляется здесь на многих сразу, способно разрешить от самого страшного жала.

Крайний случай такого рода, когда целью становится фигура высшей власти, например король, ясно демонстрирует природу массового видения. Король — последний источник *всех* приказов, чиновники и вельможи вокруг него — их передатчики и проводники. Долгие годы одиночек, из которых состоит восставшая масса, угрозами и запретами держали в отдалении и в послушании. Теперь, как бы хлынув вспять, они уничтожают дистанцию: врываются в запретный для них раньше дворец. Все, что раньше было недоступно, — комнаты, мебель, придворные — теперь вот оно, рядом. Бегство, в которое раньше их бросал королевский приказ, теперь обращается в интимное сближение. Если они из страха ограничатся этим сближением, на том дело и завершается, но ненадолго. Общий процесс освобождения от жал, раз начавшись, развивается неумолимо. Вспомнить только, как много усилий прилагалось, чтобы держать людей в послушании, и сколько жал скопилось в них за долгие годы!

Для подданных настоящей угрозой, неотвратимо висевшей над их головами, была угроза смерти. Время от времени проводимые казни служили ее обновлению и демонстрировали ее полную серьезность. Теперь она единственно возможным образом повернулась против собственного ис-

тока: король, который приказывал рубить головы, сам обезглавлен. Теперь высшее, самое всеохватное жало, как бы содержащее в себе все прочие, выдернуто из тех, кто обречен был носить его в себе вместе с другими.

Далеко не всегда смысл обращения проявляется так ясно, далеко не всегда оно с такой полнотой добирается до собственной кульминации. Если восстание терпит поражение и участникам так и не удастся действительно избавиться от собственных жал, они все равно сохранят память о времени, когда были массой. Тогда они по крайней мере не чувствовали своих жал, о чем будут долго вспоминать с ностальгическим чувством.

ПРИКАЗ И КАЗНЬ. УДОВЛЕТВОРЕННЫЙ ПАЛАЧ

Один случай в этом исследовании выпущен намеренно. Приказ объяснен как угроза смерти, сказано, что он происходит от приказа к бегству. Одомашненный приказ, как мы видели, соединяет угрозу с вознаграждением: корм подкрепляет эффект угрозы, ничего не меняя в ее характере. Угроза никогда не забывается. Она постоянно сохраняется в своем первоначальном виде, пока не удастся избавиться от нее, переложив на другого.

Но приказ может также быть поручением убить и в этом случае ведет к казни. Здесь угроза реализуется на самом деле. Но действие распределяется между двоими участниками: один получает приказ, другой оказывается казненным.

Палач, так же как и любой другой, кто получает приказ, стоит под угрозой смерти. Но он освобождается от этой угрозы, убивая сам. Он сразу же передает дальше то, что могло бы случиться с ним, предупреждая тем самым санкции, которые могли бы его коснуться. Ему говорят: ты должен

убить, и он убивает. Он не в состоянии противостоять такому приказу — приказ отдан тем, чью превосходящую силу он признает. Это должно произойти очень быстро, обычно происходит сразу. Для образования *жала* нет времени.

Но если бы даже время нашлось, для образования жала нет *основания*. Ибо палач передает дальше ровно то, что воспринимает. Ему нечего бояться, в нем не остается ничего. В этом случае, и только в этом, счет приказа сходится без сучка без задоринки. Его глубочайшая природа и действие, им побужденное, совершенно идентичны. Исполнимость приказа предусмотрена, ничто не может воспрепятствовать исполнению, маловероятно, чтобы жертва сумела избежать наказания. Все эти обстоятельства ясны палачу изначально. Поэтому он принимает приказ спокойно, он ему доверяет. Он знает, что исполнение приказа ничуть на него не действует. Приказ, так сказать, проскальзывает сквозь него, ни за что не зацепившись, не коснувшись его самого. Палач — самый довольный, самый без-жало-стный из людей.

Это невероятная ситуация, которую никто никогда не пытался всерьез понять. Она постижима, только если задуматься о подлинной природе приказа. Приказ держится угрозой смерти, в ней он черпает всю свою силу. Неизбежный переизбыток силы объясняет образование жала. Но приказ, всерьез предполагающий смерть, который ее требует и на самом деле к ней приводит, оставляет в исполнителе меньше всего следов.

Палач — это человек, который убивает под угрозой смерти. Он может убивать только тех, кого должен убить. Если он точно придерживается инструкции, с ним ничего не может случиться. Конечно, исполняя приказы, он не свободен от воздействия угроз, испытанных им в других обстоятельствах. Можно предположить, что, осуществляя казнь, он избавляется от скопившихся в нем жал иного происхождения. Но существенно важную роль играет механизм осуществления главной задачи. Убивая сам, он освобождается от смерти. Для него это вполне чистое и самое нормальное за-

нятие. Мрачных мыслей, которые он будит в других, в себе он не наблюдает. Важно отчетливо себе представлять: официальные убийцы тем удовлетвореннее, чем больше приказов ведут прямо к смерти. Даже тюремному надзирателю труднее жить, чем палачу.

Правда, за удовольствие, которое он получает от своего ремесла, общество платит ему презрением. Но он, собственно, ничего от этого не теряет. Немало для этого не подходя, он тем не менее *переживает* каждую из своих жертв. А отблеск уважения к пережившему падает и на него — хотя он всего лишь орудие — и полностью нейтрализует презрение общества. Он находит себе жену, заводит детей и живет семейной жизнью.

ПРИКАЗ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Известно, что люди, действующие по приказу, способны на самые ужасные поступки. Когда источник приказов засыпан и их заставляют оглянуться на свои дела, они не узнают ни дел, ни самих себя. Они говорят, что этого не делали, и не всегда сознательно лгут. Даже когда предъявлены показания свидетелей, когда сомнений нет, они все равно твердят: этого не может быть, это не я, я не мог это совершить. Они пытаются обнаружить в себе след этих поступков и находят только белый лист. Удивительно, насколько незатронутыми они сумели остаться. Жизнь, которую они ведут потом, — это действительно другая жизнь, ничуть не окрашенная прежними поступками. Они не чувствуют ни вины, ни раскаяния. Эти поступки не стали частью их существа.

Это люди, в остальном вполне отдающие себе отчет в собственных действиях. То, что они делают, исходя из собственных побуждений, оставляет в них следы, которых и следует ожидать. Им было бы стыдно убить незнакомое и беззащитное существо, не причинившее им зла. Они с от-

вращением прогнали бы самую мысль о том, чтобы подвергнуть кого-то пытке. Они не лучше, но и не хуже, чем другие, среди которых они живут. Многие из тех, кто знает их близко в повседневной жизни, готовы поклясться, что обвинения против них несправедливы.

Но потом, когда выступит целый ряд свидетелей, жертв, отлично знающих, о чем они говорят, когда виновных опознают одного за другим и воскресят в памяти каждую деталь их действий, тогда сомневаться нелепо, и возникает неразрешимая загадка.

Для нас это уже не загадка, поскольку стала понятна природа приказа. От каждого приказа, который им пришлось выполнить, в них оставалось жало. Но жало столь же чуждо его носителю, сколь чужд был отданный сверху приказ. Как бы долго жало ни гнездилось в человеке, оно никогда не ассимилируется, оставаясь чужеродным телом. Хотя и может произойти, как показано в другом месте, соединение жал и внутри задетого будет расти новое чудовищное образование, все равно оно будет четко отграничено от своей среды. Жало — это интервент, который никогда не будет удостоен гражданства. Оно живет в своем носителе как чуждая инстанция и освобождает его от всякого чувства вины. Виновный винит не себя, а жало, чуждую инстанцию — настоящего виновника, которого он всюду носит с собой. Чем более чуждым ему был приказ, тем менее вины он чувствует за собой. Приказ продолжает жить в нем как жало, но живет, будучи отделенным от всего остального. Это постоянный свидетель того, что *не он* совершал эти поступки. Сам он видит *себя* жертвой приказа и даже не догадывается о подлинных и настоящих событиях.

Так что правда, что люди, действовавшие по приказу, считают себя полностью невиновными. Если бы они были в состоянии задуматься о своем положении, они бы немало удивились своей былой покорности приказам. Но такое прозрение бесполезно, ибо является слишком поздно, когда все было и быльем поросло. То, что случилось, может случить-

ся снова, защита против новых ситуаций, сходных со старыми как две капли воды, в них не сложилась. Люди отданы на волю приказа, лишь смутно подозревая, насколько он опасен. В крайних, к счастью, редких случаях они вырабатывают в себе фатализм и даже гордятся собой, слепо следуя приказу, будто впадение в слепоту — особая мужская доблесть.

С какой стороны ни поглядеть, приказ в его компактной готовой форме, какую он приобрел сегодня в результате долгой истории, является опаснейшим элементом человеческого общежития. Надо отважиться противопоставить себя приказу, поколебать его господство. Надо искать пути и средства освобождения от него большей части человечества. Нельзя позволять ему больше, чем царапнуть по коже. Пусть его жала станут как репы, которые легко сбросить одним движением.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

ПРЕДЧУВСТВИЕ И ПРЕВРАЩЕНИЕ У БУШМЕНОВ

Способность человека к превращению, давшая ему столько власти над другими существами, недостаточно замечена и понята. Это одна из величайших загадок: каждый обладает этой способностью, каждый ее применяет и считает это совершенно естественным, но лишь немногие отдают себе отчет в том, что именно ей они обязаны лучшей частью своего существа. Определить сущность превращения очень трудно, к нему можно подойти с разных сторон.

В книге о *фольклоре бушменов*, которую я считаю драгоценнейшим документом ранних эпох человечества, до сих пор не исчерпанной сокровищницей, хотя она составлена *Бликом* 100 лет назад и уже 50 лет как напечатана, есть раздел о *предчувствиях бушменов*, из которого можно вывести важные вещи. Речь идет о предчувствиях, которые, как мы увидим, являются *зачаточной формой* превращения. Бушмены издали чувствуют приближение человека, которого не могут еще ни видеть, ни слышать. Они ощущают приближение животного и могут показать у себя на теле знаки, благодаря которым это узнают. Вот несколько примеров.

«Один человек сказал своим детям, что скоро придет дедушка. «Смотрите внимательно, мне кажется, он уже близко, я чувствую место старой раны на его теле». Дети стали высматривать дедушку и заметили вдали человека. «Там кто-то идет», — сказали они отцу. Отец ответил: «Это ваш де-

душка. Я знал, что он придет. Я почувствовал его приближение тем местом, где у него старая рана. Я хотел, чтобы вы сами это увидели, и вот он здесь. Вы не верили моему предчувствию, а оно истинно».

Все происшедшее замечательно просто. Старик, дедушка этих детей, еще далеко. В определенном месте его тела старая рана. Это место хорошо известно его взрослому сыну. Рана из тех, что постоянно дают о себе знать, и старик часто говорит о ней. Мы сказали бы, что она характерна для старика. Думая об отце, сын думает и о его ране. Но это нечто большее, чем просто «думает». Он не только представляет рану на том месте, где она находится, он *чувствует* ее соответствующим местом собственного тела. Почувствовав ее, он почувствовал приближение отца, которого долго не видел. Почувствовал приближение отца, потому что почувствовал рану. Он сказал об этом детям, которые, похоже, не поверили. Они, наверное, еще не научились верить в правильность предчувствий. Он послал их поглядеть, и верно — кто-то идет. Это мог быть только дедушка, это он и оказался. Отец прав: предчувствие в собственном теле не обмануло его.

Жена покинула дом. Ребенка она несла с собой на ремнях за плечами. Муж, оставшийся дома, знает, что она ушла по делам и надолго. Вдруг он ощутил ремни на своих плечах. «У него там появилось такое чувство». Чувство, будто он сам несет своего ребенка. Ощутив ремни, он понял, что жена с ребенком возвращаются.

Так же бушмены способны предчувствовать животных. Это относится к животным, которые для бушмена так же важны, как и сородичи, которые, можно сказать, ему близки, животным, на которых он охотится, которые служат ему пропитанием.

Страус прогуливается под теплым солнышком. Его кусает черное насекомое, по-бушменски «страусиная блоха». Страус задирает ногу и скребет затылок. Бушмен чувствует что-то у себя на шее в месте, соответствующем тому, где чешется страус. Это похоже на постукивание. Оно говорит бушмену, что страус близко.

Важную роль в жизни бушменов играет антилопа-спрингбок. С ней связано множество предчувствий, касающихся разнообразных движений и свойств животного.

«Мы своими ногами чувствуем, как ноги антилоп шуршат в буше». Это ощущение означает приближение антилоп. Это не значит, что бушмен *слышит* шорох. Расстояние слишком велико. Шуршат ноги бушмена, потому что где-то вдали шуршат ноги антилоп. Но это не все: бушмену передается гораздо больше, чем движение ног антилоп. «Мы чувствуем своим лицом черные полосы на лице антилопы». Эти черные полосы, начинаясь с середины лба, спускаются вниз до кончика носа. Бушмену кажется, будто черные полосы — на его лице. «Мы чувствуем в наших глазах черные пятнышки в глазах антилопы».

Один человек почувствовал постукивание в ребрах и сказал детям: «Кажется, идет антилопа, я чувствую черную шерсть. Пойдите на холм и поглядите по сторонам. Я чувствую приход антилоп». У спрингбока черные бока. Постукивание в ребрах напоминает о черной шерсти на боках антилопы.

Другой присутствовавший бушмен с ним согласился, потому что у него тоже было предчувствие, хотя и несколько иного рода: он чувствовал кровь убитой антилопы.

«Я чувствую икрами ног, как по ним течет кровь антилопы. Когда предстоит ее убить, я всегда чувствую кровь. Сажу и ощущаю спиной, где стекает кровь, когда я несущего зверя, а шерсть касается моей спины».

Иногда это звучит так: «Мы чувствуем в своей голове, как будем выламывать рога антилопы». Иногда так: «Они приходят, когда мы лежим в тени хижин. Они думают, что у нас, наверное, дневной сон. Обычно мы ложимся спать днем. Но когда они идут и их ноги движутся, мы не спим. Мы чувствуем что-то в ямках под коленями, куда капает кровь, когда несешь убитое животное».

Из речей бушменов видно, как важны для них эти предчувствия или предвосхищения. Они своим телом предчув-

ствуют наступление определенных событий. Нечто вроде постукивания в их собственной плоти оказывается сообщением. Его буквы, как они утверждают, в их собственном теле. Эти буквы говорят, движутся и побуждают к движению их самих. Ощувив постукивание в собственном теле, бушмен велит другому молчать и сам затихает. Предчувствие говорит истину. Тот, кто глуп, не прислушивается и попадает в беду. Его убивает лев или постигает другое несчастье. Понимающему постукивание скажет, какой дорогой нельзя идти, какой стрелой нельзя стрелять. Оно предупредит о повозке с людьми, едущей в сторону его дома. Если бушмен кого-то ищет, эти знаки подскажут, где искать.

Не наше дело заниматься вопросом, говорят правду или лгут предчувствия бушменов. Может быть, они развили и используют в повседневной жизни способности, которые нами утрачены. Может быть, у них есть основания верить в предчувствия, даже если они иногда обманывают. В любом случае рассказы о том, как появляются в них предчувствия, — это бесценная информация о сущности *превращения*. Нет ничего, что можно было бы поставить рядом. Все, что известно из бесчисленных мифов и сказок, можно отвергнуть, сказав, что это придумано. Здесь же мы узнаем, что происходит с бушменом в его реальной жизни, когда он думает о находящихся вдали страусе или антилопе, что он при этом испытывает, что это вообще такое — думать о существе, которое не есть он сам.

Знаки, по которым узнается приближение животного или человека, — это знаки в собственном теле. Такие предчувствия, как уже было сказано, представляют собой *зачатки превращений*. Чтобы эти знаки сохранили свою ценность для исследователя превращений, нужно остеречься вносить что-то чуждое в мир бушменов. Их нужно брать в той простоте и конкретности, в какой они выступают в реальной жизни. Мы изыдем эти знаки из контекста приведенных рассказов и выстроим в ряд

1. Сын ощущает рану отца именно той точкой тела, где ощущает ее отец.

2. Муж чувствует лямки, на которых жена несет ребенка, своими собственными плечами.

3. Страус скребет ногой затылок там, где его укусила блоха. Бушмен чувствует то же место собственным затылком.

4. Бушмен чувствует шорох ног антилопы в буше как шорох собственных ног. Черные полосы на лице антилопы он ощущает на собственном лице, а черные пятнышки в глазах антилопы — в своих глазах. Черную шерсть на боках антилопы он чувствует на собственных ребрах.

5. Бушмен чувствует кровь на икрах и на спине. Это кровь антилопы, которую он убьет и понесет на плечах. Он ощущает также шерсть животного. Головой он чувствует, как будут отламываться рога. Ему чудится кровь в ямках под коленями, куда она обычно капает, когда несут убитого зверя.

Все, что входит в последний пункт, касается убитой антилопы. Радость от ее крови определяет характер превращения. Этот случай сложнее, чем четыре предыдущих, поэтому разберемся сначала с ним. Общее в них всех заключается в том, что *одно тело приравнивается к другому*. Тело сына есть тело отца, в результате старая рана обнаруживается в том же самом месте. Тело мужа есть тело жены, лямки, на которых несут ребенка, трут одни и те же плечи. Тело бушмена есть тело страуса: блоха кусает его в том же самом месте, и он чешет там же.

В каждом из этих трех случаев тела отождествляются по какой-то отдельной черте. Это очень разные черты: в случае раны — старая особенность тела, постоянно напоминающая о себе, в случае лямок — длящееся давление, в случае чесания — отдельно взятое движение.

Интереснее всего случай с антилопой. Здесь налицо четыре или пять черт, вместе создающих полное отождествление одного и другого тела. Это движение ног, черная шерсть на боках, черные полосы от лба к носу, черные пятнышки в глазах и, наконец, место на голове, где сидят рога, будто их носит сам человек. К движению — здесь движение ног, а не

чесание — добавляется как бы полная маска. То, что сразу бросается в глаза при взгляде на животное, то есть рога и далее все черное — полосы и пятна в глазах, — складывается в редуцированную до простейших черт маску. Бушмен носит ее как собственную голову и одновременно как голову зверя. Черную шерсть на боках он ощущает так, будто он в шкуре антилопы; это, однако, его собственная кожа.

Тело одного и того же бушмена становится телом его отца, его жены, страуса и антилопы. Способность его быть в разное время то одним, то другим, а потом снова самим собой — факт огромного значения. Последовательность превращений определяется внешними поводами. Это чистые превращения: каждое существо, которое он предчувствует в себе, остается тем, что оно есть. Они не сливаются друг с другом, иначе все не имело бы смысла. Отец с его раной — не жена с ее ремнями. Страус — не антилопа. Собственная самотождественность, от которой бушмен может отказаться, сохраняется в превращении. Он может быть тем или иным, но и то и другое остаются отделенными друг от друга, потому что между ними всегда остается он сам.

Простейшие единичные черты, определяющие превращение, можно назвать его узловыми пунктами. Старая рана отца, наплечный ремень женщины, черные полосы на морде антилопы — вот эти узловые пункты. Это характерные черты существа, которые отличают его от других и которые свойственны ему постоянно. Это признаки, с которыми ожидаешь столкнуться, увидев их носителя.

Однако животное, на которое охотятся, — особый случай, поскольку реально требуются его плоть и кровь. Убив его и неся домой, бушмен особенно счастлив. Труп зверя, то есть добыча, висящая за спиной, важнее, чем его живое тело. Бушмен чувствует кровь, текущую по икрам и задерживающуюся в подколенных ямках, кровь на спине и там же — жесткую шерсть. Это мертвое тело, которое он несет, — не его собственное, да оно и не может быть его собственным, ибо его он будет есть.

Предчувствия бушменов, касающиеся антилоп, проходят, следовательно, несколько стадий. Бушмен ощущает себя, как описано выше, живым зверем, его тело становится телом антилопы, которая движется и смотрит. Он предчувствует также и убитое животное, как другое, чужое тело, прижатое к его собственному, в состоянии, когда оно уже не может от него отделиться, убежать. Обе фазы взаимозаменяемы. Кто-то сначала переживает первую, кто-то — вторую. Вместе они воплощают в себе полноту отношения бушмена к животному, весь процесс охоты — от шороха ног до крови.

ПРЕВРАЩЕНИЕ КАК БЕГСТВО. ИСТЕРИЯ, МАНИЯ И МЕЛАНХОЛИЯ

Превращение как бегство с целью спасения от врага — общеизвестный прием. Он встречается в мифах и сказках, распространенных повсюду на земле. В дальнейшем речь пойдет о четырех примерах, позволяющих выделить различные формы, в которых совершается превращение как бегство.

В качестве двух основных форм я выделяю *линейное* и *круговое* бегство путем превращения. Линейное происходит в привычной форме охоты. Одно существо гонится за другим, расстояние все сокращается, но в миг, когда убегающий должен быть схвачен, он превращается во что-то другое и ускользает от преследователя. Охота продолжается или, лучше сказать, начинается снова. Опасность вновь нарастает. Преследователь становится ближе и ближе, возможно, он даже хватается жертву. Но тут она снова превращается, теперь во что-то третье, и снова спасается в последний момент. Процесс может повторяться бесчисленное количество раз, важно лишь, что происходят все новые превращения. Они каждый раз должны быть неожиданными, чтобы озадачить преследователя. Он ведь, как охотник, нацелен на

определенную, хорошо знакомую дичь. Ему известно, как она выглядит, как убегает, где и как ее лучше всего схватить. Момент превращения вселяет в него смятение. Он вынужден настраиваться на совсем другую охоту. Новая добыча требует новой охоты. Теоретически эта последовательность превращений бесконечна. В сказках она раскручивается долго. Симпатии здесь на стороне гонимых, и часто все кончается поражением или гибелью преследователя.

Простой на первый взгляд случай линейного бегства путем превращения содержится в мифе австралийских *лоритья*. «Вечные и несотворенные» *тукититы*, предки тотема, вышли из земли в человеческом облике и оставались людьми, пока однажды не появилась чудовищная черно-белая собака, которая стала за ними охотиться. Они бросились бежать, но боялись, что бегут недостаточно быстро. Чтобы увеличить скорость, они начали превращаться во всевозможных животных: упоминаются кенгуру, орлы, эму. Нужно заметить, однако, что каждый из них превращался в *одного* определенного зверя и сохранял его облик во все время бегства. Тут появились двое других предков, похожие на первых, но гораздо более храбрые и сильные. Они обратили собаку в бегство, а потом убили. Большинство тукититов приняло свой человеческий образ, потому что опасность миновала и бояться было нечего. Но они сохранили способность по желанию превращаться в животных, чье имя они носили, то есть в животных, которыми они были во время бегства.

Для этих тотемных предков характерно ограниченное превращение, то есть способность превращаться только в один вид животных. В другом месте мы подробнее рассмотрим эту двойную фигуру. Здесь достаточно подчеркнуть, что способность превращения возникла и сформировалась в ходе *бегства*.

Многообразные линейные превращения происходят в грузинской сказке *о мастере и его ученике*. Злой мастер, который был не кто иной, как дьявол, взял в обучение маль-

чика и научил его всякому колдовству. Он не хотел его отпускать и решил превратить в своего прислужника. Мальчик бежал, но был пойман мастером и заперт в темном сарае. Он думал только о свободе, но бежать не удавалось, время шло, и он становился все печальнее и печальнее.

Однажды солнечный луч проник в темноту сарая. Ученик заметил в двери щель, сквозь которую пробился луч, превратился в мышь и выскользнул наружу. Мастер увидел, что мальчик исчез, превратился в кошку и помчался за ним.

Тут развертывается ряд невообразимых превращений. Только кошка раскрыла пасть, чтобы схватить мышь, та превратилась в рыбу и нырнула в поток. Мастер мгновенно сделался сетью, которая вот-вот поймает рыбу. Но тут рыба превратилась в фазана. Мастер, сделавшись соколом, бросился в погоню. Только фазан почувствовал его когти, как краснобоким яблоком упал прямо в колени королю. Мастер превратился в нож, вдруг оказавшийся в руке короля. Король собрался разрезать яблоко, но оно исчезло, а возникла горстка проса, перед которой оказалась курица с цыплятами, то есть мастер. Они стали быстро клевать зерна, но последнее оставшееся обратилось в иголку. Курица вместе с цыплятами делалась ниткой в игольном ушке. Но иголка вспыхнула и нитка сгорела. Мастер был мертв. Иголка превратилась в мальчика, который пошел домой к своим родителям.

Здесь целый ряд парных превращений: мышь и кошка, рыба и сеть, фазан и сокол, яблоко и нож, просо и курица с цыплятами, иголка и нитка. В каждой из пар одна сторона противостоит другой, будь это живые существа или предметы. Одна, представляющая мастера, постоянно преследует другую, которая считается учеником, каждый раз ускользающим в самый последний миг благодаря новому превращению. Это великолепная и, благодаря превращениям, очень динамичная охота. Обстоятельства меняются так же быстро, как действующие лица.

Если обратиться к *круговой* форме, сразу приходит на ум история Протея, рассказанная в «Одиссее». Морской ста-

рец Протей, пастух тюленьих стад, вслед за своими подопечными раз в день появлялся на суше и, пересчитав их, ложился спать. Корабль Менелая, возвращавшегося из Трои, встречным ветром был прибит к берегам, где жил Протей, и никак не мог снова выйти в море. Проходили годы, Менелай впал в отчаяние. Но дочь Протея сжалилась над ним и поведала, что нужно предпринять, чтобы схватить ее отца, обладающего способностью предсказания, и заставить его говорить. Она выкопала на берегу ямы, куда спрятались Менелай и двое его спутников, и накрыла их тюленьими шкурами. Там, несмотря на вонь, они терпеливо ждали, пока наконец на берег не выбрались тюлени, не проявившие никакого беспокойства, а затем из моря явился Протей, пересчитал тюленьи стада и уснул. Менелай с помощниками набросились на старца. Тот пытался ускользнуть, превращаясь во все, что только возможно: сперва стал львом с роскошной гривой, потом — змеей, потом — леопардом, потом — могучим кабаном. Менелай с помощниками держали его крепко. Он превратился в воду, потом в дерево с густой листвой; ни одно из превращений не заставило их ослабить хватку. Потом Протей устал, принял свой обычный образ, спросил, что им от него нужно, и рассказывал, и отвечал.

Ясно, почему этот род бегства путем превращения называется круговым. Все происходит в одном месте. Каждое превращение — это попытка, так сказать, прорваться в новом образе в новом направлении. Все напрасно, насильник не ослабляет хватки. Об охоте нет и речи, она уже закончена, добыча в руках, а превращения — это ряд попыток *пленника* бежать. В конце концов он смиряется с судьбой и делает, что от него требуют.

Последней я хочу привести историю Пелея и Тетис, которые получили немалую известность как родители Ахилла. Пелей был смертный, а Тетис — богиня, она не хотела с ним соединиться, считая его недостойным. Он напал на нее спящую в пещере, схватил и не отпускал. Она, как Протей, прибегла к превращениям: становилась огнем и водой, змеей и львицей. Пелей ее не отпустил. Она превратилась в ужас-

ную скользкую каракатицу и обрызгала его чернильной жидкостью. И это не помогло. Она вынуждена была сдаться и после нескольких попыток избавиться от потомства стала матерью Ахилла.

Здесь тот же род превращений, что и в случае Протея, та же ситуация пленения: насильник схватил, держит и не отпускает. Каждое ее превращение — это попытка бежать в новом направлении. Она словно бы носится по кругу, ища в нем слабого места. Но найти не удастся, и в конце концов она вновь оказывается в центре всех превращений в своем собственном облике как — Тетис.

История Тетис не добавляет, собственно, ничего нового к рассказу о Протее. Она здесь приведена из-за ее эротической окраски. Она напоминает вспышки распространенного и хорошо известного болезненного проявления — *истерии*. Сильные приступы этой болезни — не что иное, как ряд попыток превращения с целью бегства. Больная чувствует себя в тисках превосходящей силы, от которой не может избавиться. Эта сила — мужчина, от которого она стремится убежать: мужчина, который ее любил и которому она теперь принадлежит, или мужчина, который только хочет ею овладеть, как Пелей. Это может быть и священник, пленивший ее во имя Бога, может быть дух или сам Бог. В любом случае важно, что жертва ощущает эту силу в непосредственной физической близости, чует на себе ее хватку. Все, что она предпринимает, в особенности каждое превращение рассчитано на то, чтобы добиться хоть некоторой свободы. Удивительно многообразие совершаемых с этой целью превращений, многие из которых демонстрируются лишь в зачатке. Одно из самых частых — превращение в *мертвого*: оно себя хорошо зарекомендовало и практикуется даже животными. Предполагается, что мертвый будет оставлен в покое как не представляющий интереса. Жертва остается лежать, а враг уходит. Это *центральный* из всех превращений: жертва оказывается настолько центром, что становится неподвижным центром. Она пресекает любое свое движение как мертвая, и противник удаляется. Ясно, как полезно было бы

Тетис и Протею притвориться мертвыми, если бы, конечно, противники не знали, что они боги. Тетис не стала бы возлюбленной Ахилла, а Протея не вынудили бы пророчествовать. Но они боги и потому бессмертны. Им пришлось бы здорово притворяться: ведь смерть — это то единственное, в чем им никто бы не поверил.

Круговая форма бегства путем превращения придает истерии ее характерный облик. Она же объясняет многообразие связей между явлениями эротической и религиозной природы, характерное для этой болезни. Насильственное удержание всегда побуждает к бегству, и попытки бегства всегда будут кончаться неудачей, если удерживающий достаточно силен.

Совершенно иной характер имеют припадки *шаманов*. Во время камланий шаман тоже остается на одном месте. Он окружен кольцом зрителей. Что бы ни происходило с его духом, его видимое тело должно оставаться там, где оно есть. Иногда даже шаманы заставляют себя привязывать из опасения, что тело может унести вместе с духом. Так что круговой характер камлания подчеркнут особо — как необходимостью пребывать в посюстороннем центре, откуда исходит все воздействие, так и наличием круга «болельщиков». Превращения стремительно следуют одно за другим, достигая невероятной сложности и интенсивности. Однако — и в этом заключается сущностное различие — в противоположность обычному истерическому припадку они не являются попытками бегства. Благодаря превращениям шаман завлекает *духов-помощников*, которые вынуждены ему подчиниться. Он сам захватывает их, заставляя помогать в его собственных предприятиях. Шаманство имеет *активный* характер, превращения служат здесь увеличению собственной власти, а не бегству от превосходящей силы. Пока вроде бы бездыханное тело лежит там, где его покинул дух, сам дух шамана исследует самые дальние области небес, а также и подземный мир. Он взлетает как угодно высоко, при этом хлопая крыльями как птица. Он ныряет и погружается как угодно глубоко, до самого морского дна, где проникает

в дом богини, которой должен предъявить важное требование или просьбу. Но он всегда возвращается в центр, вокруг которого толпятся соплеменники, в страхе ожидая вестей из других миров. Бывает, что во время странствий он ударяется в бегство или спасается путем превращения, но в общем и целом планирует и распоряжается он сам, сходство с Протеем и Тетис состоит лишь в круговой природе его многочисленных превращений.

Теперь имеет смысл вернуться назад к линейной форме, с которой мы познакомились на примере грузинской сказки об учителе и ученике. Вспомним, мастер превратился в кошку, чтобы поймать ученика, ускользнувшего в виде мыши. Затем он становился сетью, соколом, ножом и насадкой с цыплятами. Каждое новое превращение определялось потребностью нового вида охоты. Если иметь в виду мастера, то речь идет о серии агрессивных превращений, о смене не только вида, но и пространств охоты. Скачкообразность и масштабность событий, соединяясь с коренным агрессивным намерением, демонстрируют глубинное родство с протеканием другой душевной болезни — *мании*. Маниакальные превращения происходят с необычайной легкостью. В них — погоня и прикосновение охотника, и тут же скачкообразные изменения цели, если ему не удалось достичь желаемого, а охота продолжается. В них — бесшабашное веселье погони, которая, куда бы ни завела, все же ни на йоту не уклонится от цели. Ученик в сказке — это постоянно меняющаяся добыча, которая, становясь чем угодно, остается все же тем, что она есть, то есть добычей. Мания — это пароксизм овладения добычей. Здесь значимо только одно: обнаружить, догнать, схватить. Само поглощение не играет особой роли. Охота становится в полном смысле охотой, как только ученику удалось ускользнуть из темного сарая. Она бы закончилась, и в этом смысле маниакальный приступ миновал, как только мастер смог бы водворить ученика обратно.

Именно в сарае мы находим ученика в начале сказки. «Он думал, как выйти на свободу, но ничто не приходило ему в голову. Время шло и шло, и он становился все печаль-

нее». Здесь мы сталкиваемся с началом состояния, противоположного мании, а именно *меланхолией*. Поскольку здесь много говорилось о мании, есть смысл кратко охарактеризовать и меланхолию. Она возникает, когда возможности бегства через превращения исчерпаны и все оказывается напрасным. В меланхолии человек чувствует себя уже загнанным и схваченным. Ускользнуть невозможно: превращения кончились, нечего даже пытаться. Человек прошел по нисходящей: он был добычей, служил пищей и превратился в падаль или экскременты. Процесс прогрессирующего обесценивания собственной персоны путем переноса находит свое выражение в *чувстве вины*. Немецкое слово *Schuld*, то есть *вина*, первоначально означало, что человек находится во власти другого. Чувствует себя кто-то виновным или чувствует добычей — в основе это одно и то же. Меланхолик отказывается от *еды* и объясняет это тем, что не *заслужил*. В действительности же он не ест, потому что полагает, что сам уже съеден. Заставляя его есть, лишь сильнее будят в нем это чувство: его рот как бы направлен против него, ощущение такое, будто перед ним держат зеркало. Он видит в нем рот, занятый едой, и то, что едят, — он сам. Он всегда ел, и вот теперь пришло ужасное и неотвратимое наказание. По сути, речь идет о самом последнем из возможных превращений, которое маячит в конце любого бегства, — о превращении в съеденное — и, чтобы его избежать, каждый из живущих ударяется в бегство, превращаясь кто во что может.

САМОУМНОЖЕНИЕ И САМОПОГЛОЩЕНИЕ. ДВОЯКИЙ ОБРАЗ ТОТЕМА

Из мифов, которые молодой *Штрелов* записал у северных *аранда* Центральной Австралии, два нам особенно интересны. Первый — миф о бандикуте, сумчатой крысе, в переводе гласит:

«В начале все было в полной тьме. Ночь навалилась на землю, как непроходимые дебри. Предок по имени Карора спал в самом низком месте дна озера Илбалинтъя. Только в озере еще не было воды, а была сухая земля. Земля над ним была красной от цветов и покрытой травами, и большой столб раскачивался высоко над ним. Этот столб возник прямо среди пурпурных цветов, росших в озере Илбалинтъя. На его корне покоилась голова самого Кароры. Оттуда столб достиг самого неба, как будто хотел воткнуться в его свод. Это было живое существо с кожей, гладкой как кожа мужчины.

Голова Кароры лежала у корня большого столба, так лежал он с самого начала.

Карора думал, и желания приходили в его голову. Тут вдруг из его пупка и подмышек появились бандикуты. Они прорвали окружающую его корку, выпрыгнули и стали жить.

И тогда начало светать. Со всех сторон люди увидели, как появляется новый свет. Начало подниматься солнце и заливать все своим светом. Тогда предок решил встать, потому что солнце взошло высоко. Он сломал корку, которая его окружала, и открытая дыра, оставшаяся после него, стала озером Илбалинтъя и наполнилась темным сладким соком бутонов жимолости. Предок встал и почувствовал голод, так как волшебные силы потекли из его тела.

Но он еще чувствовал себя в дурмане; медленно вздрогнули его веки, а потом чуть-чуть приоткрылись. Он ощупал все вокруг, пребывая в состоянии дурмана. Вокруг он ощутил массу двигавшихся бандикутов. Теперь он крепко стал на ноги. Он подумал, что голоден. Испытывая голод, он поймал двух молодых бандикутов. Он сварил их немного дальше возле того места, где стояло солнце, в раскаленной солнцем горячей земле. Пальцы солнца дали ему огонь и горячие угли.

Когда он утолил голод, мысли его повернулись к товарищу, который мог бы ему помочь. Но уже приблизился вечер, солнце укрыло свое лицо за занавесью из бус, спрятало за ней свое тело и скрылось с человеческих глаз. Карора погрузился в сон, раскинув руки на обе стороны.

Пока он спал, из его подмышки появилось что-то в виде трубки, в которой слышны голоса духов. Оно приняло человеческий вид и за ночь выросло в юношу: это был его первенец. В эту ночь Карора проснулся, потому что почувствовал тяжесть на своей руке, он увидел рядом своего первенца, голова которого лежала на плече отца.

Светало, и Карора встал. Он издал громкий вибрирующий звук, пробудив этим к жизни своего сына. Тот встал и исполнил церемониальный танец вокруг своего отца, украшенного знаками из крови и перьев. Сын пошатывался, потому что только наполовину проснулся. Отец стал трясти грудью и туловищем. Потом сын возложил на него свои руки, и первая церемония завершилась.

Потом отец послал сына убить еще несколько бандикутов, которые мирно резвились в тени неподалеку. Сын принес их отцу, который сварил их, как раньше, в раскаленной солнцем земле, а приготовленное мясо разделил с сыном. Спустился вечер, и скоро оба уснули. В эту ночь отец родил из своей подмышки еще двух сыновей. Наутро он пробудил их к жизни тем же самым громким вибрирующим звуком, что раньше.

Это повторялось много дней и ночей. Сыновья занимались охотой, а отец приносил каждую ночь все больше детей, в некоторые ночи их было пятьдесят. Но конец не заставил себя ждать. Скоро сыновей стало так много, что они съели всех бандикутов, которые сначала вышли из тела Кароры. Изголодавшись, отец послал сыновей на трехдневную охоту. Они пересекли большую равнину. Долгими часами рыскали они в высокой белой траве, в полутьме почти бесконечного леса. Однако в белой чаще не было бандикутов, и им пришлось возвращаться.

Это был третий день. Сыновья шли назад, голодные, усталые и молчаливые. Внезапно им в уши проник звук, напоминающий звук трубки, через которую слушают голоса духов. Они прислушались и стали искать человека, который

мог издавать этот звук. Они искали, искали и искали. Они тыкали своими палками во все гнезда и любимые места бандикутов. Вдруг выскочило что-то черное и волосатое и бросилось бежать. «Это бежит валлаби — пустынный кенгуру», — воскликнули они, и стали бросать ему вслед палки, и перебили ему ногу. И тут они услышали слова песни, донесшейся от подраненного животного:

Я, Тынтерама, теперь охромел,
Да, охромел, и навечно пристал ко мне пурпур.
Я человек, как вы, а не бандикут.

С этими словами Тынтерама убежал хромя. Удивленные братья пошли дальше. Скоро они увидели отца, идущего навстречу. Он привел их назад к озеру. Они расселись кругами на его берегу, один круг за другим, как волны, расходящиеся от камня, брошенного в воду. Но тут с востока примчался поток сладкого меда из цветков жимолости, захлестнул и смыл их всех в озеро Илбалинтъя.

Старый Карора так в нем и остался. Сынов же поток понес дальше под землей, пока не принес к одному месту в чаще леса. Там они увидели великого Тынтерама, которому они случайно сломали ногу своими палками. Он стал великим вождем. Карора же продолжал свой вечный сон на дне озера Илбалинтъя».

Второй — миф о Лукаре:

«В знаменитой Лукаре во время начала времен лежал на берегу водоема погруженный в глубокий сон старик. Он лежал под кустом, в корнях которого живут личинки червя уичети. Над ним пролетали вечности, но его ничто не беспокоило; он был как человек в бесконечном полусне. Он лежал там с самого начала и не двигался, лежа на своей правой руке. Вечности пролетали над ним в его длежащем сне.

Когда он вздрагивал во сне, на него заползали белые личинки. Они все время находились на его теле. Но старик не двигался и не просыпался. Он лежал, погруженный в себя.

Личинки ползали по всему его телу, как стаи муравьев, старик иногда осторожно смахивал с себя некоторых из них, не пробуждаясь из дремы. Они возвращались назад и снова заползали на него. Они проедали его тело. Он не просыпался. Вечности текли дальше.

И вот однажды ночью, пока старик спал на своей правой руке, что-то выпало из его правой подмышки, похожее на личинку уичети. Оно упало на землю, приняло человеческий облик и стало быстро расти. Когда настало утро, старик открыл глаза и с удивлением увидел своего перворожденного сына».

Дальше в мифе рассказывается, как точно таким же образом было рождено целое множество людей. Их отец не демонстрировал никакой реакции. То, что он открыл глаза, было единственным признаком жизни. Он даже отказывался от пищи, которую предлагали сыновья. Сыновья, наоборот, рьяно копали личинок уичети в корнях близлежащих кустов. Они их поджаривали и ели. Иногда они сами испытывали желание превратиться в личинки. Тогда они произносили волшебную фразу, превращались в личинки и уходили в землю. Потом они показывались на поверхности и вновь принимали человеческий облик.

«Потом пришел незнакомец, такой же человек, как они, из далекой Мборинги. Он увидел толстых личинок братьев Лукары, и ему их захотелось. В обмен он предложил собственные личинки, которые были длинные, тощие и постные. Братья своими копательными палками презрительно отбросили в сторону связку его личинок. Незнакомец был оскорблен. Он схватил связку братьев и бросился бежать, а они не сумели его догнать.

Огорченные, они вернулись к отцу. Он почувствовал потерю связки личинок еще раньше, чем они вернулись. Когда грабитель вырвал у них личинки, он почувствовал острую боль в теле. Он медленно поднялся и неверными шагами пошел за вором. Однако он не получил связку, вор унес ее в далекую Мборингу. Отец лег, и тело его превратилось в

живую чурингу (священный памятный камень). Все сыновья стали чурингами, и связка украденных личинок тоже стала чурингой».

В этих мифах повествуется о двух совершенно разных предках: первый — отец бандикутов, или сумчатых крыс, второй — отец личинок уичети. Оба животных — важные тотемы аранда. Тотемы существовали, и соответствующие обряды справлялись вплоть до дней, когда были записаны эти легенды. Выделю характерные черты, свойственные обоим мифам.

Карора, отец бандикутов, сначала долго пребывает в одиночестве. Он лежит в вечной тьме и спит, окруженный коркой как панцирем, на дне пруда. Он бесчувствен и бездеятелен. Внезапно из его тела возникает множество сумчатых крыс. Они выходят у него из пупка и из подмышек. Встает солнце, и солнечный свет побуждает их прорвать корку и выбраться наружу. Он голоден, но чувствует себя как в дурмане. В этом состоянии он шарит вокруг, и первое, на что натывается, это *живая масса сумчатых крыс, окружающая его со всех сторон*.

В другом мифе лежит под кустом и спит отец личинок, имя которого не приводится. Он спит целую вечность. По его телу ползают белые личинки. Они всюду, как стаи муравьев. Время от времени он нежно смахивает некоторых из них, но не просыпается. Они заползают обратно и съедаются в его тело. В этой кишасей массе он спит дальше.

Оба мифа начинаются сном. В обоих другие создания появляются через ощущение массы. Это самое прямое и непосредственное ощущение массы — ощущение собственной *кожей*. Один ощущает сумчатых крыс, шаря вокруг себя в полубессознательном состоянии. Другой чувствует личинок на коже еще во сне и осторожно смахивает некоторых, не стремясь вовсе от них избавиться. Они возвращаются и съедаются в его тело.

Это ощущение, когда тело покрыто бесчисленными мелкими насекомыми, широко известно. Это не очень-то при-

ятное чувство. Оно часто появляется при галлюцинациях, например, в случае *Delirium tremens* — белой горячки. Если это не насекомые, то мыши или крысы. Зуд или укусы на коже толкуются как работа насекомых или маленьких грызунов. В следующем разделе мы будем говорить об этом подробнее, там будет разъяснено и обосновано выражение «кожное ощущение массы». Но есть, конечно, важное различие между этими случаями. В мифах аранда это приятное чувство. Предок ощущает нечто, появившееся из него самого, а не что-то враждебное, надвигающееся извне.

В первом мифе говорится, что сумчатые крысы появились из пупка и подмышек предка. Сначала они находились внутри его. Этот отец — совсем особенное существо, его можно назвать *матерью* массы. Неисчислимая масса выпрыгивает из его тела, из мест, вроде бы не предназначенных для рождения. Он выглядит как королева термитов, но такая, что откладывает яйца из самых разных частей тела. Во втором мифе говорится, что личинки там уже были. Сначала не упоминается, что личинки появились из тела предка, они — на нем или закапываются в него. Однако в дальнейшем изложении появляются факты, по которым можно догадаться, что первоначально личинки появились из него самого, что сам он, собственно, только из них и состоит.

Ибо рождения, о которых здесь идет речь, необычны не только потому, что рождает отец и рождает сразу огромные массы, но и потому, что роды на этом не останавливаются и на свет начинают появляться существа уже другой природы.

После того как Карора, отец сумчатых крыс, утолил голод, настала ночь, и он уснул. Из его подмышки появилась трубка, через которую слушают голоса духов. Она приняла человеческий облик, и за одну ночь вырос юноша. Карора почувствовал тяжесть на руке. Он проснулся, рядом с ним лежал его перворожденный сын. На следующую ночь из подмышек родились еще два сына. И так продолжалось много ночей. Каждый раз их становилось все больше. В некоторые ночи отец приносил по пятьдесят сыновей. Весь этот

процесс можно назвать *самоумножением* в самом точном смысле этого слова.

Нечто подобное происходит и во втором мифе. Старик все спит на собственной правой руке; ночью из правой подмышки вдруг выпадает нечто, имеющее вид личинки уичети. Оно падает на землю, принимает человеческий облик и быстро растет. Когда наступает утро, старик открывает глаза и с удивлением видит своего перворожденного сына. Этот процесс повторяется, так рождается множество «людей-личинок». Важно уже здесь подчеркнуть, что эти люди по собственному желанию могут превращаться в определенного рода личинок и затем возвращаться назад в человеческое состояние.

В обоих мифах, следовательно, речь идет о самоумножении и в обоих — о *двойном рождении*. От одного предка появляются два разных рода созданий. Отец сумчатых крыс приносит сначала множество сумчатых крыс, а потом множество людей. Рождаются они одним и тем же способом. Они должны считать себя близкими родственниками, ибо произошли от *одного* отца. Они называют себя одним и тем же именем — бандикуты. В качестве имени *тотема* оно означает, что каждый человек, принадлежащий тотему, является младшим братом сумчатых крыс, которые родились сначала.

То же самое относится к предку личинок уичети. Он — отец сначала личинок, а потом людей. Люди — младшие братья личинок. Все вместе они — живое свидетельство плодovitости, свойственной великому предку соответствующего тотема. Штрелов, которому мы очень и очень обязаны записью этих мифов, нашел удачное выражение для обозначения этого качества. «Предок, — пишет он, — представляет собой общую сумму живой субстанции личинок уичети, как животной, так и человеческой, наблюдаемой как целое. Каждая клетка в теле прародителя, если можно так выразиться, — живое животное *или* живое человеческое существо. Если предок — «человек-личинка», то каждая клетка в его теле потенциально является либо отдельной живой

личинкой уичети, либо отдельным живым человеком тотема личинки уичети».

Этот двойной аспект тотема особенно ясно проявляется в том, что человеческие сыновья иногда испытывают желание превратиться в личинку. Тогда они произносят волшебную фразу, превращаются в личинки и уползают под землю к кустам, в корнях которых обыкновенно водятся эти личинки. Они могут вернуться оттуда и, если им захочется, принять облик человека. Отдельные образы не утрачивают определенности, это или личинка, или человек, но они могут превращаться друг в друга. *Ограниченность* именно этим конкретным превращением — ведь теоретически допустимо и огромное множество других! — определяет самую природу тотема. Их прародитель имеет дело лишь с двумя этими родами существ и ни с какими более. Он символизирует их изначальное родство, исключаящее любое другое существо, которое он также мог бы принести на свет. Его сыновья чувствуют желание принимать то один, то другой образ. Благодаря применению волшебной формулы они могут удовлетворять его и *практиковать* это превращение как врожденную способность.

Значение этого двойного образа тотема невозможно преувеличить. В фигуре тотема зафиксировано и передано последующим поколениям само превращение, а именно *вполне определенное* превращение. В важных обрядах, служащих цели приумножения тотема, оно выражается в драматической форме. Это означает, что постоянно воспроизводится превращение, воплощаемое фигурой тотема. Желание личинки стать человеком и человека — личинкой от предков перешло к живым представителям клана тотема, а те считают своим священным долгом предаться этой страсти в своих драматичных обрядах. Для того чтобы ритуал приумножения принес желаемый результат, нужно, чтобы определенное превращение разыгрывалось правильно и постоянно одним и тем же образом. Каждый участник знает, кто перед ним находится, в смысле кто изображается, когда

разыгрываются сцены жизни личинок. Он называет себя личинкой, но он также может ею стать. Называя себя ею, он, так сказать, осуществляет древнее родство. Оно имеет огромную ценность: от него зависит приумножение не только личинок, но и людей клана, ибо одно от другого неотделимо. Жизнь клана во всех отношениях определяется этим родством.

Другим очень важным аспектом легенды является то, что я назвал бы *самопоглощением*. Предок сумчатых крыс и его сыновья питаются сумчатыми крысами, сыновья прародителя личинок питаются личинками. Как будто бы другой пищи просто не существует, или по крайней мере она их не интересует. Процесс принятия пищи предопределен процессом превращения. Направление в обоих случаях одно и то же, оба процесса совпадают. С точки зрения предка, выглядит так, будто он питается самим собой.

Присмотримся к этому внимательнее. После того как Карора произвел на свет бандикутов и начало светить солнце, он разломал корку, встал и ощутил голод. От голода, все еще одурманенный, он стал шарить вокруг себя и как раз в этот момент ощутил живую массу сумчатых крыс. Теперь он уже тверже стоит на ногах. Он решает, что голоден. Он хватает двух молодых сумчатых крыс и варит их немного дальше, там, где стоит солнце, на земле, раскаленной его лучами. Только потом, утолив голод, он обращается к мысли о товарище, который мог бы быть ему в помощь.

Сумчатые крысы, в массе имеющиеся вокруг, произошли из него самого, это части его собственного тела, плоть от его плоти. От голода он воспринимает их как *пищу*. Он хватает двоих, о которых к тому же замечено, что они молодые, — и варит. Как будто бы он съел двоих из своих собственных сыновей.

Ночью он производит на свет своего первого *человеческого* сына. Наутро он вдыхает в него жизнь, издав громкий вибрирующий звук, и ставит его на ноги. Вместе они исполняют обряд, утверждая отношения отца и сына. Сразу

затем отец посылает сына на добычу за сумчатыми крысами. Это его другие, ранее рожденные дети, резвящиеся в тени неподалеку. Сын приносит отцу убитых животных. Тот варит их в земле, как накануне, и делит мясо с сыном. Так что сын ест теперь мясо своих братьев, да, впрочем, и отца. Отец послал его их убить, а потом показал, как готовить мясо. Это первая трапеза сына, такая же, как первая трапеза отца накануне. О какой-нибудь другой пище в легенде нет ни слова.

Ночью Карора рождает еще двух человеческих сыновей. Утром он вдыхает в них жизнь, и теперь уже втроем братья отправляются охотиться на сумчатых крыс. Они приносят добычу, отец варит мясо и делит с ними. Число сыновей растет, каждую ночь на свет являются новые, однажды — сразу пятьдесят. Все они идут охотиться. Но в то время как человеческих сынов становится все больше, сумчатых крыс Карора больше не рождает. Они появились сначала и только один раз. В конце концов все они оказались поглощены, отец и сыновья съели их всех.

Ясно, они голодают. Отец посылает сыновей на охоту в места, расположенные в трех днях пути. Они терпеливо ищут и ищут только и исключительно сумчатых крыс. Все напрасно. На обратном пути они ранят существо, которое приняли за животное. Внезапно они слышат, как оно поет: «Я человек, как вы. Я не бандикут», — и убегает. Братья, которых теперь, должно быть, очень много, возвращаются назад к отцу. Охота завершена.

Отец, следовательно, произвел однажды определенное питание для себя и своих сыновей, а именно сумчатых крыс. Это однократное действие, в легенде оно не повторяется. Потом постепенно на свет появляются человеческие сыновья и вместе с отцом едят эту пищу, пока она не кончилась. Он не учит их охотиться ни на что другое, не дает никаких указаний. Создается впечатление, что он хочет пропитать их только своей собственной плотью — родившимися из него сумчатыми крысами. В том, насколько исключенным

из оборота оказывается все остальное, насколько он отгораживает от всего остального себя и своих сыновей, видится нечто вроде ревности. В легенде вообще не видно никакого другого существа, только под конец — кенгуру со сломанной ногой, такой же человек, как они, впрочем, сам оказавшийся великим предком, к которому они прибываются в самом конце легенды.

Во второй истории, повествующей об отце личинок, связь между потомством и пропитанием почти такая же, хотя и не совсем. Первый сын выпадает из подмышки отца и принимает человеческий образ, едва коснувшись земли. Отец остается неподвижным. Он ничего не требует от сына и ничему его не учит. Затем таким же образом являются другие сыновья, но отец делает лишь одно — открывает глаза и смотрит на своих сыновей. Принимать от них пищу он отказывается. Они же стараются: выкапывают личинки из-под корней близлежащих кустов, жарят и ими питаются. Любопытно здесь, что время от времени они испытывают охоту превратиться в личинок того же рода, что и те, которых они поедают. Когда это происходит, они уползают в корни кустов и живут там как личинки. Они то одно, то другое, то люди, то личинки, но когда они люди, они питаются этими же личинками, и ни о какой другой пище не говорится ни слова.

Здесь мы видим самопоглощение *сыновей*. Предок отказывается есть личинки, которые являются его детьми, его плотью. И тем беззаботнее предаются самопоглощению сыновья. Создается впечатление, что превращение и родство для них совпадают. Как будто их желание стать личинками возрастает от того, что они ими охотно питаются. Они их выкапывают, жарят и поедают, а потом сами становятся личинками. Через какое-то время они выползают на поверхность и снова принимают человеческий облик. Когда теперь они едят личинок, то, получается, едят самих себя.

К этим двум случаям самопоглощения — отца бандикутов и сыновей-личинок — примыкает третий, где все оборачивается чуть-чуть иначе. Этот случай приводится в треть-

ей легенде, которую Штрелов воспроизводит лишь в кратком изложении.

Это история другого предка личинок — предка из Мборинги. Он постоянно ходит на охоту, убивая людей-личинок, которые являются его собственными сыновьями. О них совершенно определенно говорится, что они имеют человеческий облик. Он их жарит и с удовольствием поедает, ему нравится их сладкое мясо. Однажды их мясо внутри его превращается в личинки. Они начинают поедать его внутренности, и в результате он оказывается съеден собственными сыновьями, которых он убил и съел.

В этом случае самопоглощение как бы достигает любопытной кульминации. *Съеденное ест съевшего*. Отец съедает своих сыновей, и эти же самые сыновья едят его, когда он пребывает в процессе переваривания. Здесь двойной и взаимный каннибализм. Самое удивительное состоит в том, что ответ исходит *изнутри*, из внутренностей отца. Для того чтобы это стало возможно, необходимо превращение съеденных сыновей. Он съедает их как людей, они едят его как личинки или черви. Это крайний и в своем роде завершенный случай. Каннибализм и превращение здесь соединяются в тесное единство. Пища до самого конца остается живой и сама охотно ест. Ее превращение в личинки в желудке отца — это своего рода воскрешение. Оно возбуждает аппетит к мясу отца.

Такие превращения, соединяющие человека с животными, которыми он питается, прочны как цепи. Не превращаясь в животных, он никогда не научился бы их есть. В каждом из этих мифов содержится важный элемент опыта: добыча одного определенного вида животных, служащего пищей; его возникновение путем превращения; его потребление и воскрешение останков к новой жизни. Воспоминание о том, как человек добывал себе пищу, а именно путем метаморфоз, еще сохраняется в позднейшем святом причастии. Мясо, которое поедается совместно, — не то, что оно собой представляет внешне, оно замещает другое мясо и *становится* им, когда поглощено.

Важно заметить, что самопоглощение, о котором здесь идет речь, хотя и обыкновенно для легенд аранда, не встречается в их повседневной жизни. В действительности отношение членов клана тотема к животному, именем которого они себя называют, совсем другое, чем в легендах о происхождении. Члены клана как раз не едят свое тотемное животное. Им запрещается убивать его или есть, оно считается как бы их старшим братом. Только во время обрядов, имеющих целью приумножение тотема, когда представляются древние мифы и члены клана выступают в качестве собственных предков, каждый торжественно получает немного мяса тотемного животного. Но им разрешается лишь *чуть-чуть* вкусить от него. Как серьезную пищу его нельзя использовать, а если это животное попадет им в руки, они не имеют права пролить его кровь. Следует передать его тем членам семьи или племени, которые принадлежат *другим* тотемам, им это есть можно.

Так что в более поздние времена, которые следуют за временами мифических предков и которые, с точки зрения живущих аранда, можно считать нынешними, на место самопоглощения пришел другой принцип — принцип *пощады*. Ближайших родственников среди животных не едят, так же как не едят людей. Времена тотемного каннибализма — а именно так можно назвать поедание собственного тотема — миновали. Людям, принадлежащим к другим кланам, член тотема разрешает есть своих родственников среди животных, точно так же, как они должны разрешать есть *своих* родственников. Это даже более чем разрешение. Ибо он еще заботится о приумножении собственных тотемных животных. Ритуалы умножения, пришедшие из древности, всем хорошо известны и исполняются неукоснительно. Звери, на которых слишком много охотятся, уходят или вымирают. Здесь вспоминается эпизод из первой легенды, связанный с исчезновением бандикутов: бесчисленные сыновья Кароры охотились на них так усердно, что невозможно стало найти бандикута даже на расстоянии трех дней пути. В это

голодное время неплохо было бы произвести на свет еще бандикутов. Самопоглощение зашло так далеко, что старшие братья, *первые* сыновья Кароры, оказались полностью съеденными. Возникла необходимость превратить самопоглощение обратно в самоумножение, с которого все начиналось.

Именно такое обращение и демонстрируют нынешние ритуалы приумножения тотемных животных. С ними человек связан так тесно, что увеличение их числа и увеличение его собственной численности разделить невозможно. Важнейшей и постоянно воспроизводимой частью ритуала является изображение предков, которые одновременно были и тем и другим — и человеком и животным. Они по собственному желанию превращались из одного в другое; воспроизвести это превращение можно, только им овладев. Предки выступают как двойные фигуры, о которых шла речь выше. Это превращение представляет собой важнейшую часть обряда. Если он совершается правильно, родство закрепляется и подтверждается и человек заставляет приумножаться животное, которое есть он сам.

МАССА И ПРЕВРАЩЕНИЕ В DELIRIUM TREMENS

Возможность изучить массу, как она является в представлениях отдельных индивидов, дают *галлюцинации алкоголиков*. Разумеется, речь идет о феноменах, возникающих вследствие отравления, но они каждому доступны и до известной границы могут быть вызваны экспериментально. Неоспоримо, что эти явления имеют *универсальный* характер: определенные простейшие характеристики таких галлюцинаций свойственны всем людям независимо от их происхождения и положения. Они достигают максимальной сложности и интенсивности при белой горячке, в латинской классификации — *Delirium tremens*. Наблюдения над этой

болезнью поучительны в двух отношениях. Массовые процессы и процессы превращений в ней своеобразно переплетаются, их здесь труднее разделить, чем во всех других контекстах. Здесь узнаешь о превращении столько же, сколько о массе, и в конце концов остаешься при убеждении, что самое лучшее — наблюдать их в нераздельном или хотя бы, по возможности, неразделенном виде. Чтобы получить представление о природе алкогольных галлюцинаций, приведем их описания из работ Крепелина и Блейлера. Оба автора видят их не совсем одинаково, но то, что у обоих совпадает, будет считаться имеющим больше доказательной силы.

«Среди ложных восприятий, вызываемых делирием, — говорит Крепелин, — преобладают *зрительные*. Видения обычно очень отчетливы, редко туманны и неопределенны, имеют угрожающий, отталкивающий характер. Больные воспринимают их как реальные, реже — как искусственные феномены по типу кинематографа или волшебного фонаря, придуманные с целью их развлечь, или, наоборот, напугать. *Массами* появляются мелкие и крупные предметы, пыль, хлопья, монеты, рюмки, бутылки, палки. Они почти всегда оживленно движутся, иногда двоятся. Наверное, этим непостоянством восприятий можно объяснить частое появление носящихся вокруг животных. Они шмыгают между ног, жужжат в воздухе, обсиживают пищу. Все кишит пауками «с золотыми крыльями», жуками, клопами, змеями, колючими гусеницами, крысами, собаками, хищными животными... Множества людей, вражеские рыцари, иногда даже «на ходулях», набрасываются на больного или проходят мимо него длинными, причудливыми шествиями; страшного вида кикиморы, уродцы, маленькие человечки, чертики, домовые, привидения всовывают головы в дверь, шмыгают под мебелью, карабкаются по лестницам. Реже встречаются свежие смеющиеся девушки или непристойные сцены, рождественские обряды, театральные представления...»

«...Особенные накожные ощущения порождают у больного представление о том, что по нему ползают муравьи,

пауки, жабы... Ему кажется, что его оплетают тонкими нитями, обрызгивают водой, кусают, колют, стреляют. Вокруг в огромных количествах лежат деньги. Он их собирает, ясно ощущая в своих пальцах, а они вдруг разбегаются как ртуть. Все, что он пытается схватить, ускользает, расползается или вдруг вырастает до чудовищных размеров, чтобы опять распасться, растечься, раскатиться...

Маленькие узелки и структурные нарушения в ткани кажутся блохами на простынях, трещины в тарелке — иголками, в стенах открываются потайные двери...

Больной абсолютно не способен к упорядоченному поведению, галлюцинации поглощают его целиком. Он редко воспринимает их созерцательно, чаще они побуждают его к деятельности. Он не может оставаться в постели и рвется в дверь, потому что пришло время его казни и все ждут. Он потешается над причудливыми животными, отшатывается от жужжащих птиц, стряхивает гусениц, давит жуков, растопыренными пальцами ловит блох, собирает лежащие вокруг деньги, пытается разорвать опутывающие его нити, с усилием перепрыгивает через растянутую по земле проволоку».

«Алкогольному делирию, — подводит итог Крепелин, — присущ *массовидный характер ложных восприятий* и их разнообразное живое движение: появление, скольжение, расплывание».

Не менее впечатляет блейлеровское описание белой горячки:

«На переднем плане стоят характерно окрашенные галлюцинации, выражающиеся в *зрении* и *осязании*. Видения *множественны*, подвижны, в основном бесцветны и имеют тенденцию к миниатюризации. Зрительные и осязательные галлюцинации имеют часто характер проволок, нитей, водяных струй и прочих вытянутых в длину вещей. Часто встречаются элементарные видения, например искры или тени. Если налицо слуховые галлюцинации, то это в основном музыка — чаще всего со строгим тактом, — что редко встречается в других психозах. За все время болезни боль-

ные вступают в контакт с сотнями вообразенных и всегда немых персонажей...»

«Маленькие и многочисленные движущиеся вещи в реальности обычно представлены мелкими животными — мышами и насекомыми. Они же — постоянные темы алкогольных галлюцинаций. Нередки, впрочем, и образы других животных: в уменьшенном или натуральном виде являются свиньи, лошади, львы, верблюды, а иногда и вообще несуществующие животные, представляющие собой фантастические комбинации частей и членов разных животных. Очень часто я слышал о том, как на вообразенной доске на стене проходили целые зверинцы уменьшенных до размеров кошки животных, весьма развлекавших пациентов. Даже люди бывают часто уменьшенными — «видеть человечков» значит заболеть белой горячкой, — хотя они могут являться и в натуральную величину.

Галлюцинации различных органов чувств легко соединяются: мышей или насекомых можно не только видеть, но и *коснуться*, когда пациент их *ловит* или когда они ползут у него по коже. Деньги собираются вместе и заботливо прячутся в вообразаемый карман. Больной видит проходящих солдат и слышит маршевую музыку; он видит и слышит, как в него стреляют; он дерется с вообразаемыми противниками, слышит их разговоры, иногда, хотя и редко, даже чувствует их прикосновения».

Когда болезнь затухает, «галлюцинации постепенно сходят на нет, их становится меньше. Иногда они теряют значимость реальных вещей: птица считается уже не живой, а чучелом, сцены — не настоящими, а разыгранными актерами, в конце концов просто представленными оптически, то есть спроецированными на стену через волшебный фонарь; кино для больных белой горячкой существует с незапамятных времен».

Больные вполне ориентируются в том, что касается их собственной персоны: «Они знают, кто они такие, каково их положение в жизни, знают о своей семье и месте жительства».

Эти описания представляют собой результат обобщения многих наблюдавшихся по отдельности случаев. Первый важный пункт, который должен быть в них отмечен, — это связь между *тактильными* и *визуальными* галлюцинациями. Зуд и раздражение на коже воспринимаются так, будто они производятся одновременно множеством мелких созданий. Как объясняется это физиологически, нас не интересует; важно, что сам больной думает о насекомых, например, муравьях, и представляет, как по нему ползают тысячи этих существ. Они как бы покрывают его огромными массами, чувствуя на себе их движение, он начинает видеть их повсюду. Куда ни повернешься, они везде: земля у ног и воздух вокруг полны этих созданий.

Это *кожное чувство массы*, как его можно обозначить, мы знаем не только по делирию. Его испытывал каждый именно в связи с насекомыми или вообще с зудом на коже. Оно даже выступает как традиционный способ наказания за определенные виды преступлений у некоторых африканских народов. Живого человека сажают в муравейник и оставляют, пока он не умрет. Также и в делирии это ощущение может идти дальше простого шекотания или кожного зуда. Если беспокойство не прекращается, распространяется на все большее пространство и проникает все глубже, зуд переходит в *укусы*. Как будто над кожей трудится множество мельчайших зубов, насекомые превращаются в грызунов. Не случайно алкоголики все время говорят о мышах и крысах. Их проворство соединяется в воображении с работой зубов, к этому добавляется их плодовитость, поскольку известно, что они являются на свет сразу большими стаями.

В кокаиновом делирии, где на первый план выступают именно тактильные галлюцинации, они локализируются прямо в коже, откуда пациент их старательно выковыривает. А зрительные иллюзии приобретают «микроскопический» характер. Воспринимаются бесчисленные мельчайшие детали, зверьки, точки, дырочки в стене. Об одном кокаинисте сообщается, что он «видел кошек, мышей и крыс, которые на-

полняли его палату и карабкались по ногам, кусая его при этом, так что он начинал с криком прыгать по комнате. Это был результат спиритизма: они проникали в палату через стены путем гипноза». Кошки в таких случаях оказываются привлечены мышами и крысами, и функция их состоит в том, чтобы заставлять последних двигаться еще быстрее.

Накожное чувство массы — это первое, именно оно является, пожалуй, источником зрительных галлюцинаций. Второй пункт, связанный с первым, — это стремление к *уменьшению*, миниатюризации. Больной не только замечает и чувствует все, что действительно мало, не только создает себе мир, где царит все маленькое, — все, что на самом деле крупно, миниатюризируется, чтобы соучаствовать в этом мире. Люди становятся человечками, животные из зоопарка уменьшаются до размеров кошки. Всего становится *много*, и все становится *маленьким*. Сам же делирик сохраняет свою естественную величину, даже в разгаре бреда он точно знает, кто он есть и что собой представляет. Он остается прежним, и только окружение радикально меняется. Оно впадает в необычайно интенсивное движение, в движение масс мельчайших предметов, большинство которых к тому же кажется ему живым. Во всяком случае, жизни вокруг него становится *больше*, и она соотносится с ним как с *великаном*. Это в точности *эффект Лилипутии*, только Гулливер, сохранивший прежние размеры, оказывается перенесенным в гораздо более населенный и наполненный и гораздо более текучий и подвижный мир.

Это изменение пропорций не так удивительно, как может показаться на первый взгляд. Вспомним, из какого множества и каких мелких клеток состоит человеческое тело. Это клетки разного рода, состоящие в беспрестанном взаимодействии друг с другом. Они подвергаются нападению бактерий и других мельчайших существ, которые массами проникают в них и расселяются внутри. Бактерии активны, потому что это живые существа. И нельзя отмахнуться от подозрения, что смутное ощущение именно этих простей-

ших отношений внутри человеческого тела проявляется в галлюцинациях алкоголиков. В период делирия они отрезаны от окружающего мира, замкнуты на самих себя и переполнены причудливыми ощущениями. Из других болезней хорошо известно явление *диссоциации* тела. Постоянная сосредоточенность делирантов на конкретном и малом, при кокаиновом бреде переходящем в «микроскопическое», представляется чем-то вроде диссоциации тела на уровне клеток.

Часто подчеркивается, как мы видели, кинематографичность галлюцинаций. Нужно добавить кое-что о *содержании* этих проекций: это события и отношения его собственного *тела*, выступающие под маской обычных вещей, и среди этих событий и отношений — преимущественно те, что связаны с массивной природой телесных структур. Это, конечно, не более чем догадка. Но нелишне напомнить, что в определенный период жизни такого великана, как человек, все его свойства, вся его наследственная масса неизбежно концентрируются в одной мельчайшей и при этом массивно проявляющейся единичке: в *семенном животном спермы*.

Независимо от того, насколько убедительно это объяснение, налицо характерная ситуация алкогольного бреда как такового, ситуация одного великана, противостоящего тучам атакующих его мельчайших существ, любопытным образом воплощающаяся в истории человечества. Ей свойственно своеобразное беспокойство по поводу *вредоносных насекомых*, от которых страдают все млекопитающие, если уж говорить только о них. Москиты, вши, муравьи, саранча издревле занимали человеческое воображение. Их опасность заключалась именно в их массивности и в том, как внезапно возникали их огромные массы. Они многократно воспроизводились в качестве массовых символов. Возможно, именно они способствовали тому, что человек вообще научился *мыслить* массами, возможно, его первые «тьмы» и «миллионы» были насекомыми.

Представления человека о себе и своей мощи выросли до необычайных размеров, когда он потом столкнулся с *бациллами*. Здесь контраст был несравненно больше: человек увидел себя еще бóльшим, живущим отдельно, отделенным от других людей. Бациллы, наоборот, были гораздо меньше, чем насекомые, невидимы невооруженным глазом и размножались еще скорее, чем насекомые. Большому единичному *человеку* противостояла огромная масса исчезающе *малых существ*. Важность этого представления нельзя недооценивать. Его выработке посвящены главные мифы в духовной истории человечества. Оно стало подлинной моделью динамики *власти*. *Все*, что ему противостоит, человек стал рассматривать как тучу *вредных тварей*. Так он воспринимал животных, от которых ему не было пользы, соответственно с ними и обходясь. *Властитель же, низведший* людей до уровня животных и научившийся господствовать над ними как низшими существами, низводил всех, кто не подпадал под его власть, до уровня насекомых, уничтожая их миллионами.

В качестве третьего важного аспекта алкогольных галлюцинаций следует упомянуть природу происходящих в них превращений. Они всегда разыгрываются вне больного; даже если он воспринимает их как действительность, превращается не он сам. Он предпочитает следить за ними из отдаления. Если они ему не угрожают, не требуют срочного принятия мер, он с удовольствием созерцает их легкость и текучесть. Но они часто достигают такой степени, что он утрачивает остатки и без того ненадежной ориентации: когда все дрожит и качается, у него самого становится неуютно на душе. Имеются два рода превращений, носящих совершенно различный характер. Прежде всего это превращение *масс* в *другие массы*. Муравьи могут превращаться в жуков, жуки — в монеты, которые, будучи собранными, рассыпаются на капли ртути. Об этом процессе, когда одно множество превращается в другое множество, мы еще будем говорить далее.

Другой род превращений — появление чудовищных *комбинированных фигур*. Одно отдельное существо соединяется

с другим, тоже отдельным, и возникает нечто новое, как если бы при фотографировании произошло наложение кадров. В проходящих перед взором больного зверинцах, о которых шла речь, появлялись иногда «несуществующие животные, состоящие из фантастических комбинаций частей разных животных»; уродцы и кикиморы напоминают об «Искушении святого Антония» Грюневальда и о существах, которыми населял свои полотна Иероним Босх.

Чтобы получить полную картину, нужно разобрать несколько случаев *Delirium tremens* по отдельности. Только так можно действительно увидеть, *кто* во *что* превращается, и высказать догадки о том, как и почему это происходит. Кроме того, вся картина протекания болезни, особенно полно представленная во втором случае, поможет глубже проникнуть в природу массовых процессов.

Первый случай — это хозяин постоялого двора, бывший на излечении у Крепелина. Ниже приводится в чуть сокращенном виде пересказ его бреда, длившегося примерно шесть дней.

«Ему казалось, это был *Rapustag*, когда по земле бродит черт. Он ударился головой о мраморную плиту, хотел ее обойти, но внезапно, только он решил повернуть обратно, улица оказалась перегороженной другой мраморной плитой. Обе рухнули на него одновременно. Два отчаянных типа привезли его на тележке к «Быку» и положили в гроб. Церемоний-мейстер сверкающими ножницами пустил ему в рот два луча, так что из него постепенно вытекла жизненная сила. Попросив, он получил бокал красного вина, в следующем бокале ему отказал с саркастической ухмылкой сам дьявол. Далее он весьма благочестиво пожелал окружающим всяческих благ и попрощался; тут к нему положили тела трех его дочерей. В загробном мире он был наказан тем, в чем грешил на земле: все время он чувствовал сильнейшую жажду, но стоило ему потянуться к кружке или бокалу, тот исчезал из рук.

Наутро он вновь лежал на смертном ложе в «Быке», и рядом — дети в образе белых зайцев. Начался *крестный ход*

католиков, в котором он должен был участвовать; участие заключалось в том, что во время пения псалмов он давил в задней комнате «Короны» лежащие на полу в огромном количестве золотые очки, при этом каждый раз слышался выстрел. Участники хода советовались, надо ли разрубить его на куски или просто забить насмерть; хозяйка «Короны» была за первый вариант при условии, что он поживет у нее подольше. Он же хотел уйти, потому что ему не давали пива; тут появился вахмистр, чтобы его освободить, муж хозяйки выстрелил в него из револьвера и был забран в тюрьму.

В другой вечер на празднование в церкви собралась *вся протестантская община*. Центром праздника был студент-корпорант, который вместе с пятьюдесятью своими товарищами устроил перед началом службы что-то вроде *циркового представления* на маленьких лошадаках. Потом больной заметил, что его жена с одним из родственников удалилась в алтарь; спрятавшись за органом с одной из милосердных сестер, он видел, как они оскверняли святыни. Но тут он оказался запертым в церкви; стекольщик пропилил дыру в одном из церковных окон, чтобы можно было по крайней мере влить туда пива. При одевании оказалось, что все рукава и отверстия в одежде заштопаны и зашиты, а карманы распороты; больной оказался сидящим в ванне, окруженный семью рыскающими под водой белыми зайцами, которые его все время обрызгивали и кусали».

Новое окружение, то есть настоящие стены, о которых больной в бреду не знает и на которые в самом деле налетает головой, истолкованы как мраморные плиты. В своем воображаемом мире он охотно оказывается окруженным *многими людьми*, для которых он важный и разыскиваемый субъект. На смертном ложе в «Быке» из него постепенно отсасывают жизненную силу. Это как бы долгая, растянутая во времени казнь, используемая им для того, чтобы собрать вокруг себя зрителей, которых он держит благочестивыми увещаниями. Все желания замещает жажда, в потустороннем мире он наказан муками Тантала. Трое дочерей, тела которых были

рядом, наутро, как и он, воскресли, но в виде белых зайцев. Это говорит о их невинности, но также и об угрызениях совести, которые он испытывает по их поводу.

Крестный ход католиков — это первое настоящее масовое событие. Он вынужден в нем участвовать, но не вливаясь в массу, а оставаясь в задней комнате; там лежат многочисленные золотые очки, замещающие участников процессии. Каждый раз, как он их давит, раздаётся выстрел; может быть, это хлопушки для повышения тонуса участников праздника. Однако ему в его закоренелой злобе представляется, будто он стреляет в католиков. Участники хода, видящие его насквозь, собираются на совет — обсуждают, как его наказать. Это развитие ситуации у гроба. Теперь еще больше людей собралось вокруг, чтобы его судить. Можно предположить, что католики ему не очень по душе, но и к протестантской общине, собравшейся на следующий день для своих торжеств, он демонстрирует не больше уважения, связав ее с цирком. Это яркий пример перехода одной массы в другую. *Община превращается в цирк.* У корпоранта, возможно замещающего пастора, не меньше пятидесяти сотоварищей; лошади, как тому следует быть, уменьшены; может быть, больной *чувствует* удары их подков.

Для позиции, которую занимает в бреду этот больной, характерно, как он наблюдает и видит поступки жены. Интересно его отношение к платью: рукава и отверстия заштопаны и зашиты, карманы распороты; оно приняло чудовищный вид, его «органы» не функционируют. Можно вообразить целые зверинцы таких превращенных предметов одежды, не так далеко отстоящих от животных. Наконец, у семи зайцев в ванне достаточно зубов, чтобы покрыть укусами его кожу.

Второй случай, который я привожу здесь в более связанном виде, почерпнут у *Блейлера*. Больной-шизофреник на 36 страницах описывает свои переживания во время приступа белой горячки. Можно возразить, что такой случай

не типичен для делирия. Мне же, наоборот, кажется, что именно он дает многое для понимания массовых процессов в делирии. Галлюцинации здесь более связны, превращения не так стремительны, все в целом носит характер поэтической фантазии. Даже краткие выдержки, следующие ниже, дают это почувствовать.

«От того, что я увидел, волосы на голове стали дыбом... *Леса, моря и реки*, населенные ужасными человекозвериными существами, которых никогда не видел человеческий глаз, беспрестанно носящимися вокруг, и кругом *мастерские всех ремесел* с работающими в них ужасными существами... Стенами с обеих сторон было лишь море с *тысячами маленьких кораблей*; их пассажирами были *только голые мужчины и женщины*, удовлетворяющие свою похоть в ритме звучащей музыки, причем каждый раз после удовлетворения за спиной пары возникало одно из ужасных существ и протыкало ее длинным копьём, так что море окрашивалось в кроваво-красный цвет, но появлялись *все новые толпы*... Пассажирский поезд, из которого *вышло много людей*. Среди них я услышал голоса моего отца и моей сестры К., пришедших меня освободить. Я отчетливо слышал, как они говорили друг с другом. Потом я снова услышал, как моя сестра шепталась со старой женщиной; я звал ее изо всех сил, чтобы она меня освободила. Она кричала, что она так и хочет, но старуха ее не пускает, убеждая ее, что она навлечет несчастье на весь дом, и в результате у меня ничего не изменилось... В слезах я молился, я ждал смерти. Вокруг стояла мертвая тишина, и *меня толпами окружали призрачные существа*. Потом явилось одно из них и держало часы на некотором отдалении перед моими глазами, что должно было означать, что еще нет трех часов и они не могут говорить...»

Далее происходили переговоры между родственниками пациента, желающими его выкупить сначала за маленькую сумму, затем за более крупную. Другие голоса советовались, как им убить пациента. Затем родственников за-

манили на лестницы и сбросили в замковый ров, откуда доносились их крики и предсмертное хрипенье. Потом появилась жена тюремного надзирателя, которая отрезала кусок за куском его тела от ног и до груди, жарила и ела. Раны она посыпала солью. По шатким лесам пациента подняли на небеса, на одно за другим, вплоть до восьмого, мимо *ангельских хоров*, славящих его имя. Потом из-за какой-то ошибки он был возвращен назад на землю... За столом сидели люди, ели и пили что-то, источающее изысканный аромат, но когда ему протянули бокал, бокал исчез из рук и он испытал ужасную жажду. Потом он должен был часами считать и пересчитывать. Ему протянули бутылочку небесного напитка, но только он хотел ее взять, бутылочка раскололась, содержимое потекло между пальцами, застывая нитями, как клей. Потом произошла *большая битва* между его мучителями и родственниками, которую он сам не видел, но слышал звуки ударов и стоны.

«Леса, моря и реки», которые здесь фигурируют, известны нам как символы массы. Но здесь они как будто бы находятся в состоянии преобразования в символы, а потому еще не отделены от масс, которые ими замещаются. Они заселены «ужасными человекозвериными существами, которых никогда еще не видал человеческий глаз». Возникновение такого количества новых существ путем комбинирования старых — работа превращения. Здесь большой снова не участвует в превращении, но тем активнее изменяется и превращается окружающий его мир. Все эти новые создания являются перед ним большими *массами*. Любопытно, что привычные моря, леса и реки, в которых жизнь возникает и разворачивается естественным образом, вдруг сменяются «мастерскими всех ремесел». *Производство также отождествляется с превращением* — точка зрения, которую горячечные больные разделяют со многими примитивами. Ремесла раздельны, как существа различного происхождения, и создается впечатление, что они существуют, собственно, для того, чтобы быстро производить в свет

массы различных вещей. Речь идет об абстрактном трудовом процессе и его результатах, он осуществляется теми же комбинированными существами.

Потом снова появляются стены, на этот раз как море, но заполненное уже не «человекозвериными существами», а тысячами маленьких кораблей. В них сидят голые мужчины и женщины, именно благодаря нагоде *равные* друг другу, равные также в силу своей зависимости от ритма музыки. Здесь также речь идет о массовидности, на этот раз массовидности *пари спаривания*. Парами они протыкаются копиями, кровь стекает в море, окрашивая его в красный цвет. Но являются новые и новые множества пар.

«Пассажирский поезд, из которого вышло множество людей» требует более подробного объяснения. Под поездом подразумевается множество людей, которые весь долгий отрезок пути движутся в одном и том же направлении, хотя и разделенные стенками купе, но так, что они не могут разделяться по собственному желанию, как это происходит, например, на станциях. Там, куда они прибывают, оказывается достигнутой общая для всех цель, даже если они отправлялись из разных мест. В момент прибытия, уже на подходе к конечной станции, они встают и скапливаются в проходе, стоя у окон. В этот момент замечается легкая форма массового возбуждения: они здесь вместе, соединенные общей целью. Движение, происходящее после высадки, когда они *сами* проделывают последнюю часть общего пути, то есть переход по перрону к вокзалу, знаменует собой угасание этой легкой формы массы.

На наблюдателя высадка из поезда после того, как мимо пронеслись чужие лица, прижатые к дверям и окнам, оказывает совсем другое воздействие, чем на самих пассажиров. Для него важно среди этих чужих лиц обнаружить одно или два знакомых или найти того, кого он должен встретить. Следовательно, для больного, который *наблюдает*, но сам не участвует, «поезд, из которого выходит множество людей» приходит как по заказу. Можно добавить, что все

это представляется на большом вокзале, куда прибывает множество поездов.

«Смерть» почти сразу превращается в «мертвую тишину». Хотя обычно мы понимаем под этим лишь особенно глубокую тишину, для больного «мертвое» выделяется из этого словосочетания; мертвые *толпами* окружают его со всех сторон как призрачные существа.

По пути на небо он минует *ангельские хоры*, поющие ему *славу*. Ничто не отражает лучше природу славы. Мечтающий о славе мечтает именно об этом: о хорах существ, лучше всего людей, бесконечно возглашающих его имя. Это тоже масса мягкой природы. Однажды собравшийся хор остается на том же самом месте и, как бы высоко он ни забирал, он не забирает человека целиком, не забирает у него ничего, кроме имени.

Через весь отчет проходит спор между двумя враждебными группами: с одной стороны, родственники больного, которые хотят его освободить или выкупить, с другой — враги, стремящиеся его убить. Предмет спора — он сам, точнее, его *тело*. Все начинается с переговоров, сумма повышается, он обходится родственникам все дороже. Сторонники его попадают в замковый ров, где стонут и хрипят; о *массах мертвых и умирающих* подробно говорилось при исследовании войны. Посаженного в тюрьму пациента мучили на каннибальский манер, съедая кусок за куском его тело. Спор между мучителями и родственниками привел к большой битве; он слышал ее звуки, в частности, стоны раненых. Этот бред содержит, следовательно, кроме всего прочего, знакомую нам *двойную массу*, разряжающуюся в войне. Конкретные этапы ее развития вплоть до самой битвы в этом делирии сильно напоминают соответствующие этапы военных действий у примитивов.

Можно сказать, что в этой болезни налицо буквально все проявления массы. Их редко можно наблюдать в столь отчетливом и концентрированном виде.

ПОДРАЖАНИЕ И ПРИТВОРСТВО

Слова «подражание» и «превращение» часто неразборчиво и неточно применяют для описания одних и тех процессов. Целесообразно их развести. «Подражание» и «превращение» ни в коем случае не одно и то же, их тщательное различение поможет лучше разобраться с процессами собственно превращения.

Подражание — это нечто *внешнее*, им предполагается, что нечто находится перед глазами и его движения копируются. Если речь идет о звуках, то подражание — не больше чем их точное воспроизведение. О *внутреннем* состоянии того, кто подражает, отсюда нельзя сделать никакого вывода. Обезьяны и попугаи подражают, но при этом, очевидно, совсем не меняются. Им неизвестно, что представляет собой то, чему они подражают, оно не пережито ими изнутри. Они могут перескакивать от одного к другому, но *последовательность*, в которой это происходит, не имеет для них ни малейшего значения. Поверхностность облегчает подражание. Подражают обычно какой-то отдельной черте. Поскольку это, по самой природе явления, черта, бросающаяся в глаза, подражание часто кажется способным охарактеризовать свой предмет, хотя на самом деле этого не происходит.

Человека можно опознать по часто им употребляемым определенным словосочетаниям, поэтому попугай, который ему подражает, может в этом смысле о нем напомнить. Но эти самые словосочетания вовсе не обязательно характерны именно для этого человека. Может быть, это были фразы, произнесенные специально для попугая. Тогда оказывается, что попугай подражает несущественным чертам, и тот, кто не в курсе дела, никогда не узнает по ним человека. Короче говоря, подражание, или имитация, — это самый первоначальный импульс к превращению, не получающий затем развития. Такие импульсы могут следовать быстро

один за другим и относиться к самым разным предметам, что особенно наглядно демонстрируют обезьяны. Именно легкость имитации препятствует ее углублению.

Превращение же по отношению к двухмерности подражания выглядит *телом*. Переходной формой на пути от подражания к превращению, где остановка на полпути делается сознательно, является *притворство*.

Выказывать себя другом, имея враждебные намерения, как это делается во всех позднейших формах власти, — это ранний и важный род превращения. Оно здесь «поверхностно», касается только внешних признаков — шерсти, рогов, голоса, походки. Под ними прячется охотник, сущность которого, так же как и его намерения, ими не затронута и под их воздействием не может измениться. Это предельное разделение внешнего и внутреннего, дальше которого пойти невозможно, полностью воплощается в явлении маски. Охотник свободно владеет собой и своим оружием. Но он господствует и над образом зверя, им изображаемого. Он распоряжается сразу и тем и другим. Он, так сказать, является обоими одновременно и будет оставаться ими, пока не достигнет своей цели. Поток превращений, на которые он способен, остановлен: он занимает сразу две позиции, причем одна находится *внутри* другой и обе четко отграничены друг от друга. Внутреннее хорошо запрятано за внешним. Дружественно-безвредное — *снаружи*, враждебно-смертельное — *внутри*. Смертельное обнаруживает себя только в заключительном акте.

Такая двоякость и есть крайняя форма того, что обычно именуют *притворством*. Само слово в буквальном его смысле (буквальный смысл немецкого *Verstellung*, притворство, — перемена места, или положения) не могло бы быть нагляднее, чем оно есть. Но оно применялось к столь многим гораздо более слабым процессам, что утратило большую часть своей выразительности. Называя *притворством* дружественный образ, в котором скрывается враждебный, я пытаюсь восстановить строгий смысл этого слова.

«У одного мойщика был осел, способный носить необычайно большие грузы. Чтобы его прокормить, мойщик накинул на него тигриную шкуру и, когда спустилась ночь, вывел на поле, принадлежащее другим людям. Осел спокойно поедал чужой урожай, ибо никто не осмеливался прийти и прогнать его, принимая его за тигра. Но однажды появился охотник. Облачившись в серую как пыль накидку и держа наготове лук, он стал подкрадываться к хищнику. Увидев его, осел возбудился от любви, ибо принял его за ослицу. Он закричал и бросился к нему. Охотник узнал осла по голосу и убил его».

Эта индийская сказка об «Осле в тигровой шкуре» содержит в нескольких фразах целый учебник превращения. Никому не удавалось сказать о превращении так много в таком малом объеме. Следует, однако, добавить, что речь здесь идет не об истоках превращения, а об его применениях. Но некоторые из применений не так уж отдалены от истоков.

Начать хотя бы с профессии мойщика: он стирает белье, которое есть вторая *кожа* человека. Это старательный мойщик, который подобрал себе осла, способного нести большой груз. Ведь предполагается, что осел носит белье, которое стирает его хозяин. Среди кож, с которыми приходится иметь дело мойщику, могла оказаться и тигровая шкура, ставшая, собственно, центром этой истории.

Ослу, который так хорошо работает, нужно много пищи. Хозяин одевает его в тигровую шкуру и выпускает на поле, принадлежащее другим людям. Он может здесь наестся от души, все его боятся, принимая за тигра. Безвредное создание скрыто здесь под шкурой опасного зверя. Однако сам он не понимает, что с ним происходит. Страх, который он возбуждает, не понятен ему самому. Он ест в свое удовольствие и без помех. Люди, не смеющие к нему приблизиться, не в силах постичь, чем он там занимается. Они страшатся могучего существа, их страх сродни благоговению. Именно он мешает разглядеть в тигре осла. Они держатся в отдалении, и он, пока он не подает голоса, может насыщаться бес-

препятственно. Но вот появляется охотник, не такой, как обыкновенные люди: он храбр и у него имеется лук, позволяющий справиться с опасным зверем. Он хочет подобраться к нему поближе и переоблачается под существо, которым тигр может заинтересоваться как добычей. На нем серая как пыль накидка, может быть даже, это ослиная шкура; во всяком случае, он хочет, чтобы предполагаемый тигр держал его за осла. Его притворство — это притворство опасного существа, выдающего себя за безвредное. Уже самые древние охотники применяли это средство, чтобы подобраться ближе к добыче.

Соль истории состоит в том, что наевшийся досыта осел почувствовал себя одиноким. Увидев вдали что-то, похожее на осла, он захотел, чтобы это была ослица. Издав рев, он побежал к ней. По голосу охотник его опознал и убил. Вместо того чтобы казаться добычей, которая привлекла бы тигра, охотник, сам того не подозревая, подействовал как ослица. Осел же вместо любви, на которую рассчитывал, нашел свою смерть.

История основана на целой последовательности заблуждений. Притворяясь существом, которым он на самом деле не является, человек старается ввести в заблуждение другие существа. Действие развивается благодаря тому, что притворство вызывает не те последствия, на которые рассчитано. И только человек применяет притворство сознательно. Он сам притворяется другим существом, как охотник, или же он маскирует другое существо, как мойщик — своего осла. Животное здесь оказывается всего лишь пассивной жертвой притворства. Здесь налицо полное отделение человека от животного. Легендарные времена, когда их было не отделить друг от друга, когда люди вели себя как животные, а животные говорили как люди, — эти времена миновали. Человек уже научился — именно благодаря своему мифологическому опыту бывания животным — использовать любое животное для своих человеческих надобностей. Превращения у него стали притворством. Одевая на себя разные маски и кожи, он со-

храняет ясное сознание своих целей, остается самим собой и господином животных. Кого он не может себе подчинить, перед тем *благоговевает*, как перед тигром. Но и к нему некоторые, особенно храбрые, умеют подобраться, используя притворство, и, возможно, охотнику удалось бы, благодаря своей хитрости, убить настоящего тигра.

Удивительно, как в столь короткой истории выразилось так много важных связей и отношений. И не в последнюю очередь важно, что она начинается с мойщика: он имеет дело с платьями — последними, можно сказать, неодушевленными представителями тех шкур, возложение которых в мифах способствовало превращениям. Тигровая шкура, которую он использовал для своего обмана, как бы одушевляет безвредное бельё, с которым ему обычно приходится иметь дело.

Притворство — это ограниченный род превращения, единственный, что доступен властителям вплоть до наших дней. Дальше властитель превращаться *не может*. Он остается самим собой, поскольку осознает свою *враждебную* внутреннюю сущность. Ему доступны лишь те превращения, что не затрагивают его внутреннее ядро, его подлинную сущность. Он может счесть выгодным иногда замаскировать ужас, внушаемый его подлинной сущностью. Для этого он пользуется разными масками. Но они надеваются лишь на время и не могут ни на йоту изменить его внутреннего облика, совпадающего с его природой.

ФИГУРА И МАСКА

Фигура — это конечный продукт превращения. Дальнейшего превращения она уже не допускает. Фигура ограничена и ясна во всех своих чертах. Она не природна, а является человеческим созданием. Это спасение из бесконечного потока превращений. Фигуру не следует путать с тем, что современная наука обозначает понятиями вид или род.

Ближе всего ее сущность можно постичь, размышляя о фигурах богов древних религий. Стоит рассмотреть с этой точки зрения некоторых египетских богов. Богиня Шехмет — женщина с головой львицы, Анубис — мужчина с головой шакала, Тот — мужчина с головой ибиса. У богини Хатор голова коровы. У Гора голова сокола. Эти фигуры в их законченной и неизменной двойственной человеко-животной форме тысячелетиями властвовали в религиозных представлениях египтян. В этой форме они запечатлевались, таковым им возносились молитвы. Удивительно их постоянство. Но задолго до того, как возникли системы божеств такого рода, двойственные человеко-животные создания встречались у многочисленных народов, никак друг с другом не связанных.

Мифические предки австралийцев — это люди и животные одновременно, иногда — люди и растения. Эти фигуры называются тотемами. Есть тотем кенгуру, тотем опоссум, тотем эму. Для них характерно, что это животные и одновременно люди, они ведут себя и как люди и как животные и являются предками обоих.

Как понять эти изначальные фигуры? Что они выражают? Надо не забывать, что это представители мифических первовремен, когда превращение было универсальным даром всех существ и происходило безостановочно. *Текучесть* тогдашнего мира я уже отмечал неоднократно. Человек мог превращаться во что угодно и умел превращать других. Из этого общего потока поднимались отдельные фигуры, представляющие собой фиксированный результат отдельных превращений. Фигура, которую, так сказать, удерживают, которая воплотилась в традицию, определяющую жизнь, которая постоянно изображается и становится предметом рассказов, — это не есть то, что мы сегодня называем видом животных, не кенгуру и не эму, а двойственное существо: кенгуру, проникнутое человеком, человек, по желанию превращающийся в эму.

Процесс превращения оказывается, таким образом, древнейшей фигурой. Из многообразия возможных бесчислен-

ных и бесконечных превращений вычленяется одно и закрепляется в фигуре. Сам процесс превращения, *один* из таких процессов, закрепляется и потому наполняется особой ценностью по сравнению с другими процессами, которые при этом исключаются. Такая двойная фигура, закрепившая и сохранившая в себе превращение человека в кенгуру и кенгуру в человека и оставшаяся навсегда себе тождественной, и есть первая и древнейшая фигура, их источник.

Можно сказать, что это *свободная* фигура. Оба ее аспекта равноценны, один не прячется за другим, один не подчинен другому. Она восходит к первобытным временам, но в богатстве своих смысловых воздействий всегда современна. К ней имеется подход: излагая относящиеся к ней мифы, человек как бы соучаствует в ней.

Для нас важно добиться ясности в отношении этого древнейшего вида фигур. Важно понять, что такая фигура начинается со сложного, а вовсе не с простого, и в противоположность тому, что мы сегодня понимаем под фигурой, выражает *процесс* превращения одновременно с его *результатом*.

Маска отличается от всех остальных конечных состояний превращения своей неподвижностью. На место вечно-го движения мимической игры выступает ее прямая противоположность — неподвижность и застылость. В игре мимики воплощена беспрестанная способность человека к превращениям. Человеческая мимика богаче, чем мимика любого другого существа, человеческая жизнь богаче любой другой в смысле превращений. Если бы удалось внимательно понаблюдать за побуждениями и настроениями, скользящими по человеческому лицу, как много зачатков превращения удалось бы поймать и обособить!

Обычай не везде одинаково оценивает свободную игру лица. В некоторых цивилизациях свобода мимики существенно ограничена. Считается неподобающим *сразу* продемонстрировать радость или боль, их надо замкнуть в себе так, чтобы ничто не отразилось на лице. Никто не имеет права

проникать в другого. Человек должен иметь силу быть самим собой, тождественным самому себе. Одно от другого неотрывно. Ибо именно воздействие одного человека на другого побуждает эти бесчисленные мимолетные превращения. Они выражаются в мимике и жестике; там, где последние предосудительны, превращение затруднено и в конечном счете парализовано.

Уяснив природу застылости таких неестественных, «стоических» натур, легко понять сущность маски вообще: она есть конечное состояние. Постоянный поток неясных, всегда незаконченных превращений, чудесным выражением которых является естественное человеческое лицо, в маске застывает, находит завершение. Когда маска налицо, нет уже ничего, что *начиналось бы*, что было бы еще неоформленным бессознательным импульсом к превращению. Маска *ясна*, она выражает нечто вполне определенное, не больше и не меньше. Маска *застыла* — это определенность, которая не меняется.

Правда, под этой маской может находиться другая. Ничто не мешает исполнителю носить под одной маской другую. Двойные маски известны многим народам: человек снимает одну маску, под ней является другая. Но и это всего лишь маска, другое конечное состояние. Переход от одной маски к другой *скачкообразен*. Все возможные посредующие звенья исключены; нет смягчающих переходов, которые можно наблюдать в человеческом *лице*. Новое, другое является внезапно. Оно так же ясно и так же неподвижно, как то, что было раньше. От маски к маске возможно любое изменение, но только путем скачка к другому столь же концентрированному состоянию.

Маска воздействует в основном *вовне*. Она создает *фигуру*. Она неприкосновенна и устанавливает дистанцию между собой и зрителем. Например, в танце она может приблизиться к зрителю. Но он сам должен оставаться там, где находится. Застылость форм выливается и в застылость дистанции, в ее неизменности — *чары* маски.

Ибо сразу за маской начинается тайна. В полноценных, логически завершенных ситуациях, о которых мы здесь и говорим, то есть когда маска воспринимается всерьез, человеку не положено знать, что за ней находится. Она выражает многое, но еще больше скрывает. Она кладет собой *разделительную черту*: пряча опасность, природу которой человек не должен знать и с которой нельзя свести знакомство, она приближается к нему вплотную, но даже в этой близости остается совершенно чуждой. Она угрожает сгущающейся за нею тайной. Поскольку в ее чертах ничего не прочитывается, как прочитывалось бы в человеческом лице, человек гадает и пугается скрытой за нею неизвестности.

При этом в визуальной сфере происходит то, с чем каждый знаком по сфере акустической. Предположим, человек прибывает в страну с незнакомым языком. Люди вокруг пытаются с ним заговорить. Чем меньше он понимает, тем больше старается угадать. При этом многое из того, что он слышит, звучит для него враждебно и недоброжелательно. Но он просто не может поверить, испытывая облегчение и даже немножко разочарование, когда слышит все это в переводе на знакомый ему язык. Как все это безвредно и безопасно! Каждый совершенно незнакомый язык представляет собой *акустическую маску*, став понятным, он превращается в узнаваемое, а вскоре и в хорошо знакомое *лицо*.

Маска, следовательно, — это то, что не превращается, что пребывает неизменным и длящимся в изменчивой игре превращений. Она воздействует, по сути дела, тем, что скрывает прячущееся за нею. Маска полноценна, когда перед нами только она, а то, что за нею, совершенно непознаваемо. Чем определеннее она сама, тем непостижимее то, что за нею. Никто не знает, что из-за нее вдруг может вырваться. Это напряжение между определенностью маски и тайной за нею может достигать страшной силы. В этом причина ее угрожающего воздействия. «Я именно то, что ты видишь», — как бы говорит маска. — «А то, чего ты боишься, — оно за мною». Она очаровывает и одновременно заставляет сохра-

нять дистанцию. Никто не смеет к ней притронуться. Если ее сорвал кто-то, не имеющий на это права, ему полагается смертная казнь. Во время своей активности она священна, неприкосновенна и неуязвима. *Известное* в маске, ее ясность заряжены неизвестностью. Ее власть в том и заключается, что, хорошо ее зная, не знаешь, что таится за нею. Ее знаешь только снаружи или, так сказать, *спереди*.

Если в определенных церемониях маска ведет себя именно так, как от нее ожидается, как к этому привыкли, она даже может действовать умиротворяюще. Ибо она оказывается *между* зрителем и спрятанной за нею опасностью. Так что, если с ней обращаться правильно, она поможет избежать опасностей. Она может собирать опасное и хранить его в себе. Она будет выплескивать его лишь в той мере, в какой это соответствует ее образу. Установив с нею контакт, можно выработать способ поведения по отношению к ней. Она представляет собой *фигуру* с характерными формами поведения. Если их изучить и понять, если знать и соблюдать дистанцию, она сама предохранит от опасностей, в ней заключенных.

О воздействии маски, ставшей фигурой, можно говорить очень много; с нее начинается, в ней продолжается и завершается *драма*. Однако речь здесь идет только о самой маске. Нужно также знать, что она представляет собой *с другой стороны*, ибо она влияет не только *вовне*, на тех, кто не знает, что в ней таится: ее носят скрывающиеся за ней люди.

Эти люди отлично знают, что они собой представляют. Но их задача заключается в том, чтобы играть маску, оставаясь при этом в некоторых границах, а именно в тех, что предписаны маской.

Маска надета, она есть внешнее. Как материальный предмет она четко отграничена от того, кто ее носит. Он воспринимает ее как нечто чуждое и никогда не примет за часть собственного тела. Она ему мешает, давит. Разыгрывая маску, он все время раздвоен, он — это и он сам, и она. Чем чаще он ее носит, чем лучше ее знает, тем больше, пока он

играет, переливается от него в фигуру маски. Но, несмотря ни на что, оставшаяся часть его личности отделена от маски; это часть, которая боится *разоблачения*, которая знает, что внушает страх, не будучи сама по себе страшной. Страх, который он внушает находящимся снаружи, должен воздействовать и на него, находящегося внутри, но, как можно догадываться, воздействовать иначе. Они боятся того, чего не знают, он боится, что маска будет сорвана. Именно этот страх не позволяет ему слиться с маской целиком. Его превращение может заходить очень далеко, но никогда не будет полным. Маска, которую иначе можно было бы сбросить, — это беспокоящая граница превращения. Он должен следить, чтобы она не потерялась. Ей нельзя упасть, нельзя открыться, каждый раз он полон забот о ее судьбе, так что маска остается вне его превращения как орудие или инструмент, которым он должен владеть. Как нормальный, обыкновенный человек он оперирует ею, как исполнитель он в то же время превращается в нее. Он, следовательно, двойствен и должен оставаться таковым все время, пока длится представление.

ОБРАТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Правитель, которому ясны его собственные враждебные намерения, не может своим притворством обмануть всех. Есть люди, которые обладают такой же властью, как и он, таковы же, каков он сам, не признают его и считают конкурентом. По отношению к ним он всегда держит ухо востро — они опасны. Он ждет удобного случая, чтобы «сорвать с них маску». Тогда сразу обнаружатся их подлинные намерения, хорошо ему знакомые по себе самому. Когда маска сорвана, они сразу становятся безвредными. На первый раз он может, если, конечно, это отвечает его целям, оставить их в живых. Но он проследит, чтобы больше не было никакого

притворства, и будет держать их всегда на виду в их подлинном обличье.

Для него невыносимы превращения, совершаемые не им. Он может возносить нужных людей на высокие посты. Но эти социальные превращения будут точно определенными, ограниченными и полностью под его контролем. Возвышение или, наоборот, понижение *осуществляет он*, никто не может предпринять его по собственному почину.

Властитель ведет нескончаемую борьбу против спонтанных и неконтролируемых превращений. Срывание масок — средство, используемое в этой борьбе, — полярно противоположно превращению, и его можно считать *обратным превращением*. Процесс этот уже знаком читателю. Менелай осуществил его в отношении морского старца Протея, не испугавшись образов, которые тот принимал, схватив и держа его, пока тот не вернулся к своему настоящему обличью.

Главная характеристика обратного превращения состоит в том, что результат его всегда заранее известен. Оно начинается с ужасающей уверенностью, с презрением ко всем возможным превращениям противника как лживым и жалким уловкам. Обратные превращения могут производиться однократно, как это было с Менелаем, возобладавшем над мудростью Протея. Но они могут производиться часто и в конце концов превратиться в страсть.

Учащение обратных превращений ведет к обеднению мира. Богатство его форм ничего не значит, наоборот, всякое многообразие подозрительно. Все листья одинаково сухи и пыльны, все лучи меркнут во тьме враждебности.

В душевной болезни, которая состоит в столь тесном родстве с властью, что их можно назвать близнецами, обратное превращение представляет собой род *тирании*. Для *паранойи* характерны два признака. Один из них психиатры именуют диссимуляцией. Это не что иное, как притворство, и как раз в том смысле, в каком это слово здесь употребляется. Параноики могут притворяться так хорошо, что

о многих из них просто невозможно догадаться, как далеко зашла их паранойя. Другой признак — это постоянное разоблачение врагов. Враги повсюду, они притворяются друзьями или совершенно безвредными существами, но параноик, обладающий даром пронизательности, знает, что скрывается у них внутри. Он срывает с них маски, и оказывается, что вокруг все время один и тот же враг. Параноик, как никто другой, предается обратным превращениям, доказывая тем самым, что он есть *закостеневший властитель*. Место, которое он, по его собственному мнению, занимает, значимость, которой он наделяет себя, — все это в глазах других, разумеется, чистая фикция; он же, несмотря ни на что, будет их отстаивать, беспрерывно прибегая к помощи двоякого орудия — притворства и разоблачения.

Более точно и конкретно описать обратное превращение можно только в связи с конкретными индивидуальными случаями паранойи. Это будет сделано в последней главе, посвященной случаю Шребера.

ЗАПРЕТЫ НА ПРЕВРАЩЕНИЕ

Запрет на превращение — это социальное и религиозное явление огромной важности. Вряд ли оно было когда-нибудь серьезно проанализировано, а тем более понято. Рассмотрим его в самом первом приближении.

В тотемных церемониях *аранда* имеют право принимать участие только члены клана тотема. Превращение в двойную фигуру предка из мифических времен — это привилегия, доступная лишь избранным. Никто не может воспользоваться превращением, не имея на то права: его берегут, как драгоценнейшее достояние, как берегут слова и мелодии сопровождающих его священных песнопений. Именно точность деталей, составляющих эту двойную фигуру, ее

определенность и ограниченность облегчают дело охраны. Запрет на приобщение к ней всеми строго соблюдается, для приобщения требуется полная религиозная санкция. Только после долгих и трудных инициаций молодой человек входит в группу тех, кому при определенных обстоятельствах дозволено превращение. Женщинам и детям оно безусловно и строго запрещено. Для инициированных из кланов других тотемов запрет иногда снимается в знак особого уважения. Но это особые случаи, после них запрет соблюдается так же строго, как и перед ними.

В христианстве, сколь ни велики различия между ним и верованиями аранда, тоже имеется запретная фигура — *дьявол*. Его опасность возвещается на все лады, в сотнях рассказов-предостережений объясняется, к чему может привести сговор с дьяволом, детально живописуются вечные муки душ в аду. Крайне высока интенсивность этого запрета, особенно там, где люди понуждаются действовать ему вопреки. Хорошо известны истории одержимых, поступками которых управлял сам дьявол или множество дьяволов. Имеется много рассказов таких людей, знаменитейший из которых принадлежит аббатисе Жанне Анжийской из монастыря урсулинок в Лудене и отцу Сюрену, изгонявшему из нее дьявола до тех пор, пока тот не переселился в него самого. Здесь дьявол вселился в людей, специально посвятивших себя Богу. Им гораздо строже, чем простым людям, запрещено сближение с дьяволом, не говоря уж о превращении в него. Но запретное превращение поглотило их целиком. Вряд ли мы ошибемся, если свяжем силу превращения с силой запрета, которому оно подлежит.

Сексуальный аспект запрета на превращение, в плену которого они оказались, яснее всего можно наблюдать в явлении *ведьмовства*. Подлинное прегрешение ведьм состоит в их половой связи с дьяволом. Чем бы они ни занимались в остальное время, их тайное существование венчают оргии с участием дьявола. Именно поэтому они и ведьмы: важнейшей составной частью их превращения является совокупление с дьяволом.

Идея *превращения через совокупление* стара как мир. Поскольку каждое создание обычно отдается существу другого пола того же рода, легко предположить, что отклонение от этого будет воспринято как превращение. Тогда уже древнейшие брачные законы могут рассматриваться как одна из форм запрета на превращение, то есть запрета на любое другое превращение кроме тех, что разрешены и желательны. Эту половую форму превращения следовало бы рассмотреть подробнее. Мне кажется, это может привести к важным выводам.

Пожалуй, важнейшими из всех запретов на превращение являются *социальные*. Любая иерархия возможна только при наличии таких запретов, не позволяющих представителям низшего класса чувствовать себя близкими или равными высшему классу. У примитивных народов эти различия бросаются в глаза даже среди *возрастных классов*. Однажды возникшее разделение подчеркивается все острее. Переход из низшего в высший класс всеми способами затрудняется. Он возможен лишь через посредство особых инициаций, которые при этом воспринимаются как превращение в собственном смысле слова. Часто этот переход рассматривается так, будто человек умирает в низшем классе и вновь пробуждается к жизни в высшем. Между классами, следовательно, пролегает очень серьезная граница — смерть. Превращение предполагает долгий и опасный путь. Оно не дается даром: кандидат должен пройти всевозможные проверки, опасные испытания. Однако все, что он испытал в молодости, позднее, уже принадлежа к высшему классу, он сам преподнесет новичкам как суровый экзаменатор. Идея высшего класса, таким образом, стала идеей чего-то обособленного, целой отдельной жизни самой по себе. С ней связаны священные песни и мифы, иногда свой собственный язык. Представителям низших классов, например женщинам, полностью исключенным из высших классов, остается с ужасом и покорностью созерцать ужасные маски и внимать таинственным песнопениям.

Наиболее жестко разделение классов проводится в *кастовой системе*. Здесь принадлежность к определенной касте начисто исключает любое социальное превращение. Каждый точнейшим образом ограничен как снизу, так и сверху. Даже прикосновение к низшим строжайше запрещено. Брак разрешается только между представителями своей же касты, профессия предписывается заранее. Значит, возможность благодаря специфике труда превратиться в существо другого сословия исключена. Последовательность, с какой реализована эта система, просто поражает, одно лишь ее детальное исследование помогло бы распознать все возможные пути социальных превращений. Поскольку их всех в кастовой системе следует избегать, все они четко описаны и зарегистрированы. Эта абсолютная система запретов позволяет, если подойти с позитивной точки зрения, составить точное представление о том, что должно рассматриваться как превращение из низшего класса в высший. «Опыт о кастах» с точки зрения превращения совершенно необходим, его еще предстоит написать.

Изолированная форма запрета на превращение, то есть запрета, относящегося к одному-единственному лицу, стоящему на вершине общества, обнаруживается в ранних формах королевской власти. Интересно, что два самых ярких типа властителей, известных древности, различаются как раз своим прямо противоположным отношением к превращению.

На одном полюсе стоит *мастер превращений*, который в состоянии принять любой образ, будь это образ животного, духа животного или духа умершего. Это *трикстер*, посредством превращений вбирающий в себя всех других, — любимая фигура мифов североамериканских индейцев. На бесчисленных превращениях и основана его власть. Он поражает внезапными исчезновениями, нападает неожиданно, вроде бы позволяет себя схватить и тут же исчезает. Важнейшее средство исполнения всех его удивительных деяний — все то же превращение.

Подлинной власти мастер превращений достигает в качестве *шамана*. В экстатическом трансе он созывает духов, подчиняет их себе, говорит их языком, становится таким же, как они, на их особый лад раздает им приказы. Путешествуя на небо, он превращается в птицу, морским зверем достигает морского дна. Для него возможно все: в пароксизме все убыстряющейся череды превращений он сотрясается до тех пор, пока не находит то, что лучше всего удовлетворит его целям.

Если сравнить мастера превращений со *священным королем*, который подпадает под сотни ограничений, который должен пребывать в одном и том же месте, при этом оставаясь *неизменным*, к которому нельзя приблизиться, которого даже нельзя увидеть, то становится ясно, что их различия, если свести их к наименьшему общему знаменателю, заключаются не в чем ином, как в противоположном отношении к превращению. У шамана возможности превращений безграничны, и он использует их максимально полно, для короля же они запретны, и превращение парализовано вплоть до полного оцепенения. Король должен оставаться настолько самотождественным, что не может даже постареть. Ему положено быть мужчиной одних и тех же лет, зрелым, сильным и здоровым, и лишь только появлялись первые признаки старости, седина, например, или ослабление мужской силы, его часто убивали.

Статичность этого типа, которому запрещено собственное превращение, хотя от него исходят бесчисленные приказы, ведущие к превращениям других, вошла в сущность власти. Этот образ определяет и современные представления о природе власти. Властитель неизменен и пребывает высоко, в определенном, четко ограниченном и постоянном месте. Он не может спуститься «вниз», случайно с кем-то столкнуться, «потерять себя», но он может вознести любого, назначив его на какой-нибудь пост. Он превращает других, возвышая или унижая. То, что не может случиться с ним, он совершает с другими. Он, неизменный, изменяет других по своему произволу.

Это беглое перечисление некоторых форм запрета на превращения, о которых еще надо будет говорить подробно, вплотную подводит к вопросам о том, чем же так важен этот запрет, почему к нему прибегают вновь и вновь, какая глубокая необходимость побуждает человека налагать его на себя и на других. Ответ нужно искать с большой осторожностью.

Представляется, что именно дар превращения, которым обладает человек, возрастающая текучесть его природы и были тем, что его беспокоило и заставляло стремиться к твердым и неизменным границам. Он ощущал в собственном теле слишком много чуждого себе, вспомним только «постукивания» бушменов, — это чуждое было так сильно, что понуждало его к превращениям даже в тех случаях, когда благодаря ему, этому дару, удавалось утолить голод, достичь состояния сытости и покоя. Настолько все пребывало в движении, что его собственные чувства и формы текли и изменялись; это должно было побудить в нем тягу к твердости и постоянству, чего невозможно было достичь без запрета на превращения.

В этой связи уместно вспомнить каменные поминальники австралийцев. Все деяния и переживания, все блуждания и судьбы предков включены у них в ландшафт и стали памятниками во всей их законченности и неизменности. Нет скалы, которая не обозначала бы кого-нибудь, кто здесь жил и совершал подвиги. К внешним монументальным чертам ландшафта, которые по своей природе неподвижны, добавляются небольшие камни, находящиеся в чьей-то собственности и принесенные к святым местам. Эти камни передаются от одного поколения к другому. Каждый означает что-то определенное, с ним связан смысл или легенда, он есть видимое выражение этого смысла. Пока камень остается самим собой, смысл не меняется. Эта сосредоточенность на постоянстве камня, нечто, отнюдь не чуждое и нам, выражает, мне кажется, то же самое глубинное стремление, ту же самую необходимость, что породила все формы запретов на превращения.

РАБСТВО

Раб — собственность, такая же, как скот, но не как безжизненная вещь. Свобода его движений напоминает о животном, которое может пастись и создавать нечто вроде семьи.

Подлинная характеристика вещи — *непроницаемость*. Ее можно толкнуть, сдвинуть, но она не способна усвоить приказ. Следовательно, юридическое определение раба как вещи и собственности ошибочно. Он — *животное и собственность*. Отдельного раба вернее всего сравнить с собакой. Пойманная собака изъята из стаи и превращена в *индивидуума*. Она подчиняется приказам своего хозяина. Она отказывается от собственных предприятий, если они противоречат полученным приказам, и за это получает от хозяина пищу.

Для собаки, как и для раба, приказ и пища имеют *один* и тот же источник — господина, так что сравнение их статуса со статусом ребенка не так уж неуместно. Что их существенно отличает от ребенка, так это невозможность превращения. Ребенок упражняется во всех превращениях, которые позже могут ему понадобиться. При этом рядом находятся родители, постоянно побуждающие его, доставляя новый и новый реквизит, ко все новым играм. Ребенок растет во многих направлениях, и, когда он овладеет своими превращениями, он будет вознагражден принятием в более высокое состояние. С рабом происходит противоположное. Как хозяин не позволяет собаке охотиться на кого угодно, но ограничивает охоту тем, что полезно для него, так господин одно за другим отбирает у раба разученные им превращения. Раб не должен делать то и не должен другое, но некоторые процедуры он должен совершать вновь и вновь, и чем они монотоннее, тем охотнее господин предписывает их рабу. Разделение труда не угрожает многообразию человеческих превращений, пока человек может заниматься разнообразными делами. Но когда он ограничивается одним-

единственным и при этом должен сделать как можно больше в возможно более короткий срок, то есть должен быть производительным, он становится тем, что, собственно, следует называть рабом.

С самого начала существует два разных типа раба: одиночные, как домашние собаки, привязанные к своему господину, и другие, живущие совместно, как стадо на лугу. Сами эти стада являются, само собой разумеется, древнейшими рабами.

Стремление превратить людей в животных — это сильнейший побудитель распространения рабства. Энергию этого стремления так же трудно переоценить, как и энергию противоположного стремления — превратить животных в людей. Этому последнему обязаны своим существованием величайшие творения духа, такие как метемпсихоз и дарвинизм, а также популярные увеселения, вроде номеров дрессированных животных.

Когда человеку удалось собрать столько рабов, сколько животных в стаде, была положена основа государства и власти; и не подлежит сомнению, что стремление превратить целый народ в рабов или животных пробуждается во влестителе тем сильнее, чем многочисленнее этот народ.

АСПЕКТЫ ВЛАСТИ

О ПОЗИЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА: ЧТО В НИХ ЕСТЬ ОТ ВЛАСТИ

Человек, так любящий стоять прямо, может, не сходя с места, также сидеть, лежать, сидеть на корточках или стоять на коленях. Каждая из этих позиций, а также переход от одной позиции к другой выражает что-то определенное. Власть и ранг имеют свои твердые традиционные позиции. Из того, как люди располагаются по отношению друг к другу, легко сделать вывод о соотношении их статусов. Мы сразу понимаем смысл ситуации, когда один сидит на возвышении, а остальные стоят вокруг него; когда один стоит, а все другие вокруг сидят; когда один вдруг появляется, и все собравшиеся встают; когда один падает перед другим на колени; когда вошедшего не приглашают сесть. Даже такое случайное перечисление показывает, как много существует немых выражений власти. Вглядимся в них и определим точнее их значения.

Каждая новая поза, принимаемая человеком, соотносится с предшествующей, точно объяснить новую можно только в том случае, если знаешь предыдущую. Может быть, стоящий только что вскочил с ложа, может быть, он поднялся с сиденья. В первом случае он, может быть, почувствовал опасность, во втором — кого-то приветствует. Изменения позиции всегда чреваты неожиданностью. Они могут быть привычными, ожидаемыми и точно соответствовать принятым в обществе нормам, но всегда есть воз-

можность внезапного изменения позиции, которое именно поэтому особенно выразительно. Например, во время службы в церкви многие преклоняют колени; это привычно, и даже те, кто принимает такую позу, не придают ей особого значения. Но если на улице перед человеком, который только что сам стоял коленапреклоненным в церкви, падет на колени незнакомец, эффект может быть шокирующим.

Но при всей многозначности поз имеется тенденция к фиксации и монументализации отдельных человеческих положений. Сидящий или стоящий воздействует *сам по себе*, даже независимо от временного или пространственного контекста. В памятниках некоторые из этих позиций кажутся настолько банальными, что на них даже не останавливается взгляд. Но тем важнее и действеннее они в нашей повседневной жизни.

Стояние

Стоящий горд тем, что свободен и не нуждается в опоре. Вплетается ли сюда воспоминание о том, как еще ребенком он впервые встал на ноги, или возникает чувство превосходства над животными, ни одно из которых не стоит на двух ногах свободно и естественно, — в любом случае стоящий чувствует себя *самостоятельным*. Тот, кто *поднялся*, завершил определенное усилие, и теперь он так велик, как это вообще для него возможно. Тот же, кто стоит долго, выражает этим некую идею сопротивления: демонстрирует ли он, что стоит прочно и непоколебимо как дерево, или что он для всех открыт, ему нечего скрывать и некого бояться. Чем спокойнее он стоит, чем меньше вертится и бросает взгляды по сторонам, тем более уверенно выглядит. Он не боится даже нападения сзади, хотя на спине и нет глаз.

Если окружающие пребывают в некотором отдалении, стоящий выглядит еще солиднее. Если он стоит напротив

них на некотором расстоянии, возникает ощущение, будто он представляет их всех. Если он к ним приблизится, кажется, будто он *возвышается* над ними; когда же он смешивается с ними, то в развитие прежней позиции его поднимают и несут на плечах. При этом он утрачивает свою самостоятельность и оказывается как бы сидящим на них всех.

Поскольку стояние может рассматриваться как начало всякого движения — обычно человек стоит перед тем, как пойти или побежать, — стоящий создает впечатление накопленной и нерастроченной энергии. Стояние — *центральная* позиция, из которой можно безо всяких посредующих действий либо занять другую позицию, либо прийти в движение. Обыкновенно стоящего воспринимают как находящегося в напряжении, даже когда в действительности он вовсе не намерен действовать, может быть, он вообще в следующий момент ляжет спать. Стоящего всегда переоценивают.

В странах, где высоко ценится самостоятельность личности, где ее сознательно формируют и подчеркивают, стоят чаще и дольше. Заведения, где едят и пьют стоя, особенно популярны, например, в Англии. Гость может уйти в любое время и без всяких хлопот. Он покинет остальных легко и незаметно. Поэтому он чувствует себя гораздо свободнее, чем если бы он должен был сначала встать из-за стола. Вставание надо рассматривать как объявление своих намерений, что уже ограничивает свободу. Даже в частном общении англичане предпочитают стоять. Они тем самым, еще только придя, уже свидетельствуют, что не намерены задерживаться надолго. Они свободны в движениях и могут без особых церемоний покинуть одного собеседника и обратиться к другому. В этом нет ничего вызывающего, и никто не оскорбляется. *Равенство* в рамках некоторой группы общения — одна из важнейших функций английской жизни — особо подчеркивается тем, что все в равной мере

пользуются преимуществами стояния. Никто здесь не «посажен» над другими, и если кто-то с кем-то хочет поговорить, он это и делает без особых церемоний.

Сидение

При сидении человек использует чужие ноги вместо тех двух, от которых он отказался, чтобы занять эту позицию. Нынешний стул ведет свое происхождение от трона, последний покоился на покоренных людях или животных, обязанных носить властителя. Четыре ножки стула замещают ноги животного — лошади, быка, слона; сидеть на возвышенном стуле — это совсем не то, что сидеть на земле или на корточках. У него совсем другой смысл: сидение на стуле было *отличием*. Сидящий опирался на других — на рабов или подданных. Когда он сидел, *они* должны были стоять. Их усталость вообще не принималась в расчет, пока *он* был в безопасности. Важен был именно он, оберегалась его священная особа, другие в расчет не шли.

Каждый сидящий давит на что-то само по себе беспомощное и неспособное оказать сопротивления. В сидении воплотились свойства *верховой езды*; но при верховой езде создается впечатление, что сидение не самоцель, что всадник куда-то стремится и хочет попасть туда быстрее, чем это было бы возможно другим способом. Когда скачка переходит в сидение на лошади, возникает абстрактное соотношение верхнего и нижнего, словно нет иной цели, чем выразить именно это соотношение. Нижнее как бы неодушевлено и положено навечно. У него вообще нет воли, меньше даже, чем у раба; это рабство в его максимальном выражении. Верхний может действовать свободно, по собственному произволу. Он может прийти, сесть и сидеть сколько хочет. Может уйти, не думая об оставшемся. Налицо явное стремление запечатлеть, зафиксировать эту символику. Люди упрямо держатся за четырехногий стул, новым формам не удается его заменить. Можно даже пред-

положить, что скорее исчезнет верховая езда, чем эта форма стула, так полно выражающая ее смысл.

Достоинство сидения заключается в его *длительности*. Если от стоящего ждешь чего угодно и уважение внушает именно его готовность к действию, живость и подвижность, то от сидящего ждешь, что он будет сидеть и дальше. Совершаемое им давление упрочивает его репутацию, и чем дольше он осуществляет это давление, тем она прочнее. Трудно найти человеческий институт, который не использовал бы это свойство сидения для своего сохранения и упрочения.

Сидение демонстрирует *телесную тяжесть* человека. Чтобы ее выразить, как раз и требуется высокий стул. В сочетании с тонкими ножками сидящий действительно выглядит тяжелым. Сидя прямо на земле, он выглядит иначе; *она* тяжелее и плотнее, чем любое живое существо; давление, на нее оказываемое, не стоит даже брать в расчет. Нет более примитивной формы власти, чем та, которую осуществляет само тело. Она может осуществляться посредством *величины* — для этого тело должно стоять. Но она может действовать и через *тяжесть* — а для этого должно быть видимым давление. Когда человек встает, одно добавляется к другому. Судья, который во время процесса сидит по возможности неподвижно, а потом внезапно встает для произнесения приговора, ярче всего выражает это соотношение.

Вариации сидения в основе своей — всегда вариации давления. Обитые сиденья не просто *мягки*, они внушают сидящему смутное ощущение того, что его тяжесть покоится на *живом*: податливость и упругость обивки напоминают податливость и упругость живой плоти. Многие не любят мягких сидений, что как раз и свидетельствует, что они об этом смутно догадываются. Удивительно наблюдать, как часто люди и группы, которые сами не отличаются мягкостью, испытывают склонность к мягким сиденьям. Это люди, для которых желание господствовать

стало второй натурой, которую они таким образом в символической смягченной форме часто и охотно демонстрируют.

Лежание

Лежание — это разоружение человека. Бесчисленное множество привычек, походов, манер, которые в вертикальном состоянии полностью определяют человека, здесь сняты как платье, будто бы столь важные в других случаях, здесь они ему вовсе не принадлежат. Параллельно этому внешнему процессу идет внутренний процесс засыпания; здесь тоже много всего стянуто и отложено в сторону: определенные защитные ходы и правила мысли — платье духа. Лежащий настолько безоружен, что вообще непонятно, как это человечество умудрилось *пережить* сон. В диком состоянии оно не всегда жило в пещерах, хотя даже пещеры не были безопасны. Убогие загородки из ветвей и листьев, которым многие дикари вверяют ночью свои жизни, — это вообще не защита. Чудо, что люди еще существуют, они должны бы быть истреблены еще в те времена, когда их было мало, когда они еще не могли сплоченной массой бороться за самосохранение. Уже сам факт сна, его незащитности, его периодического возвращения, его длительности демонстрирует бессмысленность всех теорий приспособления, которые стараются всему необъяснимому навязать одно и то же псевдообъяснение.

Но здесь речь идет не о глубокой и трудноразрешимой проблеме — как человечество в целом ухитрилось пережить сон, а о лежании и мере власти, содержащейся в нем по сравнению с другими позициями человека. На одном полюсе, как мы видели, находится стоящий с его величием и самостоятельностью и сидящий, выражающий тяжесть и длительность, на другом полюсе — лежащий; его беспомощность, особенно когда он спит, абсолютна. Но это не активная беспомощность, она не видимость и не выражается в

деятельности. Лежащий больше и больше отделяется от того, что его окружает. Он старается максимально исчезнуть в себе. Его состояние не драматично. Незаметность может обеспечить ему определенную, хотя и незначительную степень безопасности. Он входит в максимально возможное соприкосновение с каким-нибудь другим телом, он вытянут во всю длину, всеми, или по крайней мере многими местами он касается того, что не есть он сам. Стоящий свободен и ни к чему не прислоняется; сидящий осуществляет давление; лежащий ни в чем не свободен, он прислонен ко всему, что есть в наличии, и его давление распределено так, что едва ли даже чувствуется.

Возможность внезапно вскочить, перейдя из самого низкого состояния в самое высокое, разумеется, очень впечатляет. Она демонстрирует, насколько человек жив, насколько он бодр даже во сне, насколько он даже в таком состоянии замечает и слышит все, что нужно, насколько его вообще невозможно застать врасплох. Многие властители уделяли особое внимание этому переходу от лежания к вертикальной позиции, и даже распространяли истории о том, как молниеносен у них этот переход. Разумеется, здесь играет роль желание дальнейшего роста тела, который у нас в определенном возрасте останавливается. По сути, все властители хотят овладеть способностью вырастать, когда им хочется, и применять эту способность, когда им нужно: внезапно вырастать в высоту, ввергая других, кто этого не умеет, в ужас и растерянность, потом, когда никто этого не видит, снова стать меньше, чтобы затем, когда это необходимо, опять вырасти на глазах у всех. Человек, который, проснувшись, вскакивает с постели, который, может быть, мгновение назад лежал, свернувшись, как в материнском лоне, одним этим внезапным движением нагоняет весь свой рост, и, если, к глубочайшему своему сожалению, он не может стать больше, чем он есть, то по крайней мере он становится таким большим, каков он есть на самом деле.

Но кроме тех, кто ложится по собственной воле, есть еще такие, кто вынужден лежать, потому что ранены или просто *не могут* встать, даже если бы хотели.

Вынужденно лежащий, к несчастью, напоминает тем, кто стоит, загнанное и раненое животное. Сваливший его выстрел — как пятно позора, решающий шаг по внезапно круто сорвавшейся вниз дороге к смерти. «Теперь ему конец». Если раньше он был опасен, то и после смерти останется предметом ненависти. На него наступают и, поскольку он не может обороняться, отпихивают в сторону. Ему ставят в счет, что даже мертвый он мешает на дороге, он не должен быть даже телом, он должен стать ничем.

Падение человека глубже, пробуждает больше презрения и отвращения, чем падение животного. Можно сказать, что взгляд стоящего на сраженного выражает две вещи одновременно: естественное и привычное торжество над поверженным животным и болезненное ощущение от вида павшего человека. Здесь речь о том, что чувствует стоящий в первый же момент, а не о том, что он должен почувствовать. Это переживание при определенных обстоятельствах становится еще сильнее. *Множество* павших производит ужасающее впечатление. Это выглядит так, будто он побил их в одиночку. Его чувство власти растет быстро, скачками, которые невозможно удержать; он как бы присваивает себе всю эту массу умерших или убитых. Он становится единственным, кто еще жив, а все остальные — его добычей. Нет торжества более опасного: кто однажды поддался этому чувству, сделает все возможное, чтобы оно повторилось.

Большое значение имеет численное соотношение лежащих и стоящих. Небезразлично также, в каких обстоятельствах человек сталкивается с лежащим. Войны и сражения имеют собственные ритуалы; как массовые процессы они обсуждались отдельно. Описанное переживание может свободно проявляться по отношению к врагу, за убийство врага наказания не полагается. По отношению к нему проявляются чувства, которые кажутся естественными.

В мирной ситуации большого города тот, кто упал и не может встать, оказывает на присутствующих совсем иное воздействие. Здесь каждый в какой-то степени ставит себя на его место и либо с нечистой совестью проходит мимо, либо старается помочь. Если упавшему удалось подняться, то свидетели, видя, как вновь стал на ноги человек, в котором они видят самих себя, испытывают глубокое удовлетворение. Если же поставить его на ноги не удалось, его передают в соответствующее учреждение. Даже у весьма нравственных людей заметно пренебрежение по отношению к тому, с кем пришлось так обойтись. Конечно, ему обеспечили необходимую помощь, но тем самым его исключили из совокупности стоящих на ногах и на какое-то время — из числа полноценных.

Сидение на корточках

Сидение на корточках выражает отсутствие потребностей и уход в себя. Человек максимально «округляется» и ничего не ждет от других. Он отказывается от любого проявления активности, которая могла бы развиваться в двустороннюю, не делает ничего такого, что могло бы вызвать ответную реакцию. Он кажется спокойным и довольным, от него не ждут нападения, он доволен либо потому, что имеет все, что требуется, либо потому, что ему вообще ничего не требуется. Нищий, сидя на корточках, показывает, что удовлетворится всем, что бы ему ни дали, что ему все равно.

Восточная форма сидения на корточках, к которой прибегают богатые люди со своими гостями, выражает нечто от их своеобразного отношения к богатству. Они как будто содержат его целиком в себе и потому спокойны: пока они сидят на корточках, нет ни тени озабоченности или страха, что их ограбят или как-то еще лишат богатства. Когда им прислуживают, словно прислуживают богатству. Но в личном отношении никакой жесткости не замечается; здесь

никто ни на ком не сидит, как это делают все, сидящие на стульях; человек — красиво сформованный и одетый мешок, содержащий все, что положено, слуги приходят и обслуживают мешок.

Но и согласие на все, что может произойти, также выражено в этой форме сидения на корточках. Тот же самый человек сидел бы точно так же, будь он нищим, этим он показывает, что и тогда он был бы тем же самым человеком. Сидение на корточках содержит в себе и то и другое: и богатство, и пустоту. Именно это последнее сделало сидение на корточках основной позицией для медитации, знакомой и привычной для каждого, кто знает Восток. Сидящий на корточках отделен от других людей, никому не в тягость и покоится в себе.

Стояние на коленях

Кроме пассивной формы беспомощности, с которой мы познакомились на примере лежания, есть еще одна, очень активная, прямо апеллирующая к силе и власти и подающая беспомощность так, что через нее прирастает власть. Позу *коленипреклонения* можно истолковать как мольбу о пощаде. Приговоренный к смерти подставляет голову, он смирился с тем, что ее отрубят. Он не сопротивляется, сама его поза облегчает осуществление чужой воли. Но он смыкает руки и молит властителя о помиловании в последний миг. Коленипреклонение — всегда игра в последний миг, даже если в действительности речь идет о чем-то совсем другом, о какой-то услуге, о проявлении внимания. Тот, кто притворно отдает себя в руки смерти, приписывает тому, перед кем он преклоняет колени, величайшую власть — власть над жизнью и смертью. Столь могучему властелину будет совсем не трудно оказать любую иную милость. И эта милость должна быть не меньшей, чем беспомощность преклоняющего колени. Разыгрываемая дистанция

должна быть такой большой, что только величие властителя могло бы ее преодолеть; и если этого не случилось, то сам властитель в следующий миг ощутит себя меньшим, чем в момент, когда перед ним были преклонены колена.

ДИРИЖЕР

Нет более наглядного выражения власти, чем действия дирижера. Выразительна каждая деталь его публичного поведения, всякий его жест бросает свет на природу власти. Кто ничего не знает о власти, мог бы пункт за пунктом вывести все ее черты и свойства из наблюдения за дирижером. Можно объяснить, почему этого до сих пор не случилось: люди думают, что главное — это музыка, которую вызывает дирижер, и что на концерты ходят, чтобы слушать симфонии. Сам дирижер убежден в этом более всех прочих: его деятельность, считает он, это служение музыке, он точно передает музыку — и ничего более.

Дирижер считает себя первым слугой музыки. Он так полон ею, что ему даже в голову не придет мысль о другом, немзыкальном смысле его деятельности. Истолкование, которое следует ниже, удивило бы его больше, чем кого-либо другого.

Дирижер *стоит*. Вертикальное положение человека, как старое воспоминание, все еще сохраняется во многих изображениях власти. Он стоит *в одиночестве*. Вокруг сидит оркестр, за спиной сидят зрители, и он один стоящий во всем зале. Он — *на возвышении*, видимый спереди и сзади. Оркестр впереди и слушатели позади подчиняются его движениям. Собственно приказания отдаются движением руки или руки и палочки. Едва заметным мановением он пробуждает к жизни звук или заставляет его умолкнуть. Он властен над жизнью и смертью звуков. Давно умерший звук воскресает по его приказу. Разнообразие инструментов —

как разнообразие людей. Оркестр — собрание всех их важных типов. Их готовность слушаться помогает дирижеру превратить их в одно целое, которое он затем выставляет на всеобщее обозрение.

Работа, которую он исполняет, чрезвычайно сложна и требует от него постоянной осторожности. Стремительность и самообладание — его главные качества. На нарушителя он обрушивается с быстротой молнии. Закон всегда у него под рукой в виде партитуры. У других она тоже имеется, и они могут контролировать исполнение, но только он один определяет ошибки и вершит суд, не сходя с места. Тот факт, что это происходит публично и предельно открыто, наполняет дирижера самоощущением особого рода. Он привыкает к тому, что всегда *на виду*, и избежать этого невозможно.

Слушатели обязаны сидеть тихо, это так же необходимо дирижеру, как и подчинение оркестра. Слушатели не должны двигаться. До начала концерта в отсутствие дирижера они разговаривают и двигаются совершенно свободно. Присутствие музыкантов этому не мешает: на них просто не обращают внимания. Но вот появляется дирижер. Становится тихо. Он занимает место у пульта, он покашливает, он поднимает палочку — все умолкает и замирает. Пока он дирижирует, никто не двигается с места. Когда он заканчивает, положено аплодировать. Вся энергия движения, пробужденная и возбужденная музыкой, замирает как вода перед плотиной, чтобы прорваться в аплодисментах. В ответ дирижер раскланивается. Он оборачивается назад вновь и вновь, столько раз, сколько этого потребуют аплодисменты. Он им и только им выдан с головой, он целиком на их милости, только для них и живет. На его долю выпал древний триумф победителя. Величие победы выражается в силе овации. Победа и поражение стали формами, в которых организуется наша душевная жизнь. Все, что по ту сторону победы и поражения, не берется в рас-

чет, все, что еще есть в жизни, превращается в победу и поражение.

Во время исполнения дирижер — вождь всех собравшихся в зале. Он впереди и спиной к ним. За ним они следуют, первый шаг — его. Но шаг этот совершает не нога, а занесенная рука. Течение музыки, побуждаемое рукой дирижера, — это замена пути, который должны были бы прошагать ноги. Все время представления масса в зале не видит лица дирижера, неумолимо движущегося вперед без отдыха и остановки. Перед зрителями только его движущаяся спина, будто это и есть цель пути. Обернись он хоть раз, и путь был бы прерван: оказалось бы, что он никуда не ведет, и люди остались бы разочарованно сидеть в неподвижном зале. Но на него можно положиться: он не обернется ни разу. Ибо пока они следуют за ним, перед ним армия профессиональных исполнителей, которых нужно держать в узде. Тут тоже действует рука, но она не задает ритм шага, как для публики в зале, а отдает приказания.

Зорким взглядом он охватывает весь оркестр. Каждый оркестрант чувствует и знает, что он его видит, но еще лучше слышит. Голоса инструментов — это мнения и убеждения, за которыми он ревностно следит. Он *всеведущ*, ибо если перед музыкантами лежат только их партии, то у дирижера в голове или на пульте вся партитура. Он точно знает, что позволено каждому в каждый момент. Он видит и слышит каждого в любой момент, что дает ему свойство *вездесущности*. Он, так сказать, в каждой голове. Он знает, что каждый должен делать и делает. Он, как живое воплощение законов, управляет обеими сторонами морального мира. Мановением руки он разрешает то, что происходит, и запрещает то, что не должно произойти. Его ухо прощупывает воздух в поисках запретного. Он разворачивает перед оркестром весь опус в его одновременности и последовательности, и, поскольку во время исполнения нет иного мира, кроме самого опуса, все это время он остается владыкой мира.

ИЗВЕСТНОСТЬ

Здоровой известности все равно, чьими устами она создается: это безразлично, важно лишь, что *произносится имя*. Равнодушие по отношению к источникам, а точнее их равенство друг с другом с точки зрения жаждущего известности выдает ее специфику как массового процесса. *Его имя собирает массу*. Рядом с человеком и в очень малой связи с тем, что он собой в действительности представляет, имя живет своей собственной алчущей жизнью.

Масса стремящегося к известности состоит из теней, точнее, из существ, которым вовсе не обязательно жить после того, как они совершат единственную вещь: произнесут вполне определенное имя. Желательно, чтобы оно произносилось часто, и так же желательно, чтобы оно произносилось перед многими, то есть в некоем сообществе, с тем чтобы другие его запомнили и подкрепили новыми произнесениями. Но что еще будут делать эти тени, их размеры, облик, труд, пища — все это прославленному совершенно безразлично. Если он беспокоится о произносящих имя ртах, их ищет, подкупает, собирает, принуждает, значит, он еще не знаменит. Он просто еще тренирует кадры для своей будущей армии теней. Слава пришла тогда, когда он позволяет себе забыть о них, ничего при этом не теряя.

Различия между *богачом*, *властителем* и *знаменитостью* заключаются приблизительно в следующем.

Богач собирает стада и груды. Все их замещает золото. Люди его не волнуют, ему достаточно, что их можно купить.

Властитель собирает *людей*. Стада и груды ему либо безразличны, либо требуются для приобретения людей. Именно в *живых* людях он нуждается, чтобы послать их на смерть впереди себя или взять с собой. Что касается умерших ранее и тех, кто еще родится, то они интересуют его лишь во вторую очередь.

Знаменитость собирает хоры. Она хочет слышать в них свое имя. Это могут быть хоры мертвых, живых либо еще не живущих — все равно, лишь бы это были огромные хоры, произносящие его имя.

ПОРЯДОК ВРЕМЕНИ

Во всех крупных политических формациях *порядок* играет важнейшую роль.

Порядок *времени* регулирует все формы совместной деятельности. Можно сказать, что он — первый атрибут любой формы господства. Всякая возникшая власть, желая утвердиться, вводит новый порядок времени. Нужно, чтобы казалось, будто с нее начинается время, но еще важнее показать, что она *непреходяща*. Из ее временных притязаний можно вывести представление о величии, на которое она претендует. Гитлер желал ни много ни мало как тысячелетнего рейха. Юлианский календарь пережил Цезаря, еще дольше существует название месяца, увековечившее его имя. Из всех исторических фигур только Август сумел воплотить свою власть в *длящихся* названиях месяцев. Другим удавалось называть месяцы своими именами лишь на время, вместе с их памятниками рушились и имена.

Самое большое воздействие на счет времени оказал Христос, он превзошел здесь самого Бога, от сотворения мира которым считают время евреи. Римляне отсчитывали время от основания своего города — метод, перенятый ими от этрусков; в глазах всего мира этот факт сыграл немалую роль в великой судьбе Рима. Многие завоеватели довольствовались тем, что как-нибудь вставляли свое имя в календарь. Наполеон надеялся на 15 августа. Связь имени с регулярным повторением дат оказывает непреодолимое воздействие. И даже тот факт, что большинство людей вовсе не знает, откуда идут временные наименования, не оказывает

никакого воздействия на стремление властителей увековечивать себя таким образом. До времен гоа, правда, это стремление еще не добралось, хотя, с другой стороны, целые ряды столетий соединялись под именем одной династии. Так считается время в китайской истории: время Тань и время Хань. Блеск этих имен идет на пользу также мелким и жалким династиям, о которых лучше было бы забыть. Таков вообще метод исчисления времени у китайцев: увековечение семей, а не индивидов.

Но отношения властителей с временем отнюдь не исчезают тщеславным возвеличиванием ими собственных имен. Они касаются самого порядка времени, а не только переименовывания уже имеющихся временных единиц. С такого нового порядка начинается китайская история. Уважение к легендарным древним владыкам в значительной мере основано на новом членении времени, которое им приписывается. Для его соблюдения назначались особые чиновники. Если они пренебрегали своими обязанностями, следовало наказание. Именно в этом новом общем для всех времени китайцы впервые сплотились в один народ.

Порядок времени служит лучшим средством отграничения цивилизаций друг от друга. Они сохраняются, пока имеет место регулярное воспроизведение этого порядка. Они распадаются, когда этот порядок перестает проводиться. Цивилизация гибнет, если ее порядок времени не принимается всерьез. Здесь можно провести аналогию с жизнью отдельного человека. Если его не интересует, сколько ему лет, значит, он уже расстался с жизнью и не живет, хотя сам этого еще не знает. Периоды временной дезориентации в жизни как отдельных людей, так и целых культур — это *постыдные* периоды, о которых стараются забыть как можно скорее.

Ясно, почему членениям времени придается такое гигантское значение. Они соединяют в одно целое людей, которые живут в рассеянии, на большом отдалении друг от

друга и не могут знать друг друга в лицо. В мелких ордах, состоящих из полусотни членов, каждый всегда знает, что делает другой. Им легко собраться для совместных действий. Их общий ритм выражается в определенных стайных состояниях. Они *вытанцовывают* свое время, как вытанцовывают многое другое. Отношению между временем одной стаи и временем другой здесь не придается значения. Если же вдруг происходит что-то важное, всегда легко вступить в контакт друг с другом, потому что все рядом. Когда сеть расширяется, возникает необходимость следить за общим временем. Средством контакта на расстоянии служат тогда костры и барабаны.

Известно, что первой общей временной мерой для больших групп была длительность жизни отдельного человека. *Короли*, правившие в определенные отрезки времени, воплощали в себе время *всех*. Их смерть — пришла ли она естественным путем или была искусственно ускорена по причине ослабления их жизненной силы — всегда символизировала истечение определенной части времени. Они *были* временем, и между одним королем и другим наступало безвременье; такие периоды — междуцарствия — люди всегда старались сделать как можно короче.

ДВОР

Двор рассматривается прежде всего как срединная точка, как центр, на который ориентируются люди. Стремление перемещаться вокруг некоего центрального пункта имеет очень древнюю природу, оно наблюдается даже у шимпанзе. Первоначально сам этот пункт был подвижен. Он появлялся то в одном, то в другом месте, перемещаясь вместе с теми, кто двигался вокруг него. Лишь постепенно этот центральный пункт *утвердился* на одном месте. Большие камни и дере-

вья послужили образцом того, что с места не движется. Из камня и дерева потом стали воздвигать самые надежные резиденции. При этом подчеркивалась их неподвижность. Чем грандиознее была постройка, чем большее расстояние нужно было преодолеть для подвозки камней, чем больше использовали рабочих и чем дольше длилось само строительство, — тем выше становился авторитет этого центра как неподвижного и пребывающего.

Но такой пребывающий центр маленького мира, которому этот мир обязан был *порядком*, все же еще не был двором. Ко двору относится некая достаточно большая группа людей, которые так естественно вплетены в него, словно сами являются частью постройки. Они, как и помещения, размещены на различной высоте и на разных расстояниях. Их обязанности зафиксированы точным и исчерпывающим образом. Они должны делать именно то, что предписано, и ни в коем случае больше. Но в определенное время они собираются вместе и, не переставая быть тем, чем они являются, не забывая о собственном месте и собственных границах, почитают своего господина.

Почитание состоит в том, что они *здесь*, вокруг него, при нем, но в то же самое время не слишком близко к нему, ослепленные им и его страшась, ожидающие от него чего угодно. В этой своеобразной атмосфере, пронизанной блеском, страхом и благодатью, они проводят всю свою жизнь. Ничего другого для них не существует. Они, так сказать, поселились на самом Солнце, тем самым показывая другим людям, что на Солнце тоже можно жить.

Специфичность позиции придворного, не сводящего глаз с господина, — единственное, что их всех объединяет. В этом все придворные от первого до последнего равны. Эта неизменная направленность взгляда наделяет их неким качеством массовости, но это только лишь зачаток массы, ибо тот же самый взгляд напоминает каждому о его обязанности, отличающей его от других придворных.

Позиция придворных заразительно действует на остальных подданных. То, что придворные делают *всегда*, остальные должны осуществлять *время от времени*. В определенных случаях, когда, например, король въезжает в город, жители ждут его на улицах, как придворные ждут во дворце, и все почтение, которое ему задолжали, изливают тем более пылко, что это происходит лишь раз и сразу. Близость двора влечет всех подданных в столицу, где люди действительно располагаются большими концентрическими кругами вокруг малого круга придворных. Столицы вырастают вокруг двора, их дома — его овеществленное почтение. Король великодушно, как ему и полагается, берет реванш роскошью своих построек.

Двор — хороший пример *массового кристалла*. Люди, которые его образуют, имеют совершенно разные функции и сильно отличаются друг от друга. Но для всех остальных они именно как придворные в чем-то равны и образуют единство, излучающее равный для всех смысл.

РАСТУЩИЙ ТРОН ИМПЕРАТОРА ВИЗАНТИИ

Внезапный рост всегда производил потрясающее впечатление. Сильнее, чем обычное крупное тело, сильнее, чем неожиданно встающий человек, воздействует мелкая фигура, вдруг на глазах увеличивающаяся до гигантских размеров. Такие преобразования хорошо известны из мифов и сказок многих народов. О сознательном применении этого явления для целей власти в Византии десятого столетия говорится в приводимом ниже сообщении. Вот что пишет *Липранд из Кремоны*, посланник Оттона I, о приеме у императора Византии.

«Перед троним императора стояло позолоченное дерево из бронзы, ветви которого были усеяны разного рода

птицами, тоже из бронзы и позолоченными, которые все вместе, но каждая по-своему подражали голосам певчих птиц. Трон императора был сделан так искусно, что в один момент казался низким, в другой — выше, а потом еще более высоким. Огромные львы, не знаю, из металла или из дерева, но покрытые золотом, сидели, как стражи, по сторонам трона, ударяя о пол хвостами и издавая ужасный рык из открытых пастей с подвижными языками. Именно в этом зале, сопровождаемый двумя кастратами, я предстал перед ликом императора. При моем вступлении в зал львы взревели, а птицы запели, каждая на свой лад, но я не испытал ни ужаса, ни удивления, потому что был заранее оповещен об этом опытными людьми.

Когда я в третий раз, простершись на полу, поднял голову, то увидел, что он, только что сидевший на небольшом возвышении, поднялся вверх почти до потолка залы и на нем уже совсем другие одежды. Как он этого достиг, я не могу понять, может быть, он был поднят при помощи прессы вроде того, что применяют в виноградной давилке. При этом собственными устами император не произнес ни слова, но если бы даже он захотел что-то сказать, ничего не удалось бы понять из-за большого отдаления. Через своего логофета, или канцлера, он осведомился о жизни и благополучии моего господина. Ответив надлежащим образом, я по знаку переводчика отступил назад и был потом препровожден в отведенные мне покои».

Когда посланник упал и коснулся головой пола, трон императора ушел ввысь. *Унижение* одного используется для *возвышения* другого. Дистанция между обоими, чересчур сократившаяся в силу самого факта приема, была восстановлена по вертикали. Искусственные птичий свист и львиный рык не идут ни в какое сравнение с искусством подъема трона. Этот рост делает наглядным процесс *возрастания* власти; здесь угроза, адресованная послу чужой державы.

ИДЕИ ВЕЛИЧИЯ У ПАРАЛИТИКОВ

Что, собственно, понимают люди под «величием»? Это такое многозначное слово, что сомневаешься, можно ли вообще извлечь из него ясный смысл. Что только не называлось великим! Под этим обозначением самое смешное, путаное и противоречивое соседствует с достижениями, без которых невозможно представить себе достойное человеческое существование. Но именно в этой своей многозначности и смутности слово «величие» как раз и выражает нечто такое, без чего людям уже не прожить. Надо пытаться схватить его именно в этой его многозначности, и, может быть, удастся понять, как отражается величие в головах простых людей, где оно существует в овнешненной и достаточно легко схватываемой форме.

Здесь будто по заказу приходит на помощь одна широко распространенная и хорошо изученная болезнь. *Паралич* многообразен и — особенно в классической форме — отмечен массовыми проявлениями *идеи величия*. Эти идеи несутся пестрой чередой, легко возбуждаясь под действием внешних факторов. Они налицо не в каждом параличе: имеются депрессивные формы болезни, сопровождаемые, наоборот, идеями малости, микроскопичности; иногда обе формы разворачиваются одновременно. Но для нас важна не болезнь как таковая. Нам интересны конкретные выражения идеи величия в определенных, хорошо известных и точно описанных случаях. Именно пестрота этих идей, их наивность и возбудимость, то есть все, что, с точки зрения «нормального», не болеющего параличом человека, свидетельствует об их бессмысленности, приведет нас к удивительным выводам о природе величия. Надо только терпеливо относиться к следующим ниже перечням. Воспримем их по возможности более полно, а уж потом займемся поиском смысла. Оба больных, о которых идет речь, жили во времена кайзера Вильгельма, что немало повлияло на их представления.

Вот что рассказывал о себе купец средних лет, содержащийся в клинике Крепелина:

«Он якобы свихнулся из-за непрерывной и напряженной работы, но теперь пребывает в полном душевном здравии, разве что остался немножко нервным. Его работоспособность из-за хорошего ухода в клинике якобы очень возросла, и теперь он многое может. Поэтому у него блестящие перспективы: он намерен, когда его вскоре выпустят из больницы, основать огромную бумажную фабрику, деньги на это ему даст друг. Кроме того, Крупп, с которым его друг хорошо знаком, предоставит в его распоряжение поместье возле Меца, где он намерен основать большое садовое хозяйство; эта местность подходит и для виноградников. Потом он закажет четырнадцать лошадей для сельскохозяйственного предприятия и организует крупную торговлю лесом, что также принесет ему кругленькую сумму. На замечание, что все эти гешефты не обязательно пойдут гладко и потребуют значительных вложений, он заверил, что уж он-то с его работоспособностью сумеет с этим управиться, да и с деньгами при его прекрасных шансах на успех проблем быть не может. Одновременно он дал понять, что им заинтересовался кайзер и разрешил ему принять дворянский титул, от которого из-за отсутствия средств отказался его дедушка, собственно, он может носить его уже сейчас. Все эти сообщения больной делал в спокойном деловом тоне, вел себя при этом естественно».

Его очень легко подвигнуть на расширение собственных планов. «Когда ему указали, что очень выгодным может быть разведение домашней птицы, он немедленно заверил, что, разумеется, будет держать индеек, павлинов и голубей, откармливать гусей и заведет фазанью ферму».

Его болезнь сначала проявилась в огромных закупках и планах. Будучи принятым в клинику, он «чувствовал себя прекрасно, как никогда ранее, и испытывал тягу к творчеству. Ему здесь очень нравилось, и он хотел писать здесь стихи, что он якобы делает лучше, чем Гете, Шиллер и

Гейне... Он собирался изобрести огромное количество новых машин, перестроить клинику, воздвигнуть собор выше Кельнского, укрыть лечебницу стеклянной броней. Он якобы гений, говорит на всех языках мира, построил церковь из чугуна, получил от кайзера высший орден, изобрел средство для обуздания дураков, подарил больничной библиотеке 1000 книг, в основном философских трудов, вообще у него божественные идеи. Эти великие идеи сменяли одна другую, возникали мгновенно и тут же заменялись новыми... Больной без устали говорил, писал и рисовал, сразу же заказывал все, что предлагалось в газетных объявлениях: продукты, виллы, платье, мебель. То он был графом, то генерал-лейтенантом, то он подарил кайзеру целый полк полевой артиллерии. Он пообещал скоро переместить клинику на гору».

Попробуем навести в этой пестрой мешанине некий предварительный порядок. Здесь имеется то, что можно назвать *тенденцией возвышения*. Он собирается воздвигнуть собор выше Кельнского и перенести клинику на гору. Высота, которой он собирается достичь, приличествует и ему самому. Она выражается в соотношении социальных позиций: его деду предложено дворянское достоинство, сам он граф, в военной иерархии генерал-лейтенант. Им интересуется кайзер, и ему будет вручен орден, он ведь *одарил* кайзера целым полком. Последнее свидетельствует о том, что он стремится стать выше кайзера.

То же самое распространяется на духовную сферу. Будучи гением, он говорит на всех языках мира, как будто языки — это что-то вроде подданных гения; он превзойдет самых знаменитых поэтов — Гете, Шиллера, Гейне. Создается впечатление, что в этой своей тенденции возвышения он озабочен не тем, чтобы *пребывать* вверху, а тем, чтобы *стремительно взлететь вверх*. Надо срочно карабкаться вверх, и любая возможность здесь уместна. Оказывается, все, что считалось наивысшим, на самом деле можно превзойти. Будут поставлены новые рекорды высоты.

Есть подозрение, что под рекордами высоты на деле подразумеваются рекорды *роста*.

Вторая бросающаяся в глаза тенденция — тенденция *приобретения*. Разговор то о бумажной фабрике и торговле лесом, то о садоводстве, винограду и лошадях. Но по тому, как воспринят намек на разведение птицы, сразу видно, что приобретение здесь имеет вполне архаичную природу. Речь идет о *приумножении* всего, что только можно, а в особенности всего живого, что охотно размножается. Индейки, павлины, голуби, гуси и фазаны перечисляются по отдельности как роды, при этом нельзя отделаться от представления, что каждый из них благодаря уходу будет до бесконечности приумножаться. Приобретение здесь таково же, каким оно было изначально: поощрение естественных масс к приумножению, идущее на пользу владельцу.

Третья тенденция — *расточительство*. Он заказывает все, что рекламируется: продукты, виллы, одежду, мебель. Будь он свободен и располагай деньгами, все это было бы им *куплено*. Но нельзя сказать, что это было бы им *собрано*. Несомненно, всем этим добром он распорядился бы так же легкомысленно, как и деньгами, то есть раздарил бы его кому попало. *Удержание* столь же ему не свойственно, как и *владение*. Он видит вещи, которые хочет купить, нагроможденными перед собой, но лишь до тех пор, пока они ему не принадлежат. Текучесть владения для него важнее, чем само владение. Его характерный жест, на первый взгляд двоякого характера, на самом деле *един*: это *доставание и разбрасывание полными пригоршнями*. Это жест *величия*.

Обратимся теперь ко второму случаю. Это тоже купец того же возраста, страдающий параличом в более *возбужденной* форме. У него тоже все началось с великих планов: не имея средств, он купил ванное заведение за 35 тысяч марок, заказал на 16 тысяч марок шампанского и на 15 тысяч белого вина, намереваясь открыть ресторан. В клинике он беспрерывно хвастается. «Он станет таким большим, что будет весить четыре центнера; он вставил в руки стальные

штанги и носит железный орден в два центнера весом; у него есть 50 негритянок; ему всегда будет 42 года; он женится на графине шестнадцати лет с состоянием в 600 миллионов, которой сам папа римский вручил розу добродетели. У него есть лошади, которые не едят овес, а также сто золотых замков с лебедями и китами, сделанными из материала, из которого делают пуленепробиваемые панцири; он сделал великое изобретение, построил кайзеру дворец за 100 миллионов, с кайзером он на ты, от великого герцога получил 124 ордена, каждому бедняку дарит по полмиллиона. Наряду с этим проявляются идеи преследования. Его пять раз хотели убить, каждую ночь высасывают из его зада два ковша крови, за это он отрубил головы сторожам, велит собакам их разорвать, он уже соорудил паровую гильотину».

Здесь все гораздо грубее и отчетливее: речь идет о возрасте как таковом, о росте во всей его наготе, который можно даже соразмерить с четырьмя центнерами веса выросшего. Речь идет о *силе*: он вставил в руки стальные штанги. Речь идет о самом весомом и непреходящем *отличии* — железном ордене в два центнера весом, и у него достаточно сил его носить. Речь идет о *потенции* и об остановке лет: для своих 50 негритянок он всегда останется сорокадвухлетним. Ему предназначена самая добродетельная и самая богатая юная невеста. Его лошадям овес не нужен. Белые лебеди в ста золотых замках — это скорее всего женщины, в любом случае они являют собой контраст негритянкам. Киты ему нужны как самые большие из всех возможных созданий. Даже о своей неуязвимости он позаботился. Много говорится о металлах, в частности, в связи с китами, о пуленепробиваемых панцирях. Сто миллионов, которые в его распоряжении, стоит дворец для кайзера, из-за этих миллионов они на ты. Бедняков тоже миллионы, но, наверное, каждый из них считается за полчеловека, иначе почему бы дарить каждому по полмиллиона. В этом своем исключительном и выдающемся положении он, естественно, благодатный объект для преследования со стороны врагов. Од-

ного-единственного покушения для такой замечательной личности недостаточно. Он вправе обезглавить и бросить собакам злодеев-сторожей, сосущих у него кровь (из зада, чтобы подчеркнуть их унижительную позицию). Но еще стремительнее, чем старомодная свора собак, действует паровая гильотина, воздвигнутая им для массовой казни.

Его возбуждение растет вместе с ростом цены, ростом числа называемых тысяч. Деньги в его голове обретают прежний массовый характер. Они возрастают скачкообразно, со все большим ускорением; как только достигнут миллион, счет идет на миллионы. Значения слов переливаются одно в другое, они относятся к людям, как и к денежным единицам. Важнейшее свойство массы — *тяга к росту* — сообщается деньгам. Величие руководит и управляет миллионами.

Приобретение и расточение здесь — также две стороны одного и того же жеста, скупка и раздаривание, как и все остальное — лишь средства для его самораспространения. По контрасту с тенденцией возвышения это можно назвать тенденцией *роста вширь*. Для него нет разницы между *покупкой* и *дарением*; массой своих денег он покрывает предметы, пока они не исчезают в нем самом; массой денег и предметов он покрывает людей, пока они не оказываются ему подвластными.

В наивной, а потому особенно убедительной форме здесь проявляется традиционное свойство королей, хорошо известное из сказок, а также из исторических сообщений — щедрость. Об одном западноафриканском короле XIV в. рассказывают, что во время паломничества в Мекку он купил весь город Каир, — поистине незабываемое деяние. Хвалиться приобретениями сегодня так же модно, как хвалиться расточительством. Сомнительные денежные короли нашего времени доказывают свое величие лишь размерами пожертвований на общественную пользу. Наш больной выбрасывает 100 миллионов на замок, и кайзер охотно принимает эту жертву.

Его идеи величия весьма переменчивы, но нет впечатления, что, осуществляя их, он испытывает *превращение*. Он всегда остается собою, даже когда тянет на четыре центнера, женится на шестнадцатилетней целомудренной графине или общается на ты с кайзером. Наоборот, все, что приходит извне, используется им для себя. Он — постоянный центр Вселенной, он покоряет ее через собственное питание и возрастание, но никогда не превращается в нее или во что-то другое. Скачкообразный рост — это рост его питания; его разнообразие и изменчивость, разумеется, важны, ибо он хочет расти любым возможным способом, но все равно это всего лишь разнообразие питания. Его пестрота вводит в заблуждение, но это не более чем неразборчивость аппетита.

Такая переменчивость идей величия возможна потому, что ни за одну из них он особенно не держится. Лишь только она возникнет, как тут же исполняется. Ведь естественно менять цели по мере их достижения. Но как получается, что больной не чувствует сопротивления осуществлению своих идеям? Какая бы идея ни зародилась в его уме, если она обещает власть, богатство и телесное расширение, то достаточно ее выговорить — и желаемое уже достигнуто. Эта легкость, пожалуй, объяснима только тем, что он ощущает за собой *массу*. В любой из возможных масок масса всегда при нем — будь это 600 миллионов приданого, 100 золотых замков или 50 наложниц-негротянок. Даже когда он на кого-то сердит, например, на сторожей, под рукой стая собак, готовых кинуться и разорвать врага по его приказу. Если же он думает рубить головы, то сразу изобретает паровую гильотину, которая обеспечит массовое обезглавливание. Так что масса всегда за ним, а не против него, а если она в виде исключения и обращена против него, то это масса обезглавленных.

Из предыдущего случая мы помним, что все предприятия, особенно сельскохозяйственные, были готовы процветать под рукой больного. Любой род птицы ждет лишь воз-

возможности начать приумножение ему во благо; если он ощутил желание облагодетельствовать больничную библиотеку, при нем немедленно обнаружатся тысячи томов. Для целей скупки и раздавания у обоих имеются в распоряжении все мыслимые тысячи и миллионы.

Очень важно подчеркнуть этот позитивный настрой и благожелательную позицию массы у паралитика с идеями величия. Она никогда не выступит против него, она есть подлинное средство реализации его планов, и, что бы ему ни взбрело в голову, она все для него осуществит. Он не может пожелать слишком многого, ибо ее рост так же безграничен, как его собственный. По отношению к нему она безгранично и безусловно лояльна, такой лояльности со стороны своих подданных не испытывал ни один властитель. Дальше мы увидим, что у *параноика* масса играет другую, *враждебную* роль. Идеи величия у параноиков реализуемы с гораздо большим трудом и демонстрируют тенденцию к ригидности. Когда враждебно настроенная масса одерживает верх, параноик ударяется в манию преследования.

Подводя краткий итог тому, что выяснилось из рассмотрения идей величия у паралитиков, можно сказать, что дело заключается в непрерывном и неостановимом росте в двух отношениях. Во-первых, это рост самой *персоны*, которая становится физически больше и тяжелее и не может удовлетвориться каким-то пределом роста. При этом любая сила, которой человек может обладать как физическое существо, растет вместе с ним. Во-вторых, это рост *миллионов*, которыми может считаться все, что способно прирастать скачкообразно, как сама масса. Эти миллионы по воле великих протекают через их руки в любом направлении и подчиняются только им.

Величие, о котором мечтают люди, соединяет в себе ощущение индивидуального биологического роста с ощущением скачкообразного увеличения, характерного для массы. Масса при этом играет подчиненную роль, *вид* ее не имеет значения, годен каждый из ее эрзацев.

ГОСПОДСТВО И ПАРАНОЙЯ

АФРИКАНСКИЕ КОРОЛИ

Наблюдения над африканскими королями помогут связать воедино аспекты и элементы власти, которые до сих пор изучались раздельно. Все в этих королях нам чуждо и непривычно. Поначалу вообще испытываешь побуждение отбросить их в сторону как экзотические диковины. Европейец, сталкиваясь с рассказами вроде тех, что приводятся ниже, чувствует собственное превосходство. Но полезно скромно потерпеть, пока не узнаешь побольше. Европейцам XX в. просто почувствовать превосходство над варварами. Приемы, используемые нынешними властителями, может быть, и в самом деле более действенны. Но цели их часто ничем не отличаются от целей африканских королей.

Смерть старого короля и выборы нового в *Габоне* описывает *Дю Шалю*.

«Когда я был в Габоне, скончался старый король Глас. Племя устало от этого короля. Его считали могучим и злым волшебником; об этом не говорили открыто, но мало кто осмеливался ночью приблизиться к его дому. Когда он в конце концов заболел, все, казалось, были страшно опечалены. Но друзья по секрету сказали мне, что весь город надеется, что он умрет. И вот он умер. Однажды утром я проснулся от громких воплей и причитаний. Рыдал, казалось, весь город. Шесть дней длилось оплакивание. На второй день состоялось погребение старого короля. Самые надежные мужчины племени отнесли его тело в известное только

им место, а старейшины занялись выбором нового короля. Имя его также держалось в секрете и было сообщено народу лишь на седьмой день, то есть в самый день коронации. Случаю было угодно, чтобы выбор пал на моего друга Ньюгони. Он происходил из хорошей семьи и был любим в народе, так что большинство голосов старейшин было подано за него. Мне кажется, Ньюгони понятия не имел о своем будущем возвышении. Утром седьмого дня он прогуливался по берегу, когда на него вдруг набросилась толпа жителей. Таким образом он подвергся процедуре, которая, согласно обычаю, предшествует коронации и которая должна бы отбить вкус к трону даже у самого честолюбивого человека. Огромная толпа взяла его в кольцо, осыпая самыми грязными ругательствами. Ему плевали в лицо, били кулаками, пинали ногами, забрасывали гнильем и отходами, а кто не мог дотянуться и ударить, тот поносил последними словами его отца, мать, братьев и сестер, вообще всех родственников вплоть до седьмого колена. Человек, не знающий обычаев, копейки бы не поставил на жизнь того, кого вот-вот должны были увенчать короной.

Но посреди этого крика и ругани я выделил слова, которые объяснили мне происходящее. Время от времени кто-нибудь, исхитрившийся нанести особенно сильный пинок, выкрикивал: «Ты еще не король. Мы делаем с тобой, что хотим. А слушаться будем после».

Ньюгони держался мужчиной и будущим королем. Он был спокоен, с лица его не сходила улыбка. Примерно через полчаса его отвели в дом старого короля, где он должен был еще некоторое время выслушивать ругань и поношения.

Потом все стихло. Поднялись старейшины и торжественно провозгласили: «Мы выбираем тебя нашим королем. Мы клянемся, что будем слушаться тебя и тебе подчиняться». Народ следом за ними скандировал эти слова.

Воцарилось молчание; принесли цилиндр, который здесь считается знаком королевского достоинства, и водрузили его на голову Ньюгони. Он был облачен в красное, и все, только

что ругавшие его, как говорится, на все корки, стали выказывать ему величайшее почтение.

Затем был праздник, длившийся шесть дней. Король, перенявший вместе с должностью и имя своего предшественника, обязан был принимать подданных у себя дома. Это были шесть дней неопишумого обжорства, скотского пьянства и всеобщей неразберихи. Толпами шли жители соседних деревень выказать уважение новому королю. Рекой лились ром и пальмовое вино.

Старый король Глас был забыт, а новый король Глас, бедняга, казался больным от усталости. День и ночь ему приходилось принимать людей и быть почтительным к каждому, кто явится.

Наконец ром был выпит, положенный законом срок истек, и воцарилось спокойствие. Теперь новый король мог выйти и обозреть свои владения».

Здесь необычайно важна последовательность событий, которые разыгрываются в массе. Все начинается с *оплакивающей стаи*, формирующейся вокруг умершего короля и существующей в течение шести дней. Потом вдруг на седьмой день происходит нападение на новоизбранного. Вся враждебность по отношению к мертвому выливается на того, кто ему наследует. *Преследующая масса*, формирующаяся вокруг него, представляет собой, по сути дела, *массу обращения*, ее объект — не он сам, а умерший король. Люди изживают свою ненависть к мертвому, который правил слишком долго и под конец не внушал ничего, кроме страха. Новый король с самого начала оказывается в ситуации, пугающей любого властителя: его окружают бунтующие подданные, грозящие его телу. Однако он спокоен, ибо знает, что это *вымещаемая* враждебность, что она имеет игровой характер, что его персоне ничего не угрожает. Но все же столь болезненное начало царствования навсегда останется в его памяти как угроза, способная реализоваться в любое время. Получается, что каждый король занимает свой пост в разгар революции. Это запоздалая революция против уже

умершего короля, и новоизбранный, как его правопреемник, является лишь кажущимся ее объектом.

Третье важное событие — праздник, который после того, как минует траур, длится тоже шесть дней. Раздача еды и напитков и их совместное неограниченное потребление — знак *приумножения*, ожидаемого от нового владыки. Как теперь, в начале его правления, так и впоследствии в его королевстве должно быть в избытке и рома, и пальмового вина, и еды для всех. Чтобы все это приумножить, и посажен король. Празднуюющая масса как настоящее начало его царствования *гарантирует* будущее приумножение.

Описание Дю Шалю сделано сто лет назад. Оно полезно, поскольку является результатом стороннего наблюдения и не перегружено подробностями. Сегодня об африканских королях известно гораздо больше. Полезно ознакомиться с некоторыми новыми сообщениями.

Король *Юкуна* в *Нигерии* был священным существом, жизнь которого протекала в строго очерченных границах. Его первейшая задача состояла не в том, чтобы в качестве полководца повести народ на битву или осчастливить страну мудрым правлением. Не важно было, что он представляет собой как личность, он считался скорее живым сосудом, из которого истекают силы, дающие семени рост и земле плодородие, и поэтому — жизнь и процветание народу. Сохранению этих сил служили церемонии, определяющие течение его дней и годов.

Король редко появлялся на публике. Его голая ступня не должна была коснуться земли, ибо высохли бы плоды на полях. Он также не должен был отрываться от земли. Упав он с лошади, его следовало убить как можно скорее. Никому не позволялось говорить, что король болен. Если бы он действительно серьезно заболел, его следовало тайно удушить. Считалось, что стоны больного короля могут породить смятение в народе. Чихать ему было можно. Когда король Юкуна чихал, присутствующие мужчины с возгласами одобрения хлопали себя по ляжкам. Было бы ошибкой упо-

мянуть его тело или вообще дать повод заключить, что у него есть обыкновенное человеческое тело. Вместо этого употреблялось особое слово, означающее исключительно его персону. Это слово относилось к каждому его действию, в том числе и к речениям.

Когда король должен был принимать пищу, особые чиновники издавали громкие оповещающие крики, а другие двенадцать раз громко хлопали себя по ляжкам. Во дворце, как и во всем городе, наступала тишина: прекращались разговоры, оставлялась любая работа. Королевская пища считалась священной и приносилась ему церемониально, как жертва божеству. Когда трапеза заканчивалась, раздавались новые крики и хлопки, которые сообщали чиновникам на внешнем дворе, что можно опять разговаривать и работать.

Если король впадал в гнев, тыкал на кого-то пальцем или в бешенстве топал ногами, это влекло ужасающие последствия для всей страны. Нужно было любой ценой как можно скорее его успокоить. Слюна короля была священной. Свои срезанные волосы и обрезки ногтей он держал в особом мешочке, который следовало похоронить вместе с ним, когда он умрет. В торжественных церемониальных обращениях подразумевалась свойственная ему сила плодородия: «О Ты, наш ячмень, наши земляные орехи, наши бобы...» Ему приписывалась власть над дождем и ветром. Долгие засухи и плохие урожаи свидетельствовали об упадке его сил, и тогда полагалось тайно, ночью его задушить.

Новоизбранный король должен был трижды обежать вокруг холма, при этом вельможи угощали его пинками и тычками. Потом ему следовало убить раба или просто ранить его; кто-то другой добивал его ножом и копьем короля.

На коронации к нему обращался старейшина королевского рода: «Сегодня мы отдали тебе дом твоего отца. Весь мир стал твоим. Ты есть наше зерно и наши бобы, наши духи и наши боги. Впредь у тебя нет ни отца, ни матери, но ты — отец и мать всего. Иди по следам своих предков и не делай

зла, и пусть твой народ останется с тобой, и ты во здравии достигнешь конца своего царствования».

Все падали наземь перед новым владыкой и, посыпая головы пылью, кричали: «Наш дождь! Наш урожай! Наше богатство! Наша слава!»

Власть короля была абсолютной, поэтому принимались меры, чтобы она не стала невыносимой. Ответственность за это нес совет благородных с визирем, или главным министром, во главе. Если настроение владыки грозило нанести вред стране, или наступал неурожай, или какое другое национальное бедствие, можно было указать королю, что он пренебрегает своими магическими обязанностями, и тем несколько умерить его чувство превосходства. Визирь имел постоянный доступ к королю, мог ему советовать, его долгое отсутствие при дворе ставило короля в затруднительное положение.

В военных походах король, как правило, участия не принимал, но вся добыча считалась его собственностью. Одну треть или половину трофеев он возвращал воину, их добывшему, в знак признания его заслуг, а также в знак надежды на то, что в следующий раз он продемонстрирует такую же доблесть.

Если королю удавалось прожить долго, то его убивали по истечении семи лет царствования во время праздника урожая.

Вестерман в своей «Истории Африки», первой серьезной книге такого рода, указывает на «удивительное сходство строения и учреждений этих царств». Он обнаруживает некоторые общие им всем черты. Стоит перечислить здесь самые важные из них и попытаться дать им истолкование в духе добытых нами истин.

«Король владеет силой, наделяющей землю плодородием. От него зависит урожай на полях. При этом часто он еще вызывает дождь». Король здесь выступает как *приумножитель*. Это главное его качество. Можно было бы сказать, что именно этому качеству приумножения обязан своим воз-

никновением институт королевской власти. От короля исходят всякого рода приказы, но собственно ему присущая форма приказа — это понуждение к росту. «Ты отец и мать всего», — славят короля Якуны. Это означает не только то, что он всех и вся кормит, — он побуждает всех и вся расти. Его власть в таком случае — власть *приумножающей стаи*. Все, что она в состоянии совершить как целое, вся ее субстанция переносится на него как единичное существо. Своей деятельностью он должен гарантировать постоянство, которым не обладает приумножающая стая, поскольку она состоит из множества существ и постоянно в процессе распада. Как сосуд, строго ограниченный снаружи, он заключает в себе силы приумножения. Его священный долг состоит в том, чтобы не дать им расточиться. Отсюда следуют другие признаки королевской власти, о которых сказано далее.

«Чтобы сохранить его приумножающую силу и не дать ей испортиться, жизнь его окружают многочисленными предписаниями и предостережениями, которые нередко превращают его в совершенно недееспособную фигуру». Драгоценное в короле, то есть, собственно, драгоценность того, что в нем содержится, ведет к его *неподвижности*. Он как полный доверху сосуд, из которого не должно пролиться ни капли.

«Он совершенно невидим или же появляется на глаза только в определенные моменты времени. Чаще всего он вовсе не может, или может только ночью, или только по определенным поводам покидать свой дворец. Никто не видит, как он ест и пьет». Изоляция предохраняет от любого возможного вредного воздействия. Еда и питье, ведущие к уменьшению запасов, не очень-то приличествуют ему как приумножителю. Он должен бы питаться только силами, которыми заряжен изнутри.

Главное в короле — его единственность. Народ, у которого множество богов, имеет только *одного* короля. Очень важно, как мы видели, что он изолирован. Между ним и его подданными искусственно создается дистанция, которая

всеми средствами поддерживается. Он показывается очень редко, или вовсе не показывается, или же бывает одет так, что все равно частично либо целиком скрыт от взоров. Всячески подчеркивается его редкостная и драгоценная природа: во-первых, тем, что он окружен либо увешан дорогими предметами, во-вторых, самой редкостью его появлений. Его охраняют не только преданные телохранители, но и все расширяющееся пространство, отделяющее его от других людей. Расширение дворцовых покоев, создание все более просторных залов служит как дистанцированию, так и охране.

Итак, единственность, изолированность, дистанцированность и драгоценность — вот характеризующие короля признаки, которые обнаруживаются уже при первом взгляде.

«Телесным проявлениям короля, таким как кашель, зевание, сморкание, подражают или аплодируют». Если король Мономотапы имел какое-нибудь особенное хорошее или дурное качество, какой-нибудь телесный недостаток, несообразность, порок или, наоборот, добродетель, то все его товарищи и прислуга старались ему в этом подражать. Уже в древности Страбон и Диодор доносили: если король Эфиопии имел увечье на какой-то части тела, все придворные должны были получить такое же. Один арабский путешественник, посетивший в начале прошлого столетия двор Дарфура, сообщает об обязанностях придворных: когда султан прокашливается, как если бы он хотел начать говорить, все придворные издают звук «кхе, кхе». Если он зевает, все присутствующие издают возглас «эха», звучащий так, будто кто-то погоняет лошадь. Если султан падает с лошади, все придворные должны также упасть с лошадей. Кто не успел, того, несмотря на его ранг, растянут на земле и будут бить палками. При дворе Уганды, когда король смеется, смеются все; когда он зевает, зевают все; когда он простудится, все утверждают, что и у них простуда; когда он пострижет волосы, все торопятся постричься. Это подражание королям ни в коем случае не ограничивается пределами Африки. При дворе Бони на Целебесе был обычай, согласно ко-

тому все придворные делали то же, что делает король. Он вставал, все вставали; он садился, все садились; он падал со своей лошади, все падали со своих. Захочется ему искупаться, все купались вместе с ним. Проходящие мимо должны были лезть в воду как есть, независимо от того, что на них надето. Один французский миссионер сообщает из Китая: когда китайский император смеется, смеются все мандарины. Когда он перестает смеяться, они тоже перестают. Если император печален, их лица тоже делаются мрачными. Можно подумать, что их лица подвешены на нитях и император приводит их в движение.

Образцовость королей — универсальное свойство. Иногда окружающие ограничиваются восторгом и благоговением. Все, что король делает, исполнено глубокого смысла. Ничто в нем не бывает случайным. Иногда же люди идут дальше и воспринимают каждый поступок и каждое проявление как *приказ*. Зевок означает: «Зевай!» Падение с лошади означает: «Падай!» Он настолько заряжен энергией приказа, что все оказывается неслучайным. Только в этом случае приказ из слова переносится в действие, выступающее как образец. Кроме того, все его существование ориентировано на приумножение, это его *raison d'être*. Поэтому каждое его движение или проявление имеет тенденцию к многократному воспроизведению. Можно сказать, что в таких случаях двор превращается в приумножающую стаю, если не по внутреннему восприятию, то, во всяком случае, по поведению. Каждый делает то же самое, но первым это делает король. Так что двор, ставший массовым кристаллом, началом своим имеет стаю приумножения.

Так же и в одобрительных аплодисментах можно видеть волю к приумножению. Движения и проявления, которые считаются образцовыми, аплодисментами как бы усиливаются и побуждаются к повторению. Власти, истекающей из тысяч хлопающих ладоней, в силах противиться лишь немногие: производство аплодирующих *неизбежно* расширяется.

«Когда король начинает стареть, его волшебная мощь оказывается под угрозой. Она может ослабнуть либо исчезнуть, злые силы могут направить ее против первоначальных целей. Поэтому стареющий король должен быть лишен жизни, а его волшебные силы должны перейти к преемнику». Личность короля что-то значит в том случае, когда она нетронута. Только нетронутый сосуд может содержать в себе волшебные приумножающие силы. Малейший дефект вызывает подозрения у подданных. Вдруг он потеряет часть доверенных ему субстанций и благополучие народа окажется под угрозой! Конституция такого королевства — это телесная конституция самого короля. Он присягает, так сказать, на собственных силах и здоровье. Короля, который седеет, у которого слабеет зрение и выпадают зубы, короля-импотента убивают, или он кончает самоубийством. Прибегают обычно к яду или удушению. Предпочитают именно эти способы смерти, потому что нельзя проливать кровь короля. Иногда время царствования с самого начала ограничивается определенным количеством лет. Король Юкуна, как было сказано, правил первоначально семь лет. Согласно традициям Бамбара, новоизбранный король сам определял время своего царствования. «Вокруг его шеи обертывалась полоса ткани, и два человека тянули ее концы в противоположные стороны, в то время как сам он вытаскивал из калебасы столько камешков, сколько мог ухватить в горсти; число камешков показывало число лет его царствования, по истечении которых он будет задушен».

Но ограничение жизни короля определяется не только необходимостью сохранения драгоценной приумножающей субстанции. Страсть к выживанию, которая за время правления могла бы вырасти до опасных размеров, здесь подавляется и смирняется с самого начала. Король знает, когда он умрет, и знает, что умрет раньше многих своих подданных. Время его смерти всегда маячит перед ним, и в этом важнейшем пункте он уступает людям, над которыми властвует. Принимая власть, он как бы подписывает отказ от стрем-

ления пережить всех во что бы то ни стало. Это своего рода пакт, заключаемый между королем и его подданными. Власть, которую он обретает, — это тяжкая ноша. Он объявляет о готовности по истечении определенного срока принести себя в жертву.

Ругань и избиения, которым его подвергают перед вступлением в должность, как бы предвещают то, что ожидает его в конце. Так же, как он терпит теперь, ему придется терпеть позже. Конец короля разыгрывается заранее. Означает ли это угрозу или считается праздничной церемонией — все равно неистовствующая масса, образующаяся перед его вступлением в должность, со всей ясностью показывает, что правит он не во имя себя самого. Для короля йоруба это означает, что сперва его избыют. Если он не может переносить боль отрезанно, то будет отвергнут. Выбор может пасть на какого-нибудь самого бедного принца, который занят своим делом и вовсе не имеет претензий на трон, он будет срочно разыскан и, к его несказанному удивлению, подвергнут побоям. В Сьерра-Леоне раньше будущего короля перед коронацией заковывали в цепи и били. Вспомним также изображенные Дю Шалю выборы короля в Габоне.

Между смертью старого короля и воцарением нового наступал период *беззакония*. В избиении того, кто избран новым королем, оно выражалось, как мы видим, более или менее осмысленно. Но оно могло оборачиваться также против слабых и незащищенных. У *мози* в Уагадугу после смерти короля из тюрем выпускали всех преступников. Разрешались грабежи и убийства, каждый делал что хотел. В Ашанти период анархии шел на пользу королевскому роду: его члены могли убить и ограбить любого из граждан. В Уганде смерть короля сначала старались держать в секрете, потом, дня через два, гасили священный огонь, горевший у входа в королевский дворец, и наступало время великого горя. Барабаны выбивали ритмы смерти, извещая страну о случившемся. Но никто не смел упоминать о смерти, говорилось лишь, что огонь погас. Воцарялась анархия. Каждый стре-

мился отнять что-нибудь у другого, только вожди с большой свитой и охраной были в безопасности. Вожди послабее дрожали перед сильными вождями, творившими произвол в краткий период междуцарствия. Ясно, что больше всех страдали слабые и беззащитные. Приход нового короля восстанавливал закон и порядок. Он, собственно, воплощал их в своей персоне.

Порядок *наследования* далеко не везде был четко отрегулирован. Но если его и соблюдали, то лишь будучи к тому вынуждены. Свообразным отношением к порядку наследования отличались государства хима. Его обнаружил и раскрыл *Оберг* в замечательном исследовании о королевстве *Анкола*.

Здесь также королю следовало принять яд, как только его жены и придворные обнаруживали в нем признаки слабости. Сила считалась самым важным его качеством. Она же играла решающую роль и при выборе наследника. Царствующие хима полагали, что наследником должен быть самый сильный из многочисленных сыновей короля. Решить, кто сильнее, могла только борьба. Но во время войны за наследование, которая, таким образом, становилась неизбежной, Анкола официально не могла оставаться без короля. После панихид по умершему владыке в его краале устраивали состязания в борьбе между простыми пастухами, и победитель провозглашался временным, а по существу — шутовским королем. Законные королевские братья наблюдали за битвой, а потом, когда процедура завершалась, скликали своих сторонников и отправлялись на поиски королевских барабанов. Встречая друг друга по дороге, они бросались в бой. Тот, у кого было меньше сторонников, оказывался убит или вынужден бежать из страны. Допускалась любая военная хитрость, братья шпионили друг за другом, чтобы неожиданно напасть под покровом ночи. Один был заколот во сне, другому подмешали яд в пищу. Применялось колдовство, прибегали к помощи из-за рубежа. Каждого из сыновей подерживали его мать и сестры, насылая порчу на врага и охраняя его от враждебных духов убитых. Любимый же сын,

на которого пал выбор старого короля, все время войны пребывал в укрытии.

Война наследников могла длиться месяцами, за это время страна впадала в хаос. Каждый искал защиты у родственников. Учащались кражи скота. Кто таил на сердце обиду, спешил воспользоваться общим смятением, чтобы отомстить врагу. Только великие вожди, охранявшие границы Анколы, не участвовали в войне, стараясь предотвратить возможное вторжение извне.

Принцы гибли один за другим или исчезали в изгнании, пока наконец не оставался один-единственный, победитель. Только тогда из убежища появлялся любимый сын старого короля, который должен был помериться силой с самым могущественным из своих братьев. Победитель получал королевские барабаны. Далеко не всегда побеждал любимый сын, хотя, как правило, на его стороне были могучие волшебники и большинство сторонников. Когда все его братья полегли мертвыми, выживший в сопровождении королевских барабанов, матери и сестер возвращался во дворец. Шутовского короля убивали, и победитель провозглашался новым королем.

Соперники были истреблены. Выживший, победитель рассматривался как сильнейший, поэтому все доставалось ему. Можно предположить, что и в других государствах хима, где войны наследников были в порядке вещей, в их основе лежал тот же принцип. Королем хотели видеть *выжившего*. Убив столь много врагов, он обретал силу, которая от него и требовалась.

Но борьба за наследование не была единственным средством наделения короля силой. Выживание усиливало его и иначе. В королевстве *Кутара*, граничившем с Анколой с севера, уже завершившаяся война за наследование воспроизводилась в удивительной церемонии, происходившей во время коронации нового короля. Последний раз она состоялась во время вступления в царствование короля Кабарегги в 1871 г.; вот сообщение о ней.

Среди принцев были и мальчики, не участвовавшие в войне по причине юного возраста. Они остались в живых, тогда как их старшие братья, за исключением победителя, были поголовно истреблены. Старший вождь, исполнявший обязанности регента, обращаясь к одному из этих младших братьев, говорил, что именно *он* и есть избранный король, все присутствующие вожди выражали согласие. Мальчик, знавший, что должно случиться, отказывался: «Не обманывайте, я не король, я не хочу, чтобы меня убили». Однако ему приходилось подчиниться и сесть на трон. К трону шли вожди с подарками и выражениями преданности. Одним из них был Кабарега, победитель, в честь которого, собственно, и разыгрывалась церемония. Одетый как простой принц, он принес в дар корову. Регент спросил: «Где моя корова?» Кабарега отвечал: «Я отдал ее тому, кому она причитается, — королю». Регент воспринял ответ как оскорбление и хлестнул его веревкой по плечу. Кабарега выскочил в гневе и начал созывать своих воинов. Увидев это, регент крикнул мальчику на троне: «Кабарега идет! К бою!». Мальчик хотел убежать, но регент схватил его, оттащил в нижнюю часть тронной залы и задушил. Его похоронили тут же в здании.

Спор между регентом и новым владыкой был игрой. Судьба младшего королевского отпрыска была предрешена: его выбирали и убивали с тем, чтобы, как говорится, обмануть смерть. Война была закончена, соперники мертвы, но и во время церемонии коронации королю полагалось *пережить* мальчика, который был его братом и которого хоронили тут же, во внутренних покоях, где стоял трон и хранились королевские барабаны.

Символическую роль в королевстве Китара играл *лук* короля; во время коронации он должен был получить новую тетиву. Тетивы делались из сухожилий. Выбирали человека, который считал за честь пожертвовать свои сухожилия для королевского лука. Он даже руководил операцией извлечения сухожилий из правой стороны его собственного тела, после чего неизбежно вскоре умирал. Королю вруча-

лись лук и четыре стрелы. Он посылал их по одной в четыре стороны света, говоря: «Я стреляю в народы, чтобы их одолеть». При этом каждая стрела сопровождалась произнесением имени народа, жившего в этом направлении. Придворные отыскивали стрелы и приносили их обратно. В начале каждого года король повторял «расстрел народов».

Самым сильным из соседних с Китарой царств, с которым она постоянно воевала, была *Уганда*. Когда король там всходил на трон, об этом выражались так: он «съел Уганду» или «съел барабаны». Обладание барабанами было символом должности и авторитета. Были барабаны королевские, были барабаны вождей. Каждый сан можно было узнать по свойственному ему барабанному ритму. На церемонии посвящения в сан король говорил: «Я король Уганды. Я буду жить дольше моих предков, чтобы управлять народами и подавлять мятежи».

Первой обязанностью нового владыки было объявление траура по умершему королю. По окончании траура король приказывал бить в барабаны. Через несколько дней объявлялась охота. Специально для этого пойманную газель выпускали на свободу, король должен был ее убить. Затем на улице хватали двух случайных прохожих: одного из них полагалось задушить, другому даровалась жизнь. В этот же вечер король всходил на трон своего предшественника. Перед лицом одного из старейших и достойнейших вельмож он приносил присягу. Двое силачей носили его на плечах по лагерю, чтобы народ мог выразить ему свой восторг и обожание.

Потом к королю приводили двоих людей с завязанными глазами. Одному из них он наносил легкую рану стрелой и отсылал как своего рода козла отпущения во враждебное королевство Китару. Второго освобождали и назначали смотрителем внутреннего двора короля и надзирающим за его женами. Этого нового зрителя отводили вместе с восемью пленниками на площадь, где приносились жертвы. Там ему завязывали глаза и семерым из заключенных перерезали

плотки, смерть последнего, восьмого, он должен был видеть. Считалось, что эти смерти добавляют сил королю. Смотрителя же они наделяли силой и верностью.

После того как король процарствует два или три года, к нему снова приводили двоих мужчин. Одному из них он наносил рану, другому дарил жизнь. Раненого убивали за оградой перед главными воротами. Другой становился помощником смотрителя. Первой его обязанностью после назначения было забрать труп напарника и утопить в ближайшей речке.

Этих людей убивали также для того, чтобы *прибавить силы* королю. Первые убийства должны были показать, что король вступил во власть, последующие — что он вновь и вновь выживает, то есть властвует. Сам процесс выживания порождает его власть. Особенным обычаем, свойственным, наверное, только Уганде, был обычай доставки жертв парами. Один умирал, другой получал помилование. Король одновременно реализовывал оба свойственных ему права. Одно наделяло его новыми силами, но и другое шло на пользу. Ибо помилованный, видя судьбу своего напарника и выживая сам, также становился сильнее, а будучи избранным для жизни, становился тем более верным слугой своего короля.

Удивительно, что после всех этих мероприятий короли Уганды вообще умирали. Им приносились человеческие жертвы и по другим поводам. Представление о том, что, выживая, король обретает больше власти, стало основой института человеческих жертвоприношений. Но это был религиозный институт, существовавший независимо от прихотей того или иного короля. Наряду с ним существовали его собственные причуды и настроения, а они всегда были опасны.

Главным атрибутом африканского короля была его абсолютная власть над жизнью и смертью подданных. Он внушал необычайный ужас. «Ты теперь Ата. Ты владеешь жизнью и смертью. Убей любого, кто скажет, что не боится тебя», — так звучала коронационная формула короля Ига-

ры. И он убивал когда хотел, не утруждая себя поиском причин. Достаточно было настроения, отчет он не давал никому. В некоторых случаях сам он не имел права проливать кровь. Но при дворе был палач, делавший это вместо него. Становился ли палач вскорости первым министром страны, как это было в Дагомее, содержались ли при дворе, наподобие особой касты, сотни палачей, как в Ашанти, или казни производились по случаю, время от времени, — всегда вынесение смертного приговора было неотъемлемым правом короля, и если казней долго или вообще не было, это отражалось на страхе, который он должен был внушать: его переставали бояться и уважать.

Король виделся *львом* или *леопардом*: либо одно из этих животных считалось его предком, либо он просто демонстрировал качества льва или леопарда, не происходя прямо от этих животных. Его львиная или леопардовая природа означала, что ему свойственно убивать, так же как этим хищникам. Он убивает, и это правильно и понятно, ибо жажда убийства — его врожденное качество. Ужас, который внушают эти звери, распространял и он вокруг себя.

Король Уганды *ел* в одиночестве, никто не смел видеть, как он ест. Пищу ему приносила одна из жен. Пока он ел, она должна была отворачивать лицо. «Лев ест в одиночестве», — говорил народ. Если пища ему не нравилась или была принесена недостаточно быстро, он велел звать виновного и протыкал его копьем. Если во время еды подносица пищи кашляет, наказанием ей была смерть. Под рукой у него всегда были два копья. Если кто-то случайно входил в комнату во время трапезы, того король закалывал на месте. Тогда народ говорил: «Лев во время еды убил такого-то». Остатков его пищи нельзя было коснуться, они предназначались его любимым собакам.

Короля Китары кормил повар. Он приносил еду, накалывал на вилку кусок мяса и клал его в рот короля. Эту процедуру повар повторял четырежды, и если он случайно касался вилкой зубов короля, то наказывался смертью.

Каждое утро после дойки коров король Китары садился на трон и правил суд. Он требовал тишины и сердился, если кто-то продолжал разговаривать. Возле него стоял паж с львиной шкурой на правом плече. Под свисавшей вниз головой льва торчала рукоятка обоюдоострого меча, ножны которого были скрыты под львиной шкурой. Когда королю был нужен меч, он протягивал руку, и паж вкладывал в нее оружие. Король поражал мечом кого-нибудь из придворных. И вообще в пределах дворца он сам творил и суд, и расправу. Он гулял, сопровождаемый оруженосцем; когда что-то приходилось ему не по душе, он протягивал руку, и это означало, что чей-то час пробил.

Все его приказы должны были выполняться безоговорочно. Наказанием за неисполнение была смерть. Приказ выступал здесь в своей древнейшей и чистейшей форме, как смертный приговор, выносимый львом всем более слабым животным, непрерывно ощущающим угрозу с его стороны. Если это были враги, они должны были мгновенно удариться в бегство. Если подданные, должны были служить ему. Он мог послать своих людей куда угодно, и пока они подчинялись, им была дарована жизнь. Но по сути, он всегда оставался львом, готовым при малейшем поводе или просто для забавы нанести смертельный удар.

ДЕЛИЙСКИЙ СУЛТАН МУХАММЕД ТУГЛАК

По счастливому стечению обстоятельств до нас дошел точный портрет этого делийского султана, более точный, чем изображение любого другого восточного владыки. Знаменитый арабский путешественник Ибн Батута, объехавший в свое время весь исламский мир от Марокко до Китая, провел семь лет при дворе Мухаммеда Туглака, выполняя разные его поручения. Он оставил живое описание султана, его характера, его двора, способов, которые он применял в уп-

равлении. Долгое время Ибн Батута пользовался расположением султана, а потом жил в смертельном страхе, впад в немилость. Сначала он, как это было принято, льстил султану, а позже пытался спастись от его гнева, ведя аскетический образ жизни.

«Этот король сильнее всех прочих людей любит делать подарки и проливать кровь». Благодаря опыту, обретенному при дворе, Ибн Батута ясно, как мало кто из людей, понял двойственность лика власти, которая одаривает и убивает. Психологическая точность его описаний имеет неоспоримое подтверждение, ибо мы располагаем вторым сообщением на ту же тему, которое возникло совершенно независимо и делает возможным сравнение. Один из высших чиновников, прошедший 17 лет при дворе Мухаммеда, Зияддин Барани, написал вскоре после смерти владыки историю его времени на персидском языке, вошедшую в число лучших произведений такого рода. Среди прочего в книге переданы три разговора, которые будущий историк вел с самим султаном и в которых ярчайшим образом выразились представления Мухаммеда о своих подданных и о правлении вообще. Последующее изложение опирается на оба этих источника, которые воспроизводятся подробно, а иногда и дословно.

Мухаммед Туглак был одним из образованнейших людей своего времени. Его персидские и арабские письма считались образцом изящества и ценились еще долго после его смерти. В каллиграфии, так же как в стиле, он ничем не уступал известнейшим мастерам этих искусств. Он обладал богатой фантазией и умел решать уравнения, хорошо знал персидскую поэзию, у него была необычайная память, многие стихи он помнил наизусть и часто и со вкусом цитировал. Он был прекрасно знаком с персидской литературой вообще. Его одинаково занимали математика и физика, логика и философия греков. «Догмы философов, равнодушие и твердость сердца оказывали на него могучее влияние». При этом он обладал любознательностью врача: сам лечил больных, если у них появлялись необычные, интересовавшие его

симптомы. Ни один каллиграф, ни один ученый, ни один поэт, ни один врач не мог победить его в дискуссии по их собственной специальности. Он был благочестивым человеком, строго придерживался предписаний религии, не пил вина. Придворные должны были строго соблюдать время молитв, нарушитель подвергался суровому наказанию. Он был поборником справедливости, не только ритуальные, но и моральные предписания ислама воспринимались им всерьез, то же требовалось и от окружающих. На войне его отличали отвага и инициатива; молва о его подвигах шла еще во времена, когда правил его отец и даже предшественник отца. Очень важно указать на эту многосторонность его натуры, ибо те его свойства и действия, что современникам казались ужасными и непостижимыми, резко контрастировали с его блестящими качествами, вызывавшими всеобщий восторг и обожание.

Каким был двор этого справедливого и тонко образованного князя? Чтобы попасть во внутренность дворца, надо было пройти трое ворот. У первых стояла стража, а также трубачи и флейтисты. Когда у ворот появлялся какой-нибудь эмир или иная высокая персона, раздавалось пение труб и флейт, сопровождаемое криками: «Такой-то и такой-то прибыл. Такой-то и такой-то прибыл». Сразу перед воротами стояли помосты, на которых сидели палачи. Когда султан приказывал кого-то казнить, приговор осуществлялся прямо перед входом во дворец. Трупы оставляли лежать тут же в течение трех дней. Тот, кто шел во дворец, обязательно наткался на горы и штабеля трупов. Палачи и подметальщики улиц, кому полагалось притаскивать и казнить жертвы, приходили в изнеможение от непрерывной тяжелой работы. Между вторым и третьим порталом располагался приемный зал для обыкновенной публики. Перед третьими воротами сидел Писец порога. Никто не имел права войти в них без особого разрешения султана.

Всякого визитера писец заносил в книгу: «Такой-то пришел к первому часу» или «ко второму» и так далее. После

вечерней молитвы список зачитывался султану. Кто три дня или дольше по уважительной причине или без оной не являлся во дворец, тот и не мог больше прийти без нового разрешения султана. Если провинившийся был болен или мог представить другое извиняющее обстоятельство, султан посылал ему соответствующий его рангу подарок. За этими воротами находился собственно зал приемов султана, названный Залом тысячи стрел, — гигантское пространство с чудесным резным раскрашенным потолком.

Обычно аудиенции происходили во второй половине дня, иногда утром. Султан со скрещенными ногами сидел на троне под белым балдахинном с большой подушкой позади и двумя другими вместо подлокотников. Перед ним стоял визирь, за ним секретари, потом камергеры и так далее по порядку придворной иерархии. «Когда султан опускался на трон, секретари и камергеры вскрикивали во всю мочь своего голоса: «Бисмилла! — Во имя Божие!» Сто воинов в боевом облачении со щитами, мечами и луками стояли справа, сто — слева. Остальные чиновники и знать выстраивались по обеим сторонам зала. Потом вводились шестьдесят лошадей в королевской сбруе, их располагали справа и слева так, чтобы они находились в поле зрения султана. Далее появлялись пятьдесят слонов в расшитых шелком попонах с окованными железом клыками, используемых для уничтожения преступников. На затылке у каждого сидел вожатый с особого рода железным шестом, служащим для наказания и управления. Каждый слон нес на спине просторную корзину, вмещавшую, в зависимости от величины и силы животного, от двадцати до тридцати солдат. Слоны были приучены преклонением колен демонстрировать почтение султану. Каждый раз, как слоны становились на колени, камергеры громко вскрикивали: «Во имя Божие!» Их также располагали по правую и по левую сторону за спинами стоящих. Каждый входящий в зал имел определенное место и, дойдя до камергеров, должен был отдать глубокий поклон. Камергеры сопровождали его возгласом «Во имя

Божие!», причем сила голоса регулировалась в зависимости от ранга гостя, который затем отправлялся на свое место и не имел права покинуть его все время церемонии. Если это был неверующий индус, явившийся выразить почтение султану, камергеры говорили: «Бог привел тебя!»

Так же и въезд султана в свою столицу наглядно описывается арабским путешественником.

«Когда султан возвращался из поездки, слоны были всячески разукрашены; шестнадцать слонов несли зонты от солнца, одни из которых были из парчи, а другие украшены драгоценностями. Были построены деревянные павильоны высотой в несколько этажей и с шелковыми занавесями, на каждом этаже находились певицы и танцовщицы в чудесных платьях и украшениях. Посреди каждого павильона стояли мехи, наполненные сладким сиропом. Кто угодно (и местные жители, и приезжие) мог пить из этих мехов, получая вдобавок листья бетеля и плоды арековой пальмы. Дорога между павильонами была устлана шелком, по которому ступали лошади султана. Стены улиц, по которым он ехал, от городских ворот до входа во дворец были занавешаны шелком. Перед ним шли слуги, несколько тысяч его рабов, за ним — толпа и солдаты. При одном из его въездов в город я видел, как на спинах слонов были поставлены три или четыре маленькие катапульти, разбрасывавшие в народ золотые и серебряные монеты с момента, когда султан вступил в город, до момента, когда он достиг дворца».

Особо щедр был Мухаммед с иностранцами. О каждом, кто достигал границ королевства, он немедленно получал информацию от своей секретной полиции. Его курьерская служба была организована образцово. Расстояние, на которое путешественникам требовалось 50 дней, его бегуны-курьеры, сменявшие друг друга через каждую треть мили, покрывали за пять. Так доставлялись не только письма — редкие плоды из Хорасана свежими прибывали к его столу. Закованных в цепи государственных преступников клали на носилки, которые укреплялись на головах бегунов, и до-

ставляли ему с той же быстротой, что письма и фрукты. Сообщения об иностранцах, появившихся на границах, были точными и конкретными: внешний облик, одежда, количество сопровождающих, рабы, слуги, животные, как стоит, ходит или сидит, за чем проводит время — все описывалось тщательно и в подробностях. Султан уделял этим сообщениям большое внимание. Иностранцам же приходилось ждать в столице пограничной провинции, пока султан не примет решение о том, можно ли гостю следовать дальше и какими почестями его приветствовать. О каждом он судил исключительно по поведению, ибо о его происхождении и семье в далекой Индии трудно было выяснить что-то конкретное. Мухаммед проявлял к иностранцам особый интерес, назначал их губернаторами и сановниками. Его придворные, чиновники, министры и судьи в большинстве своем были иностранцами. Специальным декретом он присвоил им всем титул «преподобие». Он выделял им огромные суммы на содержание, одаривал всеми возможными способами. Благодаря им слава о его щедрости распространилась по миру.

Но еще больше, чем о щедрости, говорили о его строгости. Большие и маленькие проступки он наказывал, невзирая на лица, даже если виновными были люди, известные своей ученостью, благочестием или высокой должностью. Каждый день к нему приводили сотни несчастных в цепях, с закованными руками и ногами. Одних казнили, других подвергали пыткам, третьих избивали. Это был особый учрежденный им порядок: каждый день перед ним проводили всех заключенных его тюрем. Исключением были пятницы — дни отдыха, покоя и очищения.

Одним из самых тяжелых обвинений против султана было то, что он заставил жителей Дели покинуть город. Он считал себя вправе подвергнуть их такому наказанию за присылаемые ему оскорбительные письма. Запечатанные пакеты с надписью «Владыке мира для личного прочтения», — подбрасывались по ночам в зал приемов. Распечатав их, султан не находил ничего, кроме ругани и оскорблений в свой ад-

рес. Он решил разрушить город. Откупив все дома и квартиры жителей Дели за их полную цену, он приказал всем ехать в Даулат-абад, где решил воздвигнуть свою новую столицу. Жители отказались уехать. Тогда он приказал герольдам донести до всех, что по истечении трех дней в городе не должно остаться ни единой живой души. Большинство подчинилось приказу, но некоторые спрятались в своих домах. Султан приказал обыскать город. Рабы поймали на улице двоих: калеку и слепца. Привели к султану, который приказал калекой выстрелить из катапульты, а слепца протащить волоком от Дели до Даулат-абада, что составляло 40 дней пути. По дороге он распался на куски, и в Даулатабад была доставлена лишь его нога. Тогда все бросились вон из города, оставляя мебель и прочее имущество. Город опустел. Опустошение было столь полным, что даже кошек и собак не осталось в домах, дворцах и предместьях города. «Один человек, которому я доверяю, рассказывал мне, что однажды ночью султан взошел на крышу своего дворца и стал смотреть на Дели. Не было видно ни огонька, ни дымка, ни света, и он сказал: «Теперь мое сердце спокойно, и гнев утих». Потом он написал жителям других городов и приказал им переехать в Дели, чтобы вновь заселить его. Результатом стало разрушение их собственных городов. Сам же Дели остался пустым, потому что он ужасно велик — один из крупнейших городов мира. Таким, приехав, мы нашли город: пустым и едва-едва заселенным».

Обида султана на жителей Дели не была результатом долгого царствования. Напряженность в его отношениях с подданными существовала с самого начала, с годами она лишь росла. Приказ оставить Дели последовал уже на втором году правления. О содержании писем, которые подбрасывались в приемную залу, можно только строить догадки. Многое, впрочем, говорит за то, что они касались способа его прихода к власти. Отец Мухаммеда Туглак Шах погиб в результате несчастного случая после всего лишь четырех лет правления. Лишь немногие посвященные знали, как это дей-

ствительно произошло. Старый султан, возвращаясь из военной экспедиции, велел своему сыну возвести павильон для приветствия войск. Через три дня был готов обычный для таких случаев деревянный павильон, но он был сконструирован таким образом, что должен был рухнуть от толчка в одном определенном месте. Когда султан со своим младшим сыном вошел в павильон, Мухаммед просил разрешения начать парад слонов. Разрешение было дано. Слонов вели так, что они, проходя, задевали слабое место постройки. Павильон рухнул, султан и его любимый сын оказались погребены под обломками. Мухаммед настолько затянул спасательные работы, что оказалось уже поздно. Оба были мертвы. Многие утверждали, что султан, старавшийся прикрыть своего сына, еще дышал и его пришлось убить. Мухаммед занял трон без всякого сопротивления, но над злыми языками он не был властен. С самого начала на нем лежало подозрение в убийстве собственного отца.

Делийский султанат при Мухаммеде Туглаке распространился на огромные территории. Потребовалось двести лет, чтобы — уже при Акбаре — столь же значительная часть Индии вновь оказалась под одним правлением. Но Мухаммед отнюдь не был удовлетворен принадлежащими ему двадцатью провинциями. Он мечтал объединить под своей властью весь населенный мир и тешил себя грандиозными планами осуществления этого замысла. Никого из советников или друзей он в эти прожекты не посвящал, но, выдумывая их в одиночестве, в одиночестве ими наслаждался. Что бы ему ни приходило в голову, все он почитал годным. Он нисколько не сомневался в себе, цель ему казалась сама собой разумеющейся, средства, для этого используемые, — единственно верными.

Самыми честолюбивыми из его планов были завоевание Хорасана и Ирака и поход в Китай. Для первой цели была собрана армия в 370 000 всадников. Начальники в городах, которые предполагалось захватить, получили гигантские

взятки. Однако поход не состоялся или провалился с самого начала: армия разбежалась. Суммы, которые были огромными даже по масштабам султаната, оказались потрачены впустую. Завоевательный поход в Китай должен был осуществляться через Гималаи. 100 000 всадников были посланы в горы, чтобы захватить целый массив вместе с его полудикими обитателями и таким образом обеспечить проходы в Китай. Вся армия погибла, за исключением десяти человек, которые возвратились в Дели и там были казнены впадшим в депрессию султаном.

Завоевание мира требовало колоссальных армий, а те требовали больше и больше денег. Впрочем, доходы Мухаммеда были огромны. Со всех сторон стекалась дань от покоренных индусских королей. От своего отца он, среди прочего, унаследовал бассейн, полный отвердевшего расплавленного золота. Но все же он скоро впал в безденежье и, как это ему было свойственно, стал искать чудодейственное средство, чтобы решить все проблемы разом. Он прослышал про китайские бумажные деньги и решил сделать что-то похожее, но на основе меди. Было дано распоряжение начеканить огромное количество медных монет, стоимость которых была произвольно приравнена к стоимости серебра. Он приказал использовать их вместо золота и серебра; теперь все покупалось и продавалось на медь. Следствием этого эдикта стало то, что дом каждого индуса превратился в монетный двор. Жители разных провинций чеканили в частном порядке миллионы и миллионы монет. Ими платилась дань, на них покупались лошади и прочие ценные вещи. Знать, сельские старосты и помещики обогащались на меди, государство беднело. Скоро стоимость новых денег резко упала, тогда как старые монеты, ставшие уже редкими, стали стоить в четыре-пять раз дороже, чем раньше. В конце концов медь стала идти по цене гальки. Купцы придерживали товары, торговля повсюду замерла. Увидев последствия своего указа, султан в гневе отменил его и объявил, что все, кто имеет медные

монеты, должны сдать их в казну в обмен на старые. Люди извлекали медь из всех углов, куда она была зашвырнута, как мусор, и тысячами шли в казну, где получали за нее золото и серебро. Горы медных монет громоздились в Туглакабаде. Казначейство лишилось огромных сумм, безденежье стало еще острее. Когда султан понял, во что обошлось ему введение медных денег, он еще сильнее разозлился на своих подданных.

Другим средством добывания денег были налоги. Уже у его предшественников они были чрезвычайно высоки. Теперь же стали еще выше и собирались с безоглядной жестокостью. Крестьяне превратились в нищих. Те из индусов, кто что-то имел, бросали землю и уходили в джунгли к мятежникам, которых расплодилось огромное множество. Земля пустовала, производство зерна падало. В центральных провинциях империи разразился голод. С началом засухи голод распространился повсюду. Так продолжалось несколько лет. Семьи распадались, голодали целые города, тысячи людей умирали с голоду.

Пожалуй, именно этот голод круто повернул судьбу империи. Умножились бунты. Одна за другой провинции стали отпадать от Дели. Мухаммед все время проводил в экспедициях, усмиряя бунты. Жестокость его росла. Он истреблял целые местности. Приказывал окружать сплошной цепью леса, куда скрывались восставшие, и убивать всех, кто попадется, будь это мужчина, женщина или ребенок. Ужас перед ним был так велик, что, где бы он ни появлялся, никто не смел сопротивляться, если не успевал бежать заранее. Но только он успевал усмирить или опустошить одно место, как мятеж вспыхивал в другой части страны. С губернаторов отпавших провинций он приказывал живьем сдирать кожу. Потом ее набивали соломой, и эти ужасные куклы рассылались для устрашения по всей стране.

Мухаммед не испытывал угрызений совести из-за своей жестокости. Он был убежден в правильности этих методов. Разговоры, которые он вел по этому поводу с историком Зия

Барани, настолько поучительны, что стоит процитировать кое-что из них.

«Ты видишь, — говорил султан своему собеседнику, — сколько вспыхнуло восстаний. Это мне совсем не нравится, хотя люди скажут, что я их сам вызвал своей излишней строгостью. Но я не откажусь от смертной казни ни из-за этих слов, ни из-за восстаний. Ты читал много исторических сочинений. Разве ты не видел, что короли в определенных обстоятельствах прибегали к смертной казни?»

Барани в ответ цитировал высоких исламских авторитетов, полагавших, что смертная казнь может применяться в семи случаях. Применение ее помимо этих случаев вело бы к беспорядкам и бунтам и наносило вред стране. Вот эти случаи: 1. Отпадение от истинной религии. 2. Убийство. 3. Связь женатого мужчины с чужой женой. 4. Заговор против короля. 5. Разжигание мятежа. 6. Установление отношений с врагами короля и передача им сведений. 7. Неподчинение, наносящее вред государству, но *только* неподчинение этого рода. Относительно трех из этих преступлений: отпадения от религии, убийства мусульманина и супружеской измены с замужней женщиной — высказывался сам пророк. Наказание четырех остальных — скорее дело политики и хорошего правления. Но авторитеты, считает Барани, должны были бы еще сказать, что короли назначают визирей, поднимают их в достоинстве и вручают им управление своими царствами. Эти визири для того и существуют, чтобы заботиться о правильности указов и содержать страну в добром порядке, чтобы королю не было необходимости пятнать себя людской кровью.

Султан возражал: «Наказания, которые тогда предлагались, соответствовали тому, раннему состоянию мира. Сейчас дурных и строптивых людей стало гораздо больше. Я их наказываю по подозрению или потому, что догадываюсь об их мятежных и предательских намерениях, и каждый наималейший акт неподчинения караю смертью. Так я буду поступать и дальше, пока не умру или пока люди не

станут вести себя прилично и не прекратятся бунты и непослушание. У меня нет такого визиря, чтобы установить правила, позволяющие мне не проливать крови. Я наказываю людей, потому что они все сразу стали моими соперниками и врагами. Я раздал им огромные богатства, но они все равно не стали лояльнее и дружественнее. Их мысли я хорошо знаю и вижу, что они недовольны и враждебно настроены».

В одном из более поздних разговоров он сожалеет, что не приказал еще раньше казнить всех тех, кто потом доставил ему столько хлопот и волнений. В другой раз — он в тот момент потерял один из важнейших своих городов, именно тот, куда были изгнаны жители Дели, — султан велел позвать Барани и спросил его, какое лечение применяли при такой беде властители прежних времен. Его царство поражено болезнью, и никакое лекарство не помогает. Барани сказал, что короли, понявшие, что утратили уважение народа и стали всем антипатичны, отрекались и передавали правление достойнейшему из своих сыновей. Другие предавались охотничьей страсти и удовольствиям, а государственные дела поручали визирям и чиновникам. Если народ этим удовлетворялся, а король не был мстительным, болезнь таким образом могла быть излечена. Из всех политических зол крупнейшее и ужаснейшее — это чувство антипатии и неуважения во всех слоях населения. Султан, однако, не хотел принять этих прямых и смелых намеков Барани. Когда ему удастся наладить дела в королевстве так, как ему хочется, — только тогда он доверит правление трем определенным людям, а сам совершит паломничество в Мекку. «Сейчас же я в гневе на своих подданных, а они злы на меня. Они знают мои чувства, а я знаю, что чувствуют они. Какое бы лечение я ни применил, все без результата. Меч — вот мое лекарство для повстанцев, мятежников и недовольных. Я казнию их смертью и прибегаю к мечу, чтобы излечить их страданием. Чем больше будет сопротивление, тем сильнее наказание».

Но число восстаний и прочие потрясения оказали все же *определенное* воздействие на душевный облик султана. Его стало грызть сомнение, но не по поводу нагромождений трупов перед дворцом, а также в городах и провинциях, где он бывал, а по поводу легитимности его власти. Он был, как оказалось, благочестивым и законопослушным человеком, а потому хотел, чтобы его власть была освящена высшей духовной санкцией, какую можно получить в исламе. В прошлые столетия ответственными за это считались халифы из дома Аббасидов, сидящие в Багдаде. Но их царство более не существовало. В 1258 г. Багдад был захвачен монголами, и последний халиф убит. Мухаммеду Туглаку, который занял трон в 1325 г., а угрызения совести почувствовал в 1340 г., когда одну за другой стал терять провинции, было вовсе не легко выяснить, кому теперь принадлежит право инвеституры. Он честно занялся розысканиями. Путешественники, прибывающие ко двору из западных исламских стран, подвергались детальным расспросам, пока наконец не выяснилось, что столь желанным «папой» является халиф Египта. Он вошел с ним в переговоры, туда и обратно засновали посольства. В письмах к халифу он позволял себе лезть столь чрезмерную, что даже историк Барани, ко многому привычный, не осмеливается ее воспроизвести. Посла халифа Мухаммед со своими высшими вельможами и богословами встречал у ворот города и шел рядом с ним босиком. Он велел убрать со всех монет свое имя, поместив взамен имя халифа. В пятничных и праздничных молитвах провозглашалось имя халифа. Но этим Мухаммед не удовлетворился. Все прежние короли, не подтвержденные халифом, были вычеркнуты из молитв, а их правление было объявлено недействительным. Имя халифа было запечатлено на самых высоких домах, и ничье имя не могло стоять рядом. В торжественном дипломе, прибывшем из Египта в результате многолетней переписки, Мухаммед по всей форме был объявлен представителем халифа в Индии. Эта гра-

мота так обрадовала султана, что он повелел придворным поэтам переложить ее в стихи.

Во всем остальном он до самого конца остался тем же, чем и был. Жестокость его росла вместе с неудачами. Он не погиб от руки убийцы, а умер после 26 лет правления от лихорадки, которую подцепил во время одной из карательных экспедиций.

Мухаммед Туглак — чистейший случай параноидального владыки. Чуждость его бытия делает его для европейца особенно поучительным. Все в нем выражено однозначно, все на виду. Организация его натуры дана в полной определенности.

Разнообразные массы действуют в его сознании: его войско, его деньги, его трупы, его двор, к которому прицеплена его столица. Он без конца манипулирует этими массами, увеличивая одну за счет другой. С гибелью огромного войска иссякают сокровища. Вся столица посылается в изгнание. В этом мировом городе он, удовлетворенный, вдруг остается один. С крыши дворца он глядит на опустелую столицу — счастье выжившего во всей его полноте.

Что бы ни происходило, *одной* из своих масс он никогда не давал иссякнуть. Ни при каких обстоятельствах он не расставался с мертвецами. Гора трупов перед дворцом стала постоянным явлением. Ежедневно перед ним дефилируют пленники, в качестве кандидатов на казнь они составляют его бесценное достояние. За 26 лет правления нагромождения трупов протянулись от дворца до всех провинций империи. Эпидемии и голод приходят на помощь. Конечно, его злит неизбежная убыль в собираемых налогах. Но пока число жертв растет, ничто не может всерьез поколебать его уверенности в себе.

Чтобы сила его приказов, которые суть не что иное, как смертные приговоры, могла достичь абсолютной концентрации, он старается получить поддержку высочайшей инстанции, обосновывающей власть. Бога, в которого он ве-

рит как благочестивый магометанин, уже недостаточно. Он ищет инвеституры от законного представителя Бога.

Современные индийские историки защищают Мухаммеда Туглака. Власть никогда не испытывала недостатка в славословящих. Историки, которые профессионально ею одержимы, умеют объяснить все через *время*, за которым им, как знатокам, легко укрыться, или через *необходимость*, которая в их руках примет любой облик.

Подобные изображения должны бы встретиться и во времена, гораздо более к нам близкие, чем время Мухаммеда Туглака. Для профилактики полезно прояснить процессы власти в человеке, который, к счастью для мира, владел ею лишь в собственных грезах.

СЛУЧАЙ ШРЕБЕРА. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Трудно найти более содержательный и исчерпывающий документ, чем «Памятные записки» бывшего президента дрезденского сената *Шребера*. Это был человек умный и образованный, профессия приучила его к ясности формулировок. Заболев паранойей, он семь лет провел в психиатрической больнице, прежде чем решился в деталях записать то, что впоследствии явилось миру как система его безумия. «Памятные записки нервнобольного» составили целую книгу. Он был настолько убежден в правильности и важности своей самодельной религии, что после того, как опека была снята, отдал книгу в печать. Его язык как будто специально создан для выражения столь своеобразной системы мыслей: он запечатлевает именно столько, сколько нужно, чтобы ничто существенное не осталось в тени. Он говорит, что не является, да и на самом деле не является писателем, поэтому за ним можно следовать повсюду без опаски.

Я намерен показать выдающиеся черты его системы, насколько это возможно, кратко. Думаю, здесь можно очень

близко подойти к пониманию природы паранойи. Если другие исследователи того же самого материала придут к другим результатам, это можно объяснить богатством «Памятных записок».

Притязания Шребера очевиднее всего там, где он их по видимости ограничивает. «Я всего лишь человек, — говорит он почти в самом начале, — и потому связан границами человеческого познания». Но он нисколько не сомневается, что к истине он неизмеримо ближе, чем все прочие человеческие существа. Потому он сразу переходит к вечности: мысль о ней пронизывает всю книгу. Вечность значит для него гораздо больше, чем для обыкновенных людей. Он в ней прекрасно ориентируется, он ее рассматривает не как нечто ему полагающееся, а как нечто ему уже принадлежащее. Он мыслит гигантскими временными масштабами: его переживания простираются на столетия. Ему представляется, что «будто бы отдельные ночи длятся столетиями, и за это время со всем человечеством, с самой Землей и всей Солнечной системой происходят глубочайшие изменения». В космосе, как и в вечности, он чувствует себя дома. Некоторые созвездия и отдельные звезды: Кассиопея, Вега, Капелла, Плеяды — ему особенно по душе. Он говорит о них так, будто это автобусные остановки за углом. При этом он хорошо осознает, насколько в действительности они далеки от Земли. Астрономия ему знакома, и масштабы мира он не преуменьшает. Даже наоборот: небесные тела привлекают его именно потому, что отделены огромными расстояниями. Его зачаровывает величина пространства, он хочет быть таким же огромным, покрыть его целиком.

Однако нет впечатления, что все дело в процессе роста. Речь идет скорее о *распространении* как росте: ему нужна даль, чтобы в ней закрепиться и утвердиться. Важна *позиция* как таковая, а она не может быть в достаточной мере масштабной и вечной. Верховный принцип для него — мировой порядок. Он выше Бога, пытаясь его нарушить, Бог сталкивается с трудностями. О своем собственном челове-

ческом *теле* Шребер пишет так, будто это *мировое тело*. Порядок в планетной системе интересует его так же непосредственно, как других людей — порядок в семье. Он хочет быть включенным в него, обрести в нем свою определенность. Может быть, именно вечность и неизменность созвездий, как они являются нам тысячелетиями, — главное, что его в них привлекает. «Место» в их ряду — это действительно место в вечности.

Это свойственное параноику *чувство позиции* играет крайне важную роль: он всегда стремится защитить и обезопасить свою исключительную позицию. Властители в соответствии с самой природой власти ведут себя так же и в субъективном ощущении своей позиции не отличаются от параноиков. Кто может, окружает себя солдатами и запирается в крепости. Шребер, ощущающий множество угроз с самых разных сторон, держится за звезды. Опасности, как это становится видно, повсюду в мире. Чтобы понять их природу, нужно познакомиться с его, этого мира, обитателями.

Человеческая *душа*, полагает Шребер, содержится в *нервах* тела. Пока человек живет, он есть душа и тело одновременно. Но когда он умирает, в качестве души сохраняются нервы. Бог всегда только нервы и никогда тело. Он поэтому родствен человеческой душе, но в то же время неизмеримо ее превосходит, потому что число божественных нервов бесконечно и они вечны. Божественные нервы обладают способностью переходить в лучи, например, солнечные и звездные. Бог радуется миру, который создал, но в то же время непосредственно не вмешивается в его жизнь. После сотворения он отошел от мира и теперь в основном держится вдали. Бог *не вправе* приближаться к людям слишком близко, поскольку нервы живущих людей могут его каким-то особым образом притянуть так, что он не сможет освободиться и его существование окажется под угрозой. Поэтому Бог всегда настороже, и, когда случается, что особо пылкая молитва или поэзия подманит его близко к людям, он старается, пока не поздно, быстро ретироваться.

«Регулярное общение Бога с человеческими душами происходит только после смерти. К трупам он может приближаться безо всякого риска, чтобы извлечь нервы из тел и пробудить их к новой небесной жизни». Но перед этим человеческие нервы должны быть отсепарированы и очищены. Богу нужны только чистые нервы, потому что они должны войти в него и потом «в качестве преддверия небес стать частью его самого». Для этого используется сложный процесс очищения и осветления нервов, который, однако, Шребер не сумел описать в деталях. Когда души прошли эту процедуру и вознеслись на небо, они постепенно забывают, кем были на земле, но забывают не одинаково быстро. Значительные персоны, такие как Гете или Бисмарк, могут сохранить самосознание на столетия, но никто, даже самые великие, — навсегда. Ибо «назначение всех душ в конечном счете — *слившись с другими душами, возноситься в высших единствах* и чувствовать себя при этом только лишь частью Бога — преддвериями небес».

Слияние душ в массу здесь считается высшим из всех блаженств. Вспоминаются некоторые христианские изображения: ангелы и святые, слившиеся друг с другом так тесно, что образуют облако, иногда действительное облако, в котором, только внимательно присмотревшись, можно различить отдельные головы. Это столь распространенное представление, что о его значении вовсе не задумываются. А оно подразумевает, что блаженство заключается не только в близости к Богу, но и в тесном совместном бытии равных. Будучи названы «преддвериями небес», эти блаженные души сплачиваются еще сильнее, действительно образуя «высшие единства».

В живых людях Бог не очень разбирается. В дальнейших разделах «Памятных записок» Шребер бросает ему упрек в неспособности понять живого человека, точнее, правильно судить о его мыслительной деятельности. Он говорит об ослепении Бога, происходящем из его непонимания человеческой природы. Он, мол, привык иметь дело с трупами и

боится подходить к живым. А вечная божественная любовь должна, по сути, относиться к творению как к целому. Значит, тем абсолютно совершенным существом, каким его считает большинство религий, Бог не является. Впрочем, он все же не дал вовлечь себя в *заговор* против невинных людей, который, собственно, и явился причиной и ядром болезни Шребера. Ибо в «дивно устроенном» мире, каким он всегда рисовался, внезапно возник раскол. В царстве Божьем разразился тяжкий кризис, тесно связанный с личной судьбой Шребера.

Дело идет не более и не менее как об убийстве души. Шребер уже был однажды болен и находился на лечении у лейпцигского психиатра профессора Флехсига. Через год он был сочтен излечившимся и вернулся к своей работе. Шребер был очень благодарен психиатру, но еще более благодарной была его жена, которая «почитала профессора Флехсига как человека, вернувшего ей мужа, и поэтому постоянно держала портрет профессора на своем письменном столе». Шребер прожил с женой после этого восемь здоровых, счастливых, заполненных работой лет. За это время ему неоднократно попадался на глаза портрет профессора на рабочем столе жены, что, как оказалось, его очень заботило, хотя сам он этого ясно еще не осознавал. Но когда он заболел снова, и обратились, естественно, к Флехсигу, который однажды уже сумел справиться с болезнью, оказалось, что фигура психиатра в сознании Шребера выросла до опасных размеров.

Возможно, Шребер, который был судьей и сам обладал определенным авторитетом, втайне затаил обиду на Флехсига, во власти которого находился целый год. Теперь, вновь оказавшись в его власти, он его просто возненавидел. У него сложилось убеждение, что Флехсиг вознамерился убить или украсть его душу. Представление о том, что можно похитить душу другого человека, старо как мир и широко распространено. Таким способом человек присваивает себе душевные силы обокраденного или обеспечивает

себе более долгую жизнь. Из честолюбия или жажды власти Флехсиг вошел в *комплот* с Богом и постарался убедить его, что речь идет вовсе не о душе Шребера. Возможно даже, дело заключалось в старом соперничестве между семьями Шреберов и Флехсигов. Один из Флехсигов внезапно мог почувствовать, что кто-то из семьи Шреберов препятствует возвышению его семьи. Тогда он вступил с представителями Божьего царства в тайный сговор о том, например, что всем Шреберам будет заказан выбор определенных профессий, которые могли бы вести к установлению более тесных отношений с Богом. Одной из таких профессий была профессия врача по нервным болезням; поскольку нервы — это как раз та самая субстанция, из которой состоит Бог и все остальные души, становится ясно, какой огромной властью обладает врач по нервным болезням. Так и оказалось, что среди психиатров не было никого из Шреберов, но психиатром был Флехсиг: путь перед заговорщиками был открыт, Шребер оказался в полной власти убийц его души.

Полезно указать здесь на роль заговора для параноика. *Конспирация, тайный сговор* всегда у него на уме. Можно быть уверенным: с чем бы он ни сталкивался, везде будет звучать одна и та же тема. Параноик чувствует себя *обложенным* со всех сторон. Его архивраг не довольствуется тем, что нападает сам. Он всегда старается возбудить против него злобную *стаю*, которую затем спустит в нужный момент. Те, кто входит в стаю, старательно замаскированы, но на самом деле они повсюду, притворяющиеся невинными и безвредными, как будто даже и не знают, за кем охотятся. Но пронизывающее духовное зрение параноика их разоблачает. Куда бы он ни запустил руку, отовсюду вытаскивает заговорщика. Стая всегда вокруг, даже если не лает; ее цель неизменна. Подкупленные или завербованные врагом, они остаются его преданными псами. Он может обращаться с ними как хочет. Даже находясь далеко, он их держит на прочном поводке их испорченности. Он направляет их, куда ему угодно, стараясь расположить их так, чтобы в нужный

момент они ринулись на жертву со всех сторон и с решающим перевесом в силах.

Итак, если этот заговор против Шребера существовал, как на самом деле действовали заговорщики? Каковы были их цели и что они предпринимали, чтобы их реализовать? Первой и важнейшей, хотя и не единственной целью, которую они преследовали на протяжении многих лет, было разрушение его разума. Его надо было превратить в сумасшедшего. Его нервное заболевание следовало завести так далеко, чтобы оно стало неизлечимым. Что могло сильнее ранить человека такой духовной силы? Его болезнь началась с мучительной бессонницы. Что против нее ни делалось, все напрасно. С самого начала, считает Шребер, была идея лишить его сна и тем самым вызвать распад его духа. Для этого на него было направлено бесчисленное множество *лучей*. Сперва они исходили от профессора Флехсига, но потом во все большей степени им начали интересоваться и направлять на него свои лучи души умерших, еще не закончившие процесс очищения, «проверенные души», как их называет Шребер. Сам Бог принял участие в этом воздействии. Все эти лучи *разговаривали* с ним, но так, что другими это не воспринималось. Это было как молитва, которую человек читает про себя, не произнося вслух составляющих ее слов. Но различие было в том, что в случае молитвы содержание зависит от воли молящегося, тогда как лучи, напускаемые на него извне, говорили то, что *им* хотелось.

«Я мог бы назвать здесь сотни, если не тысячи имен тех, кто сообщался со мной в виде душ... Все они являлись мне «голосами», причем каждая не знала о присутствии других. Какое безнадежное смятение воцарилось в моей голове, сможет понять каждый...

Вследствие моей постоянно растущей нервозности и поэтому усиливающейся силы тяготения ко мне притягивалось все большее количество отошедших душ, рассеивавшихся затем в моей голове или в моем теле. В очень многих случаях дело заканчивалось тем, что эти души в виде так

называемых «маленьких человечков» — микроскопических фигурок человеческого облика, но величиной в несколько миллиметров, — проводили некоторое время у меня в голове, а потом исчезали вовсе... Очень часто их звали по именам звезд или созвездий, с которых они явились или под которыми жили...

Были ночи, когда души в виде маленьких человечков падали на мою голову сотнями, если не тысячами. При этом я предупреждал их, чтобы они не приближались, потому что из предыдущих случаев знал о бесконечно возросшей силе тяготения моих нервов, но души сначала не могли поверить в такую опасную силу тяготения».

«На языке душ я звался «духовидец», то есть человек, который видит духов, общается с духами или отошедшими душами. На самом деле, с тех пор как стоит мир, вряд ли был случай, подобный моему, когда человек вошел бы в постоянные отношения не просто с *отдельными* отошедшими душами, но со всей совокупностью душ и даже с всемогуществом Бога».

Ясно, что эти процессы имеют для Шребера массовый характер. Космос вплоть до самых отдаленных звезд населен душами умерших. У всех имеется предписанное место проживания — та или иная хорошо известная звезда. Внезапно из-за своей болезни он становится для них сборным пунктом. Они слетаются к нему, несмотря на его настойчивые предупреждения. Его притяжение неодолимо. Можно было бы сказать, что он собирает их вокруг себя как массу, и поскольку, как он подчеркивает, речь идет о совокупности всех душ, то собирается величайшая из всех возможных масс. Но дело не только в том, что она собирается вокруг него, как народ вокруг своего вождя. С ними происходит то, что народы, собирающиеся вокруг вождей, — *все равно*, что это за народы, — понимают лишь постепенно, с течением лет: они становятся все *меньше*. Достигнув его, они мгновенно ссыхаются до размера нескольких миллиметров, подлинное отношение между ними обнаруживается с пол-

ной убедительностью: по сравнению с ними он великан, они снуют вокруг него в виде мельчайших созданий. Но этим дело не ограничивается: великан их поглощает. Они в буквальном смысле входят в него, чтобы затем полностью исчезнуть. Его воздействие на них уничтожительно. Он их притягивает, собирает вокруг, уменьшает и проглатывает. Все, чем они были, усваивается теперь его телом. Но они являлись не для того, чтобы оказать ему эту услугу. Собственно, их намерения были враждебными: они посланы были, чтобы смутить его разум и тем погубить его. Однако в борьбе с этой опасностью он и вырос. Теперь, когда он научился их *связывать*, он немало горд своей притягивающей силой.

На первый взгляд, в этой области своей мании Шребер выглядит персонажем прошлого, когда вера в духов была всеобщей, а души мертвых, как летучие мыши, порхали сквозь уши живых. Он будто бы служит шаманом, который досконально знает миры духов, умеет устанавливать с ними прямую связь и использовать их для любых возможных человеческих целей. К тому же он охотно называет себя духовидцем. Но власть шамана далеко не так велика, как власть Шребера. Шаман иногда действительно принимает в себя духов. Но они никогда не исчезают в нем, сохраняют независимое существование, и заранее предполагается, что в конечном счете они выйдут наружу. В Шребере, наоборот, они сходят на нет, исчезают, как будто и не существовали сами по себе. Его безумие, принявшее облик старомодного мировоззрения, основанного на существовании духов, на самом деле есть точная модель *политической* власти, которая питается массой и из нее же состоит. Любая попытка понятийного анализа власти может только повредить ясности шреберовского созерцания. В нем содержатся все элементы реальных отношений: сильное и непрерывное притягивающее воздействие, заставляющее индивидов собираться в массу; сомнительность их намерений; их связывание, когда они уменьшаются, становясь частью массы; их исчезновение во властителе, воплощающем политическую

власть своей персоной, своим *телом*; его величина, которая, таким образом, должна непрерывно *обновляться*; и, наконец, — последний и очень важный пункт, о котором до сих пор речь не заходила, — связанное с ним ощущение *катастрофичности*, угроза мировому порядку, которая обретает собственную притягательность именно по причине этого резкого и неожиданного возрастания.

Об этом ощущении в «Памятных записках» сколько угодно свидетельств. В шреберовских видениях конца мира есть нечто величественное. Прежде всего, надо привести одно место, непосредственно относящееся к силе, с которой он притягивает души. Души, массами падающие на него со звезд, своим поведением ставят под угрозу сами небесные тела, с которых происходят. Кажется, будто звезды, по сути дела, *состоят* из этих душ, поэтому, когда души в больших количествах уносятся, притягиваемые Шребером, все исчезает.

«Со всех сторон приходили печальные новости, что отныне ту или иную звезду, то или иное созвездие следовало забыть; то вдруг оказывалось, что потоп отныне скрыл Венеру, потом, что вся Солнечная система перестала существовать, потом, что Кассиопея — все созвездие — свелось к одному-единственному солнцу, и только Плеяды, пожалуй, еще можно было спасти».

Но озабоченность состоянием небесных тел была только *одним* из аспектов шреберовского катастрофического мировоззрения. Гораздо важнее был другой факт, с которого *началась* его болезнь. Он касался не душ умерших, с которыми Шребер, как известно, непрерывно общался, а других людей. Таковых, собственно, больше не стало — *все человечество погибло*. Самого себя Шребер считал *единственным* оставшимся настоящим человеком. Те немногие человеческие существа, с которыми он имел дело, например врач, сторож лечебницы или другие пациенты, были, с его точки зрения, чистой видимостью. Это были «наспех подделанные люди», которых ему подставляли, чтобы смутить его ум. Они возникали как тени или картинки и вновь исче-

зали; конечно, он не принимал их всерьез. Настоящие люди все погибли. *Он был единственным живым человеком.* Это не было содержанием отдельных, внезапно приходящих откровений, не опровергалось другими, противоположными фактами, это было твердое, годами державшееся убеждение. Этой подлинной верой были окрашены все другие видения заката мира.

Он считал возможным, что вся лечебница Флехсига или даже весь Лейпциг вместе с нею были «изъяты» с Земли и перенесены на какое-то небесное тело. Говорившие с ним голоса иногда осведомлялись, существует ли еще Лейпциг. В одном из своих видений он спускался на лифте в глубины Земли. Он опускался сквозь разные по времени земные слои, пока не оказывался в лесу каменноугольного периода. Покинув на время кабину, он бродил как по кладбищу, попадал в места, где лежало все население Лейпцига, даже видел могилу своей жены. При этом, надо заметить, жена его была жива и регулярно навещала его в больнице.

Шребер по-разному объяснял себе гибель человечества. Он размышлял о понижении температуры благодаря растущему отдалению Солнца и связанному с этим всеобщему оледенению. Приходили ему на ум и землетрясения. Ему было сообщено, что великое лиссабонское землетрясение связывалось со случаем одного духовидца, напоминавшим его собственный. Новость о появлении в мире волшебника, а именно профессора Флехсига, а также об исчезновении самого Шребера, который был все-таки широко известной личностью, пробудила в человечестве страх и сокрушила основы религии. Воцарилась всеобщая неуверенность и тревожность, пошатнулась нравственность, и на человечество обрушились сокрушительные эпидемии. Это была чума и проказа, о которых в Европе давно уже не было слуху. У себя на теле он заметил симптомы чумы. Чума выступала в разных формах: была голубая, коричневая, белая и черная чума.

Пока люди гибли в этих страшных эпидемиях, сам Шребер был вылечен благодетельными лучами. Следовало раз-

личать два рода лучей: «вредоносные» и «благодетельные». Первые были насыщены трупным ядом и другими продуктами разложения, они вносили в тело зародыши болезни или вызывали другие разрушительные последствия. «Благодетельные» или чистые лучи действовали как противоядие, нейтрализуя вред, причиняемый первыми.

Вовсе не складывается впечатление, что все эти беды постигли человечество вопреки воле Шребера. Кажется, наоборот, он удовлетворен тем, что нападения врагов, на которые обречен профессор Флехсиг, привели к таким чудовищным последствиям. Все человечество наказано и уничтожено потому, что кто-то осмелился выступить *против него*. Только он благодаря «благодетельным лучам» спасся от эпидемии. Шребер оказывается единственным выжившим потому, что он сам этого хочет. Он хочет быть единственным живым среди гигантского поля трупов, и это поле заключает в себе всех других людей. Этим он обнаруживает в себе не только параноика, это ведь глубинное стремление каждого идеального *властителя* — стать последним из оставшихся в живых. Властитель посылает людей на смерть, чтобы смерть пощадила его самого, он старается перевести ее на других. Смерть других ему не просто небезразлична: он старается превратить ее в массовое явление. Особенно он склонен прибегать к этой радикальной мере, когда колеблется его власть над живыми. Если он ощутил угрозу своей власти, то желания видеть мертвыми *всех* перед собой не смирить никакими рациональными соображениями.

Можно было бы возразить, что такая «политическая» интерпретация Шребера не совсем уместна. Его апокалиптические видения имеют скорее религиозный характер. Он вовсе не выражает намерения господствовать над живыми — власть духовидца имеет другую природу. Из-за того, что его мания сопровождается представлением о гибели всех других людей, ему вряд ли можно приписать тягу к власти мирского порядка.

Очень скоро станет ясной ошибочность такого возражения. У Шребера обнаруживается система политики, лежащая в сокровенном ядре его идей. Но прежде чем ее воспроизвести, глянем на его представления о божественной власти.

Сам Бог, полагает он, «определял все направление нацеленной против меня политики...» «Бог в состоянии когда угодно уничтожить неудобного ему человека, наслав на него смертельную болезнь или направив удар молнии...» «Когда интересы Бога сталкиваются с интересами отдельного человека или группы людей, может быть, даже обитателей целой планеты, в Боге так же, как в любом другом одушевленном существе, просыпается чувство самосохранения. Вспомним Содом и Гоморру!...» «Немыслимо, чтобы Бог отказался уделить любому единичному человеку положенную ему долю блаженства, поскольку любое умножение «преддверий небес» служит лишь тому, чтобы увеличивать его собственную власть и упрочивать оборону против опасностей, возникающих из-за приближения человечества. Столкновение интересов Бога и отдельного человека — при условии, что человек ведет себя в согласии с мировым порядком, — просто не может произойти». Если в его случае это столкновение интересов все же произошло, так это совершенно своеобразное явление в мировой истории, которое никогда больше не повторится. Он пишет о «восстановлении единоличной власти Бога на небесах»; о «своего рода союзнических отношениях флехсиговой души с частями Бога», направляющими против него свои острия; возникшее по причине этого союза изменение баланса сил сохраняется, по существу, вплоть до нынешнего дня. Он упоминает о «колоссальных силах со стороны всемогущего Бога» и о «бесперспективности сопротивления» со своей стороны. Он высказывает догадку о том, что «властные полномочия профессора Флехсига, как управляющего одной из Божьих провинций, простерлись, должно быть, вплоть до Америки». То же самое, кажется, относится к Англии. Упоминается венский

врач по нервным болезням, который «очевидно, представляет интересы Бога в другой Божьей провинции, а именно в славянских областях Австрии». Между ним и профессором Флехсигом завязалась борьба за власть.

Из этих цитат, которые взяты из очень далеко отстоящих друг от друга частей памятных записок, возникает совершенно ясный образ Бога: он есть не что иное, как властитель. В его державе имеются провинции и партии. Его интересы, обозначенные кратко и отчетливо, состоят в усилении его собственной власти. Именно поэтому, а не по какой иной причине, он ни одному человеку не откажет в причитающейся тому доле блаженства. Неудобных людей он уберет со своей дороги. Ошибиться здесь невозможно: этот Бог сидит в центре своей политики как паук в центре паутины. А отсюда недалеко и до собственной политики Шребера.

Пожалуй, надо предупредить, что он был воспитан в старой протестантской традиции Саксонии и с недоверием воспринимал стремление к обращению в католицизм. Его первое высказывание о *немцах* связано с победоносной войной 1870/71 гг.

Он получил достаточно ясные указания на то, что суровая зима 1870/71 гг. была организована Богом для того, чтобы обратить военную удачу на сторону немцев. Бог также проявляет слабость к немецкому языку. В период своего очищения души изучают «основной язык», на котором изъясняется сам Бог: это немножко старомодный, но мощный «дойч». Это, конечно, не означает, что блаженство предназначается только для немцев. Но тем не менее в Новое время — от Реформации, а может быть, даже от переселения народов — именно немцы являются избранным народом Божиим, чьим языком Бог по преимуществу пользуется. Избранные народы Божьи сменяли друг друга в ходе истории в зависимости от того, какой из них проявлял больше нравственной добродетели. Это были древние евреи, потом персы, потом греко-романские народы и, наконец, немцы.

Избранному германскому народу, естественно, угрожают опасности. На первом месте стоят гонения со стороны католиков. Вспоминаются сотни, если не тысячи имен чистых душ, которые в виде лучей входили в контакт и разговаривали с ним. У многих поименованных на первом плане стояли религиозные интересы. Среди них было много католиков, рассчитывавших на подъем католицизма, в частности, на обращение Саксонии и Лейпцига: сюда относились лейпцигский священник Ст., «14 лейпцигских католиков» (возможно, католический кружок), отец-иезуит С. из Дрездена, кардиналы Рампола, Галиберти и Казати, сам папа, наконец, бесчисленные монахи и монахини; однажды сразу 240 монахов-бенедиктинцев под водительством священника «в виде душ вошли в мою голову, чтобы найти там свой конец». Среди душ находился также венский врач по нервным болезням, крещенный еврей и славянофил, который при посредстве Шребера намеревался ославянить Германию и заодно установить власть еврейства.

Католицизм здесь, как видим, представлен полным набором. Не только простые верующие, которые в Лейпциге организовывали пресловутые кружки, — представлена и вся церковная иерархия. Упоминается иезуитский патер, как бы олицетворяющий все опасности, связываемые с именем иезуитов. Из церковных владык появляются три кардинала с явно итальянскими именами и сам папа. Монахи и монахини выступают в огромных количествах. Даже дом, где живет Шребер, кишит ими как паразитами. В одном из видений, которые я здесь не привожу, ему чудится, что женское отделение университетской нервной клиники переоборудовано под женский монастырь, а в другой раз — под католическую капеллу. В комнатах под крышей лечебницы сидят милосердные сестры. Но больше всего впечатляет шествие 240 бенедиктинских монахов под водительством священника. Ни одна из форм самоизображения не соответствует католицизму более, чем форма шествия. Замкнутая группа монахов выступает как массовый кристалл по отно-

шению к прочим верующим католикам. Вид шествия пробуждает в зрителях их собственную латентную веру, и они внезапно испытывают стремление присоединиться и шагать в хвосте. Так шествие увеличивается за счет тех, мимо кого оно движется; оно должно, по сути дела, стать бесконечным. Проглотив шествие, Шребер символически покончил с католицизмом как таковым.

Из раннего, острого этапа болезни, который Шребер называет святым временем, особенно выделяется своей напряженностью приблизительно четырнадцатидневный период — время первого Божьего суда. Первый Божий суд — это ряд видений, следовавших непрерывно днем и ночью, в основе которых лежала «одна генеральная идея». Ядро этой идеи в сущности политическое, хотя она и приобретает мессианское заострение.

Благодаря конфликту между профессором Флехсигом и Шребером наступил кризис, опасный для Божьего царства. На этом основании немецкому народу и прежде всего евангелической Германии могло быть отказано в привилегии в качестве избранного народа вести остальные народы. Возможно даже, оккупация других небесных тел — обитаемых планет — провалилась бы, если бы в немецком народе не выдвинулся герой, способный воплотить в себе его неуязвимую доблесть. Этим героем представлялся то сам Шребер, то кто-то из называемых им персон. По настоянию голосов он называл имена разных выдающихся деятелей, подходящих, по его мнению, на такую роль. Главная идея первого Божьего суда связывалась с усилением католицизма, еврейства и славянства. Особенно сильно влияли на него представления, относящиеся к будущим странствиям его души.

«Мне поочередно предписывались роли... «воспитанника иезуитов в Оссеге», «бургомистра Клаттау», «эльзасской девушки, которая пытается защитить свою честь от посягательств французского офицера», наконец, «монгольского князя». Во всех этих предвидениях, мне казалось, я распо-

знаю некую связь с целостной картиной, складывающейся на основе других видений... Будущность в качестве воспитанника иезуитов в Оссеге, бургомистра в Клаттау и эльзасской девушки в вышеописанном положении я рассматривал как предсказания того, что протестантизм уже покорился либо покорится католицизму, и немецкий народ уже уступил либо уступит в борьбе со своими романскими и славянскими соседями. Открывшаяся передо мной перспектива стать монгольским князем казалась мне указанием на то, что, когда арийские народы показали свою неспособность стать опорой Божьего царства, как к последней надежде надо было обратиться к неарийским народам».

«Святое время» Шребера пришлось на 1894 г. У него была страсть к точным обозначениям времени и места. Весь период «первого Божьего суда» точно датирован. Шестью годами позже, в 1900 г., когда его мания прояснилась и стабилизировалась, он приступил к составлению «Памятных записок», в 1903-м они были опубликованы как книга. Невозможно отрицать, что по истечении нескольких десятилетий его политическая система оказалась возведенной в высшее достоинство. В несколько более грубом и «примитивном» виде, чем у него, она превратилась в кредо великого народа. Под руководством «монгольского князя» она стала инструментом завоевания европейского континента и чуть ли не достижения мирового господства. Шреберовские претензии были поддержаны ничем о том не подозревающими его потомками. От нас этого ждать не стоит. Но сам неоспоримый факт почти полного совпадения обеих систем оправдывает то, что здесь на основе одного случая паранойи мы делаем далеко идущие выводы, и еще многое нам предстоит.

Во многом Шребер оказался впереди своего столетия. О захвате заселенных планет думать было не время. Любой избранный народ был бы для этого слишком ранним. Но католиков, евреев и славян он уже воспринимал так же *лично*, как позднейший — им не названный — герой, и так же в качестве враждебных *масс*, ненавидимых за само их су-

ществование. Устойчивая тенденция к возрастанию была свойственна им как массам. А по отношению к свойствам массы ни у кого так не наметан глаз, как у параноика или властителя, что в сущности — и теперь с этим можно согласиться — одно и то же. Ибо *он* — обозначим оба персонажа одним местоимением — интересуется лишь массами, которые стремится уничтожить или покорить, а у масс повсюду один и тот же простой облик.

Примечательно, какими представляет Шребер свои будущие существования. Он перечисляет их пять, из которых лишь первое, которое я опустил, не имеет политического характера. Три последующих переносят его в крайне двусмысленные и спорные ситуации: в качестве воспитанника он прокрадывается к иезуитам, оказывается бургомистром в богемском городе, где идет борьба между немцами и славянами, в образе немецкой девушки защищает честь Эльзаса от поругания французским офицером — ее «женская честь» странным образом напоминает расовую честь потомков Шребера. Поучительнее всего, однако, его пятое воплощение в монгольского князя. Объяснение, которое он ему дает, очень похоже на своего рода извинение. Он стыдится своего все-таки неарийского существования и объясняет его тем, что арийские народы не смогли себя показать. В действительности в качестве монгольского князя является не кто иной, как Чингисхан. Шреберу по душе нагромождавшиеся монголами пирамиды черепов, его любовь к горам трупов теперь читателю понятна. Он одобряет этот прямой и массовый путь разбирательств с врагами. Кто сумел их всех уничтожить, у того их не осталось, и он услаждает взор горами их неподвижных тел. Кажется, что потом Шребер вернулся во всех этих четырех существованиях. Успешнее всего он был монгольским князем.

Из этого детального рассмотрения паранойального безумия одно пока что следует несомненно: религиозное здесь пронизано политическим, одно от другого неотделимо, спаситель мира и владыка мира — это *одно* лицо. Жажда власти —

ядро всего. Паранойя — это, в буквальном смысле слова, *болезнь власти*. Исследование этой болезни во всех аспектах ведет к таким полным и ясным выводам о природе власти, которых не получить никаким иным способом. И не надо указывать на то, что в случаях, подобных шреберовскому, ни один больной не достиг той чудовищной позиции, к которой направлены его устремления. Другие достигли. Некоторым из них удалось талантливо замаскировать следы своего восхождения и удержать в секрете всю используемую систему. Другим не повезло или просто не хватило времени. Успех здесь, как и везде, зависит от случайностей. Их реконструкция под видом закономерностей зовется историей. Под каждым великим именем в истории могли бы поодиночке стоять сотни других. Дар подлости широко распространен в человечестве. У каждого есть аппетит, и каждый выглядит королем, стоя над беспредельным полем трупов животных. Честное исследование власти должно отказаться от успеха как критерия. Свойства власти, так же как ее извращения, должны старательно собираться отовсюду и подвергаться сравнению. Изгнанный из общества, беспомощный, всеми пренебрегаемый душевнобольной, коротающий дни в сумерках лечебницы, именно благодаря мыслям, на которые он навел, станет важнее, чем Гитлер или Наполеон, и раскроет человечеству истину о его проклятии и его вождях.

СЛУЧАЙ ШРЕБЕРА. ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Заговор, сложившийся против Шребера, был нацелен не только на убийство его души и разрушение разума. Ему было уготовано кое-что еще, почти столь же унижительное: превращение его тела в женское. Как женщину, его должны были использовать, а потом «оставить лежать во власти разложения». Эти идеи о превращении в женщину беспрерыв-

но преследовали его в годы болезни. Он чувствовал, как женские нервы в виде лучей внедряются в его тело, постепенно превращая его в женщину.

В начале болезни он всевозможными средствами пытался лишиться себя жизни, чтобы избежать такого ужасного унижения. Всякий раз в ванне он воображал, что захлебывается и тонет. Требовал яду. Но постепенно это предполагаемое превращение в женщину перестало вызывать отчаяние. В нем сложилось убеждение, что именно этим он сумеет помочь сохранению человечества. Ведь все люди погибли в ужасных катастрофах. Он, единственный оставшийся в живых, именно как женщина сможет дать жизнь новому человеческому роду. В качестве отца его детей мог фигурировать только Бог. Значит, надо было завоевать его любовь. Соединиться с Богом — высокая честь; стать для этого более женственным, почистить перышки, завлечь коварными уловками — бородастый бывший сенатский президент теперь уже не видел в этом ни стыда, ни позора. Именно так можно было разрушить заговор, построенный Флехсигом. В конце концов расположение Бога было завоевано, Всемогущий, увлеченный красивой женщиной — Шребером, впал даже в некоторую зависимость от него. Таким способом, который кому-то может показаться отталкивающим, Шреберу удалось привязать Бога к себе. Бог не без сопротивления отдался этой несколько постыдной судьбе. Он все время пытается уйти от Шребера, он явно старается вовсе от него освободиться. Но притягательная сила Шребера уже слишком велика.

Высказывания, относящиеся к этой теме, рассеяны по всем «Памятным запискам». На первый взгляд, стоило бы попытаться рассмотреть мысли о превращении в женщину как мифологический стержень мании Шребера. Естественно, именно этот пункт привлек к нему наибольший интерес. Делались попытки свести этот конкретный случай, так же как и паранойю вообще, к вытесненным гомосексуальным склонностям. Большую ошибку вряд ли можно совершить. *Поводом* к паранойе может стать *все, что угодно, сущ-*

ностны же *структура* и *население* мании. Процессы власти всегда играют в ней решающую роль. Даже в случае Шребера, где, пожалуй, многое говорит в пользу упомянутого толкования, детальное исследование этого аспекта, здесь не запланированное, породило бы немало сомнений. Но даже если предположить, что гомосексуальная предрасположенность Шребера доказана, все же более важным, чем она сама по себе, является то, как она используется в его системе. В центре системы для Шребера всегда стояла атака на его разум. Все, что он думал и делал, предназначалось для отражения натиска. Он захотел преобразиться в женщину, чтобы *обезоружить* Бога: он был женщиной, чтобы льстить Богу и склоняться перед ним; как другие стояли перед Богом на коленях, так он предлагал себя Богу для наслаждения. Чтобы иметь его на своей стороне, чтобы завладеть им, он завлек его фальшивым кокетством. И потом уже старался удерживать любыми средствами.

«Речь здесь идет о такой сложной ситуации, какой не найти аналогий в человеческом опыте, какой вообще не предусмотрено в мировом порядке. Стоит ли перед лицом такой ситуации безостановочно теряться в догадках о будущем? Одно мне ясно: теперь уже никогда не состоится задуманное Богом разрушение моего разума. Это мне стало ясно уже несколько лет назад, а это значит, что главная опасность, которая, казалось, грозила мне в первые годы моей болезни, окончательно устранена».

Эти слова стоят в последней главе «Памятных записок». После их завершения Шребер стал выглядеть гораздо спокойнее. То, что он их закончил, что другие их прочли и испытали сильное впечатление, — окончательно вернуло ему веру в собственный разум. Ему оставалось теперь броситься в контратаку: напечатать «Памятные записки», сделать свою систему мира общедоступной, и — на что он, без сомнения, рассчитывал — обратиться к другим в *свою* веру.

В чем конкретно заключалось нападение на разум Шребера? Известно, что ему досаждали бесчисленные «лучи»,

которые с ним разговаривали. Но на *что* конкретно из его духовных способностей и качеств нацеливались враждебные лучи? *Что* они говорили, обращаясь к нему, и на что нападали? Стоит еще немного углубиться в этот процесс. Шребер оборонялся от врагов с величайшим упорством. Он изображает как врагов, так и свою оборону с такими подробностями, что лучше нечего и желать. Надо постараться вычленивать их из целостности созданного им мира, его «безумия», как это принято по старинке называть, и переложить на наш привычный язык. При этом неизбежно часть их своеобразия окажется утраченной.

Прежде всего нужно указать на *принудительность мыслей*, как он сам это называет. В нем царило спокойствие только тогда, когда он разговаривал вслух; тогда все вокруг замирало, и создавалось впечатление, что он движется среди одних только бродячих трупов. Все люди: пациенты, обслуживающий персонал, — казалось, полностью теряли дар речи. Но как только он сам умолкал, в нем пробуждались голоса, побуждающие его к беспрестанной мыслительной работе.

Их целью было не давать ему сна и покоя. Они говорили и говорили безостановочно, было невозможно их не услышать или проигнорировать. Он был обречен все это воспринимать и во все вдумываться. Голоса использовали разные методы, применяя их попеременно. Одним из самых излюбленных был адресованный ему прямой вопрос: «О чем ты думаешь?» Ему совсем не хотелось отвечать, но смолчи он, отвечали за него, например: «Он должен думать о мировом порядке!» Такие ответы он называл «подделкой мыслей». Но его не только подвергали инквизиторским расспросам, но пытались принудить к определенным ходам мысли. Уже *вопросы*, пытавшиеся вторгнуться в его тайное, вызывали раздражение; насколько сильнее оно было от ответов, предписывавших ему направление мыслей! *Вопрос* и *приказ* равным образом нарушали его личную свободу. Оба — хорошо известные орудия власти, он сам как судья умел ими прекрасно пользоваться.

Его принуждали разнообразно и изобретательно. Подвергали допросу, навязывали мысли, составляли катехизис из его собственных фраз, контролировали каждую мысль, не давая ей проскочить незамеченной, проверяли, что значит для него каждое слово. Перед голосами он оказывался полностью внутренне обнаженным. Все было рассмотренным, вытасканным на белый свет. Он был объектом для власти, стремящейся к всеведению. Но хотя он был вынужден так много отдать, он отказывался сдаться. Одной из форм защиты было упражнение *собственного* всеведения. Он демонстрировал себе самому, как прекрасно работает его память: учил наизусть стихи, громко считал по-французски, перечислял всех русских губернаторов и все французские департаменты.

Под сохранением рассудка он подразумевал в основном сохранение содержимого своей памяти, важнее всего для него была неприкосновенность *слов*. Нет шорохов, которые не были бы голосами; мир полон слов. Железные дороги, птицы, пароходы *говорят*. Когда у него у самого нет слов и он молчит, сразу же начинают говорить другие. Между словами ничего нет. Покой, о котором он упоминает и к которому стремится, был бы не чем иным, как *свободой от слов*. Однако ее нигде нет. Все, что ему является, тут же сообщается в словах. Как вредоносные, так и излечивающие лучи одарены языком и так же, как он сам, принуждены им пользоваться. «Не забывайте, что лучи должны говорить!» Невозможно преувеличить значение слов для параноика. Они повсюду как бесчисленные мелкие насекомые, они повсюду как оклик часового. Они сплываются в мировой порядок, вне которого не остается ничего. Пожалуй, самая крайняя тенденция паранойи — это полное схватывание мира *словами*, как будто бы язык — это кулак, а в нем зажат мир.

Это кулак, который никогда уже не разожмется. Но как ему удастся замкнуть в себе мир? Здесь надо указать на манию *каузальности*, когда каузальность становится самоцелью, что в подобном масштабе можно наблюдать еще толь-

ко у философов. Ничто не происходит без причины, надо только соответствующим образом поставить вопрос. Причина всегда отыщется. Все неизвестное сведется к известному. Когда подступит нечто странное, оно будет разоблачено как кем-то инспирированное. За маской нового всегда откроется старое, надо только уметь сорвать ее недругнувшей рукой. *Обоснование* становится страстью, находящей себе выражение по любому поводу. Шребер вполне отчетливо сознает этот аспект принудительного мышления. В то время как описанные выше процессы — предмет его горьких жалоб, страсть к обоснованию он считает «своего рода возмещением за случившуюся с ним беду». К начатым предложениям, которые «внедрены» в его нервы, особенно часто принадлежат союзы и обстоятельственные обороты, выражающие именно каузальные отношения: «потому только...», «потому, что...», «потому, что я...», «а поэтому...» Их, как и другие, он обязан завершать, это значит, и они выполняют ту же функцию принуждения.

«Но они заставляют меня задумываться о многих вещах, на какие люди обычно вовсе не обращают внимания, и поэтому способствуют углублению моего мышления».

Своей манией обоснования Шребер весьма доволен. Он ей сильно радуется, ищет аргументы для ее оправдания. Лишь изначальный акт творения он оставил Богу. Все остальное он соединил выкованной им самим цепью причин и тем самым овладел миром.

Но не всегда эта мания обоснования столь разумна. Шребер встречает человека, которого часто видел раньше, и с первого взгляда узнает, что это «герр Шнайдер». Это человек, который не притворяется, который выглядит таким же безвредным, каким является и слывет. Но Шреберу этого простого узнавания недостаточно. Он хочет, чтобы за просто герром Шнайдером крылось что-то еще, и с трудом соглашается, что перед ним герр Шнайдер и ничего более. Шребер привык к разоблачениям, *срываниям масок*: там, где разоблачать нечего, он теряет почву под ногами. Процесс

срывания масок и *разоблачения* для параноика — и не только для него — один из фундаментальных процессов. На его основе возникает и каузальная мания, ибо все *причины* сводятся в конечном счете к *персонам*. Здесь, пожалуй, самое время пристальнее рассмотреть процессы срывания масок, о которых уже не раз заходила речь в этой книге.

Каждый, конечно, попадал в ситуации, когда где-нибудь, скажем, на улице среди толпы, вдруг мелькало знакомое лицо. Но оказывалось, что это ошибка: при ближайшем рассмотрении выяснялось, что этого якобы знакомого ты не встречал и не видал никогда в жизни. Как правило, над причинами ошибки никто особо голову не ломает. Какая-нибудь случайная черта сходства, поворот головы, осанка, волосы — потому и обознался, все ясно. Но наступает время, когда ложные узнавания вдруг начинают умножаться. Какой-то один конкретный человек начинает *являться повсюду*. Он стоит у входа в пивную, куда собираешься завернуть, маячит на людном перекрестке. Он выныривает несколько раз на дню; разумеется, это человек, который тебя весьма занимает, которого любишь или, что бывает еще чаще, ненавидишь. Прекрасно известно, что он переехал в другой город, вообще уехал за океан, и все равно узнавания продолжают. Ошибка воспроизводится, избавиться от нее не удастся. Ясно, что ты *хочешь* узнавать этого человека за другими лицами. Другие воспринимаются тобой как обман, за которым скрывается подлинное. Обманываешься относительно многих и за всеми обнаруживаешь одного. Будто бы какая-то заноза не оставляет тебя в покое: срываешь, как маски, сотни лиц, чтобы за ними обнаружилось то, которое тебе нужно. Если попробовать определить различие между одним и сотней, придется сказать: эта сотня — *чужие*, а это единственное — *знакомо*. Словно бы человек готов узнать только знакомое. Но оно скрывается, и его приходится отыскивать в чужом.

У параноика этот процесс выступает в концентрированной и обостренной форме. Сам он страдает недостаточно-

стью превращения, которая излучается его персоной — во всем неизменной из неизменного — и обволакивает весь мир. Даже на самом деле различное он пытается счесть *одним и тем же*. Врага он умеет раскусить во всех его многообразных проявлениях. Какую бы маску он ни сорвал, за ней всегда скрывается враг. Из-за тайны, скрывающейся повсюду, из-за необходимости срывать маски все для него становится маской. Обмануть его не удастся, он *видит насквозь: многое есть один*. По мере закаменения его системы в мире становится все меньше и меньше признаваемых фигур, продолжает существовать лишь то, что участвует в игре его безумия. Все обосновывается на один и тот же манер и обосновывается до самой последней основы. В конце концов остается только он и то, чем он владеет.

По сути дела, речь здесь идет о процессе, противоположном превращению. Разоблачение и срывание масок вполне можно определить как *обратное превращение*. Кто-то насильственным образом возвращен к самому себе, втиснут обратно в ту позицию, в то положение, которое сочтено было не просто подходящим, но подлинным, естественным его положением. Тот, кто проводит обратное превращение, сначала выступает как зритель: все начинается с наблюдения за превращениями людей друг в друга. Некоторое время он, возможно, присматривается к игре масок, хотя и относится к этому неодобрительно, удовольствия она ему не доставляет. Вдруг он выкрикивает «Стоп!», и оживленный процесс застопоривается. Потом следует команда «Долой маски!», и каждый мгновенно оказывается тем, кто он есть на самом деле. После этого дальнейшие превращения запрещены. Представлению конец. Маски стали прозрачными. Этот процесс *обратного превращения* редко выступает в чистом виде потому, что чаще всего он окрашен тонами враждебности. Маски ставят себе целью обмануть параноика. Их превращения — не просто игра, в них имеется интерес. Сохранение тайны им важнее всего прочего. Зачем все это, чем они притворяются, в конечном счете не важно, важно, что

они хотят остаться неузнанными. Контратака окруженного, приводящая к срыванию масок, разяща и эффектна, она столь стремительна и впечатляюща, что легко забыть, что же предшествовало превращению.

«Памятные записки» Шребера подводят здесь вплотную к сути дела. Он вспоминает начало болезни, «святое время», когда его состояние еще не стабилизировалось. В первый год он был временно — на одну-две недели — помещен в маленькую частную лечебницу, которую по подсказке голосов называл «Чертовой кухней». То было время, как он говорит, «лихих проделок». Его мания еще не вызрела, не окрепла; он пережил там множество превращений и разоблачений, которые, пожалуй, лучше всего иллюстрируют наши заметки.

«Дни я проводил в основном в общей гостиной, через которую в обоих направлениях шел поток других, мнимых пациентов больницы. Кажется, специально для надзора за мной был приставлен служитель, в котором я по случайному, может быть, сходству признал курьера Высшего земельного суда, который во время моей работы в Дрездене доставлял мне бумаги на дом. У него, кстати, была привычка примеривать части моего платья. Под видом главного врача лечебницы являлся иногда, в основном по вечерам, некий господин, который опять же напомнил мне доктора медицины О., которого я консультировал в Дрездене... В сад при больнице я вышел погулять только один раз. Там мне встретились несколько дам, среди них госпожа пасторша В. из Фр. и моя собственная мать, а также несколько господ, среди которых советник Высшего земельного суда К. из Дрездена, правда, с неестественно увеличенной головой. Явление подобных сходств в двух или трех случаях я мог бы счесть вполне нормальным, но удивляло то, что практически все пациенты в больнице, то есть несколько дюжин людей, имели в облике черты моих близких». В качестве пациентов появлялись «совершенно авантюрные фигуры вроде измазанных сажей типов в полотняных пиджаках... Они появлялись

в гостиной один за другим совершенно беззвучно и так же беззвучно удалялись, казалось бы, совершенно не замечая друг друга. При этом я неоднократно был свидетелем того, как некоторые из них во время пребывания в гостиной *обменивались головами*, то есть они, не покидая комнаты и непосредственно на моих глазах, вдруг начинали расхаживать с другими головами».

«Количество пациентов, которых я то одновременно, то последовательно видел в загоне (так он называл место на дворе, куда выходили подышать воздухом) и в гостиной, не стояло ни в какой связи с вместимостью лечебницы. По моему убеждению, эти сорок или пятьдесят человек, которые вместе со мной появлялись в загоне, а потом по сигналу окончания прогулки устремлялись к дверям дома, просто не сумели бы найти здесь себе достаточно мест для ночевки... Первый этаж просто *кишел* человеческими фигурами».

Из фигур в загоне он вспоминает двоюродного брата жены, покончившего с собой еще в 1887 г., старшего прокурора Б., постоянно застывавшего в преданно склоненной, как бы просительной позе. Среди узанных им были и тайный советник, президент сената, еще один советник земельного суда, адвокат из Лейпцига — друг его юности, его племянник Фриц, а также случайный знакомый из Варнемюнде. Своего тестя он как-то увидел из окна на дорожке, ведущей к лечебнице.

«Я не раз замечал, как сразу несколько человек, а однажды даже несколько дам, пересекали гостиную и входили в угловую комнату, где им затем полагалось исчезнуть. Я также несколько раз слышал своеобразный *хрип*, сопровождавший исчезновение наспех подделанных людей.

«Достойны удивления были не только человеческие фигуры, но и неодушевленные предметы. Сколь скептически ни стараюсь я сейчас отнестись к своим воспоминаниям, не могу все же стереть из памяти впечатление, произведенного тем, что предметы одежды на людях, мной наблюда-

емых, или еда на моей тарелке во время обеда *превращались* во что-то другое (например, свиная отбивная в телячью и наоборот)».

В этих описаниях многое заслуживает внимания. Людям там гораздо больше, чем в действительности может поместиться, они собраны все вместе в *загоне*. Само это выражение показывает, что вместе с ними он чувствует себя *униженным до животного состояния*; это самое близкое к массовому переживание, которое у него можно обнаружить. Однако «загоном» для пациентов оно, естественно, не исчерпывается. Игру превращений он описывает очень точно, подходя к ней критически, но без выраженной враждебности. Превращения испытывают даже платье и пища. Больше всего его занимают *узнавания*. Всякий, кто появляется, — по сути, некто другой, кого он раньше хорошо знал. Он заботится о том, чтобы не было незнакомцев. Но все эти разоблачения носят относительно доброжелательный характер. Только о старшем надзирателе в одном месте, которое я здесь не привел, говорится с ненавистью. Он узнает многих и очень разных людей, не ограничиваясь узким кругом избранных. Вместо того чтобы лишиться масок, люди иногда меняются головами — более забавный и великодушный способ разоблачения трудно изобрести!

Но переживания Шребера далеко не всегда имели такой ободряющий и даже освобождающий характер. Видения иного рода, которые в «святое время» посещали его гораздо чаще, приводят, как я полагаю, прямо к *первичной ситуации паранойи*.

Чувство *окруженности вражьей стаей*, которая вся нацеливается на одного, — это коренная эмоция паранойи. Яснее всего она проявляется в галлюцинациях, когда больной со всех сторон видит глаза, которые вперяются только в него, и в этом чувствуется явная угроза. Твари, которым принадлежат глаза, намерены мстить. Он давно уже безнаказанно злоупотреблял по отношению к ним своей властью: если это животные, он их безжалостно истреблял, ставя на

грань полного уничтожения, и вот вдруг они восстали все против него одного. Эта первичная ситуация паранойи безошибочно и однозначно узнается в охотничьих легендах многих народов.

Не всегда эти звери сохраняют образ, в котором они выступают добычей для людей. Они превращаются в опасных тварей, перед которыми человек всегда испытывал страх: когда они его преследуют, заполняют комнату, вваливаются в постель, ужас его достигает максимума. Самому Шреберу казалось, что по ночам его преследуют медведи.

Очень часто он убегал из постели и в ночной рубашке проводил ночь на пороге спальни. Руки, которыми он упирался в пол позади себя, иногда чувствительно заламывались ему за спину медведеобразными фигурами — *черными медведями*. Другие черные медведи, большие и маленькие, с горящими глазами сидели вокруг, глядя на него. Его постель превращалась в «белых медведей». Вечерами, когда он еще не спал, на деревьях больничного сада сидели кошки с горящими глазами.

Но *звериными стаями* дело не ограничивалось. Шреберовский архивраг профессор Флехсиг самым коварным и опасным образом сумел натравить на него *небесные стаи*. Речь шла о совершенно особом явлении, которое Шребер окрестил *делением душ*.

Душа Флехсига разделилась на множество частей, которые заблокировали весь небесный свод так, что сквозь него не могли проникнуть божественные лучи. Нервы, перекрывшие небо, стали для лучей механическим препятствием, которое те не могли преодолеть. Небесный свод оказался вроде крепости, охраняемой от вражеского войска валами и рвами. Флехсиговская душа расщепилась для этого на множество частей: одно время их насчитывалось от сорока до шестидесяти, многие были очень маленькими.

Похоже, что потом и другие «проверенные души» начали делиться по примеру флехсиговской: их становилось все больше, и существовали они, как это полагается настоящей

стае, только для преследования и нападения. Большая их часть с самого начала стала осуществлять не что иное, как обходной маневр, цель которого состояла в том, чтобы атаковать беззаботно струящиеся божественные лучи с тыла и принудить их к сдаче. Множество этих «частей проверенных душ» досадило, в конце концов, даже божественному всемогуществу. Уже после того, как Шреберу удалось притянуть многие из них к себе, божественное всемогущество учинило на них настоящую облаву.

В этом «делении душ», возможно, отразилось размножение клеток делением, конечно же, известное Шреберу. Но применение возникающих таким образом множеств в качестве небесных стай — это исключительно продукт его мании. Невозможно представить себе значение *вражеских стай* для структуры паранойи яснее, чем на этом примере.

Сложное и неоднозначное отношение Шребера к Богу, Богова «политика душ», жертвой которой он себя чувствовал, не помешали ему пережить *всемогущество*, так сказать, извне и в целостности как *сияние*. За все годы болезни это переживание посетило его только в течение нескольких следовавших друг за другом дней и ночей, исключительность и ценность этого явления им ясно осознавалась.

Бог явился в одну из таких ночей. Сияющий образ его лучей Шребер воспринимал — в это время он лежал в постели — внутренним духовным оком. Одновременно он услышал голос. Это было не тихое бормотанье, но мощный бас, от которого зазвенели окна шреберовской спальни.

Днем после этого он увидел Бога телесным зрением. Это было солнце, но не такое, как всегда, а окруженное серебряным сиянием моря лучей, покрывающего седьмую или восьмую часть неба. Его так поразило великолепие этой картины, что он робел и пытался отвести взгляд в сторону. И сияющее солнце *говорило* с ним.

Не только в Боге, но и в себе самом узревал он иногда такое же сияние; учитывая его значимость и близкие отношения с Богом, этому не следует удивляться. «Моя голова

вследствие массового притока лучей иногда оказывалась окруженной световым сиянием вроде того нимба, что воспроизводится на изображениях Христа, только гораздо богаче и ярче: так называемой лучистой короной».

Этот *священный аспект власти* в другом месте изображен Шребером еще сильнее. В период *неподвижности*, которым мы теперь займемся, он выразился с максимальной полнотой.

Внешне жизнь, которую он вел в это время, была до ужаса монотонной. Дважды в день совершалась прогулка в саду. Все же остальное время дня он неподвижно сидел на стуле возле стола и даже не подходил к окну. Даже в саду он охотнее всего сидел на одном месте. Такую абсолютную пассивность он рассматривал вроде бы как религиозный обет.

Это представление было порождено голосами, говорящими в нем. «Ни малейшего движения!» — повторяли они вновь и вновь. Он объяснял себе это требование тем, что Бог не приучен к общению с живыми людьми. Он ведь привык иметь дело с трупами. Поэтому Шреберу и было поставлено такое наглое требование: все время вести себя как труп.

Неподвижность была условием его самосохранения, но в то же время и долгом по отношению к Богу: она способствовала выходу из того трудного положения, куда его загнали «проверенные души». «Я понял, что потеря лучей становилась больше, когда я чаще двигался туда и сюда и даже когда моя комната продувалась сквозняком. Со священным трепетом, который я тогда испытывал по отношению к божественным лучам, и при незнании того, действительно ли есть вечность, или же они могут в один прекрасный миг исчезнуть, я считал своей задачей противодействовать, насколько это в моих силах, расточению лучей». Ему казалось легче притягивать к себе проверенные души и давать им исчезнуть в его теле, если это тело находилось в покое. Только так можно было восстановить единодержавие Бога в небесах. Так он принял на себя чудовищный обет в течение мно-

гих недель и месяцев воздерживаться от любого телесного движения. Так как исчезновения проверенных душ скорее всего следовало ожидать во сне, ночами он даже не осмеливался повернуться в постели.

Это *окостенение* Шребера в течение недель и месяцев — едва ли не самое удивительное из всего, им рассказанного. Его мотивация двойственна. То, что он ради Бога должен был представлять из себя труп, для нашего европейского уха звучит даже неприятнее, чем оно есть на самом деле, главным образом из-за пуританского отношения к *трупам*. По нашим обычаям, от трупа надо как можно скорее избавиться. Никакой особой роли ему не придается, его не стараются сохранить, остановив порчу. Его наскоро подчищают, ставят напоказ, затем доступ к нему уже невозможен. При всей роскоши похорон сам труп не является публике — это церемония запрятывания и сокрытия. Чтобы понять Шребера, надо вспомнить о мумиях египтян, в которых как предмет забот и поклонения сохранялась личность трупа. Ради Бога Шребер в течение недель и месяцев представлял себя не трупом, а мумией, его собственное выражение здесь не совсем точно.

Второй мотив своей бездвижности — боязнь растратить божественные лучи — он разделяет с бесчисленным множеством распространившихся по всей Земле культур, в которых сложилось священное отношение к власти. Он воспринимает себя как сосуд, в котором постепенно скапливается божественная эссенция. Даже из-за малейшего движения что-то может выплеснуться, и потому он предпочитает не двигаться вовсе. Так властитель ощущает в себе власть, которой он заряжен, независимо от того, кажется ли она ему безличной субстанцией, которую надо сохранить, не разбавив, или он действует по указанию некой высшей силы, ожидающей от него такого поведения в знак благоговения перед нею. В положении, которое кажется ему наилучшим для сохранения драгоценной субстанции, он будет медленно *закостеневать*; всякое отклонение опасно и может при-

чинить много хлопот. По совести избегая отклонений и нарушений, он сохраняет свое состояние. Некоторые из этих позиций, повторяясь столетиями, сделались типическими. Политическая структура многих народов имеет своим ядром жесткую и точно предписанную позицию *единственного* лица.

Так же и Шребера заботит народ, для которого он хотя и не король, но «*национальный святой*». На одном отдаленном небесном теле действительно была сделана попытка сотворить новое человечество «из Шреберова духа». Эти новые люди телесно были много меньше наших земных людей. Они достигли известной степени культурного развития и держали даже соответствующую их собственному размеру миниатюрную породу рогатого скота. Сам Шребер в качестве их «*национального святого*» стал предметом обожествления и почитания, так что его *телесная позиция* имела определенное значение для их веры.

Типический характер определенной позиции, которую надо понимать вполне конкретно и телесно, здесь проявляется с полной ясностью. Не только эти люди созданы из его духа, от его положения зависит их вера.

Как мы видели, *разум* Шребера в течение его болезни должен был переносить самые утонченные пытки. Но и напасти, которым подвергалось его *тело*, не поддаются никакому описанию. Вряд ли хоть одна часть тела осталась пощаженной. Ничто не было забыто или упущено лучами, до всего дошла своя очередь. Их воздействия происходили столь внезапно, что он воспринимал их как чудо.

Это были, например, явления, связанные с планами его превращения в женщину. Приняв их, он затем нисколько не сопротивлялся. Но трудно даже поверить, сколь многое произошло с ним кроме этого. В его легкие был внедрен легочный червь. Его реберные кости были временно размозжены. На место его здорового естественного желудка тот самый венский специалист по нервным болезням пересадила весьма неполноценный «еврейский желудок». Судьба

его желудка вообще оказалась весьма причудливой. Некоторое время он вообще жил без желудка, объясняя служителям, что он не может есть, потому что у него отсутствует желудок. Когда он потом все-таки стал есть, пища проливалась сквозь дыру в животе на верхнюю часть бедер. Он привык к этому состоянию и вскоре совершенно беззаботно питался без всякого желудка. Пишевод и кишки часто рывались или исчезали. Части гортани он неоднократно съедал вместе с пищей.

При помощи «маленьких человечков», которые проникли в его ноги, делались попытки выкачать его спинной мозг так, что во время прогулок в саду он легкими облачками вылетал из его рта. Часто он чувствовал, что его черепные кости стали гораздо тоньше. Когда он играл на пианино или писал, ему пытались парализовать пальцы. Некоторые души, принявшие облик мельчайших, не больше миллиметра, человечков, пробирались к его органам, включая внутренние, и творили там что хотели. Некоторые из них управляли открыванием и закрыванием его глаз: они располагались на надбровных дугах над глазами и при помощи тончайших паутинных нитей двигали вверх и вниз его веки, когда и как им хотелось. В больших количествах эти человечки тогда собирались у него на голове. Они устраивали там форменные гуляния, любопытствуя, лезли повсюду, особенно туда, где обнаруживались новые повреждения. Они даже принимали участие в его трапезах, урывая для себя мельчайшие доли из подаваемых ему блюд.

Путем внедрения болезненной костоеды в области пятки и на задую его хотели лишить возможности ходить и стоять, сидеть и лежать. В каком бы положении и чем бы он ни занимался, его не хотели оставить в покое: если он шел, его заставляли лечь, если лежал, гнали с постели. «То, что единственный оставшийся человек *должен же все-таки где-то быть*, этого лучи, кажется, не хотят понимать».

Из этих явлений можно вывести заключение о том, что делает их вообще возможными: это *проницаемость* его тела.

Физикалистский принцип непроницаемости тела здесь недействителен. Точно так же, как он может проникать сквозь все, что угодно, даже сквозь тело Земли, так все остальное проникает сквозь него и играет с ним и в нем свои злые шутки. Он часто говорит о себе так, будто он — небесное тело, но при этом в своем собственном человеческом теле он не может быть уверен. Время его широчайшего распространения, когда он заявляет о своих притязаниях, как раз и есть время ощущения им своей собственной проницаемости. Мания *величия* и мания *преследования* в нем теснейшим образом слиты, и обе выражаются в его собственном теле.

То, что он жив вопреки всем напастьям, приводит его к убеждению, что лучи ему не только вредят, но и *исцеляют*. Все нечистые вещества из его тела извлекаются при помощи лучей. Он может позволить себе всю наедаться без желудка. Лучи пробуждают в нем зародыши болезней, они же эти болезни устраняют.

Так возникает подозрение, что все преследующие его тело напасти предполагают его *неуязвимость*. Его тело как бы демонстрирует, что он может преодолеть буквально все. Чем больше ран и страданий, тем прочнее и надежнее его положение.

Шребер начинает сомневаться, смертен ли он вообще. Что такое самый сильный яд по сравнению с тем, что он перенес? Если он упадет в воду и захлебнется, то скорее всего оживет благодаря работе сердца и кровообращению. Если даже получит пулю в голову, то пораженные внутренние органы и кости восстановятся. В конце концов, он ведь долго жил без жизненно важных органов. И все снова отросло. Естественные болезни ему также не страшны. В результате многих сомнений и мук страстное желание быть неуязвимым переработалось в нем в сознание самоочевидного факта собственной *неуязвимости*.

На протяжении этого сочинения было показано, как переплетаются стремление к неуязвимости и жажда выживания. Параноик и здесь оказывается точной копией власти-

теля. Различие между ними заключается только в позиции по отношению к внешнему миру. В своем внутреннем строении они тождественны. Параноик даже сильнее впечатляется, поскольку он довольствуется самим собой и отсутствие успеха во внешнем мире его не смущает. Мнение мира ему ничто, в своем безумии он в одиночку противостоит всему человечеству.

«Все, что происходит, — говорит Шребер, — соотнесено со мной. Для Бога я стал человеком как таковым или единственным человеком, вокруг которого все вертится, к которому должно быть сведено все происходящее и который со своей позиции должен соотнести с собой все, что есть».

Представление о том, что все другие люди погибли, что он остался фактически единственным человеком, а не только единственным, кого все касается, владело им, как мы знаем, долгие годы. Оно лишь постепенно перешло в более мягкую форму. Из единственного живущего он стал единственным, кто принимается в расчет. Нельзя уклониться от мысли, что каждой паранойей, как и каждой властью, управляет одно-единственное стремление: убрать всех с пути, чтобы остаться единственным, или — в более мягкой и чаще встречающейся форме — подчинить всех себе, чтобы стать единственным с их помощью.

ЭПИЛОГ

ИЗЖИВАНИЕ ВЫЖИВАЮЩЕГО

Теперь, после знакомства с параноидальным бредом, имевшим лишь одного приверженца, то есть самого больного, пришло время задуматься над тем, что мы узнали о власти. Ведь любой частный случай, к каким бы глубоким выводам он ни вел, все-таки оставляет некоторое сомнение. Чем глубже в него вникаешь, тем больше осознаешь его исключительность. Ловишь себя на мысли, что так обстоит дело лишь в этом случае, а в каждом другом — все опять иначе. Особенно это относится к душевнобольным. Непокколебимая самоуверенность не дает нам отнестись к ним всерьез, поскольку у них отсутствуют внешние признаки успеха. Даже если возможно было бы доказать, что каждая отдельная мысль в голове какого-нибудь Шребера точно совпадает с каждой мыслью внушающего ужас владыки, все равно сохранилась бы надежда, что в чем-то другом они в корне различны. От преклонения перед великими мира сего очень трудно избавиться, потребность поклонения в людях неистребима.

Наше исследование, к счастью, не ограничивалось одним лишь Шребером. Хотя оно и кажется детально разработанным, многое в нем лишь намечено, а кое-что, даже очень важное, вовсе опущено. Но нельзя же упрекать читателя, если он уже сейчас, к концу *этого* тома, захочет узнать, что же можно считать твердо установленным.

Не приходится долго гадать о том, какая из четырех стай характерна для нашей эпохи. Власть великих религий плача подходит к концу. Они были захлестнуты валами приумножения и постепенно задохнулись. Благодаря современному производству старая приумножающая стая пережила такой рывок вверх, что все прочие формы и содержания жизни обрекаются на исчезновение. Здесь, в нашей земной жизни царствует производство. Его скорость и многообразие не дают возможности остановиться и оглядеться. Даже ужаснейшие войны не в состоянии были его затормозить. Во всех враждующих лагерях, чем бы они ни вдохновлялись, производство одинаково действенно. Если существует такая вера, в которую один за другим впали все жизнеспособные народы Земли, то это вера в производство, современный *furor* приумножения.

Рост производства требует все больше людей. Чем больше продукции, тем больше нужно потребителей. Сбыт сам по себе, руководствующийся собственными законами, должен превратить в покупателей всех, кто в пределах досягаемости, то есть практически все человечество. В этом смысле его можно сравнить, хотя бы внешне, с универсальной религией, которая тоже ведь охотится за каждой душой. Люди должны были бы достигнуть некоего идеального равенства в качестве добровольных платежеспособных покупателей. Но этого бы все равно не произошло, потому что, если бы производство добралось до каждого и каждый сделал свою покупку, оно захотело бы расти дальше. Следовательно, вторая и более глубокая его тенденция — увеличение численности людей. Производству нужно *больше* людей. Через умножение предметов оно вернулось назад к приумножению в его изначальном смысле — приумножению самого человека.

По своей внутренней сути производство имеет мирный характер. Уничтожение, причиняемое войной и разрухой, идет ему во вред. В этом капитализм и социализм похожи друг на друга как соперничающие формы одной и той же

веры. Для обоих производство — как зеница ока. Оно завоевало сердечную склонность обоих, и их соперничество в этой сфере привело к бешеному успеху приумножения. Они становятся все более похожими друг на друга. Налицо и растущее взаимное уважение. И вызвано оно, осмелимся сказать, исключительно успехами производства. Теперь нельзя считать, что они стремятся уничтожить друг друга, они стремятся друг друга превзойти.

Нынче существует много центров приумножения, действующих активно и распространяющих вокруг свое влияние. Они поделены по разным языкам и культурам, ни один не в силах претендовать на всеобщее господство. Ни один не может выступить против всех остальных. Бросается в глаза тяга к образованию гигантских двойных масс, называющих себя по именам сторон света, — Восток и Запад. Они все вбирают в себя, а то, что не охвачено ими, мало и бесцельно. Тупое противостояние этих двойных масс, очарованность их друг другом, их вооруженность до зубов, а скоро и вообще до *Луны*, разбудили в мире апокалиптический страх: война между ними может уничтожить человечество. Однако оказалось, что тенденция приумножения набрала такую силу, что война ей подчинилась — она оказывается просто досадной помехой. Война как средство быстрого приумножения исчерпала себя взрывом архаики в Германии времен национал-социализма и, как теперь можно быть уверенным, исчезла навсегда.

Каждая страна теперь проявляет склонность охранять свое производство зорче, чем своих граждан. Ничто иное не выглядит столь оправданным и понятным, не подлежит столь общему одобрению. Уже в нашем столетии будет произведено больше вещей, чем люди сумеют потребить. На место войны выдвигаются другие системы двойных масс. Опыт парламентов доказывает, что смерть может быть исключена из взаимодействия двух масс. Мирные регулируемые циклы смены власти могут быть установлены и в отношениях между нациями. Спорт как массовое явление в

значительной мере заменил войну уже в Риме. Он сейчас стремится обрести то же значение, но уже в масштабе всего мира. Война явно отмирает, и можно было бы предсказать ее скорый конец. Но только в этом расчете не учтен выживающий.

Что у нас вообще сохранилось от религий плача? В непостижимых бурях уничтожения и созидания, ознаменовавших первую половину этого столетия, в неумолимом ослеплении, дважды постигавшем то одну, то другую сторону, религии плача, хотя и сохранили себя организационно, продемонстрировали полную и совершенную беспомощность. Нерешительно или, наоборот, угодливо, хотя, конечно, без исключений не обошлось, они дарили свое благословение всему происходящему.

Но их наследие все же значительнее, чем можно было бы думать. Образ Единственного, чью смерть христиане оплакивают уже почти 2000 лет, вошел в сознание всего бодрствующего человечества. Он умирает, и он не должен умереть. По мере секуляризации человечества его божественность утратила свое значение. Он сохранился — хотели того люди или нет — просто как страдающий и умирающий человек. Божественная предыстория дала ему среди земных людей своего рода историческое бессмертие. Она укрепила его самого и каждого, кто видит в нем себя. Каждый гонимый, за что бы он ни страдал, частицей души видит себя Иисусом. Каждый из смертельных врагов, даже бьющихся за злые, неправые цели, когда дело клонится к худшему, ощущает в себе одно и то же. Образ страдающего, чья жизнь затухает, по ходу событий примеривается то тем, то другим, и слабейший в конце концов может ощутить себя лучшим. Но даже самый слабый, которого никто и не считал за серьезного врага, примеряет к себе этот образ. Он может погибнуть случайно и бессмысленно, но сама смерть сделает его особенным. Христос даст ему плачущую стаю. Посреди неистовства приумножения, которое также и приумножение человек, ценность каждого отдельного человека не упа-

ла, она возросла. Может показаться, что события нашего века говорят об обратном, но в человеческом сознании даже они ничего не изменили. Человек, каким он живет здесь, попался на обходном пути через собственную душу. Стремление не погибнуть показалось ему оправданным. Каждый для себя самого есть достойный предмет плача. Каждый упорно верит, что он не должен умереть. В этом пункте наследие христианства — а в несколько ином смысле также и буддизма — неистребимо.

Но что в наше время в корне изменилось, так это ситуация выживающего. Это открыли для себя лишь некоторые — те, кто дочитал главу о выживающем без чувства глубокого внутреннего сопротивления. Цель была обрыскать все его уголки, изобразив его таким, каким он есть и был всегда. Как герой он слышал восхваления, как властитель принимал поклонение, но, в сущности, он был одним и тем же. В наше собственное время среди людей, для которых так много значит понятие гуманизма, он пережил свои самые зловещие триумфы. Он не вымер, и он не вымрет, пока мы не обречем силы видеть его ясно, в любом обличье, в ореоле любой славы. Выживающий — это наследственная болезнь человечества, его проклятие, а может быть, и его гибель. Сумеет ли мы избежать ее в последний миг?

Плоды его усилий в нашем современном мире столь чудовищны, что с трудом осмеливаешься их видеть. Единственный человек в состоянии без труда уничтожить добрую часть человечества. Он использует для этого машины и процессы, которых сам не понимает. Он может действовать из надежного укрытия, ни на минуту не поставив себя в опасную ситуацию. Противоречие между его единственностью и числом тех, кого он уничтожит, невозможно осмыслить. Он один может сразу и единократно пережить больше людей, чем раньше переживали целые поколения. Методы властителя очевидны, каждый может ими воспользоваться. И все открытия идут ему на пользу, как будто совершаются для него одного. Залог теперь уве-

личился многократно: людей стало больше и живут они теснее. Средства стали сильнее в тысячи раз. Беззащитность жертвы, если не покорность ее, осталась той же самой.

Все ужасы сверхъестественного насилия, которое наказанием и угрозой нависло над человечеством, воплотились в представлении о «бомбе». Один-единственный может ее обрушить. Она в его руке. Властитель в состоянии сотворить такое опустошение, что далеко превзойдет все бедствия, которые когда-либо Бог насылал на Землю. Человек украл своего собственного Бога. Он захватил его и присвоил себе все, что внушало ужас и несло гибель.

Самые головокружительные мечты властителей прошлого, для кого выживание стало пороком и страстью, нынче выглядят убогими. История, которая вспоминается из сегодня, обрела вдруг уютный и мирный облик. Как *долго* тогда все это длилось и как *мало* можно было уничтожить на незнакомой Земле! Нынче между решением и актом минет мгновение. Что Чингисхан! Что Тамерлан! Что Гитлер! С точки зрения наших возможностей — жалкие подмастерья, халтурщики и дилетанты!

Вопрос о том, есть ли возможность добраться до выживающего, который вырос до таких чудовищных пропорций, — это самый главный, можно даже сказать, единственный вопрос. Подвижность и специализированность современной жизни не дают правильно понять важность и сложность этого основного вопроса. Ибо единственное решение, противостоящее страстной тяге к выживанию: творческое одиночество, ведущее к бессмертию, — это решение лишь для немногих.

Чтобы бороться с этой растущей опасностью, которую кое-кто уже чувствует нутром, надо принять в расчет еще один новый факт. Выживающий сам испытывает страх. Он всегда боится. Его возможности необычайно и невыносимо выросли. Его триумф может стать делом минут или часов. Но на Земле нет уже безопасных мест, в том числе и для

него самого. Новое оружие дотянется повсюду и повсюду достанет его самого. Его величина и его неуязвимость в постоянном конфликте. Он стал слишком большим. Властители сегодня трясутся *иначе*, как будто они такие же, как прочие люди. Изначальная структура власти, ее ядро и сердцевина — выживание властителя за счет всех других, — свелась к абсурду, лежит в развалинах. Власть сегодня более могущественна, чем когда-либо, но и более проклята, чем когда-либо. Выживут все или никто.

Чтобы подобраться к выживающему, надо уметь разоблачать его действия там, где они кажутся простыми и естественными, а это значит — и самыми опасными. Так, никто не протестует, когда он сосредоточивается на отдаче приказов. Было показано, что приказ в его одомашненной форме, какая используется в человеческом общежитии, есть не что иное, как отсроченный смертный приговор. Действенные и тонкие системы таких приказов внедрены повсюду. Тот, кто быстро добрался до вершины или кому удалось овладеть такими системами как-то иначе, по самой природе своего поста одолевает страхом перед приказами и ищет способы от него освободиться. Постоянная угроза, которой он служит и которая, собственно, составляет самую суть системы, поворачивается в конечном счете против него самого. Угрожают ли враги ему на самом деле или нет, он постоянно ощущает опасность. Эта опасность исходит от его собственных людей, которым он всегда приказывает, которые всегда при нем и которых он прекрасно знает. Средство освободиться от этой угрозы, к которому он прибегает не без колебаний, но от которого никогда полностью не отказывается, — это внезапный приказ о массовом убийстве. Он начинает войну и посылает своих людей убивать. Многие из них при этом погибнут; он жалеть не будет. Как бы он ни демонстрировал себя вовне, его глубокая и тайная потребность — проредить шеренги собственных сторонников. Чтобы освободить его от страха приказов, нужно, чтобы умерли многие из тех, кто борется на его стороне. Лес

его страха стал слишком густым, и ему трудно дышать, пока не станет светлее. Однако если он колеблется слишком долго, то утрачивает ясное видение и может нанести большой вред делу. Страх приказов в нем вырастает до катастрофических размеров. Но прежде чем катастрофа докатится до него самого, до его собственного тела, воплощающего для него весь мир, она приведет к гибели бесчисленного множества людей.

Система приказов признана повсюду. Четче всего, конечно, она налажена в армиях. Но и многие другие сферы цивилизованной жизни находятся под воздействием приказов. Смерть как угроза — это монета власти. Очень легко, складывая монету к монете, скопить огромный капитал. Тот, кто хочет стать сильнее власти, должен научиться без страха смотреть в глаза приказу и найти средство вырвать его жало.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Научно-популярное издание

Философия — Neoclassic

Канетти Элиас

МАССА И ВЛАСТЬ

Художественный редактор *Е. Фрей*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru
ВКонтакте: vk.com/ast_neoclassic

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 16.03.2015. Формат 84x108 1/32.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24.
Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-17-089748-3



9 785170 897483 >



